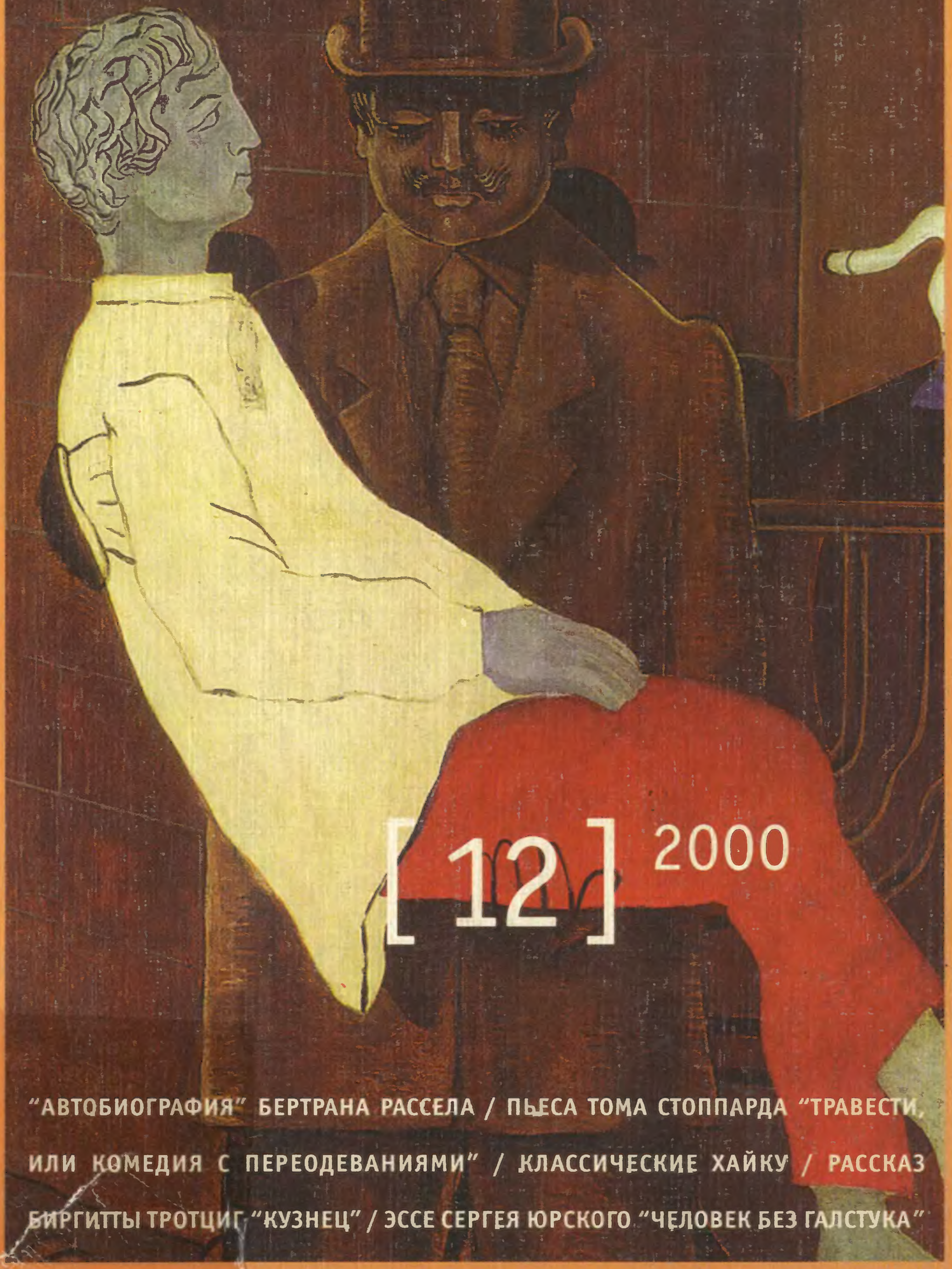
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[12] 2000

"АВТОБИОГРАФИЯ" БЕРТРАНА РАССЕЛА / ПЬЕСА ТОМА СТОППАРДА "ТРАВЕСТИ, ИЛИ КОМЕДИЯ С ПЕРЕОДЕВАНИЯМИ" / КЛАССИЧЕСКИЕ ХАЙКУ / РАССКАЗ БИРГИТТЫ ТРОТЦИГ "КУЗНЕЦ" / ЭССЕ СЕРГЕЯ ЮРСКОГО "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ГАЛСТУКА"

Основан в 1891 году

[12]

2000

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
и публицистический
журнал

3 Том Стоппард. *Травести, или Комедия с переодеваниями в двух действиях.* Мел Гассоу. *Из книги "Беседы со Стоппардом".* Перевод с английского И. Кормильцева

79 *Классические хайку.* Перевод с японского Александра Вялых

84 Биргитта Тротциг. *Кузнец.* Рассказ. Перевод с шведского Елены Самуэльсон

Документальная проза 97 Бертран Рассел. *Автобиография.* Перевод с английского Т. Казавчинской, Н. Цыркун

Статьи, эссе 241 Сергей Юрский. *Человек без галстука.*

Среди книг 248 А. Ермонский. *Драматург в кресле президента, или Искусство невозможного.* А. Нестеров. *Современная поэзия, как она есть.* С. Ларин. *Лица необщим выраженьем...*

Курьер "ИЛ" 259

Авторы номера 263

265 Содержание журнала *Иностранная литература* за 2000 год № 1—12

© "Иностранная литература", 2000

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Из общего тиража
в 13 350 экземпляров
Министерство культуры
РФ и Министерство РФ
по делам печати, телера-
диовещания и средств
массовых коммуникаций
ежемесячно выкупают, а
Институт "Открытое
общество" направляет
в библиотеки России
и ряда стран СНГ
3 850 экземпляров.

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Малькольм Брэдбери
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
Т. П. Карпова
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников

Ежегодные литературные
премии журнала
спонсирует ЗАО Конверсбанк
[Акционерный банк Конверсии].

Том Стоппард

Травести, или Комедия с переодеваниями в двух действиях

Перевод с английского И. Кормильцева

Посвящается Оливеру, Барнаби, Уильяму и Эдмунду

Генри Уилфред Карр, 1894—1962

Читатель пьесы, среди главных героев которой — Ленин, Джеймс Джойс и Тристан Тцара, может сначала не понять, что Генри Карр — такой же исторический персонаж, как и они. Но это именно так.

В марте 1918 года (эти сведения я почерпнул из книги Ричарда Эллмана "Джеймс Джойс") Клод Сайкс, актер, временно проживавший в Цюрихе, предложил Джойсу создать театральную труппу, которая ставила бы пьесы на английском языке. Джойс согласился стать директором "Английской труппы". Для первой постановки выбрали комедию Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным". Стали искать актеров. Профессионалам платили по тридцать франков, любителям же только компенсировали проезд на трамвае до места репетиций в размере десяти франков. Джойс развил бурную деятельность; он посетил генерального консула Э. Перси Беннетта, чтобы заручиться официальной поддержкой этой инициативы. Это ему удалось, хотя Беннетт и "был раздражен тем, что Джойс не уведомил консульство в установленном порядке, чтобы его поставили на обязательный в военное время учет; кроме того, он, вполне вероятно, знал о сотрудничестве Джойса с нейтралистской "Интернэшнл ревью" и о его демонстративном безразличии к исходу всемирной схватки. Возможно, он даже был знаком с напи-

© Copyright Tom Stoppard 1975
© И. Кормильцев. Перевод, 2000

санной как раз в то время джойсовской версией "Мистера Дули"..." (Я цитирую великолепную эллмановскую биографию, которая оказала мне неоценимую помощь в работе над "Травести".)

Между тем Сайкс продолжал набирать труппу... "Ценной находкой оказался Тристан Роусон, красавец, который четыре сезона пел партии баритона в Кельнской опере; правда, опыт драматического актера у него полностью отсутствовал. После долгих уговоров Роусон согласился выступить в роли Джона Уортинга. Сайкс также взял Сесила Палмера на роль лакея и Этель Тернер — на роль мисс Призм... Однако не было исполнителя на главную роль Алджернона Монкрифа. К несчастью, Джойс пригласил на эту роль высокого молодого человека приятной наружности, с которым он как-то познакомился в консульстве. Карр, освобожденный от фронтовой службы по ранению, трудился там на какой-то мелкой должности. Сайкс проведал, что он играл в любительских спектаклях в Канаде, и решил рискнуть.

Что касается игры, то тут Карр оказался на высоте; в порыве энтузиазма он даже приобрел за свой счет несколько пар брюк, шляпу и перчатки для роли Алджернона. Но сразу же после премьеры актер и директор поссорились: когда Джойс выдавал участникам спектакля условленные деньги — кому тридцать, кому десять франков, — он сумел каким-то образом обидеть Карра. Позже тот заявил, что Джойс вручил ему деньги, "словно чаевые".

Скандал тем не менее вышел непропорционально громким: в результате ссоры Джойс и Карр подали в суд друг на друга. Карр требовал возмещения стоимости брюк и прочего реквизита или же участия в прибылях от спектакля, а Джойс требовал возмещения цены пяти билетов, выданных для распространения Карру, и компенсации морального ущерба. Суд завершился только в феврале 1919 года. Джойс выиграл по иску о билетах, но проиграл по вопросу о компенсации. Однако полностью отомстил он недругу на страницах "Улисса", "где он назначал наказания с той же неумолимой скрупулезностью, как Данте... Вначале Джойс намеревался сделать генерального консула Беннетта и Генри Карра двумя пьяными, сквернословящими солдатами, которые избивают Стивена Дедала в эпизоде "Цирцея"; впоследствии, однако, он решил, сделать Беннетта старшим сержантом, командиром рядового Карра, каковой, впрочем, будет относиться к нему безо всякого почтения".

Исходя из этих скудных сведений о Генри Карре — а других мне найти не удалось, — я представил себе пожилого джентльмена, который по-прежнему проживает в Цюрихе, женат на девушке, с которой познакомился в те годы в библиотеке, и пишет свои, не во всем, впрочем, достоверные воспоминания о встречах с Джойсом и дадаистом Тцарой.

Вскоре после лондонской премьеры пьесы я удивился и слегка насторожился, получив письмо, которое начиналось: "Я была потрясена, увидев в газетах рецензии на Вашу пьесу. Дело в том, что я была замужем за Генри Карром вплоть до его смерти в 1962 году". Это было письмо от миссис Ноэль Карр, второй жены Генри.

Я узнал от нее, что Генри Уилфред Карр родился в Сандерленде в 1894 году и воспитывался в Дареме. Кроме него в семье было еще трое сыновей, которые все уже умерли, включая его брата-близнеца Уолтера. В семнадцать лет Генри отправился в Канаду, где некоторое время работал в банке. В 1915 году он поступил добровольцем на военную службу и был направлен во Францию на фронт. На следующий год его серьезно ранили; пролежав пять дней на нейтральной полосе, Карр попал в плен к немцам. Его направили в монастырский госпиталь, а после частичного выздоровления включили в группу, предназначенную для обмена на немецких военнопленных.

Попав в Швейцарию, Генри Карр поселился в Цюрихе, где его пути пересеклись с Джеймсом Джойсом. Встреча эта и привела к драме, разыгравшейся за кулисами, драме, которая обессмертила Генри Карра в качестве второстепенного персонажа в "Улиссе".

В Цюрихе же Карр познакомился со своей первой женой, Норой Таллок. Они поженились в Англии после войны и вернулись в Канаду, где Карр устроился на работу в один из монреальских универмагов. Там он сделал карьеру, дослужившись до секретаря торгового дома.

В 1928 году в Монреале он познакомился с Ноэль Бах, на которой женился в 1933 году после развода. На следующий год Карры перебрались в Англию, где Генри поступил на службу в сталелитейную компанию. Так во время следующей мировой войны он очутился в Шеффилде. После того как в дом Карров попала бомба, они перебрались в деревню в Уорикшире, где Генри командовал ополчением, и остались там жить после окончания войны.

В 1962 году во время поездки в Лондон у Карра случился сердечный приступ, от которого он скончался в госпитале "Сент-Мэри абботс" в Кенсингтоне. Детей у него не было.

Я благодарю миссис Карр за эти биографические подробности и, в частности, за ее благожелательность к автору пьесы, заглавие которой она считала крайне удачным.

Т. С.

Действующие лица

Генри Карр, появляется в пьесе как глубокий старик и как молодой человек. Одевается весьма элегантно; особенное внимание уделяет покрою своих брюк, ибо это подчеркивает его фигуру.

Тристан Тцара, тот самый дадаист. Невысокий, темноволосый, похожий на мальчика, весьма обаятельный (по его собственным словам) молодой человек. Носит монокль.

Джеймс Джойс — это Джеймс Джойс в 1917 году (тогда ему было 36 лет). Постоянно одет в пиджак и брюки от разных костюмов.

Ленин — Ленин в 1917 году, в возрасте 47 лет.

Беннетт, дворецкий Карра. Внушительная фигура.

Гвендолен, младшая сестра Карра, молодая, привлекательная, но норовистая, так что с ней приходится считаться.

Сесили, тоже молодая, привлекательная, но еще более норовистая. Появляется в пьесе также как Сесили в старости.

Надя — Надежда Крупская, жена Ленина: ей 48 лет.

Действие пьесы происходит в Цюрихе, в двух местах: на квартире у Генри Карра *в гостиной (Комната) и в одном из залов Цюрихской публичной библиотеки (Библиотека). События по большей части разворачиваются так, как их вспоминает* Карр, *и относятся к периоду Первой мировой войны, что должно быть отражено в костюмах действующих лиц и меблировке. Подразумевается, что* Старый Карр *продолжает жить в той же самой квартире.*

Главные двери в Комнате следует расположить по центру в глубине сцены: как правило, действующие лица должны появляться из этих дверей, а не из кулис,

ибо при выходе из кулис пропадет задуманный автором эффект. Хорошо, если двери будут двойными. При этом, однако, должна иметься по крайней мере еще одна боковая дверь. Также необходим стол, стоящий в центре сцены, с двумя добротными креслами справа и слева от него, и еще один стол на авансцене в стороне от всей остальной меблировки.

Библиотека предполагает более просторное помещение с книжными шкафами и прочим. Во втором действии Сесили *(библиотекарша) должна сидеть за конторкой, которая в первом действии может и не быть видна. Некоторые из персонажей (в частности,* Надя *) должны также появляться из центральной двери, а не из кулис.*

Библиотеку в прологе и во втором действии необязательно показывать в одном и том же ракурсе.

Действие начинается в библиотеке.

На сцене находятся Джойс, Ленин *и* Тцара.

Гвендолен *сидит с* Джойсом. *Они раскладывают книги, карандаши, бумаги...*

Ленин *тоже окружен со всех сторон книгами и бумагами; он что-то быстро пишет.* Тцара *тоже пишет; рядом с ним на столе – шляпа и большие ножницы. Он заканчивает писать, разрезает исписанный лист на кусочки, слово за словом, и складывает обрезки к себе в шляпу. Закончив это, он встряхивает шляпу и высыпает ее содержимое на стол. Затем быстро выбирает, не глядя, отдельные клочки и складывает их в строки, переворачивая те из них, которые лежат исписанной стороной вниз. Затем он начинает читать вслух то, что у него вышло.*

Тцара. Угри пьют суть нектара
повар вымя тянет ухты тцара
злобно ветер давит шепот орех зари востока
теткин полдень очень хочет Клара

Сесили (*входя*). Тс-с!

Это относится ко всем посетителям Библиотеки в целом. Сесили *появляется из кулисы, а не из двери, и пересекает сцену, скрываясь в противоположной кулисе. Она идет очень быстро, деловой походкой. Никто не обращает на нее внимания.*

Джойс (*диктует Гвендолен*). На Полдень к Холсу Грядем...

Гвендолен (*пишет*). На Полдень к Холсу Грядем...

Джойс. Трижды.

Гвендолен. Ага...

Джойс. Ниспошли нам, о лучезарный ясноликий Хорхорн, разрешение от бремени и приплод.

Гвендолен. Ниспошли нам, о лучезарный ясноликий Хорхорн, разрешение от бремени и приплод.

Джойс. Трижды.

Гвендолен. Ага...

Джойс. Гоп-ля мужичок гоп-ля!

Гвендолен. Гоп-ля мужичок гоп-ля!

Джойс. Гоп-ля мужичок гоп-ля!

Гвендолен. Тоже трижды?

Джойс. Ага...

К этому времени Тцара *уже сложил свои бумажки в шляпу. Он достает жменю бумажек из шляпы и громко зачитывает вслух по одной, складывая прочитанные обратно.*

Тцара. Клара злобно
тянет вымя нектара
повар давит угри востока
теткин шепот... тцара...

Шляпа!

Сесили (*снова проходя по сцене*). Тс-с!

Она принесла несколько книг, которые кладет на стол перед Лениным.

Тцара *выходит из Библиотеки через дверь.*

Крайне необходимо, чтобы зрители заметили следующее: Гвендолен *получает от* Джойса *папку. Сесили получает аналогичную папку от* Ленина. *Эти папки, очевидно с рукописями, должны иметь яркую, кричащую окраску. Каждая из девушек кладет свою папку на стол или на стул и, уходя, берет по ошибке чужую. В первой постановке* Гвендолен *роняла перчатку и т. д. и т. д., но эта подмена может происходить каким угодно образом; важно только, чтобы она была заметна из зала.*

Сесили *тоже уходит, но не в дверь, а, как и раньше, в кулису.*

Когда Гвендолен *выходит, через ту же дверь пытается войти* Надя. *Женщины сталкиваются в проходе и извиняются:* Гвендолен *– по-английски, а* Надя *– по-русски.*

Надя *очень взволнована. Увидев, где сидит муж, она устремляется к нему. Они начинают беседовать: все первое действие* Ленин *и* Надя *говорят по-русски.*

Надя. Володя!

Ленин. Что такое?

Надя. Бронский пришел. Он сказал, что в Петербурге революция!

Ленин. Революция!

В этот момент Джойс *встает и начинает шарить по карманам, разыскивая листки, на которых он записал что-то, нужное ему для работы. Тем временем* Ленин *и* Надя *продолжают беседовать,* Джойс *выуживает из карманов листочки один за другим и читает вслух то, что на них написано.*

Джойс (*зачитывает первый листок*). "Безотрадное наслаждение... пузатый Аквинат... Frate porcospino..."[1] (*Решает, что этот листок ему не нужен, сминает его и выбрасывает. Находит следующий.*) "Und alle Schiffe brücken..."[2] (*Решает, что это пригодится, и кладет листок обратно в карман.*) "Entweder иносущие oder[3] единосущие, токмо, ни в коем случае, не ущербносущие..." (*Решает, что и это ему пригодится.*)

Между тем Ленин *и* Надя *продолжают свою беседу.*

Ленин. Откуда он знает?

Надя. Написано в газетах. Он говорит, что царь собирается отречься от престола!

1. Брат дикобраз (*итал.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. И все корабли смостились (*искаж. нем.*).
3. Либо... либо... (*нем.*).

Ленин. Что ты!

Надя. Да!

Ленин. Это в газетах?

Надя. Да, да. Идем домой. Он ждет.

Ленин. Он там?

Надя. Да.

Ленин. Газеты у него?

Надя. Да!

Ленин. Ты сама видела?

Надя. Да, да, да!

Все это время, однако, голос Джойса *звучит значительно громче. Он находит другой листок, который лежит на полу. Этот листок незадолго до того печально обронил* Ленин. Джойс *поднимает листок.* Надя *выходит из Библиотеки через дверь,* Ленин *говорит ей вдогонку по-русски.*

Ленин. Иди назад и скажи ему, что я приду. Только вот соберу свои бумаги.

Джойс. "Дженерал электрик компани (С. Ш. А.) 250 миллионов марок, 28 000 рабочих, прибыль 254 000 000 марок..."

Ленин, услышав знакомые слова, подходит к Джойсу.

Ленин. Pardon!.. Entschuldigung!.. Scusi!.. Извините!

Джойс *(передавая ему листок).* Je vous en prie! Bitte! Prego! Бывает!

Ленин *уходит.* Джойс *теперь один в Библиотеке.*

(Декламирует).

Библиотекарша в городе Цюрих
Тишину обожала натюрлих;
Крик Nicht Reden! Silence![1]
Погружал быстро в транс
Посетителей малокультурных...

Сесили (*проходя через сцену как прежде*). Тс-с!

Джойс *замолкает, надевает шляпу, берет трость и, напевая, выходит. Все это время Сесили смотрит на него с нескрываемым презрением.*

Джойс.

Когда в Ирландию вернемся из-за моря,
Мы налюбуемся на склоне наших дней,
Как светел месяц над горою Кладдах
И как горит закат над бухтой Голуэй...

На сцене появляется Старый Карр. *Библиотека тем временем должна превратиться в комнату. Лучше, если это произойдет по возможности незаметно; приветствуется использование музыки в качестве связки между сценами.*

ПРИМЕЧАНИЕ. В первой постановке в Комнате стояло пианино, на котором время от времени играл Старый Карр. *В момент смены декораций он играл (отчаянно фальшивя) мелодию "Бухты Голуэй". Впрочем,* Карр *может появиться на сцене и сразу сидящим в кресле в позе, типичной для погруженного в воспоминания старика...*

1. Тише! (*нем., франц.*)

КАРР. Он был ирландец, понятное дело. Правда, не совсем из Лимерика; родился и вырос в Дублине — кто этого не знает! У него что ни книга, то про Дублин.

Молодой человек из Ду́блина
та-та-рам та-та-рам-та углу́блено...

Нет, не так...

Молодой человек из Дубли́на
та-та-рам та-та-рам-та дуби́на...

Раньше у меня это ловко выходило, но работа в консульской службе не способствует, увы, развитию поэтического дарования. Никаких поблажек, никаких поощрений. Что поделать: консульская служба никогда не придавала особенного значения способностям своих сотрудников к версификации и не требовала наличия таковых в качестве условия для успешной дипломатической карьеры. Нет, нет, никто, разумеется, ничего не запрещал: я далек от подобных утверждений! Напротив, трудно назвать какое-либо другое учреждение, собравшее под своей эгидой такое множество просвещенных личностей, благосклонных к изящным искусствам. Да что там говорить — ведь именно эта благосклонность и свела вместе меня и Джойса. Вот он входит в этот самый кабинет — ваша поддержка? — наша поддержка? наша полная поддержка! — театральное событие высшего класса, сногсшибательный успех, мой личный триумф в ответственной роли Эрнеста — нет, не Эрнеста — того, другого, но тоже роль первого плана — и не забудьте сандвичи с огурцом для леди Брэкнелл... потом вышел конфуз, но не стоит об этом. Ирландский хам! Я, однако, незлопамятен, тем более что с тех пор столько воды утекло и тело его давно покоится на кладбище, что вон на том холме; никто ни на кого не в обиде, полное отпущение грехов. Конечно, неприятно было ввязываться в судебное разбирательство из-за нескольких франков (дело, впрочем, не в деньгах, да и не в брюках, конечно), но, как ни крути, поощрение стихотворчества не числилось среди приоритетных задач британского консульства в Цюрихе в том далеком семнадцатом году, так что нынче я уже не столь ловок в обращении с рифмой, как в молодые годы. Слишком поздно браться вновь за перо. Увы, но что поделаешь? Впрочем, я отклонился от темы. Но я не стану просить у вас прощения за это: именно лирические отступления придают особую прелесть воспоминаниям пожилых людей.

Итак, мы, кажется, говорили о моих мемуарах, не так ли? "Времена и люди. Накоротке с великими". "Воспоминания о Джеймсе Джойсе". "Джеймс Джойс, каким я его знал". "По судам вместе с Джеймсом Джойсом".

Меня часто спрашивают: "Каким он был, этот Джойс?" Что я могу ответить? Да, действительно, я был близок с Джойсом во времена наивысшего расцвета его таланта, в те времена, когда гений его был поглощен созданием "Улисса", то есть задолго до того, как публикация романа и последовавшая за ней слава превратили писателя в объект праздного любопытства фоторепортеров, облаченный, как правило, в бархатный смокинг неизвестного цвета — ведь цветной фотографии тогда еще не существовало, — но, вероятнее всего, это был васильково-синий цвет, если не кричаще лиловый — и с букетиком этих ужасных фиалок в руке, проявление дурного вкуса, терявшееся, впрочем, при проявке, — просто кош-

мар, какая безвкусица, посади, что называется, свинью за стол — постойте, о чем это я? — ах да, "Воспоминания о Джеймсе Джойсе"... Итак, продолжаем.

У тех из нас, кто знал Джойса, гениальность этого человека не вызывала сомнений. Находясь в его присутствии, невозможно было не ощутить мощь этого блистательного ума, воздвигавшего у нас на глазах основание для памятника, на котором зиждется бессмертная слава его создателя, — книги, ставшей известной человечеству под названием "Улисс". Хотя в то время мы еще знали ее (если мне не изменяет память) под рабочим названием "Блумки на блямках".

Предусмотрительный, предупредительный был он человек, этот Джойс, без малейшего налета распущенности или там вульгарности в манерах, но при этом общительный; не мот, но и не скряга из тех, кто чахнет над золотым тельцом во всех его движимых и недвижимых разновидностях. Он просил у мира лишь самого необходимого, с равнодушием аскета отказывая себе в земных удовольствиях и телесном комфорте, но не лишая себя при этом радостей светского общения; присущие же последнему соблазны он, впрочем, отвергал с равнодушием монаха, которое лишь изредка нарушали внезапные и катастрофические вспышки его бурного темперамента. Короче говоря, непростая личность, настоящая загадка, скопище противоречий: глашатай истины, яростный полемист и в то же время по сути своей замкнутый человек, искавший постоянно уединения и мечтавший только о том, чтобы его безразличие к проявлениям внимания со стороны общества стало известно всему миру. А проще выражаясь: лжец, лицемер, драчливый, похотливый и хвастливый пропойца, из-за которого жаль даже бумагу марать. На этом и закончим.

"Продолжение воспоминаний консульского работника в нейтральной Швейцарии". "Радости и горести работника консульства в Цюрихе во времена Первой мировой войны. Зарисовки".

Итак, я окунулся в кипение жизни этого города, где по улицам между серых каменных громад банковских зданий мчатся стремительные трамваи, где мимо пропитанных космополитическим духом ресторанов, выстроившихся вдоль серых каменных набережных, мчит свои стремительные сопливо-зеленые воды (mucus mutandis)[1] река Лиммат, где собрались сливки поднятого войной потока беженцев и эмигрантов и среди них, в частности, — Ленин... да, да, Ленин!.. "Ленин, каким я его знал". "Ленин, которого я знал". "На полпути к Финляндскому вокзалу с В. И. Лениным. Зарисовки".

Я отлично помню свою первую встречу с Лениным, или, как было написано в его читательском билете, с Владимиром Ильичом Ульяновым. Находясь в его присутствии, невозможно было не ощутить величия этой личности — излучавшей демонизм, магнетизм, но вряд ли, если мне не изменяет память, астигматизм, ибо ничто во взгляде его проницательных карих глаз не указывало на то, что он страдал этим расстройством зрения. Удивительно простой в общении человек и в то же время — интеллектуал и теоретик, воздвигавший, как мне уже тогда было известно, у нас на глазах основание памятника, на котором зиждется бессмертная слава его создателя, — идею всемирной федерации советов рабочих и

1. Перефразированное латинское выражение "mutatis mutandis" (с соответствующими изменениями); mucus — слизь, сопли (*лат.*).

крестьянских депутатов. Когда я пожал руку этому динамичному, энергичному, но, по моему глубокому убеждению, ни в коей мере не анемичному незнакомцу, на высокий лоб которого ниспадали светлые пряди; густая грива соломенных волос и гладко выбритый подбородок придавали ему сходство с древним викингом... стоп! стоп! похоже, я его с кем-то путаю... не стоит обращать внимание на мелочи, главное — напор, в напоре вся сила. Действительно, кто (сами посудите: это сейчас легко, уже с учетом исторической ретроспективы, держа в руках альбом с фотографиями, на которых мы видим Красную площадь, битком набитую товарищами большевиками — а, вот и главный оратор! — лысый, с бородкой, в костюме-тройке — разрази меня гром, если это не Ульянов! — как же, как же, я его знавал: он всегда сидел между окном и шкафом с книгами по экономике от А до К, и далее в том же роде, — но отбросьте все это в сторону), кто мог сказать тогда, кем был ему Радек, и кем был он Радеку, или Мартову, или Мартынову, или Плеханову, и кем все они были ему в Цюрихе в семнадцатом году? Сидели по кофейням, шептались как заговорщики, ну и что с того? Шансов у них было не больше, чем у сосульки в мае. Один на миллион. Да нет, еще меньше — стоит только вспомнить то время. Их первое собрание: "Социал-демократы за гражданскую войну в Европе". Присутствовали: четверо. Сам Ульянов, его супруга, Зиновьев и полицейский шпик. А теперь они все хотят знать, каким он был, этот Ленин! Меня часто спрашивают: "Каким он был, этот Ленин?" (Морщит лоб, пытаясь вспомнить.) У тех из нас, кто знал Ленина, величие этого человека не вызывало сомнений. (Осознает тщетность своих усилий.) И почему ты не поставил на него тогда фунт? Был бы сейчас миллионером, как тот парень, что поставил шесть пенсов против "Титаника"! Нет, нет и еще раз нет. Честно говоря, никто не мог бы подумать, что мышь, собравшаяся в угловой комнате по адресу Шпигельгассе, четырнадцать, родит гору. Стоп! однако забавно: на одной и той же улице одновременно замышлялись две революции. "Лицом к лицу на Шпигельгассе, улице Революции. Зарисовка". От берегов медленно струящейся унылой Лиммат устремим шаги на запад и немедленно очутимся по горло в воде, устремим шаги на восток и, оставив за спиной бурлящий мегаполис банков и хронометров, очутимся посреди Старого города, где время остановилось, запутавшись в лабиринте улочек. Кстати, вы мне не поверите, но именно тут располагался квартал красных фонарей с россыпью лавочек, торгующих порнографией, — настоящее логово порока посреди чопорной Швейцарии, так что приготовьтесь бороться с соблазнами — впрочем, я опять отвлекся, — итак, второй поворот направо, третий поворот налево, и мы на Шпигельгассе. Узкая, мощенная булыжником улочка, строгие старые дома, солидные фасады, а вот и дом сапожника — Каммерер его фамилия, дом номер четырнадцать. У него и снимает комнату Ленин. А наискосок, под номером первым, располагается погребок "У молочника" — то самое горнило, в котором рождалось антиискусство, колыбель дадаизма!!! Что? Вы сказали да-да-изма? Вы еще помните про дадаизм? Да, это было нечто среднее между футуризмом и сюрреализмом, помесь Маринетти с Андре Бретоном, течение, возникшее в краткий промежуток между Войной, Которая Положит Конец Войнам, и годами ожидания Следующей Войны? Дада! Долой разум, логику, причинно-следственную связь, традицию, пропорцию, смысл и осмысленность — *мое искусство принадлежит Дада, потому что Дада очень любит меня...*

Итак, решено: "Воспоминания о дадаизме консульского работника в Цюрихе. Накоротке с великими. Зарисовка".

Меня часто спрашивают: "Какое отношение имеет дадаизм к Первой мировой войне? Как зародилось это течение? Где и когда? Кто был его основателем и почему он дал своему детищу такое имя?" Это всего лишь некоторые из вопросов, которые продолжают волновать поклонников дадаизма во всем мире. Те из нас, кто присутствовал при рождении дадаизма, побывали, выражаясь топографически, на высочайшей вершине развития западноевропейской культуры. Я отлично помню, словно это было вчера (где они теперь, друзья моих юных дней!), как Хьюго Болл – или Ханс Арп? – нет, нет, Пикабиа! – да нет, это был Тцара, не кто иной, как он! – написал свое имя концом трости на снежном сугробе и сказал: "Вот! Отныне я нарекаю эти горы Альпами!" Ах, эти ушедшие годы! Ничто, кроме возраста, не может нас заставить забыть о них! Там, где-то вдалеке за лесом, за горами земля изрыта воронками разрывов, но здесь об этом напоминает только покрытый дырками ломтик сыра – Боже! я спасен ценой крови, пролившейся из неопасной раны, выхвачен Твоею десницей и опущен на склоны этих заснеженных гор. О Швейцария! Подобная белому флагу, мирная, цивильная Швейцария с ее ментальным нейтралитетом, с ее рассудительной непредвзятостью, с ее пактами о ненападении, с ее Международным Красным Крестом – с тем явным предпочтением, которое она отдает запаху плюшек перед грохотом пушек! И вот в этот приют для всех, кого искалечила, лишила крова и разметала война, явился юный... Карр из консульства, Генри Карр, не о чем тут и спорить, откройте любую книгу и наткнетесь на мое имя.

Что же касается всего остального, всяких там мелочей и хронологии, то я готов вступить в дискуссию, если вы согласны вести со мной переписку. Я согласен внести все необходимые исправления, если это не касается моего роста, который я помню абсолютно точно, а также всего, что связано с моим успешным дебютом в ответственной роли Эрнеста (нет, не Эрнеста – того, другого...), итак, я испытал огромное облегчение, достигнув неподвижной оси колеса мировой истории, имя которой – Швейцария. Обратите внимание...

Молодой Карр *в 1917 году сидит в своем цюрихском кабинете. Самое лучшее, если актер будет просто снимать, скажем, пальто и шляпу. Никаких париков или накладной бороды, никакого грима – возраст* Карра *изображается исключительно голосом.*

...Обратите внимание на главную особенность Швейцарии: здесь не бывает войны. Даже когда война *повсюду*, в Швейцарии ее нет.

Беннетт. Да, сэр.

Беннетт *только что вошел в Комнату. Он держит в руках поднос, на котором стоят две чайные чашки и блюдо с сандвичами.*

Карр. Именно полное отсутствие воинственности в сочетании с показной точностью часов, вывешенных в общественных местах, придают этой стране такую успокаивающую нервы неизменность. Любой человек инстинктивно чувствует: Швейцария никуда не денется. И никогда не превратится во что-нибудь другое. Без сомнения, Беннетт, вы слышали разговоры о благотворном воздействии швейцарского воздуха. Подразумевается, что именно он и есть причина швейцарского постоянства.

Беннетт. Да, сэр.

Карр. Отчаявшиеся люди, которые своими ушами услышали, как часы пробили тринадцать раз в Эльзасе, Триесте, Сербии и Черногории, которые увидели, как земля разверзлась у них под ногами в Эстонии, Австро-Венгрии и Оттоманской империи, приезжают в Швейцарию, делают несколько глотков местного воздуха, и тут же гул и звон у них в ушах превращаются в равномерное и приятное для слуха тиканье, а земля у них под ногами перестает крениться и становится такой же надежной, как эти Альпы. Сегодня вечером меня потянуло в театр; *заберите* у портного прямые брюки с голубой сатиновой полосой и шелковым поясом. Запонки, пожалуй, надену опаловые.

Беннетт. Да, сэр. Я положил телеграммы и газеты на буфет, сэр.

Карр. Есть что-нибудь интересное?

Беннетт. "Нойе цюрихер цайтунг" и "Цюрихер пост" сообщают, каждая со своей стороны, о существенных победах армий Антанты и Германии, соответственно. Врагу нанесен серьезный урон, собственные потери незначительны.

Карр. Ах да... война, опять эта война! Бедные парни! Как бы мне хотелось вернуться в окопы! — к моим товарищам по оружию! — дух братства, царящий среди грязи и колючей проволоки! — дни отваги и ночи бесстрашия! Счастлив был тот, кто доживал до рассвета! Остаться в живых было все равно что попасть в рай! За всю историю человечества свет не видывал более кровавой резни! — В бога душу мать! свист снарядов! — запах тления! — Боже правый! — Чертовы дурни, они бросили нас в самое пекло! — Ora pro nobis![1] Ангелы, скорее, скорее, *заберите*... да, да, именно заберите у портного... К этой гвоздике чудесно бы пошел галстук цвета бычьей крови, накрахмаленный, небрежно завязанный, скрепленный простой заколкой, отвороты у сюртука могут быть алого цвета — или коричневые? — нет, нет, кремово-желтые, — итак, заберите у портного прямые брюки с голубой сатиновой полосой и шелковым поясом. Запонки, пожалуй, надену опаловые.

Беннетт. Да, сэр. Я положил телеграммы и газеты на буфет, сэр.

Карр. Есть что-нибудь интересное?

Беннетт. Тема войны продолжает доминировать в прессе, сэр.

Карр. Ах да... война, вечно эта война...

Примечание к предыдущей сцене, касающееся и почти всей пьесы в целом: события развиваются в соответствии с капризами старческой памяти Генри Карра, *которой нельзя доверять вполне, а также окрашена его предрассудками и комплексами. Вследствие этого действие, подобно игрушечному поезду, то и дело сходит с рельсов, после чего его приходится снова заводить и запускать с того места, откуда оно пошло вразнос.*

В этой сцене несколько таких "прыжков во времени", которые отмечены повторением обмена репликами между Беннеттом *и* Карром *о "телеграммах и газетах". Позже в пьесе встречаются подобные же места; память* Карра *на середине прерывает сцену и разыгрывает ее снова, начиная с какой-нибудь неизменной реплики (см. беседу* Карра *и* Сесили *в Библиотеке). Желательно подчеркнуть такие моменты при помощи определенного звука или светового эффекта. Искусственно усиленный звук часов с кукушкой*

1. Молись за нас! (*лат.*)

вполне подходит, поскольку символизирует как время, так и Швейцарию; в этом случае желательно, чтобы настоящие часы с кукушкой били несколько раз во время первого монолога Карра. *Главная задача состоит в том, чтобы происходящее ни в коем случае не озадачивало зрителя, чтобы он ясно понимал, чем вызваны все эти "прыжки во времени".*

Я был на Сэвил-роу, когда это известие коснулось моего слуха. Как раз болтал с парикмахером в заведении Дрюитта и Мэджа. На мне были брюки из ткани в "лапку", слегка расклешенные от колена – оригинальный фасон. Сам старый Дрюитт – а может, и Мэдж – подошел ко мне и сообщил новость. "Коварные гунны!" – воскликнул я. "Чертовы боши!" – отозвался он, и я, в то время еще незнакомый с этим прозвищем, откланялся, вышел на улицу и направился к Триммету и Панчу, где заказал клетчатые спортивные бриджи с врезными карманами. К тому времени, когда их сшили, я был уже во Франции. То было великое время! Рассвет над нейтральной полосой между окопами противников. Капли росы, сверкающие на заре на алых лепестках маков! На Западном фронте без перемен... Все тип-топ, сэр! Все тип-топ! Все тип-топ!

Беннетт. Приходил незнакомый джентльмен, сэр. Я предложил подождать вас, но он не стал.

Карр. Чего он хотел?

Беннетт. Он не соизволил сообщить цель визита. Оставил свою визитную карточку. (*Подает карточку на подносе.*)

Карр (*читает*). "Тристан Тцара. Дада Дада Дада". Он что, заика?

Беннетт. Он говорит по-французски с румынским акцентом и носит монокль.

Карр. Явно пытается выдать себя за шпиона. Эта разновидность тщеславия, как я заметил, широко распространилась среди цюрихской публики с тех пор, как началась европейская война. Это создает жуткие неудобства. Мнимые шпионы добавляются к настоящим, которые назначают друг другу тайные встречи в "Одеоне" или "Террасе", отчего и в том и в другом кафе практически невозможно найти свободный столик.

Беннетт. Однажды я заметил этого джентльмена в "Террасе" с группой друзей, сэр. Мне, разумеется, неизвестно, шпионы они или нет.

Карр. Я не вижу особенной разницы между тем, чтобы быть шпионом и притворяться им, говоря по-французски с румынским акцентом и вставив в глаз монокль. И то и другое граничит с дурным вкусом. Второе даже хуже, поскольку создает обманчивое впечатление коварства и приводит к бессмысленному скоплению людей в кафе: бессмысленному, потому что в результате мы не имеем ни настоящего заговора, ни подлинной измены родине, а одни только проблемы. В конце концов, разве не написал Ларошфуко в своих "Максимах", что весной в военное время джентльмену трудно найти свободный столик в цюрихском кафе из-за фальшивых шпионов, загадочно глядящих на полицейских шпиков, не сводящих глаз с настоящих шпионов, следящих в свою очередь за агентами контрразведки. Чертова страна, здесь даже в сыре есть дырки, чтобы подглядывать! (*В раздражении терзает вилкой сандвич с сыром.*)

Действие снова становится неуправляемым и сходит с рельсов.

Беннетт. Да, сэр. Я положил телеграммы и газеты на буфет, сэр.

Карр. Есть что-нибудь интересное?

Беннетт. Революция в России, сэр.

Карр. Неужели? Что за революция?

Беннетт. Социальная революция, сэр.

Карр. Социальная революция? Дамы являются в оперу одни, без кавалеров, и курят? Что-нибудь в этом духе?

Беннетт. Не совсем, сэр. Скорее, речь идет о классовой борьбе, ожесточившейся в результате чудовищного неравноправия, царившего в русском обществе.

Карр. О классовой борьбе? Что вы имеете в виду, Беннетт?

Беннетт. Хозяева и рабы. Как обычно, сэр.

Карр. Ах вот оно что! Хозяева и рабы. Классовая борьба.

Беннетт (*с присущим ему бесстрастием*). Имели место случаи насилия.

Карр. Ясно. Что ж, Беннетт, я ни в малейшей степени не удивлен. Не хочу задним числом выглядеть пророком, но любой, кто хотя бы отчасти знаком с нравами русского общества, заметил бы, что недалек тот день, когда угнетенные классы, разочарованные постоянным пренебрежением их интересами, встревоженные непрекращающимся падением рубля и, что важнее всего, раздраженные свыше всякой меры наглыми требованиями прислуги, восстанут против тирании дворецких, лакеев, поваров, камердинеров... (в скобках, Беннетт, я вижу по вашим записям, что в четверг, когда у меня обедал мистер Тцара, в счет поставлено восемь бутылок шампанского. Я не раз говорил вам о пользе умеренности, Беннетт. На этот раз я скажу вам только: вспомните Россию!)

Беннетт. Да, сэр. Я положил телеграммы и газеты на буфет, сэр.

Карр. Есть что-нибудь интересное?

Беннетт. Царь отрекся от престола, сэр. Создано Временное правительство, которое возглавил князь Львов. Военным министром назначен Гучков, министром иностранных дел — Милюков. Социалист Керенский получил портфель министра юстиции. Введение Керенского в кабинет нацелено на то, чтобы народ поддержал Временное правительство, власть которого оспаривают комитеты рабочих депутатов — так называемые Советы, — которые в настоящий момент объединяют социалистов всех цветов и оттенков. Трудно, однако, ожидать, что социалисты попытаются взять власть в свои руки, поскольку произошедшая революция рассматривается ими как исполнение пророчества Карла Маркса о буржуазно-капиталистическом этапе в движении России к социализму. Согласно марксистской догме страна не может одним прыжком перейти от самодержавия к социализму. В то время как *окончательная* победа социализма неизбежна, поскольку ею завершается диалектический процесс исторического развития, ей должен неизбежно предшествовать буржуазно-капиталистический этап развития. Только когда наступит соответствующий момент, и ни в коем случае не раньше, произойдет следующая революция, которой будет руководить организованный класс промышленных рабочих — так называемый пролетариат, — который установит свою временную диктатуру, для того чтобы обеспечить безопасность на время перехода от классического государства к подлинной коммунистической утопии. Таким образом, каждый русский марксист обязан приветствовать нынешнюю буржуазную революцию, хотя на ее полное завершение может понадобиться жизнь нескольких поко-

лений, как это видно на примерах Западной Европы или Соединенных Штатов. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время Россия превратится в страну с парламентско-демократическим устройством, близким к британской модели.

Карр. Это шифрованная телеграмма или газеты?

Беннетт. Общее мнение большинства ежедневных лондонских газет, а также юмористических и политических еженедельников, подтвержденное слухами, распространяемыми в Цюрихе всей этой толпой разведчиков, контрразведчиков, радикалов, художников и всякого отребья. Кстати, сэр, приходил мистер Тцара. Ждать не стал.

Карр. Я не в восторге, Беннетт, от того, что вы начинаете усваивать это модное новшество, именуемое "ассоциативным мышлением". Я знаю, что это последний писк моды в Цюрихе: даже в приличных салонах вести беседу в наши дни — это все равно что пытаться читать сонет через строчку. Но если прислуга начнет подражать нравам света, то это приведет только к полному упадку и разложению.

Беннетт. Простите, сэр. Я вспомнил про мистера Тцару, потому что он как раз художник...

Карр. Кто вам позволил судить о моих друзьях, Беннетт? То, что мистер Тцара — художник, это его личное несчастье, которое никого не касается.

Беннетт. Да, сэр. Я положил телеграммы и газеты на буфет, сэр.

Карр. Есть что-нибудь интересное?

Беннетт. В Санкт-Петербурге Временное правительство заявило о своем намерении продолжать войну до победного конца, чем завоевало симпатии правительств стран Антанты. Однако комитеты рабочих депутатов, так называемые Советы, считают войну империалистической авантюрой, которая ведется вопреки интересам рабочего класса воюющих держав. Тех, кто поддерживает эту авантюру, Советы заклеймили выражением, которое переводится на английский примерно как "лизоблюдствующие прислужники буржуазии". По моему мнению, такая грубость неуместна и излишня...

Карр (*томно*). Боюсь, что меня не слишком интересует ваше мнение, Беннетт...

Беннетт (*извиняясь*). Оно действительно не представляет особенного интереса, сэр. Однако Советы решили, что солдаты и матросы не будут повиноваться приказам Временного правительства, чем завоевали симпатии германского правительства. При этом следует отметить, что в рядах левых нет подлинного единства. Существует и более экстремистская позиция, которой придерживается партия большевиков. По их мнению, российская ситуация обладает рядом уникальных особенностей, которые Маркс не мог предвидеть, а посему буржуазно-капиталистический этап в российской истории завершился в течение нескольких последних дней и теперь настало время для пролетарской революции. Далее большевики утверждают, что солдаты должны обратить оружие против своих офицеров и превратить империалистическую войну в гражданскую. Большевики, правда, представляют в Советах незначительное меньшинство, а их вождь, Владимир Ульянов, известный

также как Ленин, находится в изгнании со времени неудачной революции 1905 года и в настоящее время проживает в Цюрихе.

Карр. Ну, разумеется!

Беннетт. Да, сэр. С вашего позволения я процитирую Ларошфуко: "Quel pays sanguinaire, même le fromage est plein des trous"[1]. Ленин отчаянно пытается вернуться в Россию, но союзники, естественно, всячески препятствуют ему в этом. Поскольку Ленин в настоящий момент является чуть ли не единственным представителем большевистской ортодоксии, которую, несомненно, он сам и создал, с его взглядами в Санкт-Петербурге никто особенно не считается. Такие видные большевики, как Сталин и Каменев, заняли более умеренную позицию. Даже самый отчаянный любитель пари не поставил бы на то, что точка зрения Ленина возобладает больше, чем один к миллиону. Однако предполагается, что именно вы поможете ему вернуться на родину.

Карр. Общее мнение юмористических и политических еженедельников?

Беннетт. Телеграмма от министра. (*Поворачивается, чтобы покинуть кабинет.*)

Карр. Один к миллиону.

Беннетт. Я бы поставил на него фунт, сэр.

Карр. Вы его знаете?

Беннетт. Разумеется, сэр. И, чтобы развеять ваши сомнения, скажу, что по мнению лондонских газет в действительности нам следует опасаться Керенского. (*Выходит.*)

Карр (*в сторону*). Беннетт начинает проявлять тревожащую меня склонность к иронии. Я всегда полагал, что ирония у низших классов общества есть симптом пробуждения социальной ответственности, хотя в настоящий момент еще трудно сказать, к чему это в конечном итоге приведет — то ли к вооруженному восстанию с захватом средств производства, распределения и товарообмена, то ли к расцвету либеральной журналистики.

Беннетт (*входя*). Мистер Тцара.

Входит Тцара, Беннетт *удаляется.*

Карр. Как поживаете, дорогой Тристан? Что привело вас сюда?

Этот Тцара *(поскольку будут и другие) выглядит как ходячая пародия на румына. Появление его может сопровождаться соответствующей музыкой.*

Тцара (*полон энтузиазма, говорит с чудовищным румынским акцентом*). Развлечения, развлечения! А что же еще? Как всегда, жуете, Генри? Эй, эй, к чему тут все эти чашки и все такое? Кого вы ждете к чаю? Надеюсь, это Гвендолен! Я люблю ее, Генри! Я приехал сюда на трамвае с намерением сделать ей предложение — о-го-го!

Беннетт (*входя*). Мисс Гвендолен и мистер Джойс.

Входят Гвендолен *и* Джеймс Джойс. Беннетт *остается у двери.* Гвендолен *и* Тцара *пристально смотрят друг на друга, но этого никто не замечает, потому что в тот же момент начинает говорить* Джойс.

Джойс. Я — Джеймс Августин Джойс, всем привет!
И живу здесь уж много я лет,

1. Эта умеренная страна, где даже в сыре есть дырки (*франц.*).

извиняюсь за вид
и поспешный визит,
но мне нужен ваш мудрый совет...

Этот Джойс *выглядит как ходячая пародия на ирландца. Дальнейшая сцена написана лимериками.*

Карр. Извините... как все же вас звать?

Джойс. Матерь божья!.. Ну что ж, объяснять,
Видно, все мне придется сначала...

Тцара. Ах, мисс Карр!

Гвендолен. Вы пришли, мистер Тцара?

Джойс (*только что заметив* Тцару).
Попросил бы не перебивать!

Гвендолен. Ах, какая неловкость, друзья,
Что представить забыла вас я!

Карр. Генри!

Джойс. Джеймс!

Гвендолен. Гвен!

Тцара. Тристан!

Джойс. Стало все по местам:
На чужбине мы все — как семья...

Карр. Говорят, вы, однако, поэт?

Джойс. Вы читали?

Карр. К несчастию, нет.
Но ваш облик таков,
Что понятно без слов...

Джойс. Я — ирландец!

Карр. Достойный ответ!
Лимерик — ваша родина?

Джойс. Дублин, увы!
Неужели заранее знали все вы?

Гвендолен. Он нуждается в средствах, ведь...

Джойс. Часто гении бедствуют.

Тцара. Если только уже не мертвы...

Гвендолен . Мистер Тцара — великий артист,
Первый в мире поэт-дадаист.
По субботам всегда
Он читает дада
В клубе, там, где был раньше стриптиз...

Джойс. Мистер Карр не поклонник дады,
И подобной даде ерунды...

Тцара. Говорить надо "да́да"!

Джойс. Но признаюсь, мне надо...

Карр. Право, если вам деньги нужны...

Гвендолен. Генри! Деньги совсем не важны
Поддержал бы ты пьесу,
Чтоб придать тем ей весу...

Карр. Что ж...

Джойс. И парочку фунтов взаймы!

Карр. Я согласен: пусть в этой войне
Музы с танком идут наравне.

Тцара. Музы? С крыльями тёти?

Гвендолен. Ах, ну что вы плетете!

Джойс. Мне б и фунта хватило вполне.

Карр. Боши верят, вам должен признаться я,
Что любая культурная акция
Заменяет пять танков...

Джойс. Дайте двадцать пять франков!

Карр. Или роту...

Джойс. Согласен на двадцать.

Тцара. Ненавижу я люто культуру,
А особенно литературу!

Джойс. Хватит мне и десятки...

Гвендолен. Дадаисты мне гадки!

Тцара. И зачем я поверил вам сдуру...
Я на классиков смачно плюю!

Гвендолен. (Ах!)

Тцара. От Бетховена просто блюю!

Гвендолен. (Ох!)

Тцара. Лишь дада даст все нам!

Гвендолен. Невоспитанный хам!

Тцара. Я на разум и логику сссс —

Гвендолен. Дадаисты мне гадки!

Джойс (*к Беннетту*). Что, вам жалко десятки?

Гвендолен. Я боялась, что скажет он "ссу".

Запоздало прикрывает рот рукой. Карр *пребывает в глубокой задумчивости.*

Карр. Итак, речь шла у нас о "Йоланте"?

Тцара. Ненавижу!

Карр. За что же?

Тцара. Avanti!
Gut'n Tag! Adios![1]

Гвендолен . Au revoir![2]

Тцара. Vamonos![3]

Беннетт. Господа, я прошу, перестаньте! (*Закрывает дверь за* Гвендолен *и* Тцарой.)

Происходившее до сих пор слегка напоминало сумасшедший дом, но вот все уходят, и на сцене остается только Джойс, *который никак не может успокоиться.*

1. Валяйте! Добрый день! Прощайте! (*итал., нем., исп.*)
2. До свиданья (*франц.*).
3. Пошли! (*исп.*)

Джойс. Авангардный поэт из Карпатии
Дописался до психопатии:
Он разре́зал на строчки
Телеграмму от дочки
И открытку от собственной матери.

В промежутке между лимериками свет начинает гаснуть.

Одаренный рифмач из Ирландии
Простудил на ветру свои гланды, и
Онемел он навеки,
И смежил свои веки,
И не стал популярным в Ирландии.

Если мне надоела компания,
Говорю: "Извиняюсь заранее,
Но сегодня лишь Блум
Занимает мой ум –
И поэтому всем до свидания!" (*Уходит.*)

Пауза. На слабо освещенной сцене – неподвижный Карр *в кресле.*

Карр. Итак, начнем с начала. "*Цюрих глазами очевидца*".

Обычное освещение.

Беннетт (*входя*). Мистер Тцара.

Карр. Как поживаете, дорогой Тристан? Что привело вас сюда?

Тцара. Ах, развлечения, развлечения! А что еще движет людьми, Генри?

На этот раз Тцара, не в меньшей степени, чем Карр выглядит так, словно сошел со страниц "Как важно быть серьезным".

Карр. Я не в восторге, Тристан, от того, что вы начинаете усваивать эти модные идеи в духе Бентама. Я знаю, что это последний писк моды в Цюрихе: даже в приличных салонах одно упоминание о том, что кем-то может двигать чувство долга, приводит к ужасным сценам. Но если свет начнет прислушиваться к бредням философов, то это приведет только к полному упадку и разложению.

Тцара. Как всегда, жуете и пьете шампанское, Генри? Я не раз замечал, что стоицизм проповедуют всего убедительнее именно эпикурейцы.

Карр (*обиженно*). Я всегда полагал, что полезно выпить стакан белого рейнвейна с сельтерской перед обедом, и чем больше времени осталось до обеда, тем это полезнее. Я приучился пить этот напиток для того, чтобы успокоить нервы, в то время когда нервы были еще в моде в высшем свете. В этом сезоне в моде окопный ревматизм, но я все равно продолжаю пить рейнвейн с сельтерской, потому что после него я стал чувствовать себя гораздо лучше.

Тцара. Может быть, Генри, вы стали бы чувствовать себя гораздо лучше и без рейнвейна?

Карр. Дыма без огня не бывает, Тристан.

Тцара. С тех пор как идет война, огня и дыма стало так много, что никто не помнит, с чего все началось.

Карр. Но с чего-то все началось. Я, правда, забыл с чего, но в свое время об этом писали все газеты. Не с бедной ли маленькой Бельгии?

Тцара. Разве? Мне всегда казалось, что с Сербии...

КАРР. С бедной маленькой Сербии?.. Решительно невозможно. Британские газеты не осмелились бы призвать свой народ на защиту страны, название которой не звучит достаточно звонко в заголовках на первой полосе.

ТЦАРА. Что за чушь, Генри!

КАРР. Может быть, это и чушь, но уж никак не глупость!

ТЦАРА. А я устал от умников. Умники пытаются навязать вселенной свои представления о ней, а когда вселенная отказывается им соответствовать, они сетуют на превратности рока. На самом же деле всем правит Случай, в том числе и самими умниками.

КАРР. Вы сейчас сами умничаете, Тристан. Только что вы имеете в виду? Если вы что-нибудь вообще имеете в виду, конечно.

ТЦАРА. Я имею в виду, мой дорогой Генри, что те причины, от которых, как нам известно, все зависит, в свою очередь зависят от причин, о которых нам известно крайне мало, а те в свою очередь зависят от таких причин, о которых нам совсем ничего не известно. И в обязанности художника входит издеваться, глумиться и насмехаться над распространенным убеждением, что все неисчислимое множество наблюдаемых следствий может быть выведено из некоего ограниченного количества однозначных причин.

КАРР. Я всегда считал, что главная обязанность художника — это наполнить красотой наши серые будни.

ТЦАРА (*отчетливо*). Дада дада.

КАРР (*после некоторой заминки*). Что это за чушь, Тристан?

ТЦАРА. Может быть, это и чушь, но уж никак не умничанье! Умничанье, как и многое другое в этом мире, уничтожено войной.

КАРР. Вы забываете, мой друг, что я был там, вдали от родины, в грязи и крови окопов, посреди резни, равной которой еще не было в истории человечества. Потерял несколько пар брюк на полях сражений. Тот, кто сам не сидел в окопах, не имеет ни малейшего представления об ужасах войны. Стоило мне только ступить на землю Франции, как я тут же провалился по колено в грязь, а ведь на мне были новенькие пикейные бриджи для верховой езды от Рэмиджа и Хокса с ремешками из свиной кожи! Вслед за ними война отняла у меня пару брюк из добротной саржи, еще одну пару из плотной шерсти, третьи же были из смеси фланели и шелка. И в довершение всего этого безобразия пуля пробила штанину брюк из бесценного твида цвета хаки; ткань я заказывал специально! Скажу откровенно, в Швейцарии вам трудно представить что-либо подобное...

ТЦАРА. Бросьте, Генри! Ваши брюки всегда выглядят...

КАРР. Я имел в виду ужасы окопной войны.

ТЦАРА. Что ж, зато здесь, в Швейцарии, вы можете жить как художник, Генри.

КАРР (*холодно*). Мой дорогой Тристан, жизнь *художника в какой угодно стране* напоминает мне жизнь человека в Швейцарии во время мировой войны. Для того же, чтобы жить как художник *в Цюрихе в семнадцатом году*, требуется такая степень самовлюбленности, от которой опустил бы взгляд сам Нарцисс. Когда я послал к Хэмишу

и Раджу за каталогом военной формы, я откликнулся в первую очередь на зов *патриотизма и долга*. Мною руководили свободолюбие, ненависть к тирании и чувство солидарности с жертвами — в том смысле, что до того момента мне как-то не было до бельгийцев особенного дела. И наконец, как художник я не смог бы жить *нигде*, поскольку не умею делать ничего из того, что обыкновенно именуется высоким словом "Искусство".

Тцара. А современный художник и не обязан делать ничего из того, что обыкновенно именуется высоким словом "Искусство". Более того, он испытывает к подобным занятиям отвращение. В наши дни художник — это тот, кто себя таковым считает. Чтобы быть художником, достаточно показать публике собственную задницу. Чтобы быть поэтом, достаточно вытаскивать из шляпы слова, написанные на клочках бумаги. Мои лучшие стихотворения, например, сочинены именно этим образом. Шляпу я потом выставил с большим успехом в нашей дадаистской галерее на Банхофштрассе.

Карр. Но это означает, что вы просто вкладываете совсем другое значение в слово "Искусство".

Тцара. Я вижу, вы меня наконец-то поняли.

Карр. Тогда, выходит, *вы никакой не художник?*

Тцара. Напротив, я же вам только что сказал, что я — самый настоящий художник.

Карр. Мало ли что вы сказали. Художник — это тот, кто обладает дарованием, которое дает ему возможность с большим или меньшим успехом делать то, на что обычный человек, лишенный этого дарования, почти или совсем не способен. Человеческий язык имеет смысл только в том случае, если мы называем один и тот же предмет или понятие всегда одним словом. Никто не мешает мне заявить, что я умею летать, но... "Смотрите, — скажу я, — я лечу!" "Но вы не парите в воздухе, а стоите на земле!" — возразите вы. "Ну и что? — парирую я. — Современный летун не обязан парить в воздухе. Более того, он испытывает к этому отвращение. В наши дни летун никогда не согласится оторваться от земли, да и не сможет при всем желании". "Кажется, я вас понимаю, — говорит мой озадаченный собеседник. — Когда вы заявляете, что умеете *летать*, вы просто используете это слово в каком-то особом, вашем собственном значении". "Я вижу, вы меня наконец-то поняли", — говорю я. Дорогой мой Тристан, вы всего лишь пытаетесь убедить меня в том, что слово "Искусство" означает все, чего вы только пожелаете, но убедить меня в этом невозможно.

Тцара. Но почему? Вы же поступаете совершенно тем же образом с такими словами, как *патриотизм, долг, любовь, свобода*, король и родина, бедная маленькая Бельгия, сердитая маленькая Сербия...

Карр (*холодно*). Вы оскорбляете моих фронтовых товарищей, многие из которых героически погибли на полях сражений...

Тцара. ...Вот-вот, и героизм из той же оперы. Все это не более чем привычная софистика, при помощи которой корыстная и захватническая сущность войны скрывается от народа завесой рассудочных доводов, положенных на музыку государственных гимнов... Вы растлили дух музыки и кастрировали язык. Одно и то же слово используется для того, чтобы называть им взаимоисключающие вещи и идеи. Именно поэтому только антиискусство можно считать искусством нашего времени.

Спор становится все более и более напряженным.

КАРР. Вы не понимаете самой сути. Войны ведутся именно для того, чтобы художники могли творить в безопасности. Об этом, конечно, никто не говорит впрямую, но это неплохо объясняет, для чего, собственно говоря, существует цивилизация. Чтобы узнать, победило ли в данном обществе зло или добро, достаточно задаться вопросом: а свободен ли в нем художник? То, что художник при этом, как правило, выказывает черную неблагодарность, даже враждебность, не говоря уж о потере рассудка и отсутствии таланта, которые столь характерны для так называемого "современного искусства", всего лишь свидетельствует о том, что подлинно свободный художник имеет право и на неблагодарность, и на враждебность, и на эгоизм, и — даже — на бездарность. Именно за эту свободу я сражался на фронте, а ведь для такого утонченного человека, как я, трудно представить себе более самоотверженный поступок.

ТЦАРА. Войны ведутся для того, чтобы установить контроль над нефтяными скважинами и угольными шахтами, Дарданеллами и Суэцким каналом, чтобы завладеть сырьевыми колониями, где можно дешево купить, и товарными рынками, где можно дорого продать. Война — это капитализм без маски. Многие из тех, кто идет на войну, знают об этом, но все же идут на нее, потому что не хотят показаться героями. Ведь требуется немалая смелость для того, чтобы сидеть на месте и ждать. Но все же насколько лучше — отважно жить в Швейцарии, чем трусливо сдохнуть во Франции, не говоря уж о том, что во Франции так трудно сохранить в целости брюки.

КАРР. Ах ты чертова румынская макака, проклятый макаронник, ах ты прыгучее болтливое заумное рифмоплетское балканское дерьмо!!! Думаешь, все на свете знаешь! В то время как мы, бедные тупицы, полагали, что сражаемся за идеалы, ты-то хорошо понимал, что происходит на самом деле, ты-то знал, как это на самом деле называется! Жалкий педант! Неужели ты и вправду думаешь, что все твои словечки что-то могут сказать хотя бы об одном дне, прожитом человеком на фронте! *Война – это капитализм без маски?* Неужели ты считаешь, что об этом думают бойцы взвода, попавшие под перекрестный пулеметный огонь на нейтральной полосе во время преодоления проволочных заграждений? Ты можешь называть это как хочешь — инфантильной сексуальностью в галифе, коллективным бессознательным в каске... (*с нескрываемой злобой*) Я знаю, что это последний писк моды в Цюрихе. Ты, слизняк! Я расскажу тебе, как все было *на самом деле:* я пошел воевать, потому что таков был мой *долг,* потому что родина нуждалась во мне, и все это люди называют *патриотизмом.* Я пошел воевать, потому что полагал, что нам следует защитить бесстыжих маленьких бельгийцев и бестолковых лягушатников от германской военщины, а это люди и называют *свободолюбием.* Вот как все было на самом деле, и никакой желтопузый большевик не докажет мне, что я очутился в окопах из-за цен на шарикоподшипники!

ТЦАРА (*вскипая*). *И тем не менее это именно так!* А если быть совсем точным, то вы очутились в окопах из-за того, что двадцать восьмого июня тысяча девятисотого года наследник австро-венгерского трона женился на женщине, которая была недостаточно родовита для него. А это означало, что ни на одной императорской церемонии его любимой жене не было дозволено сидеть с ним рядом.

За одним важным исключением, обратите на это внимание, а именно: когда эрцгерцог исполняет свои военные обязанности как генеральный инспектор австро-венгерской армии. Вот почему двадцать восьмого июня четырнадцатого года Фердинанд отправляется с инспекцией в Боснию! Для того, чтобы по крайней мере в годовщину свадьбы он мог проехаться с супругой по улицам Сараева, сидя с ней рядом в открытом автомобиле! (*Впадая внезапно в сентиментальность.*) Ах! (*Резко хлопает ладонями, изображая выстрел.*) Или же, выражаясь иначе...

Карр (*уже успокоившись*). Мы здесь, потому что мы здесь... потому что мы здесь, потому что мы здесь... мы здесь, потому что мы здесь, потому что мы здесь, потому что мы здесь...

Начав это привычное бормотание, Карр *уже не может остановиться.* Тцара *присоединяется к* Карру, *но бормочет с ним в такт всего лишь два слога: "да-да". Свет начинает медленно гаснуть.* Тцара *и* Карр *бормочут все громче и громче. Внезапно* Карр *начинает говорить;* Тцара *еще бормочет какое-то время на фоне его монолога.*

То было великое время! Рассвет над ничьей землей между окопами противников. Капли росы, сверкающие на заре на алых лепестках маков! В окопах просыпаются солдаты!.. "Доброе утро, капрал! На Западном фронте без перемен?" "Все тип-топ, сэр!" "Продолжайте в том же духе, капрал!" Дух товарищества и братства в траншеях! Никогда за всю историю войн свет не видывал такой отваги, такой верности, такого тепла, холода, грязи, вони, страха, безумия! Боже правый, если бы не эта моя нога! Я и не надеялся, что буду спасен, избран, выхвачен твоею десницей, выкуплен кровью, пролитой из трижды благословенной раны — о Господи! — и опущен на покрытые снежными перинами склоны этих гор. О Швейцсырия, мирный цивильный рай. Ее нейтральный менталитет, явное предпочтение, которое она отдает потрохам тушек перед порохом пушек! Ангелы, *заберите* меня! В приют для всех, кого искалечила война... Карр из консульства!

Обычное освещение.

А *вас* что привело сюда, дорогой Тристан??

Тцара. Ах, развлечения, развлечения! А что еще движет людьми, Генри? Жуете, как всегда?

Карр. Насколько мне известно, в хорошем обществе в пять часов принято слегка подкрепляться сандвичами с огурцом. Где вы пропадали с самого четверга?

Тцара. В Публичной библиотеке.

Карр. Какого черта вы там делали?

Тцара. Я и сам себя все время об этом спрашивал.

Карр. И каков был ответ?

Тцара. Ответ был: "Тс-с". Дело в том, что Сесили не одобряет разговоров в справочном зале.

Карр. Сесили? Кто это такая? По-моему, так могут звать только очень милую и хорошо воспитанную девушку. Сесили — это имя, которое мне так часто доводилось слышать на великосветских крестинах.

Тцара. Она — библиотекарша. Не знаком ли вам джентльмен, которого зовут Джойс?

Карр. *Джойс?* Я полагаю, что если бы ребенка нарекли таким именем, то вокруг купели поднялся бы ропот.

Тцара. Нет-нет, это фамилия. Мистер Джойс, ирландский писатель, пишет в основном лимерики. При крещении получил имя Джеймс Августин, но из-за ошибки церковного служки был записан в книгу как Джеймс Августа, такой вот малоизвестный факт.

Карр. Разумеется, я с ним незнаком. Никогда не проявлял особенного интереса к ирландским делам. В приличном обществе такой интерес сочли бы откровенным и вульгарным проявлением радикальных симпатий.

Тцара. Война застигла Джойса и его жену в Триесте, в Австро-Венгрии. Они выбрались оттуда в Швейцарию и поселились в Цюрихе. Живет Джойс на Универзитетштрассе и часто посещает библиотеку и литературные кафе. Одет он, как правило, следующим образом: черный пиджак в рубчик с брюками из серой ткани в елочку, или же коричневый пиджак в мелкую клеточку с черными брюками в рубчик, или же пиджак из серой ткани в елочку с коричневыми брюками в мелкую клеточку; язык его произведений напоминает реплики, которыми обмениваются партнеры по бриджу; смотрит на нас, дадаистов, сверху вниз, хотя от его собственных стишков так и разит заношенной шляпой — обыкновенная второсортная белиберда в духе прошлого века. Говорят, правда, что он пишет неплохие лимерики, но этого еще мало для того, чтобы претендовать на звание революционера в искусстве... Да, кстати, вам не знаком господин по фамилии Ульянов?

Карр. Очень трудно следить за ходом вашей мысли: это все равно что пытаться читать катехизис через строчку. К тому же вы до сих пор не объяснили мне, что вы делали в Публичной библиотеке. Я очень удивлен, что современные поэты все еще интересуются литературой. Или дело все-таки в Сесили?

Тцара. Господь с вами, вовсе не в ней! Сесили довольно мила и хорошо воспитана, как вы справедливо заметили, но ее взгляды на поэзию старомодны, а ее познания в этой области — как, впрочем, и во всех остальных — отличаются крайней экстравагантностью, поскольку она читает книги в алфавитном порядке. Она уже прочла Аллингема, Арнольда, Беллока, Блейка, обоих Браунингов, Байрона и так далее до буквы Г, по-моему.

Карр. Кто такой Аллингем?

Тцара. На пустошах туманных
Под грудами камней,
Живет народец странный,
Не любящий людей.

Сесили *отнеслась бы с большим подозрением к стихотворению, которое достали из шляпы.*

Карр. Библиотечный работник обязан отличать поэзию от прочих видов художественной макулатуры.

Тцара. Но послушайте! Почему вторая чашка? Почему сандвичи с огурцами? Кого вы ждете к чаю?

Карр. Всего-навсего Гвендолен; она всегда приходит в это время.

Тцара. Как это мило, хотя, честно говоря, именно такого ответа я и ждал. Я люблю Гвендолен и явился для того, чтобы сделать ей предложение.

Карр. Как неожиданно!

Тцара. Разве? Я не раз упоминал о чувствах, которые я питаю к Гвендолен.

Карр. Конечно, конечно, дружище! Когда вы в прошлый раз передавали Гвендолен сандвич с огурцом, вы напомнили мне молодого священника, служащего свою первую обедню. Я сказал "как неожиданно!" лишь потому, что предполагал, что вы уже повстречались с Гвендолен в Публичной библиотеке, поскольку сегодня утром она, по ее словам, направилась именно туда, а Гвендолен — девушка честная и всегда говорит правду. Мне даже пришлось, как старшему брату, однажды побеседовать с ней на эту тему. Юная особа, которая все время говорит правду, обязательно будет заподозрена в неискренности. Мне доводилось знавать девушек безупречного поведения, которые заставляли целый сезон говорить о себе весь Лондон только благодаря тому, что старательно врали.

Тцара. Смею вас заверить, что Гвендолен действительно была в Публичной библиотеке. Но я восхищался ею лишь издали, взирая из отдела экономики на отдел иностранной литературы.

Карр. Я и не знал, что Гвендолен владеет иностранными языками. Это заставляет меня опасаться за ее будущность.

Тцара. Ну, здесь же в библиотеках понятие "иностранная литература" относится, в частности, к литературе английской.

Карр. Какое странное новшество! И как они его объясняют?

Тцара (*теряя терпение*). Дело в том, Генри, что я никак не могу остаться с ней наедине.

Карр. Ах да, с ней ее компаньонка.

Тцара. Компаньонка?

Карр. Не воображаете же вы, что я позволю моей кузине разгуливать без компаньонки по городу, который так и кишит иностранцами? Гвендолен познакомилась с ней в Цюрихе. Я ее не видел, но Гвендолен заверила меня, что они практически неразлучны, а из того, что мне удалось выведать в ходе ненавязчивых расспросов, я понял, что эта особа оказывает на кузину самое благотворное и сдерживающее влияние. Она в средних летах, одевается скромно, носит очки и отзывается на имя Джойс... боже мой! Как вы думаете, Тристан, не нацелился ли он на ее приданое?

Тцара. Разве что в шутку. По словам Джойса, он пишет роман, а Гвендолен у него как бы в ученицах. Она переписывает для него набело, работает со справочной литературой и так далее. Бедная девочка настолько невинна, что целыми днями ломает себе голову, пытаясь понять, какой роман можно сочинить при помощи комментариев к "Одиссее" и справочника "Улицы Дублина" за тысяча девятьсот четвертый год.

Карр. "Улицы Дублина"?

Тцара. За тысяча девятьсот четвертый год.

Карр. Сочетание источников довольно необычное, однако не лишенное перспектив. В любом случае вы ведете себя так, словно Гвендолен уже ваша жена. А она еще не ваша жена, да и вряд ли ею будет.

Тцара. Почему вы так думаете?

КАРР. Видите ли, порядочные девушки никогда не выходят замуж за румын. А кроме того, я не дам разрешения.

ТЦАРА. Вы не дадите разрешения?!

КАРР. Дружище, Гвендолен — моя кузина. И я разрешу вам жениться на ней, только когда вы объясните мне, в каких вы отношениях с Джеком.

ТЦАРА. С Джеком! О чем вы говорите, Генри? С каким Джеком? Я не знаю никакого Джека!

КАРР (*доставая из кармана читательский билет*). Вы оставили это здесь, когда обедали на той неделе.

ТЦАРА. Значит, мой читательский билет все это время был у вас? Мне пришлось заплатить, чтобы мне сделали новый.

КАРР. Какой экстравагантный поступок с вашей стороны! Билет-то ведь не ваш! Он выписан на имя мистера Джека Тцара, а вас зовут вовсе не Джек, а Тристан.

ТЦАРА. Вовсе не Тристан, а Джек.

КАРР. А ведь вы всегда говорили мне, что вас зовут Тристан! Я представлял вас всем как Тристана. Вы отзывались на имя Тристан. Вы популярны в погребке "У молочника" именно под этим именем. Что за нелепость отказываться от такого имени!

ТЦАРА. Ну что ж, в погребке "У молочника" меня зовут Тристан, в библиотеке — Джек, а читательский билет мне выдали в библиотеке.

КАРР. Писать стихи — то есть вытягивать слова из шляпы — под одним именем, а Публичную библиотеку посещать под другим — вполне разумная осторожность. Полагаю, однако, что это не вся правда.

ТЦАРА. Мой дорогой Генри, если хотите знать правду до конца, то вот она: в прошлом году, вскоре после шумного успеха, который имел в погребке "У молочника" наш концерт для сирены, трещотки и огнетушителя, я познакомился с Ульяновым, известным также как Ленин, в кафе "У орла", где он проводил время вместе с Циммервальдской группой.

КАРР. Звучит так, словно это последний писк моды в революционной политике. Что это такое — Циммервальдская группа?

ТЦАРА. Это та часть социалистов, которая на Циммервальдской конференции в пятнадцатом году призвала рабочих всего мира выступить против войны. В тот раз в кафе "У орла" Ленин произносил филиппики против тех умеренных шовинистов, которые не желают немедленно поставить к стенке всех военнослужащих в звании старше ефрейтора. И тут кто-то начал играть на фортепьяно сонату Бетховена. Ленин чуть не сошел с ума, а когда музыка кончилась, вытер глаза платочком и буквально обрушился на нас, дадаистов. Как дадаист я и сам — злейший враг буржуазного искусства и союзник политиков левого направления. Но — странная вещь! — чем левее революционер в политическом смысле, тем буржуазнее его вкусы в искусстве! К счастью, когда мы повстречались в кафе, мое имя еще ничего не говорило Ленину. Через несколько дней я столкнулся с ним в библиотеке, и он представил меня Сесили. "Тцара! — воскликнула она. — Надеюсь, не тот, который дадаист?" "О нет, это мой младший брат, Тристан", — ответил я. "Ужасная история! Такое горе для семьи!" Затем, когда я заполнял анкету, пер-

вым именем, которое пришло мне в голову, оказалось, уж не знаю почему, имя "Джек". Так что мне удалось вывернуться.

Карр (*с нескрываемым интересом*). Так Сесили знакома с *Лениным?*

Тцара. Сесили у него как бы в ученицах. Она помогает ему писать книгу об империализме.

Карр (*задумчиво*). Так вы сказали — справочный зал?

Тцара. Их мнения совпадают во всем, даже в вопросах искусства. Забавно, не правда ли? Именно в этом, на мой взгляд, и заключается противоречивость радикализма.

Карр. Не вижу никакого противоречия... Революция в искусстве никоим образом не связана с *классовой* революцией. Художники относятся к привилегированному классу. То, что художники непомерно преувеличивают значение искусства, легко понять; труднее понять, почему точно так же поступают и все остальные.

Тцара. Не хлебом единым жив человек.

Карр. Как раз им-то он и жив. Попробуйте-ка пожить одним искусством. Не случайно лозунг революции, если я не ошибаюсь: "Хлеб — Мир — Свобода". Я не вижу никакой связи между этим лозунгом и визгливыми сварами соперничающих самовлюбленных эгоистов — живописцев, малюющих нелепые картины, поэтов, сочиняющих бессмысленные стихи, бесчинствующих скульпторов.

Тцара (*холодно*). Вы оскорбляете меня и моих товарищей по дада...

Карр. Да, да, именно это и делаю! Когда мы учились в школе, у нас несколько раз в неделю бывали уроки труда: мы работали в саду, прибирали школу, пилили дрова для бойлерной. Но тех мальчиков, маменьки которых написали директору заявление, от труда освобождали. Вместо этого они посещали уроки искусства. Искусство или Труд — вот подлинная альтернатива. Вам что, маменька выхлопотала *освобождение от труда* на всю жизнь? (*В сердцах.*) *Интересно было бы знать, как это делается!* Да кто такой, в конце концов, художник?! На каждую тысячу человек приходится девятьсот тех, кто работает, девяносто тех, кто работает хорошо, девять тех, кто хорошо зарабатывает, и один сукин сын, который ничего не делает. Его-то и называют художником!

Тцара (*с обидой*). Разумеется, разумеется, но когда вы видите рисунки, которые он оставил на стене пещеры, или следы его ногтей, которыми он начертил орнамент на древнем черепке, вы восклицаете: *"Как я горжусь тем, что я человек!"* Не охотники и не воины сделали первый шаг по лестнице разума, которая упирается в ваши пижонские брюки оригинального фасона.

Карр. Как бы не так! Орнамент на горшке начертил охотник, воин нарисовал на стене антилопу, а художник пришел домой с их добычей. Единственное подлинное достижение искусства — это широкая распространенность идеи о том, что художники — люди особой породы. Идеи насквозь лживой, я подчеркиваю!

Тцара. Ах ты чертов британский филистер, ах ты невежественный надутый болтливый буржуазный англосаксонский хрен! Когда самые сильные воюют за интересы племени, а самые проворные охотятся, именно художник становится жрецом и хранителем, который противопоставляет низким инстинктам вершины духа! Без него человек превратился бы в мясорубку: поймал добычу — сожрал добычу — навалил кучу дерьма. Поймал добычу — *сожрал до-*

бычу — сходил подрался — *поспал* — попилил дрова для бойлерной — *навалил кучу дерьма.* Именно благодаря искусству человек и отличается от мясорубки. Но это отличие становится с каждым веком все меньше и меньше. Создав институт меценатов, искусство погубило себя. Оно начало восхвалять амбиции покровителей и потакать вкусам покупателей. Художник поймал сам себя в ту же ловушку: написал картину — *сожрал добычу* — изваял скульптуру — *поспал* — сочинил поэму — *навалил кучу дерьма.*

Освещение меняется.

До появления искусства человек был мясорубкой, но с появлением искусства он снова стал мясорубкой. Вот в чем вся идея дадаизма: дада дада дада дада дада дада дада дада дада дада дада дада дада дада дада дада... (*Мечется по Кабинету, яростно выкрикивая это слово.* Карр *остается в неподвижности.*)

Освещение снова становится обычным, как и вся обстановка Кабинета. Беннетт *открывает дверь.*

Беннетт. Мисс Гвендолен и мистер Джойс.

Гвендолен *и* Джойс *появляются так же, как и в предыдущий раз.* Беннетт *удаляется.*

Джойс. Я — Джеймс Августин Джойс, всем привет!
И живу здесь...

Карр. Если строго придерживаться фактов, то вас зовут Джеймс *Августа* Джойс.

Джойс (*застигнутый врасплох*). Не может быть! Вы знали или угадали случайно?

Карр. Ну почему же случайно? Я собираю малоизвестные факты из истории ирландской литературы в эмиграции.

Джойс. Вы знаете мои произведения?

Карр. Нет, только ваше настоящее имя.

Тцара. Мисс Карр...

Гвендолен. Мистер Тцара...

Карр. ...но что-то в вас заставляет меня предположить, что вы из Лимерика.

Джойс. Из Дублина. Только не говорите мне, что вы там бывали!

Карр. Исключительно путешествуя по страницам путеводителя. Впрочем, говорят, вы сейчас переписываете его заново.

Джойс. Да.

Гвендолен. Простите меня, о, друзья!
Представить забыла всех я!

Карр. Генри!

Джойс. Джеймс!

Гвендолен. Гвен!

Тцара. Тристан!

Гвендолен. Вы знакомы с мистером Тцарой? Он — поэт.

Джойс. Шапочно, все больше понаслышке. Увы, я — несчастная жертва глаукомы. Недавно, проходя по Банхофштрассе, увидел витри-

ну вашей галереи и стал было ее рассматривать, но тут мои глаза пронзила такая ужасная боль, что...

Гвендолен. Мистер Джойс написал об этом стихотворение. Вы в этом с Тристаном очень похожи.

Джойс. Вряд ли. Дефект зрения у мистера Тцары затрагивает только один глаз, к тому же, по слухам, он склонен сильно его преувеличивать. У меня же есть медицинские справки о том, что я страдаю конъюнктивитом, воспалением радужной оболочки и спайкой роговицы, кроме того, везде меня считают чем-то вроде бельма в глазу.

Гвендолен. Ах нет, я имела в виду увлечение поэзией. Я вспомнила ваше стихотворение, которое называется "Банхофштрассе". Оно начинается так:

Глумливых взглядов череда
Ведет меня сквозь города.
Сквозь сумрак дня, сквозь ночи синь
Мерцает мне звезда полынь.

Тцара (*обращаясь к* Джойсу). После того как я услышал этот шедевр, я стал испытывать к вам еще большее испражнение, чем раньше!

Гвендолен *восклицает: "Ах!"*

Я готов наблевать на условности и уступить вам мои рыгалии!

(Ах!)

Вы посвятили жизнь искусству ради искусства — я в восторге от ваших экскрементов!

Гвендолен. Вы хотели сказать - экспериментов?

Тцара. Я плохо знать англиски, я — иностранец.

Джойс. Я тоже.

Гвендолен. Но я в жизни не слышала ничего прекраснее! Все говорят, что у меня тонкий слух, не правда ли, мистер Тцара?

Тцара. Лучше просто не бывает, мисс Карр.

Гвендолен. Ах нет, не смейте так говорить! Вы отнимаете у меня всякую надежду на самосовершенствование!

Джойс. Неужели вы не читали ни одного стихотворения мистера Тцары?

Гвендолен. К моему стыду, не читала, хотя возможно, что стыдиться следует вам, мистер Тцара.

Тцара. Признаю свою вину, но это можно легко исправить прямо здесь и сейчас.

Гвендолен (*в волнении*). Ах, мистер Тцара!

Тцара *подходит к секретеру или к письменному столу, если таковой имеется, и принимается что-то писать на большом листе белой бумаги.*

Карр (*к Джойсу*). Итак, что вы хотите сказать мне, Дорис?

Джойс. Джойс.

Карр. Джойс.

Джойс. Я явился к вам, сэр, не как поэт, а как антрепренер "Английской труппы".

Карр. Антрепренер?

Джойс. Да.

Карр. Ну, если вас интересуют деньги, то боюсь...

Гвендолен. Генри! Он ставит пьесу и желает получить от тебя официальную поддержку...

Джойс. Постараюсь объяснить получше. Такое ощущение, сэр, что мое имя вызывает неприязнь у всего британского землячества в Цюрихе. Не знаю уж, в чем тут дело, то ли в том, что я публиковался в нейтралистских газетах, то ли в том, что я написал стихотворение про Мистера Дули[1], которое начинается так:

Кто этот человек, что войны наций
приветствует во имя роста акций,
читает сводки с фронта, поедая дыню,
и тешит кровию детей свою гордыню?

а дальше такая строфа:

Кто этот буйный тип, что пляшет на могилах,
от барышей восторга скрыть не в силах,
что умирающим без риса желтым кули
есть предлагает разрывные пули?

а затем:

Кто этот мистер, что плевал на государство,
на пролетариат и Божье Царство
и полагает, что любой бедняк
без профсоюзов выгребет и так?

дальше:

Кто этот философ, что предлагает нам
презреть китайскую проблему и Сиам,
поверить в то, что Бога Сына звали Фриц,
и пред иконой и попами падать ниц?

и, наконец:

Это Дули,
мистер Дули,
самый хитрый тип на всю страну!
Он денежки сзывает:
“Гули-гули!” –
пока Европа камнем
идет, идет ко дну!

или есть какие-то другие причины, но у всех сложилось мнение, что я отношусь к обеим противоборствующим сторонам с одинаковым равнодушием.

Карр. А разве это не так?

Джойс. Если рассматривать этот вопрос с позиций искусства, то как художник я, конечно же, не придаю никакого значения хитросплетениям европейской политики. Но я пришел к вам не как художник, а как Джеймс А. Джойс. Я – ирландец. Вы знаете, чем больше всего хвастает и гордится ирландец? “Я никому не должен”.

Карр. Значит, речь идет все-таки о деньгах?

Джойс. Пара фунтов никогда не помешает, конечно, но все-таки я пришел сюда, чтобы отдать мой долг. Не так давно после многих лет

1. Мистер Дули – сатирический персонаж журналиста и карикатуриста Финли Питера Данна (1867–1936).

нужды и страданий, в течение которых мои труды были обделены вниманием и преследуемы до такой степени, что однажды мои рукописи сжег один набожный дублинский типограф (поскольку ненабожных типографов в Дублине просто не бывает), я получил сто фунтов стерлингов по распоряжению премьер-министра.

КАРР. Премьер-министра?

ДЖОЙС. Мистера Асквита.

КАРР. Вы что, полагаете, я не знаю, как зовут премьер-министра? Смею вам напомнить, что я — представитель правительства Его Величества в Цюрихе!

ДЖОЙС. Сейчас премьер-министр — мистер Ллойд Джордж, но в то время это был мистер Асквит.

КАРР. Ах да!

ДЖОЙС. В настоящий момент я не располагаю ста фунтами, да, собственно говоря, у меня и не было ни малейшего намерения возвращать эти деньги. Если вы помните, я упомянул "Английскую труппу". Благодаря войне Цюрих превратился в крупнейший театральный центр Европы. В случае Цюриха справедливо утверждение о том, что культура — это продолжение войны другими средствами. Итальянская опера противостоит французской живописи, немецкая музыка — русскому балету. Ну а Англия на этом фронте никак не представлена! Каждый вечер актеры выходят на подмостки этой столицы альпийского ренессанса и декламируют на всех языках цивилизованного мира, кроме одного: языка Шекспира, языка Шеридана, языка Уайльда! Именно поэтому "Английская труппа" готовит в настоящее время к постановке репертуар, состоящий из шедевров британской драматургии, который продемонстрирует этим швейцарцам, кто является бесспорным мировым лидером в области драматического искусства.

КАРР. Боже мой, конечно же Гилберт и Салливен!

ГВЕНДОЛЕН. Разумеется, в их число входит и шедевр мистера Джойса, пьеса "Изгнанники", которая пока что, к сожалению...

ДЖОЙС. Ну, это к слову...

КАРР. "Терпение"!

ДЖОЙС. Действительно, пойдем по порядку.

КАРР. "Суд присяжных"! "Пираты Пензанса"!

ДЖОЙС. Мы собираемся начать с жемчужины английского театра, блистательной комедии "Как важно быть серьезным".

КАРР (*после некоторой паузы*). Не видел такой. Не видел, но наслышан о ней, и мне она не нравится. Эту пьесу написал один ирландский содо... (*смотрит в сторону Гвендолен*)... гоморрит. Послушайте, Дженис, скажу вам прямо, правительство Его Вели...

ДЖОЙС. Мы хотели предложить вам сыграть главную роль.

КАРР. Что?

ДЖОЙС. Мы были бы весьма признательны. Наша благодарность не знала бы границ.

КАРР. С чего вы взяли, что я в состоянии сыграть главную роль в "Как важно быть серьезным"?

Гвендолен. Это я подсказала, Генри. Ты был бесподобен в роли Гонерильи, когда учился в Итоне.

Карр. Да. Я помню, но...

Джойс. У нас нет хорошего актера на главную роль. Дело в том, что в пьесе это — образованный и остроумный английский джентльмен...

Карр. Эрнест?

Джойс. Нет, не Эрнест — тот, другой.

Карр (*борясь с искушением*). Нет, нет, я никоим образом...

Джойс. Аристократичный, романтичный, афористичный... молодой щеголь, одним словом.

Карр. Щеголь?

Джойс. Он сыплет фразами типа: "Если я слишком хорошо одет, я искупаю это тем, что я слишком хорошо воспитан". Это поможет вам составить общее представление о герое.

Карр. Сколько смен костюма?

Джойс. Две.

Карр. Город или деревня?

Джойс. Вначале город, затем — деревня.

Карр. В помещении или на открытом воздухе?

Джойс. И то и другое.

Карр. Лето или зима?

Джойс. Лето, но не слишком жаркое.

Карр. Дождь?

Джойс. Ни облачка на небе.

Карр. А может ли он носить... э-э, соломенную шляпу?

Джойс. Весьма желательно.

Карр. И никаких... пижам?

Джойс. Абсолютно исключено.

Карр. Разве он не в траурном наряде?

Джойс. Это другой в трауре — тот, который Эрнест.

Карр (*уже потирая ладони от нетерпения*). Расскажите сюжет, опуская детали, за исключением самых существенных!

Джойс. Поднимается занавес. Квартира в Мейфэре. Время чаепития. Входите вы в зеленом бархатном смокинге цвета бутылочного стекла с черным кантом на петлях. Белые носки, идеальный узел на галстуке, штиблеты с резинкой, брюки на ваше усмотрение.

Карр. Придется сделать соответствующие распоряжения.

Джойс. Второе действие. Розарий. Послеобеденное время. Отдельные сцены в других местах. Вы входите в веселеньком дачном костюмчике — соломенная шляпа с лентой, фланелевая куртка в веселую полоску, яркие ботинки, брюки на ваше усмотрение.

Карр (*внезапно*). Фланелевые, кремовые.

Джойс. Третье действие. Гостиная в том же поместье. Вскоре после того.

Карр. Смена костюма?

Джойс. Если поменять строчку-другую в диалоге, то...

Карр. Вы принесли текст пьесы?

Джойс. Он у меня с собой.

Карр. Тогда пройдемте в соседнюю комнату и просмотрим его. (*Открывает* Джойсу *дверь в "свою" комнату.*)

Джойс. Что же касается двух фунтов...

Карр (*щедрым жестом доставая из кармана бумажник*). Мой дорогой Филлис... (*Пропускает вперед* Джойса, *проходит сам и закрывает за собой дверь.*)

Пауза. Немая сцена.

Гвендолен (*рассеянно*). Гоморрит, надо же додуматься... Ах ты жалкий педик!

Тцара *направляется к* Гвендолен *с крайне неуверенным видом. В руке он держит шляпу так, словно это – кастрюля с кипящей водой. По ходу действия станет ясно, что в шляпе находится сонет Шекспира, разрезанный на отдельные слова.*

Тцара. Мисс Карр...

Гвендолен. Мистер Тцара! Вы что, уже уходите? (*Имея в виду шляпу.*)

Тцара. Не раньше, чем я прочитаю вам мое стихотворение. (*Протягивает* Гвендолен *шляпу; заглядывает внутрь.*)

Гвендолен. Какая необычная техника стихосложения!

Тцара. Вся поэзия — не больше чем перетасовывание колоды карт с рисунками, а все поэты — обманщики. Это — сонет Шекспира, но он уже больше не принадлежит ему. Он стал источником атомов, из которых я, рука об руку со слепым случаем, создаю свои творения.

Гвендолен. Какой это был сонет?

Тцара. Восемнадцатый.

Гвендолен (*печально*).

Сравню ли с летним днем твои черты?
Но ты милей, умеренней и краше.
Ломает буря майские цветы,
И так недолговечно лето наше!

То нам слепит глаза небесный глаз,
То светлый лик скрывает непогода.
Ласкает, нежит и терзает нас
Своей случайной прихотью природа.

А у тебя не убывает день,
Не увядает солнечное лето.
И смертная тебя не скроет тень —
Ты будешь вечно жить в строках поэта.

Среди живых ты будешь до тех пор,
Доколе дышит грудь и видит взор.

Вы порвали это, потому что вам не нравится, как он пишет? (*Берет горсть клочков бумаги, затем разжимает пальцы, и обрезки падают обратно в шляпу. Начинает говорить снова, но теперь уже не печально, а гневно.*) Это только вихорь бессвязных слов, милорд.

Тцара. Да, мадам.

Гвендолен. Право, я была бы рада, если бы боги сделали тебя поэтичным.

Тцара. Я не знаю, что значит "поэтичный"; значит ли это — честный на словах и на деле? Правдивая ли это вещь?

Гвендолен. Наверно, тот, кто создал нас с понятьем о будущем и прошлом, дивный дар вложил не с тем, чтоб разум гнил без пользы.

Тцара. Нет, я родился не под поэтической планетой и не способен любезничать в торжественных выражениях. Краснобаи, которые умеют ловко пленять женщин стишками, так же ловко и ускользают от них. У меня от этих стихов по крайней мере не ноют зубы.

Гвендолен (*возмущаясь его цинизмом*). Зубы твои горазды выгораживать зато. Но пользуйся шляпой по назначенью. Ее место на голове! (*Смахивает слезу.*) Охотнее, чем вещь в сорок шиллингов ценой, узрела бы я здесь книгу песен и сонетов. (*Отворачивается от Тцары.*)

Тцара подходит к Гвен с протянутой шляпой.

Тцара (*ласково*). Но так как с мертвым спор ведут они, во мне любовь, в них мастерство цени!

После некоторого колебания Гвендолен достает первую бумажку из шляпы.

Гвендолен. "Смертная..." (*Она продолжает, складывая в ладонь все прочитанные бумажки.*)
смертная тень
ломает цветы
и светлый день слепит глаза —
доколе небесный взор прихотью
ласкает черты —
ты будешь жить!

На последних словах Гвендолен *слегка вскрикивает, поворачивается к* Тцаре *спиной и отступает на несколько шагов.* Тцара *дочитывает оставшиеся слова, тем самым несколько снижая накал страстей.*

Тцара. Но увядает буря в строках
и дышит умеренней:
недолговечно лето поэта.

Гвендолен (*по-прежнему взволнованно*). Пожалуйста, не говорите со мной о погоде, мистер Тцара. Каждый раз, когда мужчины говорят со мной о погоде, я знаю, что на уме у них совсем другое.

Тцара (*приближаясь к ней*). Я и хочу сказать о другом. С той самой минуты, как я вас увидел, я восторгался вами.

Он бросает те бумажки, которые были у него в руках, обратно в шляпу; Гвендолен *проделывает то же самое со своими. После этого* Тцара *отодвигает шляпу в сторону.*

Гвендолен. Мне вы всегда очень нравились. Даже до того, как мы с вами встретились, я была к вам неравнодушна. Я помогала, как вы знаете, мистеру Джойсу в работе над его книгой, и, насколько я могу судить, это будет шедевр. Я твердо намерена добиться для нее того всеобщего признания, которого она, бесспорно, заслуживает. Но, увы, в высшем свете у девушки не так уж много возможностей повстречать равного себе по интеллекту мужчину. Как только Генри сказал мне, что у него есть друг, который издает журнал, посвященный всему самому новому и лучшему, что есть сейчас в литературе, я сразу же поняла, что мне суждено полюбить

вас. (*Передает Тцаре ту папку, которую мы уже видели у нее в руках в прологе.*)

Тцара (*восторженно*). И вы действительно любите меня, Гвендолен?

Гвендолен. Страстно!

Тцара. Милая! Вы не знаете, какое это для меня счастье!

Гвендолен. Мой Тристан!

Обнимаются.

Тцара (*внезапно*). А вы смогли бы полюбить меня, если бы наши взгляды на творчество мистера Джойса не совпадали?

Гвендолен. Но они ведь совпадают.

Тцара. Да, конечно. Но если бы...

Гвендолен *заставляет его замолчать поцелуем в губы.*

Они обнимаются; входит Джойс.

Джойс. Мистер Тцара! Встаньте! Что за полусогбенное положение!

Тцара *и* Гвендолен *прерывают объятия.* Джойс *направляется к главной двери, берет по пути шляпу и, открывая дверь, говорит через плечо* Тцаре.

У вас монокль не в том глазу.

Тцара *действительно вставил монокль не в тот глаз. Он поспешно переставляет его;* Джойс *уходит.*

Гвендолен. Я должна сказать об этом Генри.

Тцара. Видела ли ты мой журнал "Дада", дорогая?

Гвендолен. Никогда, да-да-дорогой!

Гвендолен *целует* Тцару *и удаляется в комнату* Генри.

Тцара *начинает читать рукопись.*

Главная дверь снова открывается; появляется Джойс *и замирает на пороге. Он покрыт с головы до пояса маленькими клочками белой бумаги. На каждом клочке написано по слову из восемнадцатого сонета Шекспира, из чего мы понимаем, что* Тцара *складывал клочки в шляпу* Джойса. *Эффект должен быть внезапным и очевидным, так что, вероятно, актеру, играющему* Джойса, *необходимо заготовить специальный второй пиджак и даже парик; клочки бумаги должны легко отделяться от волос и ткани, поскольку они еще понадобятся дальше по ходу пьесы.*

Джойс. Что вы хотите всем этим сказать?

Тцара. А что хочет сказать нам, к примеру, природа? Ровным счетом ничего. Дада тоже не хочет сказать ничего.

Джойс. Приведите другие примеры того, что такое "дада".

Тцара. Зоологический сад без посетителей. Логичная гардения. Игрок, который всегда проигрывает. Игрок, который не проигрывает никогда. "Яйцебол" — веселая игра или забава для избранных, в которой команды радостно покидают игровое поле, измазанные с головы до ног в яичном желтке.

Джойс. Эта игра или забава изобретена вами?

Тцара. Нет.

Джойс. Как зовут ее изобретателя?

Тцара. Арп.

Джойс. Считаете ли вы этого человека вашим заклятым врагом, воплощением зла, неприятным типом или каким-либо иным подвидом persona non grata?

Тцара. Нет.

Джойс. Считаете ли вы его вашим товарищем, соратником, доверенным лицом или просто приятелем?

Тцара. Да.

Джойс. Каким образом, указывающим на вашу близость и дружеский характер ваших отношений, вы обычно обращаетесь к нему?

Тцара. Мой друг Арп.

Джойс. А наряду с этим какое другое обращение, указывающее на добродетели собеседника и долгое знакомство с ним, вы обыкновенно используете?

Тцара. Милый старина Арп.

Джойс. Дайте парадоксальное объяснение тому, почему вы утверждаете, что имя вашего друга является в своем роде единственным?

Тцара. Потому что это имя двойственно.

Джойс. Разъясните.

Тцара. Ханс Арп. Жан Арп.

Джойс. Как примирить в данном случае противоречие между единичностью и двойственностью?

Тцара. Эти два имени представляют собой перевод с немецкого на французский и обратно.

Джойс. Принимая во внимание то, что я плохо знаком как с обстоятельствами рождения вашего друга, так и с историей Европы в девятнадцатом веке, не затруднит ли вас разъяснить мне такое двуязычное именование мистера Арпа?

Тцара. Ни в малейшей степени.

Джойс. Итак?

Тцара. Он — выходец из семьи французских эльзасцев, но гражданин Германии в силу того, что Эльзас в тысяча восемьсот семидесятом году вошел в ее состав.

Джойс. Какой агрессивный международный акт обострил противоречия, присущие двойственной природе вашего друга?

Тцара. Война, объявленная Францией Германии.

Джойс. Как характеризует Ханс Арп возникшую ситуацию?

Тцара. Как абсурдную.

Джойс. Какие действия он предпринял, чтобы исправить ее?

Тцара. Он отправился в Цюрих и изобрел там "Яйцебол" — веселую игру или забаву для избранных, в которой команды радостно покидают игровое поле, измазанные с головы до ног в яичном желтке.

Джойс. Кто оказывал ему помощь и поддержку?

Тцара. Хьюго Болл.

Джойс. Приведите несколько эпитетов, относящихся к этому человеку.

Тцара. Полигональный. Высокий, тощий, жреческий, немецкий.

Джойс. Опишите его путем перечисления его талантов и дарований.

Тцара. Новеллист, журналист, философ, поэт, художник, мистик, пацифист, основатель "Кабаре Вольтер", расположенного в погребке "У молочника" по адресу Шпигельгассе, один.

Джойс. Вел ли Болл дневник?

Тцара. Вел.

Джойс. Был ли он опубликован?

Тцара. Был.

Джойс. Является ли его текст общественным достоянием в силу истечения срока охраны авторских прав в соответствии с Бернской конвенцией тысяча восемьсот восемьдесят шестого года?

Тцара. Нет, не является.

Джойс. Процитируйте так, чтобы сообщить максимум информации с минимальной опасностью быть привлеченным к суду за нарушение авторского права.

Тцара. "Я отправился к герру Эфраиму, владельцу погребка "У молочника", и попросил предоставить мне комнату для того, чтобы открыть в ней ночной клуб. Герр Эфраим заинтересовался моим предложением и комнату предоставил. Затем я обошел нескольких моих знакомых со словами: "Дайте мне что-нибудь из ваших картин. Я хочу устроить небольшую выставку". Затем я сходил в те цюрихские газеты, с которыми у нас были дружеские отношения, и сказал: "Поместите мое объявление. Я открываю международное кабаре. Мы будем устраивать фантастические представления". И художники дали мне картины, а газеты напечатали объявление".

Джойс. Какого числа объявление появилось на страницах цюрихских газет?

Тцара. Второго февраля тысяча девятьсот шестнадцатого года.

Джойс. Процитируйте выборочно из дневника Болла так, чтобы не нарушить волю его душеприказчиков.

Тцара. "Примерно в шесть вечера, в то время когда мы все еще орудовали молотками, развешивая наши футуристические плакаты, появилась группка людей невысокого роста и восточноевропейской внешности. Они все время вежливо кланялись. Было их четверо: художник Марсель Жанко, Тристан Тцара, Жорж Жанко и четвертый, имени которого я не помню. Арп тоже был там, и буквально с полуслова мы все начали понимать друг друга. Вскоре роскошные "Архангелы" Жанко уже висели рядом с другими произведениями искусства. В тот вечер Тцара читал свои стихи, тогда еще в консервативной манере: листки со стихами он любовно извлекал из многочисленных карманов своего пальто".

Джойс. Вот этого?

Тцара. Да, вот этого.

Джойс. В каком отношении пальто превосходит шляпу, а в каком уступает в том случае, если и тот и другой предмет одежды служит для создания поэтических произведений?

Тцара. *Уступает* в том отношении, что рукава, постоянно мельтешащие перед глазами сочинителя, ухудшают обзор и могут привести к падению сочинителя с эстрады; *превосходит* в том отношении, что имеет множество полостей, в то время как шляпа обладает только одной.

Джойс. Почему техника, использованная вами при чтении стихотворений в тот вечер, может быть названа консервативной?

Тцара. Потому, что я извлекал каждое стихотворение в его целости из одного кармана, вместо того чтобы извлекать отдельные его компоненты случайным образом из различных карманов. А также потому, что я читал одновременно только одно стихотворение. А еще — потому что чтение происходило без сопровождения свистков, трещоток и барабанов, изготовленных из упаковочных ящиков.

Джойс. Можно ли сказать то же самое о последующих чтениях?

Тцара. Нельзя.

Джойс. Сделайте краткое извлечение из дневника современника, цитирование которого не приведет к нудному судебному разбирательству по поводу банального нарушения авторских прав.

Тцара. "Двадцать шестого февраля из Берлина приехал Рихард Хюльсенбек, и тридцатого марта мы устроили великолепный концерт негритянской музыки. Герр Тристан Тцара был инициатором первого в Цюрихе (да и в мире) чтения симультанистских стихов, включая сочиненную им самим "Poème simultané".

Джойс. Процитируйте выборочно отрывки из вашей одновременной декламации.

Тцара. Я начинал "Boum boum boum il déshabille sa chair quand les grenouilles humides commencerent a brûler"[1]. Хюльсенбек декламировал "Ahoi ahoi des Admirals gewirktes Beinkleid schnell zerfällt"[2]. Жанко читал нараспев: "В пять часов козодой зачирикал за горой. Я люблю в пять часов чай попить с чужой женой; да и кто не любит, да и кто не любит?" Все вместе называлось "Адмирал снимает дачу".

Джойс. Можно ли утверждать, что в течение короткого времени представления подобного рода привели к тому, что движение дадаистов в целом и Тцару в частности стали упоминать везде, стоило только зайти разговору про искусство?

Тцара. Да, это именно так.

Джойс. В каких выражениях вы описали бы этот триумфальный успех?

Все это время Джойс *собирает со своих волос и одежды клочки бумаги и аккуратно складывает их в шляпу, которая лежит у него на коленях. Собрав их все,* Джойс *произносит слово "фокус", запускает руку в шляпу и извлекает оттуда белую гвоздику. Она, очевидно, образовалась из клочков бумаги, потому что, когда* Джойс *переворачивает шляпу, оттуда ничего не выпадает.* Джойс *бросает гвоздику* Тцаре.

Тцара (*вставляя гвоздику себе в петлицу*). Как заслуженный и справедливый. Как абсолютно логичный. Один из тех случаев, когда смелости и таланту воздается по заслугам.

1. Бум, бум, бум, он обнажает свою плоть, когда влажные жабы начинают пылать (*франц.*).
2. Ой, ой, трикотажные панталоны адмирала быстро разъехались (*нем.*).

Джойс *начинает извлекать из шляпы шелковые платки один за другим.*

Джойс. Когда стало ясно, что дадаизм из котенка, царапающего коготками местную буржуазию, вырос в тигра, готового к провокациям, скандалам и попранию морали во всемирном масштабе, что, выражаясь в простейшей из возможных взаимно-возвратных форм, думал Тцара о том, что думает о нем Болл, и что думал Тцара о том, что думает Болл о том, что думает о нем Тцара?

Тцара. Он думал, что тот думал, что усядется на тигра, но он знал, что тот знал, что он знает, что нет.

Джойс. Действительно — нет?

Тцара. И да и нет. Болл уехал из Цюриха. Обратился в католицизм и жил мирно в деревне до своей смерти в тысяча девятьсот двадцать седьмом году. Тцара продолжил руководство следующим этапом дадаистской революции, который получил название "сюрреализм". Но это было уже в Париже после войны.

Джойс. Внес ли дадаизм в изобразительное искусство, скульптуру, поэзию и музыку такой вклад, который не осуществили бы... (*Произнося названия городов,* Джойс *извлекает из шляпы флаги соответствующих стран.*) в Барселоне, Нью-Йорке, Париже, Риме и Санкт-Петербурге соответственно Пикабиа, Дюшан, Сати, Маринетти и Маяковский, который, намалевав на щеке синюю розу, выкрикивал свои ломаные строчки, облаченный в желтую кофту?

Тцара. Да, внес. Само слово "дада".

Джойс. Опишите доступно и стараясь не противоречить самому себе, а особенно избегая упоминания о людях, которые засовывали себе в нос рогалики, как было найдено слово "дада".

Тцара. Тристан Тцара наткнулся на слово "дада" случайно, перелистывая словарь Ларусса. Утверждают, что он наобум раскрыл книгу ножом для разрезания бумаг. Сам Тцара не отрицает, что дело могло обстоять именно так. По-французски "дада" — это слово из детского языка, которое обозначает деревянную лошадку. В немецком оно означает мать, которая слишком носится со своим чадом. Хюльсенбек же утверждает, что это он открыл это слово дома у Хьюго Болла, листая принадлежавший последнему французско-немецкий словарь. Тцара при этом вообще не присутствовал. Однако Ханс (или, если желаете, Жан) Арп пишет: "Торжественно заявляю, что Тристан Тцара нашел слово "дада" восьмого февраля тысяча девятьсот шестнадцатого года в шесть часов пополудни. Я присутствовал при этом со всеми своими двенадцатью детьми; Тцара изрек это слово, и все мы переполнились вполне оправданным при подобных обстоятельствах энтузиазмом. Это случилось в кафе "Терраса" в Цюрихе, при этом в левую ноздрю у меня была вставлена бриошь".

Джойс. Имелись ли иные расхождения между Тцарой и Хюльсенбеком?

Тцара. Имелись.

Джойс. В отношении чего?

Тцара. В отношении задач и принципов дадаизма.

Джойс. На основании чего вы это заявляете?

Тцара. На основании манифестов, написанных Тцарой и Хюльсенбеком.

Джойс. Приведите пример требований Хюльсенбека.

Тцара. Международный революционный союз всех творческих людей на основе радикального коммунизма — экспроприация собственности и обобществление имущества.

Джойс. А что требует в отличие от него Тцара?

Тцара. Признания права мочиться разноцветной мочой.

Джойс. Права каждого человека мочиться мочой другого цвета в каждом отдельно взятом случае или права отдельных людей постоянно мочиться мочой определенного цвета? Или право каждого человека в любое время мочиться мочой всех цветов?

Тцара. Все это скорее относилось к утверждению, что писáть не менее естественно, чем пи́сать.

Джойс (*встает, закончив показ фокусов*). Только упаси вас господи делать оба дела в одну шляпу.

Для Тцары *это уже чересчур.*

Тцара. Ах ты высокомерная лужа ирландской блевотины! Ах ты четырехглазая кикимора болотная, картофелина засраная! Твое искусство с треском провалилось. Ты превратил его в религию, и оно сдохло вместе со всем остальным, а ты сидишь возле гниющего трупа на поминках и отщипываешь от него кусочки! Время гениев прошло! Сейчас нам нужны вандалы и осквернители, простодушные разрушители, которые сокрушат века барочных изысков, разрушат храм, чтобы наконец можно было заявить без ложного стыда о том, как важно быть артистом! Дада! *Дада! Дада!! (Бьет об пол всю посуду, какая ему только подворачивается под руку, после чего становится в гордую позу.)*

Джойс *остается в неподвижности.*

Джойс. Ах ты взбалмошный человечек с потребностью в самовыражении, далеко превосходящей возможности твоего скудного дарования! Само по себе это, конечно, вовсе не постыдно, но этого мало, чтобы называть себя художником. Художник — это волшебник, посланный людям для исполнения их прихотей, для удовлетворения их потребности в бессмертии. Пусть возводят кругом храмы и разрушают, с начала веков и по сей день, в горящей Трое и на полях Фландрии! Если во вселенной есть хоть какой-то смысл, то именно он отражается в произведениях искусства, пусть даже они восхваляют тиранов или воспевают ничтожества. Что осталось бы от Трои, если бы ее не воспел поэт? Пыль. (*Закончив эту тираду,* Джойс *достает из шляпы кролика, надевает шляпу на голову и уходит с кроликом под мышкой.*)

Издалека доносится голос Карра.

Карр. "Ну а если низшие сословия не будут подавать нам пример, какая от них польза? У них, по-видимому, нет никакого чувства моральной ответственности".

Тцара *подходит к двери, за которой слышится голос* Карра. *Он открывает ее и удаляется.*

Карр *продолжает читать вслух.*

"Как дела, дорогой Эрнест? Что привело тебя в город?" — "Развлечения, развлечения! А что же еще? Как всегда жуешь, Алджи?" Алджи...

Входит Старый Карр *с книгой в руке.*

Алджи! Тот, другой. Мой личный триумф в ответственной роли Алджернона Монкрифа. Театр "Цур кауфлёйтен" на Пеликанштрассе, в этот весенний вечер "Английская труппа" с жемчужиной английской сцены — комедией "Как можно быть..." А как первого-то звали? Забыл. Комедия Оскара Уайльда. В роли Алджи — Генри Карр. В ролях Тристан Роусон, Сесиль Палмер, Этель Тернер, Эвелин Коттон... остальных забыл. Билеты по пять франков, четыре бобика с носа, зал полон, пришлось отдать кучу мест этому ирландскому хаму и его дружкам, — но я, однако, не злопамятен, тем более что тело его давно покоится на кладбище, что вон на том холме; никто ни на кого не в обиде, полное отпущение грехов. Конечно, неприятно было ввязываться в судебное разбирательство из-за нескольких франков, — и это после того, как я сам заплатил за брюки и организовал аншлаг! — и к тому же он мне всучил десять франков словно чаевые! — а затем потребовал с меня двадцать пять франков за билеты! — даже и глазом не моргнул! Вот, посмотрите, что я нашел... (*Извлекает из кармана потрепанный документ.*) Bezirkgericht Zürich, Цюрихский окружной суд, под председательством судьи Бийете и при участии судей Хаммана и Кауфмана, рассмотрел дело доктора Джеймса Джойса — кислых щей доктор! — истца и ответчика по встречному иску, против Генри Карра, ответчика и истца по встречному иску:

1) Иск: Должен ли ответчик и истец по встречному иску (это я) выплатить истцу и ответчику по встречному иску (это он) двадцать пять франков?

2) Встречный иск: Должен ли истец и ответчик по встречному иску выплатить ответчику и истцу по встречному иску четыреста семьдесят пять франков или же, в ином случае, триста франков?

Вы все поняли? Джойс утверждал, что я ему должен двадцать пять франков за билеты. Я же сказал, что это Джойс должен мне четыреста семьдесят пять франков как мою долю в прибыли или же триста франков, которые я потратил на брюки и так далее, приобретенные мной для исполнения роли Генри — да нет, того, другого...

Наверное, вы уже заметили, что у меня иногда ум за разум заходит, но вы же сами понимаете, как это бывает в моем возрасте — попадешь в борозду, вроде все идет гладко, а потом — фюйть! — мысль перепрыгнула непонятно куда... Постой, постой! Его звали Алджернон — *да, да, Алджернон*! Ага, мы на верном пути, сейчас начнем рассказывать все сначала. Между прочим, если кто-нибудь сюда пришел, чтобы похихикать над дешевой комедией про старца, страдающего склерозом, то он может валить домой, потому что сейчас я расскажу вам, как я познакомился с Лениным и как эта встреча изменила весь ход мировой истории. А это что такое? (*Смотрит на документ у себя в руке.*) Ах да! Erkannt — постановили что 1) Der Beklagte, ответчик, Генри Карр, обязан выплатить dem Klager, истцу, Джеймсу Джойсу, двадцать пять франков. Встречный иск Генри Карра отклонен. Герр Карр выплачивает доктору Джойсу также шестьдесят франков на покрытие издержек и как моральную компенсацию. Какая-то пародия на правосудие! Потом он еще раз в суд обратился, по поводу оскорбления личности. Утверждал, что я называл его мошенником и хамом... Иск, разумеется, не приняли к производству. Это он все из-за денег затеял, этот Джойс. Впрочем, дело давнее. После войны он уехал из Цю-

риха, отправился в Париж, прожил там двадцать лет и снова вернулся сюда в декабре сорокового. Опять началась война... но к тому времени он был больной человек, прободение язвы, а в январе он уже умер... похоронили его холодным вьюжным днем на кладбище Флунтерн, там вон, на вершине холма.

Он мне недавно приснился, приснилось, что он стоит на свидетельском месте, тут я ему и учинил перекрестный допрос, практически выиграл дело, получил от него все — и за штаны, и за все остальное, а затем я как ему бросил в лицо: "А что делали вы во время Великой войны?" А он мне отвечает: "Я? Я "Улисса" писал. А вот *вы* что делали?"

Даже и глазом не моргнул!

Занавес

Второе действие

Библиотека

В начале действия сцена не освещена.

Кроме книжных шкафов и т. п. в Библиотеке должна присутствовать конторка, за которой находится Сесили*; хорошо, если конторка будет похожа на закрытую со всех сторон кафедру.*

Луч света падает только на Сесили*, которая стоит на авансцене и терпеливо ждет, когда последний из зрителей сядет на свое место.*

Следующая далее лекция необязательно должна читаться целиком. После первых слов "Итак, продолжим" можно сразу перейти к тому абзацу, который начинается со слов "Ленин был убежден" или "Карл Маркс считал аксиомой", но дальше пропусков делать нельзя.

Лекция Сесили

Итак, продолжим.

С немалым удивлением Маркс узнал о появлении русского перевода "Капитала", который вышел в Санкт-Петербурге в тысяча восемьсот семьдесят втором году. Это был первый перевод его труда на иностранный язык. Маркс не понимал, в чем тут дело; по его мнению, в России отсутствовали какие бы то ни было предпосылки для социалистической революции. Население на две трети состояло из крестьян, промышленная революция только что началась, и пролетариат был малочисленным. По теории Маркса, России еще только предстояло пройти полный цикл буржуазно-капиталистического развития.

Но у русских были свои причины, чтобы читать Маркса. Некоторые из них полагали, что России удастся пройти к коммунизму кратчайшим путем — через крестьянскую революцию. Другие пытались приложить коммунистический идеал к движению народников — главной революционной силе того времени. Народники рассчитывали путем просвещения и агитации направить волю миллионов крестьян на осуществление реформ. Но гражданские свободы, которые к тому времени уже давно существовали в Европе, в России попросту отсутствовали, и поэтому к тысяча восемьсот семьдесят четвертому году народники были практически полностью разгромлены царизмом. Уйдя в подполье, часть народников создала тайную организацию, которая называлась

"Земля и Воля". Но вскоре среди них произошел раскол по вопросу о применимости насильственных методов. Плеханов, ведущий русский марксист, вышел из организации, а вместе с ним — его сторонники. Оставшиеся сменили название на "Народную волю" и перешли к террору, поставив главной целью физическое устранение царя Александра II, что им и удалось осуществить в марте тысяча восемьсот восемьдесят первого года. Все вожди народовольцев были арестованы и повешены. Плеханов эмигрировал из России в Швейцарию. Здесь, в изгнании, он с рядом соратников основал Российскую рабочую партию, которая со временем превратилась в Коммунистическую.

Вожди террористов утверждали, что историю иногда следует подтолкнуть. Маркс же считал терроризм ненаучным и бессмысленным. События, последовавшие за убийством Александра II, подтвердили правоту Маркса. Погибший император дал волю крепостным и осуществил ряд половинчатых реформ, после же его гибели курс реформ был признан ошибочным и начались жестокие репрессии. Новый царь, Александр III, поставил целью вернуть Россию к корням. Через шесть лет после его восшествия на трон блеснула последняя искра народовольческого движения: была арестована группа студентов, готовивших покушение на царя.

Среди них оказался юноша из ничем не примечательного симбирского семейства — Александр Ульянов, двадцатилетний старший брат Владимира. В семье ничего не знали о его революционной деятельности и были потрясены арестом. Владимиру в тот момент было почти семнадцать. Отец, инспектор народных училищ, умер годом раньше. Когда известие об аресте достигло Симбирска, мать проделала путь в несколько тысяч верст до Петербурга, чтобы просить о помиловании. Но одним майским утром она узнала из газеты, что приговор приведен в исполнение; последний раз она видела своего сына живым накануне вечером.

Владимир в это время готовился в гимназии к выпускным экзаменам. Он сдал их с отличием. Семья перебралась в Казань, где Владимир поступил в университет; именно там, занимаясь на кухоньке маленькой квартиры, которую Ульяновы снимали, он впервые познакомился с трудами Маркса. С тех пор он всегда оставался непоколебимо верен учению марксизма. Маркс показал единственно верный путь; цитата из Маркса была последним аргументом в любом споре, оспорить Маркса означало предать революцию.

Владимир начал выдвигаться на ведущую роль среди русских марксистов во время своей сибирской ссылки в конце тысяча восемьсот девяностых годов; к ссылке он был приговорен сразу после своей первой поездки в Швейцарию в тысяча восемьсот девяносто пятом году, во время которой он установил связи с Плехановым и другими деятелями русской эмиграции, обосновавшимися в Женеве. Именно во время ссылки Владимир Ульянов начал подписывать свои статьи псевдонимом "Ленин".

В ссылке же он вступил в брак с товарищем по партии — Надеждой Крупской.

Ленин, как и Маркс, был убежден, что история развивается диалектическим образом в борьбе связанных единством противоположностей, а не путем эволюции, прагматически синтезирующей интересы различных классов. Ленин был сторонником жесткой линии. Классовая война ничем не отличается от всякой другой

войны, и, для того чтобы руководить ею, партия должна представлять собой компактную группу связанных дисциплиной профессиональных революционеров. Вскоре внутри партии возникла оппозиция Ленину, который постоянно находился за пределами России в добровольной эмиграции. Многие из его коллег мечтали о более свободно организованной партии, главным звеном которой были бы ячейки на заводах и фабриках. Ленин считал, что в самодержавной России это опасно и бесполезно. Жарким августовским днем тысяча девятьсот третьего года, во время Второго съезда, который проходил в Лондоне на Тотнем-корт-роуд, партия раскололась. Поводом послужил вопрос о руководстве партийной газетой. В атмосфере взаимных упреков и недоверия Ленин добился того, что его позицию поддержало большинство. С тех пор ленинская фракция Российской социал-демократической рабочей партии и стала именоваться "большевиками".

Но голосование на съезде оказалось пирровой победой. Не прошло и нескольких месяцев, как название "большевики" приобрело ироническое звучание. Меньшинство съезда — меньшевики — вернуло себе контроль над газетой и Центральным Комитетом и сыграло более заметную роль, чем большевики, в неудачной революции тысяча девятьсот пятого года. После провала революции меньшевики окопались в системе полулегальных марксистских кружков, заняв ревизионистские позиции. Но Ленин покинул страну, не запятнав свое имя, что дало ему моральное право в течение долгих десяти лет в изгнании вести словесную войну против реформистов и ревизионистов. Но тут, в четырнадцатом году, война поставила большевиков перед лицом нового врага — патриотов.

Карл Маркс считал аксиомой, что рабочие из разных стран имеют больше общего между собой, чем со своими национальными буржуазиями. Накануне развязывания военных действий социалисты на одной конференции за другой заявляли о том, что не примут участия в капиталистической войне. Но в августе четырнадцатого военная лихорадка охватила и их. В рейхстаге социал-демократы проголосовали практически единогласно за военные кредиты. В российских социал-демократах в свою очередь также проснулся патриотизм. Это явление Ленин окрестил социал-шовинизмом.

Война застала Ленина и Крупскую в Галиции, которая тогда принадлежала Австро-Венгрии. После непродолжительного пребывания в лагере для интернированных их выпустили в Швейцарию, где они поселились в Берне. В шестнадцатом году Ленин перебирается в Цюрих, поскольку там была лучшая библиотека...

На сцене включается свет, и мы видим Библиотеку.

...намереваясь провести в этом городе не более двух недель. Но Цюрих понравился и ему и Наде, и они решили поселиться в нем на более длительный срок. Сняли комнату по адресу Шпигельгассе, четырнадцать в доме сапожника по фамилии Каммерер. Во время войны Цюрих притягивал, словно магнит, беженцев, изгнанников, шпионов, анархистов, художников и радикалов со всей Европы. Здесь можно было видеть Джеймса Джойса, воздвигавшего у всего мира на глазах основание для памятника, на котором зиждется бессмертная слава его создателя — книги, ставшей известной человечеству под названием "Улисс". Здесь, в погребке "У молочника" по адресу Шпигельгассе, один каждый вечер соби-

рались в своем "Кабаре Вольтер" дадаисты под предводительством темноволосого, похожего на мальчишку и никому тогда еще не известного румынского поэта...

Мы видим Джойса, *проходящего между шкафами; затем* Карра, *который идет за ним следом; на этот раз он одет в куртку, кремовые фланелевые брюки, соломенную шляпу; в глазу у него монокль, а в руках огромные ножницы, которыми он демонстративно щелкает в воздухе.* Джойс *и* Карр *скрываются из виду.*

Каждое утро в девять часов, сразу после открытия, Ленин появлялся в библиотеке.

Появляется Ленин; *он говорит по-русски: "Здравствуйте!"*

Ленин занимался в библиотеке, пока она не закрывалась на обеденный перерыв, а после обеда возвращался и продолжал работать до шести, кроме четверга, который был выходным. Он работал над книгой "Империализм, как высшая стадия капитализма".

Мы видим, как Ленин *работает, заваленный книгами и записями.*

Двадцать второго января семнадцатого года, выступая перед эмигрантской молодежью в Цюрихском Народном доме, Ленин сказал: "Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции". Мы все тогда думали так. Но не прошло и месяца, как один польский товарищ по фамилии Бронский ворвался к Ульяновым домой с новостью: в России произошла революция...

Надя *входит точно так же, как в прологе. Она и* Ленин *повторяют весь русский диалог из пролога, но на этот раз* Сесили *педантично переводит их реплики для публики, не пропуская даже отдельных "да" и "нет".* Ленин *и* Надя *уходят; по пути* Надя *говорит* Сесили *по-русски "до свидания".*

Как писала Надежда Крупская в своих "Воспоминаниях о Ленине": "С первых же минут, как только пришла весть о Февральской революции, Ильич стал рваться в Россию". Но в окруженной со всех сторон воюющими державами Швейцарии такое было легче сказать, чем сделать. Россия воевала с Германией, да и союзники не слишком привечали Ленина, поскольку его отношение к войне представляло для них потенциальную опасность...

Появляется Карр, *одетый в веселенькую курточку и соломенную шляпу;* Карр *пришел в библиотеку в качестве "шпиона" – мы видим это по его поведению, которое меняется только тогда, когда* Сесили *обращается к нему.*

Не было никаких сомнений в том, что англичане и французы сделают все возможное для того, чтобы Ленин не покинул Швейцарию. И что они все время следят за ним. Ах!

Карр *вручает* Сесили *визитную карточку, которую он получил от* Беннетта *в первом действии.*

Сесили. Тристан Тцара. Дада, Дада, Дада... Младший брат Джека!

Карр. А вы — Сесили?

Сесили. Тс-с!

Карр. Да, это вы!

Сесили. А вы, судя по визитной карточке, брат Джека, декадентствующий нигилист.

Карр. Но я вовсе не декадентствующий нигилист. Пожалуйста, не думайте, что я декадентствующий нигилист.

Сесили. Если это не так, то вы самым непозволительным образом вводили нас в заблуждение. Надеюсь, вы не ведете двойной жизни, прикидываясь декадентствующим нигилистом — в частности, выставляя плоды своих теоретических изысканий в галерее на Банхофштрассе. Это было бы лицемерием.

Карр (*глядя на нее с изумлением*). Гм! Конечно, я бывал весьма легкомысленным.

Сесили. Очень рада, что вы это признаете.

Карр. Если уж вы заговорили об этом, должен признаться, что шалил я достаточно.

Сесили. Не думаю, что вам следует этим хвастаться, хотя, вероятно, это вам доставляло удовольствие. Вы, наверное, причинили немало огорчений вашему брату.

Карр. Что ж, мой брат тоже причинил немало огорчений мне, да и всем дадаистам. Его мать тоже не особенно от него в восторге. Мой брат Джек — простофиля, и, если вы позволите, я объясню вам почему. Он сказал мне, что вы — хорошенькая, в то время как вы на первый взгляд — самая прелестная девушка в мире. Вы выдаете книги на дом?

Сесили. Я думаю, вам не следует так говорить со мной в рабочее время. Впрочем, поскольку справочный зал вот-вот закроется на обед, я вам прощаю. Интеллект у мужчин не так часто встречается, чтобы походя пренебрегать им. Какие книги вас интересуют?

Карр. Любые.

Сесили. Неужели ваши интересы так безграничны?

Карр. Речь идет скорее о расширении кругозора. Я получил чрезмерно методичное образование, в результате чего я знаю кое-что про аардварка, слегка владею абаком и разбираюсь в абстракционизме. Аардварк, кстати, — это разновидность африканской свиньи, которая встречается по большей части...

Сесили. Я тоже прекрасно знаю, что такое аардварк, мистер Тцара. Признаюсь честно, вы мне чем-то очень симпатичны.

Карр. В области политики дальше анархизма я не продвинулся.

Сесили. Понятно. Что же касается вашего старшего брата...

Карр. Большевик. А вы, я полагаю...

Сесили. Циммервальдистка!

Карр. О Сесили, не возьметесь ли вы за мое исправление? Займемся этим за обедом. Я уверен, у меня от этого разыграется аппетит. Знаете как у меня разыгрывается аппетит, когда мне приходится отрекаться от своих убеждений за стаканом рейнвейна.

Сесили. Боюсь, что сегодня у меня нет на это времени. Ленин просит, чтобы во время перерыва я навела справки.

Карр. Ленúн? Это ваша подруга? Гувернантка с опытом ищет новое место?

Сесили. Ничего подобного. Я имею в виду Владимира Ильича Ленина, который с моей скромной помощью пишет свой труд "Империализм, как высшая стадия капитализма".

Карр. Ах да — *Ленин*. Но, разумеется, сейчас, когда в Петербурге революция, он наверняка отчаянно рвется в Россию?

Сесили. Разумеется. Когда история революции будет написана, Швейцарии в ней вряд ли будет отведено много места. Как, впрочем, и в любой другой истории. Но все дороги для него закрыты. Придется пробираться переодетым и с фальшивыми документами. Ах, боюсь, я уже сказала слишком много! Владимир абсолютно уверен, что агенты следят за ним и втираются в доверие к его знакомым. Англичане наиболее настойчивы, хотя при этом крайне бестолковы. Только вчера посол получил секретное распоряжение не сводить глаз с морских портов.

Карр (*растерянно*). С морских портов?

Сесили. В то же самое время консул в Цюрихе получил целую пачку шифрованных телеграмм, содержание которых предполагает напряженную и драматическую деятельность: "Задай им жару!", "Пусть попляшут!" и "Выкинь коленце!", а также телеграмму лично от посла, в которой написано: "Сегодня вечером мысленно с вами, Хорэс!"

Карр. Подозреваю, что могу пролить свет на эту загадку. Последние недели консул участвовал в репетициях спектакля, премьера которого состоялась вчера вечером в театре "Цур кауфлёйтен" на Пеликанштрассе. Я оказался в числе приглашенных.

Сесили. Теперь мне ясно, почему он практически полностью передал дела в руки своего дворецкого, который, по счастью, симпатизирует радикалам.

Карр. Боже мой!

Сесили. Вы удивлены?

Карр. Да нет, у меня тоже есть дворецкий.

Сесили. Боюсь, что я не одобряю наличие слуг.

Карр. Вы правы: большинство из них — совершенно бесстыжие твари.

Сесили. В социалистическом будущем слуг не будет ни у кого.

Карр. И я того же мнения. И кому же дворецкий передает корреспонденцию консула?

Сесили. Вашему брату Джеку. Ах боже мой, что это я! Вы ничуточки не похожи на вашего брата. В вас есть что-то британское.

Карр. Смею заверить, я — такой же болгарин, как и он.

Сесили. Джек — румын.

Карр. Это одно и то же. Одни говорят так, другие этак.

Сесили. Никогда не знала, но подозревала что-то в этом роде.

Карр. Так или иначе, я уверен, что теперь, когда премьера "Эрнеста" состоялась, консул освободит своего дворецкого от дипломатической работы. Скажу по чести, консул имел сногсшибательный успех в ответственной роли...

Сесили. *Эрнеста?*

Карр. Нет, того, другого.

Сесили. Но что вы имеете в виду, когда говорите "*Эрнест*"?

Карр. "*Как важно быть Эрнестом*... то есть, *серьезным*" Оскара Уайльда.

Сесили. Не видела такой. Не видела, но наслышана о ней, и мне она не нравится. Эту пьесу написал один ирландский скоморох, который к тому же, по слухам, приспешник банды сторонников гомруля.

КАРР. Ваши слухи обманули вас. Уайльд не то что не был приспешником банды сторонников гомруля — он был равнодушен к любой политике вообще. Если он и был иногда слишком хорошо одет, то искупал это тем, что был бесконечно далек от политики.

СЕСИЛИ. Именно этим он мне и не нравится. Социальная критика — единственная обязанность искусства и оправдание его существования.

КАРР. Ваши взгляды на обязанность и оправдание искусства весьма своеобразны, Сесили, но, к сожалению, то, что мы именуем искусством, по большей части этой функции как раз не выполняет, что не мешает ему утолять общую для нищих и королей потребность в прекрасном.

СЕСИЛИ. Во времена, когда считали, что звезды решают, кому быть королем, а кому нищим, мистер Тцара, искусство, естественно, укрепляло в первом уверенность в своем праве, а второго утешало в его горе. Но сейчас мы живем в эпоху, когда стало известно, что общественное устройство определяется материальными факторами, и на нас лежит новая ответственность — ответственность за происходящие в обществе изменения.

КАРР. Нет, нет и еще раз нет, бедная моя девочка! Искусство не способно изменить общество, это общество изменяет искусство!

С этого момента спор начинает становиться все более и более ожесточенным.

СЕСИЛИ. Искусство и есть общество. Механизм общества состоит из множества соприкасающихся частей, в числе которых — политика и поэзия. И пока оно не изменено в целом, артистический декаданс, не важно, в форме ли утонченной эпиграммы или полной шляпы слов, вышвырнутых в лицо публике, остается роскошью, которую только артист и может себе позволить.

КАРР. Умоляю вас, не путайте дадаистскую лотерею с высокой викторианской комедией...

СЕСИЛИ. И то и другое — буржуазность, и то и другое — декаданс.

КАРР. Вы не знакомы ни с тем, ни с другим...

СЕСИЛИ. Искусство или занимается социальной критикой, или его попросту не существует!

КАРР. Вы знаете Гилберта и Салливена?

СЕСИЛИ. Гилберта знаю. Салливена — нет.

КАРР. Если бы вы знали "Иоланту" так, как я ее знаю...

СЕСИЛИ. Сомневаюсь в этом.

КАРР. "Терпение"!

СЕСИЛИ. Да как вы смеете!

КАРР. "Пираты"! "Пинафор"!

СЕСИЛИ. Возьмите себя в руки!

КАРР. "Руддигор"!

СЕСИЛИ. Вы в Публичной библиотеке, мистер Тцара.

КАРР. "Гондольеры", мадам, в конце-то концов!

Очередной "прыжок во времени".

Сесили. Я думаю, вам не следует так говорить со мной в рабочее время. Впрочем, поскольку справочный зал вот-вот закроется на обед, я вам прощаю. Интеллект у мужчин не так часто встречается, чтобы походя пренебрегать им. Какие книги вас интересуют?

Карр. Любые на ваш вкус. О Сесили, не возьметесь ли вы за мое исправление? Займемся этим за обедом.

Сесили. Боюсь, что сегодня у меня нет на это времени. Придется вам исправляться самостоятельно. Вот статья Владимира Ильича, которую я для него перевожу. Она обращена к британским, французским и германским социалистам, которые свернули с правильного пути на тропу экономизма, оппортунизма и социал-шовинизма.

С этими словами Сесили *вручает* Карру *папку, которая попала в ее руки в прологе. Она идентична той, которую* Гвендолен *передала* Тцаре.

Карр. Звучит ужасно серьезно. А что это означает?

Сесили. Тред-юнионы, парламент и поддержка войны. Вам, наверное, известно, мистер Тцара, что в правительствах Западной Европы в настоящее время насчитывается десять министров-социалистов?

Карр. Должен признаться, род моих занятий не давал мне возможности сосредоточиться на проблемах европейской политики. Но десять министров — это звучит впечатляюще.

Сесили. Это звучит скандально. Они поддерживают империалистическую войну. Социалистам должно быть безразлично, кто победит: война ведется между рабовладельцами из-за дележа рабов. Ревизионисты, такие, как Каутский и Макдональд, отвлекают внимание рабочих от подлинной борьбы, от борьбы классов.

Карр (*удивленно*). Вы имеете в виду Рамсея Макдональда, Сесили?

Сесили. Ну, разумеется, не Флору Макдональд, мистер Тцара!

Карр. Но это откровенный большевик! Он против войны — кто этого не знает!

Сесили. И все равно он — оппортунист и приверженец экономизма.

Карр. Неужели вы действительно считаете, что рабочим не нужны ни повышение заработной платы, ни свои парни в правительстве?

Сесили. Разумеется. Эти полумеры всего лишь затягивают гибель капиталистической системы. Карл Маркс показал, что капитализм копает себе могилу. Не надо препятствовать самоуничтожению буржуазии. Чем шире становится пропасть между бедными и богатыми...

Карр. Но она не становится шире!

Сесили. Только в настоящий момент. Но Владимир Ильич показал в своей новой книге "Империализм, как высшая стадия капитализма", что европейским рабочим выгодна эксплуатация их классовых братьев в колониях. Империализм дал буржуазии передышку, но неизбежный вывод из Марксовой теории капитала говорит нам...

Карр. Нет, нет и еще раз нет, бедная моя девочка! Маркс заблуждался. Заблуждался добросовестно, но от этого заблуждение не перестает быть заблуждением. Он совершил двойную ошибку: во-первых, из-за того, что оказался жертвой исторических обстоятельств, во-вторых, из-за того, что взял за основу для своих рассуждений ма-

териализм, выставив тем самым на посмешище и себя, и свою теорию...

Сесили (*холодно*). Мистер Тцара, вы оскорбляете меня и моих товарищей...

Карр. ...Вот-вот, и прежде всего своих товарищей. Жертвой исторических обстоятельств может стать кто угодно. К несчастью, Маркс изучал капиталистическую систему в самый неудачный период ее развития. Промышленная революция уже загнала обездоленных в трущобы городов и принудила их к рабскому труду на фабриках, но еще не успела приобщить их к благам индустриального общества. Оглядевшись вокруг, Маркс пришел к выводу, что существование этой системы зависит исключительно от наличия армии наемных рабочих. Он заключил, что богатство капиталиста есть обратная сторона нищеты рабочего и что оно, по сути дела, похищено у последнего в виде прибавочной стоимости. Именно так, по его мнению, устроен капитализм. Это ложное умозаключение было выведено им из другой, также ложной, посылки, утверждающей, что человек есть частный случай материального объекта и как таковой ведет себя в материальном мире, подчиняясь объективным законам. Маркс заявил, что человеческое поведение обусловлено принадлежностью человека к определенному классу. Но и тут он ошибся: даже самым обездоленным, самым эгоистичным, самым озлобленным или алчным представителям рода человеческого свойственны проявления высшего разума, высшей воли, высшей морали... Законодательство, профсоюзы, участие в прибыли, рост потребления – все эти разнообразные факторы привели к тому, что пропасть между классами стала сужаться, вместо того чтобы стать окончательно непреодолимой. Критический момент так и не наступил. Он растворился в воздухе. Процесс повернул вспять как раз тогда, когда после восемнадцати лет каторжного труда "Капитал" наконец вышел из печати: лишнее доказательство того, как слеп порою бывает творец. До чего прелестно вы сейчас выглядите, Сесили, – вы похожи на пунцовую розу!

Сесили. Потому что меня сейчас вытошнит прямо на вашу педерастическую соломенную шляпку – вы, жалкий зануда! – вы, лицемерный хвастливый хлыщ! – вы, буржуазный образованный обманщик! – вы, художник чертов! Неужели вы считаете, что социализм сводится к праву на забастовку, участию в выборах, размеру заработной платы, гражданским правам? Неужели вы считаете, что социализм – это борьба за уступки? Нет, социализм – это решение вопроса собственности, осуществление природного права народа на совместное владение своей страной и ее ресурсами, землей, тем, что лежит под землей, и тем, что растет над землей, а также всеми благами и всеми прибылями, которые могут быть от этого получены. Новое общество, как дерево, начинается с корней и ствола, а не с листьев. Маркс предупреждал, чтобы мы остерегались либералов, филантропов, сторонников постепенных реформ – они не добьются перемен. Их добьются только те, кто отважится пойти на лобовое столкновение с буржуазией, ибо таковы законы истории! Когда Ленину был двадцать один год, в России свирепствовал голод. Интеллигенция организовала помощь голодающим – бесплатные кухни, раздачу семенного зерна и тому подобное. Возглавил эту кампанию Лев Толстой. Ленин не принял в ней участия. Он понимал, что голод может стать движу-

щей силой революции, которая разорит крестьянство и приблизит Россию на шаг к промышленному капитализму, и, следовательно, к социалистической революции, к диктатуре пролетариата и коммунистическому обществу. Так он думал в Самаре в восемьсот девяностом-девяносто первом годах, в возрасте двадцати одного года. Совсем еще юноша, а уже понимал такие вещи, так что не говорите мне о вашей высшей морали, вы, надутый, начитавшийся Канта зануда. Вы говорите со мной о классовой борьбе, а на самом деле только и мечтаете о том, как бы увидеть меня в одних панталонах...

КАРР. Неправда!

Но это правда. По мере того как СЕСИЛИ *продолжает свой монолог, мы постепенно получаем возможность взглянуть на нее глазами* КАРРА. *Разноцветные лучи прожекторов начинают играть на ее теле, а общий свет гаснет, за исключением луча прожектора, который направлен на* КАРРА. *Откуда-то из тысяча девятьсот семьдесят четвертого года доносятся слабые звуки биг-бэнда, играющего тему из "Звезды стриптиза".* КАРР *в трансе. Музыка звучит все громче. К этому времени* СЕСИЛИ *может, скажем, взобраться на свою конторку, которая, вероятно, празднично освещена на манер сцены кабаре.*

СЕСИЛИ. В Англии богатые владеют бедными, а мужчины — женщинами. Пяти процентам населения принадлежит восемьдесят процентов собственности. Единственное верное учение — это учение Маркса и Ленина, противопоставленное ревизионизму, оппортунизму, либерализму, буржуазно-анархическому индивидуализму, квазисоциалистическому здесь-и-сейчас-изму, синдикалистскому квазимарксистскому популизму, либеральному квазикоммунистическому оппортунизму, экономистскому квазиинтернационалистическому империализму, социал-шовинистическому квазициммервальдистскому меньшевизму, детерминистическому квазисоциалистическому аннексионизму, австромарксизму, бундизму, эмпириокритицизму...

КАРР. Заберите... заберите все к чертям собачьим!

Обычное освещение.

СЕСИЛИ. Я думаю, вам не следует так говорить со мной в рабочее время. Впрочем, поскольку справочный зал вот-вот закрывается на обед, я вам прощаю. Интеллект у мужчин не так часто встречается, чтобы походя пренебрегать им. Какие книги вас интересуют?

КАРР. Книги? Какие книги? Что вы имеете в виду, Сесили? Я прочитал статью мистера Ленина, и в ней сказано все. Надеюсь, Сесили, я не оскорблю вас, если скажу честно и прямо, что в моих глазах вы зримое воплощение предельного совершенства.

СЕСИЛИ. Внешнего или внутреннего?

КАРР. И того и другого.

СЕСИЛИ. О Тристан!

КАРР. А вы, вы любите меня? Вы согласны поверить мне все ваши тайны?

СЕСИЛИ. Какой вы глупый! Конечно. Я ведь жду вас уже несколько месяцев.

КАРР (*удивленно*). Уже несколько месяцев?

СЕСИЛИ. С тех пор как Джек признался мне, что у него есть младший брат, декадентствующий нигилист, моей девичьей мечтою стало

познакомиться с вами, взяться за ваше исправление и полюбить вас.

КАРР. О Сесили!

Карр пытается обнять СЕСИЛИ, *в результате чего стаскивает ее за конторку, где исчезает и сам. Впрочем, он тут же появляется оттуда...*

Но, моя дорогая Сесили, неужели вы хотите сказать, что не полюбили бы меня, если бы...

... и скрывается обратно.

Входит НАДЯ *и начинает рассказывать, обращаясь к зрителям.*

НАДЯ. С первых же минут, как только пришла весть о Февральской революции, Ильич стал рваться в Россию... Сон пропал у Ильича с того момента, когда пришли вести о революции, и вот по ночам строились самые невероятные планы. Можно перелететь на аэроплане. Но об этом можно было думать только в ночном полубреду. Надо достать паспорт какого-нибудь иностранца из нейтральной страны.

Письмо Якову Ганецкому в Стокгольм от девятнадцатого марта тысяча девятьсот семнадцатого года.

"Ждать больше нельзя, тщетны все надежды на легальный приезд. Необходимо во что бы то ни стало немедленно выбраться в Россию, и единственный план – следующий: найдите двух шведов, похожих на меня и Зиновьева. Но мы не знаем шведского языка, поэтому шведы должны быть глухонемыми. Посылаю вам на всякий случай наши фотографии".

Входит ТЦАРА.

ТЦАРА (*недоверчиво повторяет*). Два... шведских... глухонемых??? (*Прислоняется спиной к конторке.*)

НАДЯ (*с авансцены, не замечая* ТЦАРА *и независимо от него*). План, упомянутый в этом письме, так и не был осуществлен.

Входит ЛЕНИН, *гладко выбритый и в парике.*

Письмо В. А. Карпинскому в Женеву, от того же девятнадцатого марта тысяча девятьсот семнадцатого года.

ЛЕНИН. Дорогой Вячеслав Алексеевич!

Я всячески обдумываю способ поездки. Абсолютный секрет – следующее. Прошу ответить мне тотчас и, пожалуй, лучше экспрессом (авось партию не разорим на десяток лишних экспрессов), чтобы спокойнее быть, что никто не прочел письма.

Из-за конторки показывается голова КАРРА; КАРР *внимательно вслушивается.*

Возьмите на мое имя бумаги на проезд во Францию и Англию. Я поеду по ним через Англию (и Голландию) в Россию.

Я могу одеть[1] парик.

Фотография будет снята с *меня* уже в парике, и в Берн в консульство я явлюсь с Вашими бумагами уже в парике.

Из-за конторки появляется СЕСИЛИ.

Вы тогда должны скрыться из Женевы минимум на несколько недель (до телеграммы от меня из Скандинавии)... Ваш Ленин.

1. Так у Ленина. (*Прим. ред.*)

P. S. ... Пишу Вам, ибо уверен, что между нами все останется в секрете абсолютном.

Сесили. Джек!

Тцара (*поворачиваясь на голос*). Сесили!

Сесили. У меня есть для вас сюрприз. Кто бы, вы думали, у нас здесь? Ваш брат!

Тцара. Что за чушь! У меня нет никакого брата!

Сесили. О, не надо так говорить! Он только что отрекся от жизни декадентствующего нигилиста, которую вы и Владимир Ильич справедливо...

Тцара. Ничего не понимаю, какая-то нелепость. (*Поворачивается в другую сторону и замечает* Карра.) О боже!

Ленин *и* Надя *замечают происходящее и начинают смотреть тоже.*

Карр. Дорогой брат, я пришел, чтобы сказать тебе, что я очень сожалею обо всех причиненных тебе в прошлом огорчениях и что я намерен в будущем жить совсем по-другому.

Сесили. Джек, неужели вы оттолкнете руку вашего брата?

Тцара. Ничто не заставит меня пожать ему руку. Он сам знает почему.

Сесили *в слезах убегает со сцены. За ней следует* Карр.

Ленин *и* Надя *отворачиваются;* Ленин *в раздражении срывает с головы парик.*

Надя. План, упомянутый в этом письме, так и не был осуществлен. В тот же самый день, девятнадцатого марта, произошло общее собрание представителей различных групп русских политэмигрантов, находившихся в Швейцарии. На нем обсуждались пути и способы возвращения в Россию.

Карр *появляется в образе* Старого Карра. *Сцена погружена в темноту; только один прожектор выхватывает из нее* Карра. Карр *продолжает рассказ, начатый* Надей.

Карр. В тот же самый день, девятнадцатого марта, произошло общее собрание представителей различных групп русских политэмигрантов, находившихся в Швейцарии. На нем обсуждались – да, кстати, простите за то, что уклоняюсь от темы, но вы часом не заметили? Ну конечно же заметили – привет, привет, подумали вы, опять взялся за старое! Да, взялся. Представьте себе только эту картину: середина марта, я и Ленин в Цюрихе. Я к нему тогда очень близко подобрался благодаря удачной интрижке с одной интересной молодой особой, выведал все, что у него было на уме. Мне ничего не стоило погубить всю большевистскую затею в самом зародыше, но я не стал этого делать. И вот почему: *я сомневался.* Я сомневался в том, стоит ли это делать. И потом – чувство, которое я питал к Сесили. И к тому же не забывайте: *он тогда еще не был Лениным. И вообще, кем он был тогда?* И вот: судьбы миллионов людей в моих руках, весь мир замер, ожидая моих действий. Другой бы на моем месте дрогнул, но я – да, кстати, простите за то, что уклоняюсь от темы... В тот же самый день, девятнадцатого марта, произошло общее собрание представителей различных групп русских политэмигрантов, находившихся в Швейцарии. На нем обсуждались пути и способы возвращения в Россию.

КАРР *выходит. Как вариант, он остается на сцене, но закрывается от публики опущенным экраном, на который проецируются фотографии тех людей, которых упоминает в своем рассказе* НАДЯ.

НАДЯ. Мартов выдвинул проект — добиться пропуска эмигрантов через Германию в обмен на интернированных в России германских и австрийских пленных. Однако на это никто не шел. Только Ленин ухватился за этот план.

ЛЕНИН. Двадцать первое марта, письмо Карпинскому в Женеву. "План Мартова хорош: за него надо хлопотать, только мы (и Вы) не можем делать этого прямо. Нас заподозрят... Но план, сам по себе, очень хорош и очень верен".

Входит КАРР, *снова молодой, проходит в угол сцены и становится рядом с* ТЦАРОЙ.

Действие в той части сцены, которая занята КАРРОМ *и* ТЦАРОЙ, *развивается независимо от* ЛЕНИНА *и* НАДИ. *С этого момента уже нельзя сказать, что действие происходит в Библиотеке.* КАРР *и* ТЦАРА *могут находиться, к примеру, в кафе или вообще где угодно.*

КАРР. По мнению лондонских газет в действительности нам следует опасаться Керенского.

НАДЯ. "Поездка Ленина через Германию в пломбированном вагоне", книга швейцарского социалиста Фрица Платтена, тысяча девятьсот двадцать четвертый год.

"Поскольку прямые контакты между эмиграцией и германским правительством были нежелательны, решили, что переговоры поведет председатель Циммервальдского комитета товарищ Гримм".

КАРР. Хочу, чтобы вы поняли: я на самом деле люблю Сесили.

НАДЯ. Двадцать пятое марта. Телеграмма Ставки германского верховного командования министерству иностранных дел в Берлине: "Не имеем возражений касательно транзита русских революционеров, если таковой будет произведен под конвоем в специальном поезде".

КАРР. Постарайтесь меня понять. Американцы вот-вот вступят в войну. Будет крайне глупо, если в этот момент какие-нибудь большевики заставят Россию выйти из игры. Это могло бы полностью изменить весь ход событий. Поймите, я всегда выступаю за правое дело. Вы же помните подлую маленькую Польшу — нет, не Польшу, ту, другую...

НАДЯ. Тридцать первое марта. Телеграмма Гримму.

ЛЕНИН. "Наша партия решила безоговорочно принять предложение о проезде русских эмигрантов через Германию... Мы абсолютно не можем отвечать за дальнейшее промедление, решительно протестуем против него..."

НАДЯ. Тогда Ленин решил сам организовать все через какого-нибудь пользующегося доверием швейцарского товарища. Как-то утром около одиннадцати Фрицу Платтену позвонили в секретариат и попросили его прийти на встречу с Ильичом в полвторого в ресторан "Айнтракт". Когда Платтен пришел, он увидел за столом целую группу товарищей. Присутствовали Ленин, Радек, Мюнценберг, позже Ленин отошел в сторону с Платтеном и спросил его:

Ленин. Готовы ли вы быть нашим представителем на переговорах касательно отъезда в Россию и сопровождать нас через Германию?

Надя. Немного поразмыслив, Платтен согласился.

Карр. В любом случае в соответствии с марксистской теорией диалектика истории привела бы к тому же результату с ним или без него. Если бы Ленина не существовало, его необходимо было бы выдумать. Как, впрочем, и Маркса.

Ленин. Телеграмма большевикам, отъезжающим из Скандинавии в Санкт-Петербург: "Notre tactique: méfiance absolue, aucun soutien nouveau gouvernement, Kerensky surtout soupçonnons, armement proletariat seule garantie, élection immédiate douma de Petrograd, *aucun rapprochement autres partis*"[1].

Надя. Третье апреля. Германский посол принял Платтена. Ленин и Зиновьев уполномочили его передать министру Ромбергу следующие условия: первое, что Фриц Платтен берет на себя полную ответственность за сопровождение пломбированного вагона; второе, что вагон будет пользоваться экстерриториальностью; третье – никакого контроля ни паспортов, ни багажа; четвертое...

Карр. И, кроме того, я не понимаю вашего интереса. Все эти заигрывания с марксизмом – чистое сумасбродство. Вы – крайне милый буржуа, которому маменька выхлопотала освобождение от труда. Случись революция, вы не будете знать, что делать и куда бежать. Вы – ничто. Меньше чем ничто – художник. Эти парни сделают реальностью ваши мечты о многоцветном мочеиспускании: вы будете мочиться кровью.

Тцара. Художники и интеллектуалы станут совестью революции. В искусстве он придерживается реакционных взглядов, к тому же он прошел суровую школу борьбы, в которой человек с чуткой душой попросту бы погиб, но он хочет построить общество свободы и равенства. И он прислушается к нам: ведь прислушивается же он к Горькому. Кстати, вы знаете Горького?

Карр. Нет.

Тцара. Ну что ж, поступайте как знаете. Мы, дадаисты, считаем, что история тоже появляется из шляпы.

Ленин. Седьмое апреля. Телеграмма Ганецкому в Стокгольм: "Завтра уезжает двадцать человек".

Карр. Боюсь, что для дадаистов в коммунистическом обществе не найдется места.

Тцара. Именно поэтому мы за коммунизм. В буржуазном обществе нам слишком просторно.

Надя. Девятого апреля в два тридцать пополудни путешественники выехали от ресторана вокзала Царингер. В путь отправились по-русски – нагруженные подушками, одеялами и прочими пожитками. Ильич был в котелке, зимнем пальто и прочных башмаках на толстой подошве, которые сделал ему наш квартирный хозяин сапожник Каммерер. Телеграмма сестре в Санкт-Петербург.

Ленин. "Приезжаем понедельник ночью одиннадцать. Сообщите "Правде".

1. Наша тактика: абсолютное недоверие, никакой поддержки новому правительству, Керенский вызывает особенные подозрения, вооруженный пролетариат – единственная опора, немедленные выборы в Петроградскую думу, никакой поддержки другим партиям (*франц.*).

Надя *и* Ленин *уходят.*

Отдаленный звук отправляющегося поезда.

Тцара. Поезд отбыл в три десять, как и было запланировано. (*Уходит.*)

Карр (*решительно*). Окончательное решение созрело в моем мозгу: его надо остановить любой ценой. Русское правительство состоит из умеренных патриотов. Князь Львов – умеренный консерватор, Керенский – умеренный социалист, а Гучков – просто деловой человек. Все это создает многообещающие предпосылки для построения демократического общества западного типа и для победоносного завершения войны на Восточном фронте, вслед за чем последует бурное развитие торговли. Я должен немедленно телеграфировать послу в Берн. (*Уходит.*)

Звуки поезда становятся громче.

Все погружено в темноту; луч прожектора на Ленине. *Он снова с бородой. Существует широко известная фотография* Ленина, *обращающегося с речью к народу в мае 1920 года – "лысый, с бородкой, в костюме-тройке", по описанию Карра; он стоит, слегка наклонившись вперед, словно моряк в шторм, подбородок выпячен вперед, руки вцепились в край трибуны, которая ему по пояс, в правой руке зажата кепка... фотография знаменитая, и небезосновательно. (Кстати, это именно та фотография, которую Сталин приказал отретушировать, чтобы убрать с нее Зиновьева и Каменева.)*

То, что мы видим на сцене, сейчас похоже на эту фотографию.

Экран – если его использовали – поднят. Крайне важно, чтобы вся последующая речь произносилась с самой выгодной позиции, создавая разительный контраст с предыдущей сценой. В идеале Ленин *должен говорить с высокой трибуны, в которую может трансформироваться конторка* Сесили *или один из библиотечных шкафов.*

Кроме Ленина-оратора, на сцене никого нет.

Ленин. Литература должна стать партийной... Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, "колесиком и винтиком" одного-единого, великого социал-демократического механизма... Найдутся даже, пожалуй, истеричные интеллигенты, которые поднимут вопль по поводу такого сравнения... По существу дела, подобные вопли были бы только выражением буржуазно-интеллигентского индивидуализма.

Издательства и склады, магазины и читальни, библиотеки и разные торговли книгами – все это должно стать партийным, подотчетным... Мы хотим создать, и мы создадим свободную печать не в полицейском только смысле, но также в смысле свободы от капитала, свободы от карьеризма; мало того: *также и в смысле свободы от буржуазно-анархического индивидуализма.*

Эти последние слова покажутся парадоксом или насмешкой над читателями... Успокойтесь, господа!.. Каждый волен писать и говорить все, что ему угодно, без малейших ограничений. Но каждый вольный союз (в том числе партия) волен также прогнать таких членов, которые пользуются фирмой партии для проповеди антипартийных взглядов... Во-вторых, господа буржуазные индивидуалисты, мы должны сказать вам, что ваши речи об абсолютной свободе одно лицемерие. В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть "свободы" реальной и дей-

ствительной. Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в романах и картинах? Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания. Партийная литература будет свободной литературой, потому что не корысть и карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения "верхним десяти тысячам", а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу и будущность.

Когда речь достигает этой патетической ноты, вспыхивает луч света, который озаряет Надю, *стоящую в глубине сцены. Обстановка постепенно становится более бытовой.* Ленин *исчезает.*

Надя. Ильич написал эту статью во время революции пятого года. Он не так уж много писал об искусстве или литературе, но любил их. Охотно ходил Ильич в разные кафе и театры, иногда даже в мюзик-холл, где особенно ему нравились клоуны. А когда мы смотрели в Лондоне в седьмом La Dame Aux Camelias, он даже прослезился. Горький рассказывает нам в своих "Воспоминаниях о Ленине", как Ильич восхищался Толстым, что соответствует действительности. Особенно ему нравилась "Война и мир". Но тем не менее в своей статье к восьмидесятилетию Толстого он написал...

Ленин (*входя*). ...С одной стороны, гениальный художник; с другой стороны – помещик, юродствующий во Христе. С одной стороны, замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, – с другой стороны, истасканный истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: "я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками". С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления; с другой стороны – юродивая проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, а именно религии. Толстой отразил скрытую ненависть и надежду на лучшее будущее, но, в то же время, наивные мечтания и политическую незрелость, которая была одной из главных причин поражения революции тысяча девятьсот пятого года.

Надя. Тем не менее он уважал Толстого за его приверженность к традиционным ценностям в искусстве. *Новое* искусство казалось ему чуждым и непонятным. Клара Цеткин вспоминает, как Ильич однажды взорвался по этому поводу.

Ленин. Полная, абсолютная чепуха! Мы – хорошие революционеры, но это вовсе не значит, что мы обязаны восхищаться современным искусством. Что касается меня, то можете считать меня варваром. Экспрессионизм, футуризм, кубизм... Я их не понимаю, и они не доставляют мне никакого удовольствия.

Надя. Однажды нас позвали в Кремль на концерт, где артистка Гзовская декламировала Маяковского... Маяковский пользовался известностью еще до революции: намалевав на щеке синюю розу, он вы-

крикивал свои ломаные строчки, облаченный в желтую кофту. Ильич сидел в первом ряду, немного растерянный от неожиданности и недоумевающий.

Ленин. Записка комиссару народного образования А. В. Луначарскому: "Как не стыдно голосовать за издание "150 000 000" Маяковского в 5000 экз.?

Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность.

По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и для чудаков.

А Луначарского сечь за футуризм".

Надя. Раз вечером захотелось Ильичу посмотреть, как живет коммуной молодежь. Было это, кажется, в день похорон Кропоткина, в двадцать первом году. Был это голодный год, но было много энтузиазма у молодежи. Лица сияли.

Ленин. Что вы читаете? Пушкина читаете?

Надя. "О нет! — выпалил кто-то. — Он был, ведь, буржуй. Мы — Маяковского!"

Ленин. По-моему, Пушкин лучше.

Надя. После этого Ильич подобрел к Маяковскому. Он не считал себя ценителем поэзии. Но вопрос буржуазной интеллигенции очень его волновал.

Ленин. Тринадцатое февраля тысяча девятьсот восьмого года, письмо Горькому: "Дорогой Алексей Максимович... Я думаю, что кое-что из возбужденных Вами вопросов о наших разногласиях — прямо недоразумение. Уж, конечно, я не думал "гнать интеллигенцию"... или отрицать ее необходимость для рабочего движения..."

Надя. Горький вступил в РСДРП до пятого года и поддерживал партию материально. Алексея Максимовича Ленин любил как человека и как художника. Он считал, что как художник Горький многое может понять с полуслова. С Горьким говорил особенно откровенно.

Ленин. Пятнадцатое сентября тысяча девятьсот девятнадцатого года, письмо Горькому: "Дорогой Алексей Максимович... еще до Вашего письма мы решили в Центральном Комитете назначить Каменева и Бухарина для проверки ареста буржуазных интеллигентов околокадетского типа и для освобождения кого можно. Ибо для нас ясно, что и тут ошибки были.

Ясно и то, что, в общем, мера ареста кадетской (и околокадетской) публики была необходима и правильна.

Когда я читаю Ваше откровенное мнение по этому поводу, я вспоминаю особенно мне запавшую в голову при наших разговорах (в Лондоне, Капри и после) Вашу фразу:

"Мы, художники, невменяемые люди".

Вот именно! Невероятно сердитые слова говорите Вы по какому поводу? По поводу того, что несколько десятков (или хотя бы даже сотен) кадетских и околокадетских господчиков посидят несколько дней в тюрьме для предупреждения заговоров, грозящих гибелью десяткам тысяч рабочих и крестьян.

Какое бедствие, подумаешь! Какая несправедливость! Несколько дней или хотя бы даже недель тюрьмы интеллигентам для предупреждения избиения десятков тысяч рабочих и крестьян!

"Художники невменяемые люди".

Не раз и на Капри и после я Вам говорил: Вы даете себя окружить именно худшим элементам буржуазной интеллигенции и поддаетесь на их хныканье.

Ей-ей, погибнете, ежели из этой обстановки буржуазных интеллигентов не вырветесь! От души желаю поскорее вырваться.

Лучшие приветы!

Ваш Ленин.

P. S. Ибо Вы не пишете! Тратить себя на хныканье сгнивших интеллигентов и не писать – для художника разве не гибель, разве не срам?"

НАДЯ. Еще в Лондоне в тысяча девятьсот третьем году Ленин жалел, что не может очутиться в России и посмотреть "На дне". После революции мы все же увидели этот спектакль. Само собой, к игре вещи Горького Ильич был особенно требователен. Излишняя театральность постановки раздражала Ильича. После "На дне" он надолго бросил ходить в театр. Ходили мы с ним как-то еще на "Дядю Ваню" Чехова. Ему понравилось. И наконец, последний раз мы ходили в театр уже в двадцать втором смотреть "Сверчка на печи" Диккенса. Уже после первого действия Ильич заскучал, стала бить по нервам мещанская сентиментальность Диккенса. А когда начался разговор старого игрушечника с его слепой дочерью, не выдержал Ильич, ушел с середины действия.

Издалека доносятся приглушенные звуки "Аппассионаты" Бетховена.

Помню как-то вечером, в доме наших московских друзей мы слушали сонату Бетховена...

ЛЕНИН. Ничего не знаю лучше "Appassionata", готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди.

Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя – руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм, гм – должность адски трудная.

Луч, высвечивающий Ленина, гаснет. ЛЕНИН *уходит.*

Музыка продолжает звучать.

НАДЯ. Однажды, когда Ленин сидел в тюрьме в Питере, он написал мне и попросил, чтобы я приходила и в определенный час стояла на одной из плит мостовой на Шпалерной. Когда заключенных выводили на прогулку, то из окна коридора эта плита была видна. Несколько дней подряд я приходила и стояла. Но Ильичу так и не удалось меня увидеть. Что-то помешало, не помню уж что.

"Аппассионата" звучит в темноте все громче и громче; в это время Библиотека сменяется Комнатой. На сцене – ГВЕНДОЛЕН; *она сидит. Стол накрыт для чаепития. "Аппассионата" дурацким образом переходит в мелодию куплетов "Мистер Галлахер и мистер Шин". Входит* БЕННЕТТ, *за которым следует* СЕСИЛИ.

Следует подчеркнуть то, что последующий диалог воспроизводит метр и рифму куплетов. Каждая строфа состоит из десяти стихов, первый из которых –

не связанный рифмой зачин. Четвертая и пятая строфа могут быть опущены в представлении.

Беннетт. Мисс Каррутерс.

Сесили. Сеси́ли Каррутерс.

Гвендолен. Так вы, милочка, значит, Сеси́ли?
По заверениям брата,
В семьях аристократов
Многих девочек так окрестили.

Сесили. Ах, мисс Карр, вы меня согласились принять!
Это — честь для меня, ах, не надо вставать!
Я любезностью вам отвечаю...

Гвендолен (*Беннетту*). И еще одну чашечку чаю...

Сесили. Я не знаю, с чего и начать...

Гвендолен. Мисс Каррутерс, Сесили Каррутерс!
Зовите меня просто Гвен,
И будьте как дома,
Словно я вам знакома
С детских лет, а условности — тлен.

Сесили (*изображая светскую даму*).
О Гвендолен, о Гвендолен!
Вы взяли мое сердце в плен...
Во имя дружбы и любви
Зовите просто Сесили́
Меня...

Гвендолен. Я, конечно, согласна!

Сесили. Ну и прекрасно, Гвендолен.

Сесили. О Гвендолен, о Гвендолен!
Нам уже доводилось быть,
Быть вместе в одном странном месте,
Где я вяну среди мрачных стен.

Гвендолен. Ах, милочка, как я могла позабыть!
О Сеси́ли, о Сеси́ли!
Надеюсь, вы меня простили?
Ну, так все ли в порядке
В вашем Цюрихском банке?

Сесили. В библиотеке, Гвендолен...

Гвендолен. В библиотеке, Сесили́!

Сесили. О Гвендолен, о Гвендолен!
Хоть неловко мне вам говорить,
Но абонементную плату
За "Одиссею" Гомера и подшивку "Айриш таймс"
за июнь четвертого года
Вы должны уж давно заплатить.

Гвендолен. О Сесили́, о Сесили́!
Мой приятель, он пишет "Улисса" и
Мы ужасно огорчены
Тем, что книги просрочены...

Сесили. С октября, Гвендолен!

Гвендолен. С октября, Сесили́...

Входит Беннетт *с чайной чашкой. Следуют звуки наливаемого чая, отхлебываемого чая, не говоря уж о позвякивании ложечек и т. д., но воздержимся от детального описания этих звуков.*

Гвендолен. О Сеси́ли, о Сеси́ли...
Кстати, как там ваш друг из России?
Тот, что возле шкафов "Экономика"
Все сидел между буквами А и К...

Сесили. Ах, я плакать хочу от бессилия!
О Гвендолен, о Гвендолен,
Большевистской он партии член
И уехал сегодня обратно в Россию,
Но в России он к осени станет всесильным.

Гвендолен (*неискренне*). Ну конечно, Сесили!

Сесили. Клянусь, Гвендолен!

Сесили. О Гвендолен, о Гвендолен,
Вы бы знали, как он был рад,
Когда все, кроме мистера Тцары,
Большевики уселись на старый
Паровоз, что повез их в родной Петроград!

Гвендолен. О Сесили́, моя Сесили́,
Вы мне только что сердце разбили...
Большевик! Неужели он тоже?..
Большевик! Совсем не похоже.

Сесили. Без сомнения, Гвен.

Гвендолен. Вы меня поразили.

Гвендолен. О Сеси́ли, моя Сеси́ли,
Не прощу я его и вовек,
И встречаться не стану
Больше с этим Тристаном!

Сесили. Как с Тристаном? Его имя — Джек.
О Гвендолен, о Гвендолен,
Два брата Тцара в этом поколен-
ии...

Гвендолен. Я не знала о брате Тристана.

Сесили. Что поделать, семейная тайна...

Гвендолен. Удивительно, Сесили́.

Сесили. Поразительно, Гвендолен.

Сесили. О Гвендолен, о Гвендолен,
Я открою вам первой секрет:
Тристан разделяет убеждения брата
Во всем, что касается пролетариата,
И он сам признался мне в эт-
ом...

Гвендолен (*встает, потом снова садится*).
О Сесили́, о Сесили́!
Мой Тристан пишет лишь о любви,
И в его артистической шляпе
Места нет ни одной грязной лапе
Пролетария.

Сесили. Гвен!

Гвендолен. Сесили́!

Гвендолен. О Сесили́, моя Сесили́,
Вы стали жертвой заблуждения.
Тристан излил мне свои чувства:
Искусство ради искусства
Есть и будет его убеждение.

Сесили. О Гвендолен, о Гвендолен,
С тех пор он стал другим совсем.
Он сказал мне без огорчения,
Что искусство — лишь способ решения
Социальных проблем.

Гвендолен (*ледяным тоном*).
О Сесили́, о Сесили́!
Больно слышать мне ваши признания;
Ведь читая "Улисса",
В экстазе он бился
От идеи потока сознания.

Сесили. О Гвендолен, о Гвендолен,
Я не верю в правдивость описанных сцен:
Только классовое сознание
У Тристана найдет понимание...

Гвендолен. Класса горничных?

Сесили. Как, Гвендолен?!

Гвендолен (*вставая*). Мисс Каррутерс!

Сесили (*жестко*). Что вам, мисс Карр?

Гвендолен. Не хочу вас больше держать.

Сесили. И надеюсь, что впредь
Вы не будете сметь
Книги вовремя не возвращать.
Мисс Карр. (*Откланивается и направляется к двери.*)

Гвендолен. Мисс Каррутерс,
может, я и вышла чуть из
себя, но ваш моветон...

Входит Карр. *Пауза.*

Сесили. Да чего там, мисс Карр — *Тристан*!

Гвендолен (*с осуждением*). Это мой брат.

Сесили. Ваш брат?

Гвендолен. Да. Мой брат, Генри Карр.

Сесили. Вы хотите сказать, что это не художник, не Тристан Тцара?

Гвендолен. Совсем даже нет. Мой брат — британский консул.

Карр *замирает в стойке, как охотничий пес. Он держит под мышкой папку, которую передала ему* Сесили *в библиотеке.* Беннетт *открывает дверь.*

Беннетт. Мистер Тцара...

Входит Тристан. Беннетт *удаляется. У* Тристана *под мышкой его папка.*

Гвендолен. Тристан! Мой Тристан!

Сесили. Товарищ Джек!

Гвендолен. Товарищ Джек?

Сесили. Да, джентльмен, который сейчас обнимает вас — выдающийся вождь Циммервальдской левой фракции.

Гвендолен. Это ведь то же самое, что большевики?

Сесили. Они приняты в нашем доме.

Гвендолен. Мы обе жестоко обмануты. Бедная моя оскорбленная Сесили!

Сесили. Дорогая обиженная Гвендолен!

Девушки направляются к дверям. (Спохватившись.) Есть один вопрос, который я хотела бы задать мистеру Карру.

Гвендолен. Прекрасная идея! Мистер Тцара, я хотела бы задать вам один вопрос.

Сесили. Каково на самом деле ваше мнение по поводу эссе, которое я дала вам прочесть?

Гвендолен. Что вы честно думаете по поводу главы, которую я показала вам?

Карр (*медленно и запинаясь*). Очень... хорошо написано... Интересный стиль...

Тцара (*медленно и запинаясь*). Очень... хорошо написано... Богатый материал...

Сесили. Но никуда не годится как социальная критика???

Гвендолен. Но никуда не годится как искусство для искусства???

Карр (*потеряв выдержку*). Полная чушь! Он безумец!

Тцара. Ахинея! Невозможно читать!

Гвендолен и Сесили. Ах! Лицемеры!

Карр. Прости меня, это из-за любви!

Гвендолен и Сесили. Из-за любви?

Гвендолен. Он прав...

Сесили. Да, прав.

Синхронно они направляются к мужчинам, но затем так же синхронно изменяют свои намерения.

Гвендолен и Сесили. Но различие в нашем интеллектуальном развитии по-прежнему встает между нами непреодолимым барьером!

Дверь закрывается за девушками.

Карр. Кстати, до меня дошли слухи, что Беннетт показывал вам мою частную переписку.

Входит Беннетт *с двумя бокалами и бутылкой шампанского на подносе. Начинает разливать шампанское по бокалам.*

Тцара. Он симпатизирует радикалам.

Карр. Трудно найти большего радикала, чем слуга, на свободу которого распоряжаться хозяйским шампанским только что посягнули.

Тцара. Я того же мнения.

Карр. Надо положить этому конец.

Тцара. Уволить его?

КАРР. Нет, покупать больше шампанского.

ТЦАРА. Нам, румынам, предстоит еще учиться и учиться у вас, англичан.

КАРР. Наверное, вы ужасно тоскуете по Софии?

ТЦАРА. Вы имеете в виду Гвендолен?

КАРР (*недовольно нахмурившись, поправляется*). Я имею в виду Бухарест.

ТЦАРА. Ах да, да, наш балканский Париж...

КАРР. Дурацкое место для Парижа, верно? (*Делает глоток.*) Это что, "Перрье-Жуэ", "Брю", "89" в конце концов????!!!

БЕННЕТТ. Нет, сэр.

КАРР (*с таким видом, словно увидел надпись на стене*). Все кончилось?..

БЕННЕТТ (*безжалостно*). Боюсь, что так, сэр.

КАРР. Очень хорошо, Беннетт.

БЕННЕТТ. Я положил телеграммы и газеты на буфет, сэр.

КАРР. Есть что-нибудь интересное?

БЕННЕТТ. "Нойе цюрихер цайтунг" и "Цюрихер пост" сообщают о пьесе, сыгранной вчера вечером в театре "Цур кауфлёйтен", которую они считают лучшим и худшим, соответственно, событием театрального сезона в Цюрихе. "Цайтунг" особо отмечает ваш личный триумф в ответственной роли. Министр прислал поздравительную телеграмму, в которой также благодарит вас за направленное ему приглашение. Он просит вас любой ценой не дать мистеру Ульянову покинуть Швейцарию. (*Выходит.*)

Пауза.

КАРР. Ирландский хам!

ТЦАРА. Русский...

КАРР. Да нет, я об этом, как его там – Дейдре?

ТЦАРА. Бриджет?..

Пауза.

КАРР. Джойс!

ТЦАРА. Джойс!

КАРР. Хам. Четырехглазое ирландское чучело.... Подошел ко мне в гримерке и вручил десять франков словно чаевые! Даже и глазом не моргнул! Пропойца!

Входит БЕННЕТТ.

БЕННЕТТ. Мистер Джойс.

Входит ДЖОЙС; *он крайне возбужден.*

ДЖОЙС. Где ваша сестра?

КАРР. Ее деньги в надежных руках.

ДЖОЙС. Я хочу задать вам ...

КАРР. Нет, это я хочу задать вам один только вопрос: *не могли бы вы, черт вас побери, хотя бы раз надеть пиджак в тон брюкам??*

Разумеется, ДЖОЙС *снова одет в пиджак и брюки от разных костюмов; только если в первом действии пиджак был, скажем, черным, а брюки коричневыми, то теперь – наоборот.*

Джойс (*невозмутимо*). Если бы мне это удалось хотя бы раз, мне бы это удавалось всегда. Весь мой гардероб перепутался в Триесте; однажды ночью соответствие между его взаимодополняющими элементами было необратимо нарушено. А теперь — не соизволите ли вы вернуть мне двадцать пять франков?

Карр. Какие двадцать пять франков?

Джойс. Я выдал вам восемь билетов, чтобы вы продали их по пять франков каждый. У меня записано, что вы вернули мне только пятнадцать франков.

Карр. Я истратил более трехсот пятидесяти франков собственных денег для того, чтобы ваша бездарная постановка могла похвастаться хотя бы одним персонажем, который знает, зачем люди ходят к портным. Если вы надеетесь получить от меня оставшиеся двадцать пять франков, то вам придется встречаться со мною в зале суда. (*Отчетливо и внятно.*) Вы — мошенник и хам!

Тцара (*вручая* Джойсу *его папку*). Кроме того, пишете вы, надо сказать, так же безвкусно, как и одеваетесь. Используемые вами словосочетания неуклюжи, но при этом, увы, не случайны. Вашу прозу нельзя назвать ни обаятельной, ни вульгарной — от нее остается такое ощущение, словно тебя заперли в одну камеру с маньяком, который бредит то на одну, то на другую тему.

Джойс. Кто дал вам читать эту рукопись?

Гвендолен. Я!

Джойс. Мисс Карр, не вам ли я давал перепечатать главу, в которой приключения мистера Блума соответствуют гомеровскому эпизоду с Быками Гелиоса?

Гвендолен. Да, и глава эта просто восхитительна!

Джойс. Тогда почему вы вернули мне вместо этого какой-то злобный пасквиль, в котором, в числе прочего, доказывается, что Рамсей Макдональд — лизоблюдствующий прислужник буржуазии?

Гвендолен. (Ох!)

Тцара. (Что?!)

Сесили. (Ой!)

Карр. (Ах!)

Джойс (*громко*). Мисс Карр, где отсутствующая глава?

Карр. Извините, вы, кажется, сказали "Блум"?

Джойс. Да, сказал.

Карр. И речь идет о бессмысленно длинном отрывке, написанном путаным стилем и имеющим какое-то отдаленное отношение к акушерскому делу?

Джойс. Речь идет об отрывке, в котором благодаря мастерству автора вся стилистическая гамма английской литературы от Чосера до Карлайла использована для описания событий, происходящих в дублинском родильном доме.

Карр (*показывая на свою папку*). Похоже, что мы говорим об одном и том же.

Гвендолен и Сесили *обмениваются папками с криками прозрения.* Карр *и* Тцара *подходят к ним. Следует быстрый, но формальный обмен радостными*

объятиями, сопровождаемый восклицаниями: "Сесили! Гвендолен! Генри! Тристан!"

Музыка, типичная для того времени. Освещение меняется. Короткая танцевальная интермедия. Тцара *танцует с* Гвендолен, Карр – *с* Сесили. Джойс *и* Беннетт *танцуют каждый сам по себе.* Карр *и* Сесили, *танцуя, удаляются. Остальные продолжают, тоже постепенно удаляясь со сцены. Когда не останется никого, на нее возвращаются, по-прежнему танцуя,* Старый Карр *со* Старой Сесили.

Старой Сесили, *как и* Старому Карру, *разумеется, под восемьдесят. Они с трудом делают несколько па и останавливаются.*

Старая Сесили. Нет, нет и еще раз нет! Какая жалкая ложь! Я не спорю, судебное дело было, и в нем действительно фигурировали твои брюки, но ты никогда не был знаком с Владимиром Ильичом, а того, другого, я вообще не помню. Джойса я помню, тут ты прав, и он действительно был ирландцем и носил очки, но ты с ним познакомился на год позже, в восемнадцатом, когда пломбированный вагон давным-давно уже увез Ленина. Я махала ему на прощанье красным платочком и кричала "Да здравствует революция!", а он махал мне котелком. "Да, – я тебе сказала, – Да!", когда ты спросил меня, но к тому времени, когда ты играл Алджернона, Ленин уже был вождем миллионов...

Карр. Алджернон – вот как его звали.

Сесили. Я же говорю тебе: это было годом позже...

Карр. Годом позже чего?

Сесили. Ты никогда не встречался с Лениным.

Карр. Нет, встречался. Я видел его в кафе. Я их всех знал. Это входило в мои обязанности.

Сесили (после маленькой паузы). И ты никогда не был консулом.

Карр. А я этого и не говорил.

Сесили. Говорил.

Карр. Может, лучше чаю выпьем?

Сесили. Консула звали Перси, а фамилии не помню...

Карр (*бормочет*). Беннетт.

Сесили. Что?

Карр (*вспыльчиво*). Я сказал, что его фамилия была Беннетт!

Сесили. Ах да... Беннетт... (*Пауза.*) Кроме того...

Карр. Мы чай будем пить или нет?

Сесили. И я никогда не помогала ему писать "Империализм, как высшая стадия капитализма". Он написал эту книгу годом раньше, в шестнадцатом.

Карр. Сесили! Если бы я знал тогда, какой невыносимой занудой ты станешь! (Вскипая.) Там я не был, с тем незнаком, шестнадцатый год, семнадцатый... Ну и что с того? Я там был. Они там были. Они уехали. Мы уехали. Все уехали.

Сесили. Нет, мы не уехали. Мы остались. София вышла замуж за того самого художника. Я вышла замуж за тебя. Ты в пьесе играл Алджернона. А остальные все уехали.

Свет падает в основном на Карра и постепенно гаснет.

Карр. Великие дни... Цюрих во время войны. Беженцы, шпионы, изгнанники, художники, поэты, писатели, радикалы всех сортов. Я всех их знал. Спорили допоздна... в "Одеоне", на "Террасе"... В Цюрихе во время войны я научился трем вещам. Вот, я записал их здесь. Первое — или ты революционер, или нет, а если нет, то ты вполне можешь быть кем угодно, даже художником... Второе, если ты не можешь быть художником, то вполне можешь быть революционером... А третье... Третье я забыл.

Занавес

От переводчика

Ткань стоппардовской пьесы волшебно соткана из нитей, которые настолько разнородны, что поневоле поражаешься воображению драматурга и магии, при помощи которой он соединяет несоединимое. Тем самым Стоппард ставит перед переводчиком необычную задачу: задачу перевода текста, который наполовину состоит из текстов, уже переведенных ранее.

Мы отказались от того, чтобы давать ссылки во всех случаях, когда цитируется то или иное произведение. Если бы мы сделали это, пьеса неизбежно выглядела бы как издание из серии "Литературные памятники", когда справочный аппарат оттесняет текст в верхнюю часть страницы. Поэтому укажем наши источники в самом общем виде, предоставляя эрудиции и интуиции читателя самостоятельно определять, у кого именно позаимствованы отдельные строки.

Самый большой объем заимствований приходится, разумеется, на долю комедии Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным". Из нее Стоппардом взяты не только отдельные строки, но и общая структура сюжета и зачины большинства сцен. Уайльдовская часть текста дается в переводе И. Кашкина.

Второй по весу источник — "Улисс". Кроме отдельных реплик и цитат, в беседе Джойса и Тцары целиком пародируется повествовательный прием эпизода "Итака", который, как известно, в свою очередь представляет собой пародию на католический катехизис. Все цитаты из прозы Джойса — в переводе В. Хинкиса и С. Хоружего.

Шекспировский центон в эпизоде с Гвендолен и Тцары использует материал шести произведений: "Гамлет", "Отелло" (Б. Пастернак), "Макбет" (А. Кронеберг), "Генрих VI" (Е. Бирукова), "Как вам это понравится", "Много шума из ничего" (Т. Щепкина-Куперник).

Все стихи Стоппарда и иных авторов даны в нашем переводе; исключение составляют шекспировский сонет (С. Маршак) и стихотворение Джойса "Банхофштрассе" (Г. Кружков).

Цитаты из В.И. Ленина даются по пятому изданию Полного собрания сочинений.

И наконец, самый, возможно, скрытый для русскоязычного читателя пласт скорее стилистических, чем прямых аллюзий, который, наряду с Уайльдом, определяет настроение отдельных эпизодов — в основном тех, где действие приобретает опереточную окраску. Мы имеем в виду творчество кумиров викторианской эпохи композитора Артура Салливена (1842—1900) и либреттиста Уильяма Гилберта (1836—1911): именно их оперы или, скорее, оперетты "Пинафор", "Терпение", "Иоланта", "Руддигор", "Гондольеры" и "Пираты Пензанса" неоднократно упоминает Карр.

Мел Гассоу
Из книги "Беседы со Стоппардом"

Перевод с английского И. Кормильцева

Июль–декабрь 1983 года

I

Стоппард живет в сорока минутах езды от Лондона, в маленьком городке неподалеку от аэропорта Хитроу, откуда он летает в другие страны, где ставятся его пьесы или снимаются кинофильмы и телепостановки по его сценариям. Внушительный дом в конце посыпанной гравием дорожки не виден с автострады; его скрывают высокие деревья. Кроме самого драматурга в этом особняке живут его жена и четверо сыновей.

Я приехал к Стоппардам в полдень, как мы и договаривались. Меня встретила экономка, которая провела меня в гостиную. Это большая, просторная, выдержанная в пастельных тонах комната, в которой Алистер Кук чувствовал бы себя как дома, представляя американцам очередной выпуск передачи "Театральные шедевры". Стоппард — библиофил. Одну полку занимают книги по садоводству и гимнастике, включая те, которые написаны миссис Стоппард. На другой полке — прекрасные старые издания Диккенса и других авторов. Еще на одной — тоненькие томики в кожаных переплетах. Это пьесы самого Стоппарда: "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", "Травести", "Прыгуны", "Ночь и день". "Настоящая вещь" еще пока не успела облечься в кожу.

Если "Розенкранц" ведет свою родословную от "Гамлета", а "Травести" — от "Как важно быть серьезным", то из "Настоящей вещи", как не без гордости выражается Стоппард, "ничей хвост не торчит". Эту пьесу можно считать самой личной у Стоппарда, поскольку героем ее является драматург, биография которого неизбежным образом отражает биографию автора.

Пока я мысленно рассуждал на эти темы, в дверь вошла сама Настоящая Вещь — высокая, худая, полная энергии и рассыпающаяся в извинениях. Стоппард опоздал, потому что забирал своего сына Барнаби из школы. Предложив мне пива, он снова исчез. Казалось, что он уже никогда не вернется, но тут он появился вновь и поволок меня в свой кабинет, расположенный в перестроенной бывшей конюшне. На первом этаже две секретарши (драматурга и миссис Стоппард) трудились в поте лица. Мы прошли мимо них и поднялись по красной винтовой лестнице, напоминающей пожарную, в длинное помещение с книжными полками из красного дерева по стенам, похожее на трюм корабля, построенного краснодеревщиком. Кроме книг в глаза бросались: пюпитр, крикетная бита и эймсовское кресло с лежащей на нем подушечкой с вышитым словом "Прыгуны". На стене в рамках висели оригиналы писем Теккерея, Теннисона, Стрейчи[1] и Киплинга, а также одна из самых больших ценностей в доме — фотография Беккета с автографом.

Copyright © 1995 Mel Gussow
© И. Кормильцев. Перевод, 2000

1. Джайлс Литтон Стрейчи (1880–1932) — английский биограф и критик, автор книги "Знаменитые викторианцы". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Два стола, стоящие один напротив другого. Любой писатель продал бы собственного агента за такой рабочий кабинет.

Мел Гассоу. Вы пишете на компьютере?

Том Стоппард. Нет, я пишу вечным пером. "Оливетти" предлагала мне ворд-процессор в обмен на рекламный сюжет для них, но я отказался. Мне не нужен ворд-процессор. У меня другие методы работы. Как я уже сказал, я пишу пером, но сдавать работу все равно нужно в печатном виде. Набирать мои рукописи — сущая мука. Поэтому мне пришлось побороть смущение и научиться надиктовывать написанное на магнитофон. Я записываю на пленку все, что пишу — а это сотни страниц, — затем Джеки печатает с записи на машинке, а потом я уже вычитываю машинописный текст.

М. Г. Так что, получается, для каждой пьесы существует запись авторского исполнения?

Т. С. Да, я играю там за всех. Кто-то из издателей услышал об этом и спросил меня: "А пленки вы сохраняете?" Увы, я тут же стираю их и записываю поверх новый текст. У меня с десяток кассет специально для этой цели, и я беру наобум первую попавшуюся из стопки. Очень часто я прослушиваю кассету перед тем, как надиктовать на нее, скажем, письмо, и натыкаюсь на мое чтение пьесы трехлетней давности.

М. Г. Выходит нечто вроде звукового палимпсеста: картина поверх картины.

Т. С. Да, именно так. Прежняя картина тоже ведь никуда не девается: текст-то набран.

М. Г. Меняете ли вы текст пьесы, когда начитываете его на магнитофон, или оставляете все так, как написано?

Т. С. Я считаю, что писать на бумаге все указания для постановщика слишком хлопотно. Это же не творчество, а просто ремесло, поскольку в голове-то я прекрасно представляю, как должна выглядеть каждая сцена. Поэтому я записываю только диалог и делаю кое-какие пометки, которые для меня особого значения не имеют. А когда наговариваю текст на магнитофон, то по ходу дела вставляю импровизированные указания для постановщика. После того как текст напечатан, изменить его психологически намного труднее. Возможно, я делаю ошибку: если бы я сам печатал свой текст, то мог бы при этом вносить в него исправления. Когда текст набирает Джеки, этого, естественно, не происходит. А когда текст уже напечатан, то он словно на камне вырублен. "Напечатан" — слово само за себя говорит. Стоит ли мне менять мой метод? Не думаю: как только дело доходит до репетиций, снова становишься безжалостным и переделываешь все, что не годится.

М. Г. Насколько радиопьеса отличается от пьесы для сцены?

Т. С. В идеале пьеса должна исполняться так, как это предполагал автор. То есть делать фильм из пьесы для сцены или пьесу для сцены из радиопьесы бессмысленно и невозможно. Но в реальности так зачастую бывает. Несколько дней назад кто-то предложил переработать одну из моих телевизионных пьес в театральную. Несколько моих радиопьес играли на сцене. У меня все время спрашивают разрешения поставить в театре "Профессиональный трюк". Тут возможны два варианта. Если мне кто-нибудь, к примеру, скажет: "Можно мне поставить "Мост Альберта"?", я отвечу: "Валяйте, правда, он написан не для сцены, но это уж

ваши проблемы!" Но в других случаях, например, в случае "Профессионального трюка", я дам разрешение, только если сам возьмусь за адаптацию. Сейчас мне этого не хочется; может, я этого просто не сумею сделать.

М. Г. А почему вы написали эту пьесу именно для телевидения? Это был заказ?

Т. С. Да.

М. Г. По-моему, она вполне годится для театра.

Т. С. Не уверен. Там есть сцены в салоне самолета, холле гостиницы, лифте, коридоре. Хотя ее можно, конечно, играть и без декораций. Но тогда и получится телепостановка на сцене. К тому же она всего на час двадцать минут. И там есть одна сцена, которая сделана в виде лекции, обращенной к слушателю.

М. Г. Я заговорил об этом, в частности, потому, что вчера посмотрел "Карту мира" Дэвида Хэара на сцене. Она ничего не потеряла.

Т. С. Я тоже ее видел и написал по этому поводу Дэвиду пространное письмо. Сначала я написал, что как "пьеса-диспут" вещь великолепна, но женскую роль — увы! — на сцене сыграть невозможно. Затем я порвал письмо и послал вместо него открытку с двумя фразами, в которых выражал свое восхищение тем, что мне понравилось в постановке. А он ответил, что благодарит меня за тактичность, сам видит недостатки, но надеется, что все же с ними справится. Вот такой обмен мнениями. У него проблемы с сюжетом во многих пьесах, но зато в диалогах он не имеет себе равных — они умны, афористичны.

Я — идеальный зритель. Я верю в то, что мне показывают, и всегда всему нахожу объяснение... А кончилась эта история так: Дэвид написал мне снова что-то вроде: "Я посмотрел Вашу пьесу, она мне очень понравилась, но я не стал Вам писать, так как не знал, что сказать по поводу проблем с ее структурой".

М. Г. Вернемся к радиопьесам. Вы не боитесь, что расточаете на них свой материал?

Т. С. Нет. Я долго мучился сомнениями, когда писал "Это собака сдохла", потому что использовал в ней идею, которую берег для театра: человек не помнит, на кого он работал. Из нее могла бы выйти двух-, трехактная пьеса, в которой было бы еще много чего, кроме самой этой истории. Но поскольку я этой пьесы так и не написал, я ни о чем и не жалею.

М. Г. Но еще не поздно.

Т. С. Конечно. В "Травести" я позаимствовал кое-что у самого себя, из радиопьесы "Художник спускается по лестнице"... А вот идея, которую я использовал в "Собаке": человек приходит в себя после несчастного случая, который привел к амнезии, и две стороны начинают одновременно утверждать, что он работает на них. Уже тогда мне это не нравилось, но я не мог выдумать ничего, кроме амнезии. Нет потери памяти, нет и сюжета. Но затем я понял, что амнезия здесь ни при чем: человек ведь может просто забыть.

М. Г. В тесте для отбора в отряд астронавтов есть вопрос: "Страдали ли вы амнезией?", и наибольшее число баллов дается за ответ: "Не помню". Звучит очень похоже на диалог из вашей пьесы.

Т. С. Это напоминает мне пример из "Законов Паркинсона". В адмиралтействе вакансия. Явились три кандидата. Адмирал сказал каждому

из них: "Назовите номер такси, на котором вы приехали сюда". Первый ответил: "Я приехал на автобусе", и его не взяли. Второй сказал: "Я не обратил внимания", и его тоже не взяли. Третий соврал: "4736250" – и был принят на работу.

М. Г. Меня очень удивляет, что ваши пьесы никто не экранизировал.

Т. С. Единственная пьеса, из которой, по-моему, можно сделать фильм, – это "Ночь и день". Я даже написал сценарий, который в точности соответствовал пьесе. Это был плохой сценарий, по сути – просто слегка сокращенная пьеса. Мне это разъяснил один мой приятель-кинорежиссер. Впрочем, я и сам это видел. Прошло немного времени, я перестал так трястись над пьесой и снова переработал ее в киносценарий, на этот раз – самым безжалостным образом. Результат был намного лучше. По этому сценарию и сейчас можно было бы поставить фильм. Одно из главных достоинств "Травести" и "Прыгунов" в том, что их действие разворачивается в физическом пространстве сцены. Но в кинематографе, где изобразить можно практически все что угодно, театральность действия не является достоинством. Акробаты становятся в пирамиду – ну и что? Да и моя всем известная многословность тоже не способствует экранизации. На прошлой неделе один киношник заинтересовался "Настоящей вещью", но ему сказали, что для экранизации она не подходит. Дело даже не в количестве слов, а в количестве идей. Я работаю в жанре разговорной пьесы.

М. Г. Но вы все же предпочитаете писать пьесы для театра, верно?

Т. С. Может быть, это снобизм, но настоящей драматургией я считаю только драматургию театральную. Это, конечно, иррациональный подход. Радио, вероятно, ближе к чистой драматургии: ведь там нет ничего, кроме слов пьесы и голосов актеров. На сцене же есть еще режиссер, который отвечает за зрительный ряд.

М. Г. В "Настоящей вещи" вы упоминаете про Пластинки, Которые Берут На Необитаемый Остров. А что вы можете сказать про Книги, Пьесы, Людей? Какую пьесу вы бы взяли на необитаемый остров?

Т. С. Для чтения?

М. Г. Нет, можно и для постановки.

Т. С. В таких случаях надо время, чтобы подумать и составить список. Вопрос очень важный. Что ни выбери, все будет мало.

М. Г. А книги?

Т. С. Меня так и подмывает сказать, что я взял бы "Поминки по Финнегану", чтобы убить побольше времени, но если честно, то вряд ли.

М. Г. А вы их читали?

Т. С. Держал в руках.

М. Г. Я бы взял Пруста.

Т. С. Недурная идея. Однажды я взял Пруста с собой на отдых и управился с одним томом и половиной второго. Отдых закончился, и Пруст вместе с ним. По правде говоря, я бы взял какое-нибудь справочное издание. Обожаю справочники.

М. Г. Всем интересно, откуда вы черпаете свои идеи.

Т. С. Не из книг. Я же не ученый. Когда вы меня спросили про книги и пьесы, я подумал, что писатели хуже знают литературу, чем критики и исследователи. Гораздо хуже. Я уверен, что существуют великолепные драмы эпохи Реставрации и короля Якова, которых я не читал. Я не так уж много знаю.

М. Г. Вы читаете на ту тему, которая вас в данный момент занимает?

Т. С. Да. В тех немногих случаях, когда я писал на темы, которые можно отнести к разряду "специальных" – скажем, этика или жизнь в Цюрихе в 1917 году, – я черпал сведения в основном из общедоступных источников, таких, как газеты или разговоры в пабах. Это было совсем не похоже на то, как работают настоящие исследователи. Разумеется, основные факты надо знать: даты там или прочее в этом роде. Но когда я сочинял "Прыгунов", читать не нужно было вовсе: моральный релятивизм, абсолютные нравственные ценности – до всего этого можно додуматься сидя в ванне. Я читал книги в основном для того, чтобы выяснить, что об этом писали другие. Оказалось, что мои собственные рассуждения не так уж и наивны. Кроме того, я читаю потому, что чтение доставляет мне удовольствие. Когда этого нет, я бросаю книгу.

М. Г. В "Настоящем инспекторе Хаунде", "Ночи и дне" и "Настоящей вещи" вы пишете о том, с чем вы сталкивались непосредственно: критика, журналистика, театр.

Т. С. Но это же такие поверхностные знания. Ничего специального.

М. Г. Но для того, кто от этого далек, все это так же незнакомо, как и то, о чем вы пишете в "Травести" или "Прыгунах".

Т. С. Ну что я могу сказать по этому поводу... Если бы я не работал журналистом, у меня, конечно, ушло бы гораздо больше времени на сбор материала для "Ночи и дня", чем для "Прыгунов". Для "Прыгунов" непонятно даже, где и искать материал – он должен уже быть в голове.

II

В августе 1983 года Стоппард был в Нью-Йорке, где работал с режиссером Майком Николсом, ставившим "Настоящую вещь" на Бродвее. Как-то днем мы договорились собраться и выпить вместе в гостинице "Карлайл". Стоппард опоздал и выглядел так, словно только что пробудился от зимней спячки. У нас состоялась следующая беседа.

Т. С. Мне приснилось, что я стою на смотровой площадке гостиницы "Алгонкин" с кучей людей, среди которых и Майк. Я не могу найти мою сумку. Я не знаю, что делать, – и тут я понимаю, что снова заснул, а мне надо идти на встречу с вами. Что-то нам не везет с интервью в последнее время: или я полусонный, как сейчас, или меня дергают в разные стороны, как в тот раз, когда вы навещали меня дома. Когда мы встречались "У Брауна", нам тоже что-то мешало, хотя я не могу вспомнить, что. Опять дремал, наверное.

М. Г. Ничего удивительного, день был очень жаркий. Помню, мы сидели под навесом. Я хочу сейчас прочитать вам несколько строк из ваших пьес, чтобы вспомнить кое-что из сказанного вами в прошлом и выяснить, придерживаетесь ли вы такого мнения и нынче. Вот цитата из "Художника, спускающегося по лестнице": "Мастерство без воображения присуще ремесленнику; оно дарит нам многие полезные вещи – такие, как плетеные корзинки для пикников. Воображение без мастерства присуще современному искусству".

Т. С. Я до сих пор так думаю.

М. Г. Что же важнее: воображение или мастерство?

Т. С. Воображение, потому что оно делает внутреннюю жизнь человека полнее. Если же речь идет о том, чем зарабатывать на жизнь, то лучше владеть мастерством.

М. Г. Еще одна цитата из той же пьесы: "Как оправдать существование искусства перед человеком, у которого пусто в животе?" Ваш ответ был: "Сделать искусство съедобным".

Т. С. Это не вполне удовлетворительный ответ, верно? Это говорит человек, оказавшийся в тяжелом положении. На самом деле я полагаю, что искусство не нуждается в подобных оправданиях. Нельзя ждать, пока все будут сыты, а потом уж заниматься искусством. Из этого выйдет только одно: у всех будет пусто и в животе и в душе.

М. Г. В первой нашей беседе вы сказали: "Я пишу пьесы потому, что сочинение диалога — единственный достойный способ противоречить самому себе. Я из породы людей, которые обожают бесконечные диспуты на темы морали". Вы все еще ведете диалоги с самим собой?

Т. С. Да, но у меня выработалась более самостоятельная точка зрения по многим вопросам. Хотя я по-прежнему люблю писать сцены в духе диспута. Мне нравится, когда два человека с ракетками кидают мяч друг другу через сетку.

М. Г. Вы сказали, что у вас так много персонажей говорят одинаково потому, что на самом деле это говорите вы. По-моему, теперь все уже изменилось.

Т. С. Да нет, не изменилось. Я до сих пор не причисляю себя к тем авторам, которые тщательно выписывают характер каждого персонажа и стараются, чтобы каждый герой говорил своим голосом.

М. Г. А разве вам не кажется, что двое персонажей в "Настоящей вещи" совсем разные, или это за счет актерской игры?

Т. С. Пожалуй что да. От актеров многое зависит. Только поймите меня правильно: я вовсе не собираюсь оправдываться. Если я не делаю одного героя французским послом, а второго — шахтером из Южного Уэльса, то нет ничего страшного в том, что они разговаривают одинаково. Важнее, что они говорят и кем каждый из них при этом является. Проще говоря, я безжалостно принуждаю моих героев говорить то, что хочется сказать мне.

М. Г. Означает ли это, что в ваших пьесах невозможен персонаж, говорящий безграмотно?

Т. С. У меня таких персонажей не было, потому что я пишу пьесы для того, чтобы высказать определенные мысли, а значит, в пьесах должны действовать люди, которые способны эти мысли высказывать.

М. Г. Выходит, личность, претендующая на то, чтобы стать персонажем одной из ваших пьес, должна обладать определенным красноречием?

Т. С. Именно так. В "Травести", в частности, действует Тристан Тцара, румын. Но я не стал заставлять его говорить с румынским акцентом. Он должен сказать слишком много важных вещей, чтобы позволить ему говорить на ломаном английском. Для меня было огромным облегчением, когда я сообразил, что все действие пьесы может происходить в голове фантазирующего старика, а значит и румын может говорить как все. Например, как персонаж из "Как важно быть серьезным". В "Ночи и дне" африканский диктатор — единственный африканский диктатор, который, насколько мне известно, окончил Лондонскую школу эконо-

мики. Он стал таким, поскольку должен был сказать то, что мне было нужно.

М. Г. Он стал таким, потому что очутился в вашей пьесе?

Т. С. Нет, он очутился в моей пьесе, потому что должен был сказать именно это.

М. Г. Это напоминает мне подход Шоу. Все эти работяги вроде Альфреда П. Дулитла у него в пьесах говорят так грамотно.

Т. С. Меня уже не в первый раз сравнивают с Шоу, но впервые это хоть как-то обосновывается. Да, это нас действительно роднит. Дулитл — мусорщик, но он — необычный мусорщик, потому что должен сказать то, что ему надлежит.

М. Г. Если бы у вас в пьесе был мусорщик, то он был бы...

Т. С. ...необычным мусорщиком. Он появлялся бы на сцене вовсе не для того, чтобы подметать ее.

М. Г. А почему, собственно говоря? Вы считаете, что если вывести на сцену обыкновенного мусорщика или, скажем, африканского диктатора, они покажутся скучными?

Т. С. Наоборот. Вы грешите против логики: я не стану выводить на сцену скучных персонажей, поэтому мусорщик или африканский диктатор не будут у меня скучными.

М. Г. Говоря о политической действенности искусства, вы однажды сказали, что если вы знаете, какие реформы надо осуществить немедленно, то "худшее, что можно сделать, — написать об этом пьесу".

Т. С. "Худшее" — это, вероятно, перебор. Я все же верю, что журналистика, в особенности телевизионная, — одно из самых сильных средств преобразования мира. Если иметь в виду, разумеется, сиюминутные результаты. В долговременном же плане на совесть людей, как я полагаю, наибольшее воздействие оказывает искусство. Вот вам пример. Моя жена недавно делала передачу об искусственных почках. В Великобритании искусственных почек не хватает, поэтому они достаются не всем. Если вы молоды или образованны, вам ее дают. Если же стары и косноязычны, то нет. Происходит странная вещь: некто берет на себя роль олимпийского божества и объявляет человеку, жить ему или умирать.

М. Г. Вы вот это сказали, а я подумал, что тот, кому искусственную почку не дадут, вряд ли попадет в качестве персонажа в пьесу Стоппарда.

Т. С. Забавный критерий для отбора персонажей. Но замечание остроумное. Если бы я писал пьесу на эту тему, в ней бы фигурировал врач, и, может быть, профессор этики, и какой-нибудь журналист, ведущий расследование случая с мусорщиком, которому не дали искусственную почку.

М. Г. Конечно, если этот мусорщик — не Альфред П. Дулитл.

Т. С. Но уж в этом случае свою искусственную почку он получит!

М. Г. Короче говоря, между вами и Шоу нет ничего общего.

Т. С. Я этого не сказал. Когда говорят о том, что я похож на Шоу, то, скорее всего, имеют в виду, что и у меня и у него очень часто люди просто сидят и что-нибудь обсуждают.

М. Г. Используя мудреные слова?

Т. С. Да, именно мудреные слова. Но драматургия Шоу жива и умирать не собирается, потому что дело-то не в словах. Вы видели "Дом, где разбиваются сердца" с Рексом Харрисоном? На меня он произвел огром-

ное впечатление. Удивительный актер. В молодости он был великолепным комиком. Затем на долгое время превратился в кинозвезду. Я понял, что актеры старой школы всегда знают, что и почему они делают. Харрисон никогда не повышает голоса, но вы слышите каждое его слово.

М. Г. Вернемся к Шоу. Что бы вы сказали о людях, которые, не будучи англичанами, приезжают в Англию и начинают играть важную роль в английской словесности? Может быть, на этой почве найдется нечто общее между вами и Шоу?

Т. С. В целом все же нет. Я не особенно интересуюсь английскостью как таковой. Для меня это просто страна и время, в которых я живу, и язык, которым я пользуюсь.

М. Г. Сколько лет вам было, когда вы приехали в Англию?

Т. С. Восемь. До этого я ходил в американскую школу в Индии.

М. Г. Значит, вы знали английский еще до приезда в Англию?

Т. С. Конечно, английский — мой родной язык. Правда, тогда я говорил на нем довольно забавно, хотя и не понимал этого. Так что английский стал моим первым языком, а чешский — вторым в пять лет[1]. Когда я приехал в Англию, я по-чешски уже совсем не говорил.

М. Г. Вы считаете себе англичанином?

Т. С. Конечно. В этом-то и проблема. Я вовсе не считаю себя иностранным писателем. Читать и писать я научился по-английски.

М. Г. То есть ваш случай — не случай Набокова, который много где жил, прежде чем поселился в Америке.

Т. С. Ну, не совсем так. Набоков ведь был аристократ. По-английски и по-французски он говорил еще ребенком у себя дома. Отец его, вроде бы, говорил по-английски почти свободно.

М. Г. Набоков для вас — идеал писателя или нет?

Т. С. Нет. Конечно, он мне нравится. Я вообще-то, не очень верю, что писатели выбирают других писателей в качестве идеала. Чем больше другой писатель тебе нравится, тем меньше хочется выбрать его в качестве идеала, ибо и без того чувствуешь к нему фатальное влечение. Когда я начинал писать, я сходил с ума от Хемингуэя, поэтому первые написанные мною рассказы были как рассказы Хемингуэя — только очень плохие. Хемингуэй — до сих пор мой любимый американский писатель. Он добивался эффекта при помощи простых повествовательных предложений. У него почти не встретишь изысканных слов. Да и самого слова "изысканный". Он очень настороженно относился к писателям, которые любят длинные слова. Я думаю, что искусство описания у Хемингуэя доведено до совершенства. Он напоминает мне художника, который рисует безо всяких ухищрений, но так, что вы видите, что он хочет вам сказать.

М. Г. Если сравнивать вас с Пинтером, то Пинтер больше похож на продолжателя Хемингуэя. А в Америке — Дэвид Мэмет.

Т. С. Вы близки к истине: я как-то раз спросил Гарольда про Хемингуэя, и оказалось, что он полностью разделяет мое восхищение этим писателем и особенно его рассказами.

М. Г. Сравните, как он пользуется языком, с тем, как пользуетесь им вы.

1. До пяти лет он был первым, так как родился Стоппард в Чехословакии.

Т. С. Нельзя забывать, что мы пишем о разном. Хемингуэй писал в первую очередь о том, что вызывает восторг у людей молодых. Об опасных и волнующих приключениях.

М. Г. А вы об опасных и волнующих приключениях не пишете.

Т. С. Не пишу, но это вовсе не значит, что не люблю о них читать. Помню, как-то я читал "Другие голоса, другие комнаты". Это замечательная книга, но и крайне опасная для начинающего писателя, потому что такую мог написать только Капоте. Какие образы! Словно оказываешься в тропических джунглях, посреди экзотических растений. Я помню, что даже написал один рассказ в духе Капоте просто от восхищения этой книгой. Я знал, что все это не имеет ко мне ни малейшего отношения; я просто пытался воспроизвести эффект. Затем я прочел Хемингуэя. Самое страшное в Хемингуэе — это то, что, прочитав его, сразу думаешь, будто можешь писать так же. По какой-то причине в возрасте от семнадцати до двадцати двух лет я читал только американскую литературу. Тогда мне нравился еще Сароян; сейчас я вряд ли был бы от него в восторге. Я прочитал также Фолкнера и Фицджеральда, но в результате собирать стал все же книги одного Хемингуэя.

М. Г. Темы ваших произведений, не говоря уже о стиле, очень несхожи. Он пишет об охоте и рыбалке, завоевании женщин и стран, об отваге, обо всем том, что в ваших пьесах встретишь не часто.

Т. С. Не часто. Но что я могу вам сказать: писать можно одно, любить — другое. У меня широкие вкусы. Я люблю Хемингуэя, но и "Как важно быть серьезным" я тоже люблю. И "Улисса".

М. Г. И все же ваше творчество гораздо ближе к Джойсу, Набокову и Уайльду, чем к Хемингуэю или Пинтеру... Но, может, "крутая" пьеса у вас еще впереди?

Т. С. "Крутая"? Не знаю. "Ночь и день" вроде бы достаточно "крутая".

М. Г. Я ведь не прошу вас писать как Хемингуэй. Я просто пытаюсь понять ваше восхищение им.

Т. С. Возможно, я всего лишь завидую тому, чего сам не умею.

М. Г. В "Настоящей вещи" ее герой заявляет, что не умеет писать о любви. Это вы говорите о себе?

Т. С. О себе до написания "Настоящей вещи". В этой пьесе вообще много самоиронии. Генри там говорит, что, когда он принимается писать пьесу о любви, она выходит "отталкивающей, наивной или грубой". Однажды я написал, что, когда я пишу о любви, труднее всего бывает избежать той банальности, которая лежит в основе всего. Генри говорит в той же сцене: "Я прихожу в ужас, когда вижу страницу, на трех четвертях которой *ничего не написано.* Уж лучше тогда *говорить* на эту тему". Это обо мне.

М. Г. Значит, больше о любви вы ничего не писали?

Т. С. Да. И вряд ли напишу. Но, как ни крути, это все же — любовная пьеса! С тех пор ко мне уже дважды обращались и просили написать что-нибудь о любви, "потому что вы написали "Настоящую вещь". Но все не так просто. Один раз я это сделал. Отсюда не следует, что сделаю второй раз. По моему мнению, если у писателя и есть территория, куда вход посторонним воспрещен, то это — любовь.

М. Г. Но про секс вы писали. И в "Прыгунах" и в "Грязном белье" есть эротические моменты.

Т. С. Эротические – да, но в них нет ничего личного. Это все театральный секс, театральные страсти, секс на уровне остроумной беседы. О любви крайне интересно писать. Двадцать пять лет я не мог преодолеть внутренний барьер. Лет десять назад я бы писать об этом не рискнул, но, став старше, я начал думать: "В конце концов, кому какое дело?"

(В этот момент появляется Майк Николс и извиняется, что помешал.)

М. Г. Мы только что говорили о сексе. Теперь переходим к религии.

М. Н. Вы можете поехать за город или в Йейл. До восьми еще успеете. Заниматься этим у меня на глазах вовсе не обязательно.

Т. С. А нам наплевать. Мы как раз и говорили о том, как преодолеть внутренний барьер. А что я там о Боге говорил?

М. Г. "Приятнее все же думать, что Бог есть, чем верить в то, что зеленая плесень, если дать ей достаточно времени, напишет сонеты Шекспира".

М. Н. Найдется ли этой зеленой плесени место в библиотеке Британского музея?

М. Г. Библиотека Британского музея из нее и будет состоять.

Классические хайку

Перевод с японского Александра Вялых

От переводчика

Самая крохотная поэтическая форма — хайку — в представлении не нуждается. "Это — микрокосм, сотворенный из семнадцати слогов", — пишет современный японский поэт Юдзуру Миура в предисловии к антологии, где он собрал классические хайку за последние три столетия, расположив их на страницах книги по традиционному для Японии принципу "времена года".

Предлагаем вниманию читателей стихи из этой антологии.

Весна

Как призрачна она,
Бабочка на моей руке,
Словно чья-то душа!

Ёса Бусон

Весенний закат
Наступает на длинный хвост
Горного фазана...

Ёса Бусон

Деревянная кукла —
Глядит она невозмутимым взором
Сквозь столетья...

Мидзухара Сюоси

Снежная вершина.
Расцветает горная сакура
Среди безмолвия...

Мидзухара Сюоси

© А. Вялых. Перевод, 2000

Весеннее равноденствие.
Над воротами горного храма
Плывут куда-то облака...

Иида Дакоцу

Лето

Короткий ливень!
Врасплох застигнут воробей
В листьях травы.

Ёса Бусон

Ласточка на закате!
Заботами завтрашнего дня
Переполнено сердце.

Кобаяси Исса

Летние травы –
Все, что осталось от грез о славе
Древних воинов.

Мацуо Басё

Яркая зелень листвы,
Отражаясь в кристаллах чёток,
Обратила их в изумруды.

Кавабата Бося

Как похолодало!
Далеко-далеко отлетает
Голос колокола...

Ёса Бусон

Словно в калейдоскопе
Меняются картинки в моей жизни –
Вот и старости время...

Нисидзима Бакунан

Осень

Под крышей коровника
Слабенький комариный напев;
Завывает осенний ветер.

Мацуо Басё

Воцарилось молчанье
Между гостями, хозяином
И белой хризантемой.

Осима Рёта

До дальней заставы
Долетают удары колокола –
Одинокий стражник.

Хара Сэкитэй

Перестук дятла –
До дальнего облака в горах
Разносится эхо...

Ида Дакоцу

Зима

Зимнее уединение –
В глубине моего сердца.
Горы Ёсино белы...

Ёса Бусон

Зимний лес заиндевелый.
Тянется солнце спросонья лучами
К верхушкам деревьев...

Ида Дакоцу

Смертельно больной,
Он видит, как красивы её ноготки
На чайной чашке...

Ида Дакоцу

Отсвет зимнего огня
На его лице беспечальном —
Хоть смерть близка...

Ида Дакоцу

Окусиранэ вершины
Там, за пределами селений, на краю миров —
Ослепительно белы!

Маэда Фура

Зимнее море!
Словно опавшие лепестки хризантем
Плавают чайки.

Накамура Кусатао

Могильный камень...
Я принял его за дорожный знак.
Зимнее странствие.

Накамура Кусатао

Белые зимние розы.
Как ослепительны они
Для глаз больного!

Като Сюсон

Какая глубина!
В голубых небесах утонули
Голые деревья.

Като Коко

Н*овогоднее*

Вот вместо меня
Купается ворон в первой
Новогодней воде.

Кобаяси Исса

Играют в волан —
Туда и сюда, туда и сюда летают
Киотские словечки!

Такахама Кёси

В Новый год
Даже горы вырядились
В яркие снега!

Муро Сайсэй

Примечания переводчика:

Мацуо Басё (1716—1784)
Ёса Бусон (1644—1694)
Осима Рёта (1718—1787)
Кобаяси Исса (1762—1826)
Такахама Кёси (1874—1959)
Маэда Фура (1884—1954)
Иида Дакоцу (1885—1962)
Хара Сэкитэй (1886—1951)
Муро Сайсэй (1889—1962)
Мидзухара Сюоси (1892—1981)
Нисидзима Бакунан (1895—1981)
Кавабата Бося (1900—1941)
Накамура Кусатао (1901—1983)
Като Сюсон (род. в 1905)
Като Коко (род. в 1931)

Биргитта Тротциг

Кузнец

Рассказ

Перевод с шведского Елены Самуэльсон

КУЗНИЦА стояла в низине, где дорога, часть старого деревенского тракта, делала петлю — среди темной зыбкой листвы мелькали освещенные огнем непонятные предметы, из влажной черноты выплескивались искры и вспышки то от кузнечного горна, то от бегучего блеска ручья в лощине, ведь огонь и вода, хотя и смертельные противники, но сплетены воедино в несчетных переливах света.

Там, внизу, стоит кузнец, мастер из мастеров, малорослый, большеголовый, хранит свою тайну.

А что происходит втайне?

Огонь приходит из света, он в пути — от бесконечного движения к безмолвному, недвижному, тяжелому, к угасшему. Из огня зарождается живой мир.

Огонь — начало мира, огонь дарует боль и форму.

Кузнец берет заготовку, вещество. Безжизненное, недвижное, черное. Подхватывает его клещами. Форма пылает. Клещами кузнец сует вещество в огонь. И оно начинает менять цвет. Раскаляется, размякает, белеет. Проходит разные стадии сопротивления, каждый цвет отражает разные свойства, стойкость или изъяны в природе вещества. Темно-красный, желто-красный, белый — в каждом цвете стон: ликования или боли? Вещество размягчается, кузнец кладет его на наковальню. Настало время обработки, преображения. Извне, со стороны, формирующая тяжесть инструмента вторгается в бесформенное бытие вещества. Ку-

© Birgitta Trotzig 1998
© Елена Самуэльсон. Перевод, 2000

валда и молот. Вещество лежит обжигающе горячее, мягкое. Его проковывают, расковывают, растягивают; расклепывают, уменьшают, уплотняют; плющат, утончают, раскатывают. Подвергают пыткам. Оно застывает. Материя страшится стать чем-то другим. Эта застылость — жалобная немота, вещество теперь обрело новые границы, и ему не вырваться из них иначе, как только с помощью уничтожителя — огня.

Затем в нем проделывают отверстия, украшают, покрывают насечкой. Чеканят лик. Теперь вещество стало лемехом, подковой, решеткой, крюком. Теперь у него есть пределы, и там оно пребудет до следующего дня уничтожения, служа той или иной цели, принося пользу.

Польза, что же такое польза?

Вот он, кузнец, стоит лоснящийся от пота, сплошь гибкие, живые мышцы, ничего лишнего. (И черты лица красивые, хоть и несколько грубоватые, ничего лишнего.) На чумазом лице ярко, светло сияют глаза. Он смеется, он хохочет. Такая радость, когда мысль летит как стрела, когда тело каждым своим движением готово следовать за мыслью, когда все мышцы мощно и зримо объединяются, чтобы споро и совершенно исполнить то, чего желают тело и мысль. Зачерпнув ковшом воды из ведерка, что для утоления жажды стоит подле горна, кузнец пьет; чистая, прозрачная, холодная ключевая вода льется в пересохшее от жары горло, — а он смеется и затягивает песню, кузнечную. О том, как кует. И какая радость от ковки.

Ведь внутри этого изнурительного труда, этого обжигающего жара, этой тяжести сама ковка, само ее движение — как игра. Это и есть игра. Игра с превращениями. Игра, в ходе которой материя превращается из одного в другое. Материя испытывает красное каление, потом белое, становится мягкой, и так меняются формы ее бытия.

Красное и белое каление, размягчение — кузнец смеется, железо стонет, такая вот игра.

И с помощью огня кузнец творит из безжизненного холодного вещества новую форму, новое существо. Мир становится материалом. Собственная жизнь материала — это его вязкость и сопротивление, его строптивость и сила противодействия, которые очень медленно (до самых корней, до глубины земли) превращаются в рост.

И был у кузнеца сын.

И был этот сын всего лишь материалом.

Был у кузнеца сын.

А ведь нередко сын — это грезы отца о самом себе, в данном случае скорее грезы кошмарные. (Хотя иногда отцу снились и добрые сны, он видел сына маленьким и счастливым.)

Потому что сын этот ни в чем не походил на отца, во всяком случае так казалось со стороны.

У кузнеца ведь ничего лишнего не было, мысль и рука, воля и дело были у него едины, а если и случался какой излишек, он тотчас выходил телесной испариной, по́том и руганью, а не то и ночным жаром. (Хотя об этом никому не известно, может, ночью брал верх холод, а может, ночная ледяная прорубь была неведомой его частью.)

Но сын-то, сын! Голова у него тоже была большая. Только мягкая. Но кузнецом он стал неплохим. К слову сказать. К слову сказать, он, пожалуй, даже превзошел отца по-своему.

Однако же таким, как отец, он не был.

Он был совсем другим человеком.

Начать с того, что он, по крайней мере снаружи, с виду, состоял сплошь из лишнего и ненужного, неподходящего и неуместного материала, какого-то серого жира, землистой кожи лица, неопределенно очерченного рта. Кузнецом он, значит, стал неплохим, со временем вовсе даже в мастера вышел — только дорога у него была другая, вела через лишнее, через неправильное, опиралась на неопределенное. И отношение к железу, к веществу было другое. Он как бы ему подчинялся. А результаты получались не хуже, иной раз, может, даже и лучше.

Только вот пил он. С ковкой справлялся и на отца в ответ не орал, а не грех бы и заорать. Пил вот только...

...Ясно, что со временем это его питье-разложение оставило свои следы, лицо у него стало пустое, как яма, как отпечаток какой-то чудовищной тяжести.

Была у этого сына и мать — большая женщина, большое, темное водянистое существо, блекло-голубые жилы, распухшие ноги. Родом она была из лесных краев, откуда текут ручьи и речки — вода ведь и впрямь бежит кипучая, звонкая из лесных горных краев, на равнине же она становится глубокой, темной, умолкает, чистая и беззвучная струится в лоне земли, ведь вода — это слезы, освобождение земли. Но этой женщины-матери вроде как и не было, толком никто и не знал, есть она или нет, во всяком случае существование она вела прямо-таки подпольное, была, так сказать, тише воды, ниже травы. Ее как бы и не считали существующей. В полдень она шла к кузнице с обедом в корзине. Когда сын был маленький, она брала его с собой и разрешала заглянуть в кузницу, не входя внутрь. Ребенок и женщина с корзиной стояли в дверях. Тем, кто работал в кузнице, казалось, будто силуэты их растворяются и исчезают в сиянии дверного проема — так у мыса Сандхаммарен море, темнея за водоворотами, исчезает в светлом мареве неба. Кузнец никогда ей ни слова не говорил — ни спасибо, ничего. Глядь, корзина стоит, а ее и след простыл; немного погодя кузнец, бывало, распрямится, потянет себя за помочи, крикнет радостно этак подмастерью и младшему кузнецу: "Исть! Исть!"

Когда кузнецов сын был маленьким и стоял за спиною матери на пороге кузницы — он видел огонь. В кузнице был исток мира, его начало.

Со временем сына, однако ж, впустили в кузницу. Поначалу чтобы поглядеть да покумекать. Вскоре он начал с поручениями бегать, мехи раздувать. Со временем стал и учеником — на долгие годы. А потом — тоже спустя годы — он наконец сделался подмастерьем, сам командовал учеником, помоложе да помельче. Там он и остался, там шла его жизнь, там он и взрослым стал, и более чем взрослым, тяжкие его дни приближались к вершине жизни. (Только раз он будто прыгнул в какую-то странную светлую бездну — таким бывает море в тихий, безветренный день, похожее на бездонное светлое око, на световой колодец, — только раз он побывал в другом месте, вправду побывал тогда в другом месте, и

до того оно было другое, что и вспомнить невозможно, во всяком случае в том краю рос ребенок неведомого пола.) Тяжкие дни, тяжкие годы. Кузнецом он был вовсе не плохим, хотя сам почему-то всегда чувствовал себя плохим, никудышным. Коли отец — мастер, кузнец-искусник, сына всегда ни в грош не ставят.

А старый кузнец, мастер, вроде бы и не старел, каким был, таким и остался: те же мускулы, та же ширь в плечах, и двигался все так же, потный, пыхтящий, могучий, неизменный и едва ли не бессмертный в своей работе — прямо мычал от радости, когда какая-нибудь трудная вещь по-настоящему удавалась.

А творению сопутствовала безжалостность игры, смешливая жестокость формовки. Кузнец не выносил колебаний, терпеть не мог поисков, ошибок, неуверенности. Тогда он темнел лицом, багровел от злобы, изо рта хлестало "Увалень этакий, тетеря, растяпа..." и пенилось, как водопад. Ученику, то бишь сыну, оставалось только терпеть, стоять, повесив голову, и терпеть, терпеть. (Что-то странное было в этом "терпеть, терпеть" — его "я" опустошалось, становилось огромной ямой, тени, одни лишь тени были тогда внутри него.)

Но зато когда кузнец вытаскивал из огня кованое изделие, которое, по его мнению, вправду удалось, — тогда наступала совсем особенная тишина. Торжественная, благоговейная.

И лицо у кузнеца в тот миг было просветленное и спокойное.

А потом сызнова всегдашняя свистопляска — крик, шум, горячка, ругань, ожоги и ссадины, холод и жар, тяжелое железо и холодный песок.

Ведь и в разгар тяжкой работы, в пышущем жару, под удары молота он улучал время для насмешек, для забавы над подвластными ему людьми. Беги! — а опасности никакой нету, в помине нету! Ложись! — а ложиться вовсе и незачем! Принеси! — а пошлет не в ту сторону, надо-то совсем в другую. Усталый и растерянный, смотрел на него сын блеклыми своими глазами, но что ни делал — все было не так. На самом деле это не означало, что вещь сама по себе никуда не годилась, вообще-то она могла быть и превосходной, поистине образцовой — просто здесь и сейчас она не годилась, не годилась, и все тут.

Кузнец и с ним забавлялся: послал его раз далеко-далеко в лес, железа взять у горного тролля. И пришел сын в страшное, совершенно пустынное место. Тихое, пустынное, немое, страшное — стоял он там, а гора смеялась.

Лицо у сына было вялое, одутловатое, вроде уже вполне обученный кузнец, взрослый мужчина, а все как неразумный ребенок. Дело в том, что он всерьез начал прикладываться к бутылке. (Бутылка в кузнице стояла, и он видел в ней, как из колодезя, как с порога детства, что-то сине-черное, блестящее, изогнутое; что это было — жидкость? Вода? Оконное стекло? Стеклышко от очков? Тягучая, мерцающая фигура из воды и света? — в общем, бутылка.) Сам кузнец, понятно, тоже частенько выпивал, и крепко. (Он, конечно, и налил сыну первый стаканчик, ведь кому, как не отцу, открыть сыну ворота во взрослую жизнь.) Но тут совсем другое дело. Так же, как люди неодинаковы в своем отношении к огню: одни играют с ним, пламя пляшет, и они пляшут с пламенем, огонь их не пожирает, они сами — пожиратели огня, а вот другие неподвижно смотрят в огонь будто во всепожирающую, губительную смерть, — неодинаковы

они и в своем отношении к огненной воде, дающей тонус жизни; наполняющему энергией огненному духу. Кузнец пил, вставал и пел, горланил на всю округу — над холмами и ручьистыми долинами разносился его зов, мощная радостная песня-рык, горы пели, ручьи пели, деревья словно бы тянулись вверх, отрывались от своих корней и плясали на горных гребнях, море за мысом Сандхаммарен дыбилось огромным сияющим блеском, все мирозданье было в движении, пенилось и пело.

Конечно, потом следовало жуткое похмелье, черный обрыв. Но ничего нездорового здесь не было.

Не то что с сыном.

С сыном все было наоборот. Тягостнее и тягостнее, мрачнее и мрачнее. Медленнее, медленнее. Сползание вглубь, вниз. Комок, сгусток. Все более вязкий. Твердеющий, стынущий. Неподвижность комка. Из самой глубины Вселенной идет ледяное дыхание, холодное дуновение того, чего нет, ледяной рубеж, пограничье меж небытием и Тем, Что Есть.

И чтобы вынырнуть оттуда, чтобы вернуться к жизни, требовалось все больше и больше огня, все больше и больше огненной смазки для истомленного горла, для усталой утробы.

Никудышный, всегда никудышный.

Мало того, он еще и убегал сломя голову — уходил прямо в разгар работы. Кричал, расшвыривал инструменты, орал — и все оставлял. Оставлял, и точка.

Никудышный. И слезы ручьем — не мужик.

Уйдет в город, и нет его — а потом вернется. Сбежит из родных мест и всегда возвращается; стоит, бывало, подле кузницы утром в понедельник, точно вовремя — так и не мог ослушаться. Пробовал вырваться. Снова и снова, каждый раз со все большей кровью (а полиция, к примеру, его подберет, избитого, в грязных лохмотьях после драки у привокзального нужника) — и каждый раз возвращается все более покорный, все более пришибленный, как раб, на коленях приползает.

И вот, значит, один из этих походов закончился происшествием, от которого он совсем другим стал. На взгляд, снаружи сплошной стыд и срам, хуже, кажется, и быть не может.

А если вглубь заглянуть?

Вглубь, в нутро?

И как вообще могло случиться такое?

Но в ту пору или, может, в тех краях медицинские, или социальные, или полицейские предписания были не так совершенны, как теперь, всякие разные меры и установление фактов проводились скорее на глазок, — теперь такой истории, может, и вообще бы не случилось. Однако же, стало быть, рассказывают, с тех самых пор и по сей день, стало быть, в тамошних краях рассказывают, вечером в канун Нового года полиция нашла в канаве за городской чертой безжизненное, окоченевшее тело. Упился до смерти? Как ни старались, они к жизни его так и не вернули, хоть и трясли и даже лупили, тело не подавало признаков жизни, после каждой оплеухи голова упорно падала на грудь. В конце концов это неопознанное тело взяли отвезли в город и доставили в то место, куда по закону следует доставлять такие тела, глубокой ночью, когда новогодние звезды высоко стояли над больничным моргом, белым кубом с черным

нутром, далеко в сияющей вышине над всем происходящим вершили свой путь звезды в черном мирозданье.

Внутри этого белого куба тело обычным порядком раздели и положили на один из столов.

И там тело, значит, лежало голое на оцинкованном столе, в ряду серо-белых крупитчатых мертвецов, похожих на полуразвалившиеся глиняные фигуры. Вокруг царил мрак, лишь одинокая лампа с белым эмалированным абажуром отбрасывала с потолка на столы с телами яркий треугольник света. Рядом с новоприбывшим виднелась крупная стариковская голова, туго обтянутая кожей, с резкими чертами лица, со впалыми глазницами, а дальше — серое тело молодой женщины. Так что новенький был не один — в праздничные ночи много чего случается.

Правда, тело новичка лежало за пределами поля света. За пределами поля света была огромная, мертвая тишина.

(Но где-то далеко — голос попискивает, будто ребенка прищемили. Где-то далеко.

Поет:

Скоро пронижут меня плуги и черви,
Губы земли меня гложут: покровы рвутся.
Плоть распадается. И в тела темную башню,
ликуя, вступает вечно живая земля.

Освобожден от решетки моей, омытой слезами,
Избавлен от голода и меча.
И словно чайки зимою, лечу я
к милым ручьям, что стремятся домой.)

Оттого-то, спустя долгое-долгое время, в глубинах мрака пробудилась крохотная лучистая точка, огонек.

И случилось так, что внутри тела какой-то неопределенный орган вдруг начал различать в немыслимых далях световую массу, она стекала, струилась сверху вниз. Он лежал в каменном здании. Грудь, будто высокий свод, гудела эхом колокольного звона; будто звон из морской пучины — тяжелый колокол сердца. Сперва слабая дрожь в тяжелом, мертвом холоде, затем трепетанье. Проходит под сводами, арками, распорками. Из черноты выступает тяжелое лицо. Все дальше и дальше разносится гул, дрожит и бьется.

Стало быть, что-то неопределенное внутри тела увидело вдали световую массу, как она стекает, струится сверху вниз, а потом вдруг разом ширится — и врывается ясный, резкий дневной свет, ведь было утро, почти полдень уже, первый день нового года.

Тут оно и случилось — то самое, о чем после без конца говорили по всей округе: дремавшая на стуле сторожиха в морге (ее пока не сменили, ведь в первый день нового года ни обследований, ни вскрытий не делают) так и подскочила от рева, от вопля будто из геенны, и заспанные глаза ее увидали, как какая-то фигура, словно пушечное ядро, пролетела по залу.

И вылетела на улицу.

И исчезла.

И что бы там ни произошло, последнего привезенного покойника, во всяком случае, не было, стол стоял пустой.

Как этот голый мужик сумел выбраться из города, как он свою одежду вернул, неизвестно, но так или иначе одежда на нем была. Так или иначе — потому что он, стало быть, не замерз насмерть, а когда праздники кончились и опять настали будни, как всегда вовремя, явился в кузницу, покорный и с виду на себя похожий, вовсе не замерзший.

Только вот в народе потом пошли разговоры, а в конце концов стали передавать и из поколения в поколение, как голый мужик по дорогам скитался. В далеком будущем — и в то же время в далеком прошлом — кружили слухи (крайне противоречивые касательно времени и места) о том, как на Новый год, когда снег выпал и стоял сильный мороз, бродил по дорогам голый мужик и вроде до сих пор там бродит, никак не вырвется из путаницы промерзших дорог, лесных троп, лабиринтов морских путей, проселков, заброшенных, заросших деревенских трактов, пересеченных большими новыми дорогами, — утренний новогодний свет ясно озаряет море, сушу, голое, посиневшее, тяжело дышащее тело.

(Из поколения в поколение — вот ведь как давно об этом рассказывают, снова и снова, прямо-таки с незапамятных, запредельных времен. Там лежит выжженная земля, небо, состоящее как бы из ничего и не поддающееся описанию, оно сразу и ничто, и переполненность; пустота — эта стеклянно-прозрачная насыщенность, цвет всех цветов — лежит за пределом огня.)

А как же оно было на самом деле? Умер он тогда или нет? Выяснить это так и не удалось — полиция уверяла, что мертвее этого покойника свет не видывал. Сторожиха в морге тоже — она это по всей больнице разнесла и по всему городу, вообще-то она ведь не была ни дознавателем, ни прозектором, только сидела там, сторожила да квитанции выписывала, но чуяла, что ее профессиональная честь под угрозой, и всеми силами старалась ее защитить.

А в округе, куда воскресший вернулся, народ думал, как думал. Вся эта история сделалась в тамошней округе прямо шуткой года — воскресение из морга.

И все же, что ни говори, он был какой-то мертвый. Так или иначе прилипла к нему вроде как подмена, запах с того света. Хоть на Мессию этот воскресший, продолжавший в деревне обычное свое существование, был вовсе не похож. До того обычный во всегдашней своей красноглазой водочной серости (глаз опухший, красный, рыбий), что эта обычная, знакомая серость сделалась какой-то нереальной, непостижимой и в конце концов незнакомой.

Стоять-то он стоял в кузнице и выглядел вроде бы точно так же. А все же был какой-то другой. Разница заключалась в том, что, какое бы слово он теперь ни сказал, какое бы движение ни сделал, тут же смех раздавался. Вот как все изменилось. Он изменился, хоть сам и не понимал, что изменился, никак не мог взять в толк, что же такое в нем изме-

нилось. Будто надел какую-то мерзкую одежду, а она так к нему приросла, что и не снимешь.

Он ведь на том свете побывал.
И все, кто видел его, чувствовали на себе дыхание ужаса.
И чтобы защитить себя, они смеялись.
Отец боялся больше всех. И громче всех смеялся.

Люди, стало быть, смеялись, жутко и без причины, — стоят, бывало, ждут, пока он лошадь подкует, а у самих смех в глотке застревает, исподтишка глянут на него косо, как бы снизу вверх, и скорей уходят, против обыкновения не судачат о том о сем. (К весне слухи малость поутихли, люди теперь хохотали пореже и не то чтоб безудержно, а обыкновенно, у них другие истории сыскались, чтобы повторять да всем в округе рассказывать, животы со смеху надрывать, уже над другим стали смеяться, но вот косые взгляды исподтишка остались.)

Вернулся он, значит, и точка. Одет как обычно и выглядит как обычно, разве что немного простужен — сопя и кашляя, стоит на обычном своем месте в кузнице. Движения обычные и голос обычный — чуть сиплый, но не особенно, не больше, чем всегда после новогодних праздников.

Только все же задержался в нем какой-то странный холод. Он словно окоченел. Словно паралич его прихватил, да так и остался — до пальцев рук и ног дошел, и какой бы жар в кузнице ни стоял, внутри у него все равно был холод. А еще до него вроде не доходило больше, как все вокруг выглядит. Далекий, словно за холодной пеленою, стоял черный лес, а снег меж стволами лежал сухой и льдистый поверх замерзшей почернелой массы листьев. И меж стволами, меж колоннами, над яркой снежной гладью садилось красное январское солнце. На самом деле он этого не видел. Даже совершенно недвижного сине-зеленого моря и то не видел. Он был в потемках. В холодных потемках, беспредельных, как море.

А ведь море было, и суша была. Кузница, ручей и дом. Народ был. Только от него всё словно отмежевалось. Он двигался, работу свою выполнял, надрывался с утра до ночи. Но согреться никак не мог, вечно мерз. Внешний человек двигался, потел, сопел, пот с него градом катил, а холод оставался. Ибо внутри него все движение замерло. Он ничего не чувствовал. Кроме одного, но это одно чувствовал он всегда и везде — жажду; жажду трогать и ощущать — ртом, ладонями и пальцами трогать и ощущать мир, камни, животных, кожу.

Ведь он из такой глубины выбрался, из глубины холода. Из глубины мрака. А январь стоял студеный, и февраль, и конец зимы. Снег с открытых мест сдуло, небо над морем было ясное, день за днем задувал крепкий, колючий норд-ост. Земля была твердая как камень, и руки его, живот, все тело прямо истосковались по спрятанному подо льдом живому перегною, иному царству.

Днем в жгучем поту, ночью в сонной бездне — жила в нем эта тоска, жажда потрогать пальцами, схватить руками, закопаться, зарыться.

Он ведь уже побывал в незнакомом месте — о чем же он теперь тосковал?

Твердая земля, мертвая поверхность.
В глубину. В глубину.
Зарыться, закопаться, вцепиться, вгрызться вглубь, вовнутрь.
Вглубь.
Дай мне слиться с тобой!

(И тогда ему слышался голос из царства мертвых, память о голосе, который всегда вызывал у него дрожь отвращения, мягкий жалобный голос, слишком хорошо знакомый, хоть он вправду старался его забыть: "Мии-лай мой, ха-а-рошай! Ка-а-фей-ку не хошь?"

Голос той, что прощала все, все как есть, даже самое плохое, — ничего-то ей не противно, так бы и отколотил, последнего дурака и то зло возьмет.)

В особенности когда опускались вечерние сумерки, когда голос штормового ветра сходил на нет и в догорающем свете раскрывалась ночь, раскрывался иной мир. В высокой безмолвной февральской ночи, когда звезды, сияющие, живые, стояли в мировом пространстве, люди, бывало, просыпались и слышали, как кто-то брел мимо, громко-громко разговаривая, — это кузнецов сын то на кладбище, то у курганов в полях разговаривал со всеми теми, что жили глубоко в земле. Звучало это как вой или лай лисицы, невнятная беседа с мертвыми, безмолвными, вмерзшими в стылый мрак.

Но с каждым днем солнце поднималось в небе все выше. Какое-то беспокойство возникло в зимнем безмолвии, какое-то волнение, которого прежде не было. Земля согревалась, почва начала оттаивать и мягчеть, как тело, которое просыпается, мало-помалу делается мягким и начинает испускать свой особый сильный запах — речь. Отовсюду начала сочиться вода, неведомые, блескучие водяные корни, идущие из недр земли. Отовсюду вдруг зажурчало и запело, всюду была вода, со всех сторон бежала. А там и земля начала показываться, черная и влажная, согретая солнцем и душистая, вырывалась она из ледяной хватки, снег лежал теперь лишь талыми кучами в темно-синей тени каменных изгородей. Высоко в солнечном просторе трепетал крыльями жаворонок, весь — ликующий крик.

И вот однажды сын бросился ничком на землю, стал скрести ее ногтями, пальцами — хотел зарыться в нее, заползти, закопаться, исчезнуть, избавиться от себя самого, стать ничтожной нитью, обнаженной жилой, воем-вытьем — уничтожиться.

И однажды земля отозвалась, что теперь она открыта — дверь открылась, трещина отверзлась до самой сердцевины, до непроглядно-темного потока бытия.

И однажды сын кузнеца взял да вдруг и помер. Сам кузнец в тот день в город по делам отлучился. Сын его как стоял, так и упал. Было это после полудня, косые лучи солнца сквозь кривые закопченные окна падали на горн, инструменты, наковальню, а он прямо возле наковальни и

упал, молот из рук выронил, и в один миг не стало его. Только что стоял на месте — и вдруг нет там никого. Тело на полу лежит, и все. Сам-то он был уже в другом месте. Солнце сверкало, листва шумела. И никого нет. Только мальчонка, ученик, стоит в дверях и кричит, кричит:

— Эйлерт! Эйлерт!

Но тело на полу не пробудилось, оно теперь обернулось полным отсутствием.

И вот тело сына опустили в землю, в погожий ветреный день в разгаре лета обрели члены его и угасшее лицо новое жилище. Обрел он свое место в земле, под могильным камнем материных родителей, под черным камнем с серебряной голубкой, ведь материна родня к другому направлению веры принадлежала, у них в роду были мелкие крестьяне, что в горных лесах жили у предела обитаемых краев. (Сам-то кузнец вовсе из других мест пришел, с севера, — так уж повелось у кузнецов, у бродячего племени, и в здешней округе у него ни родителей, ни иной родни не было.) Из ниоткуда подползла к открытой могиле большая женщина, завыла, заголосила, потом соседка взяла ее за руку, увела прочь. С тем, что гроб (который, как полагалось в то время и в той округе, несколько дней стоял в доме открытый, чтобы люди могли зайти и попрощаться) — гроб с телом сына — пора в землю опускать, она никак не могла примириться, крик ее все отдалялся. Но был еще слышен. В самое нутро проникал. Даже когда крики унесло прочь, унесло теплым, ласковым ветром, они все еще звучали внутри тех, кто остался на кладбище. Похороны быстро закончились; с тех пор как соседка увела мать, у могилы, кроме отца, осталось всего человека три-четыре. Похороны эти совершались, как бы отрицая собственное свершение, — подготовки никакой не было, мать только сидела, уставясь в одну точку, отец, как обычно, работал в кузнице, как обычно, внимания ни на что не обращал, не мог заставить себя задуматься, а в горнице сын лежал одинокий, будто и не существовал никогда. (А народ в округе не преминул усугубить великую пустоту вокруг того, кто жил среди них и сорок с лишним лет бродил по их дорогам: в те дни, когда он в открытом гробу лежал в доме, два троюродных брата с лесного хутора заглянули, а из здешних — никто, вовсе никто, будто ужас вокруг него распахнулся во всю ширь и помешал им, ох как помешал.) И небо над открытой могилой распахнулось широкое и пустое. Огромная тишина над землей, только комья с грохотом сыпались, грохотали, падая на гроб, — так вот и опустили сына в землю, вроде как невидимого и неувиденного.

Поминок тоже не было, ни еды никакой не приготовлено, ни водки не куплено. Немногие провожающие разошлись еще на кладбище, сразу после похорон. Священник вернулся в свою усадьбу, а кузнец медленно и одиноко побрел домой — троюродные братья уже исчезли. Сына будто никогда и не было. Или будто он все еще был — как хочешь, так и думай. Дома кузнец посидел немного посреди двора на солнцепеке, уставясь в одну точку. Все смотрел и смотрел в одну точку. Вокруг все было такое пустое и светлое. Дул ветер, курилась пыль.

Теперь, значит, тело кузнецова сына обитало под серебряной голубкой на Эльярёдском кладбище, по соседству с другими безмолвными странниками в земле под их низкими темными холмиками, с теми, кто прež-

де него сошел в земляные жилища. А лето продолжалось как ни в чем не бывало. Солнце сверкало, листва шумела. Кузница работала, лето миновало, годы шли. Каждый день неприметная женщина стояла в дверях кузницы с обедом. На кладбище кузнец никогда не ходил.

Только есть на свете особенные места, к примеру незримое место смерти, где душа уходит — оставляет человека и уходит.

И вот однажды, в некотором году в начале сентября, позвало такое место неприметную, чуть не впервые в жизни к ней по-настоящему кто-то обратился. Место звало, особенное такое место у ручья, у воды. И время было особенное, год особенный — но ни одно человеческое существо не ведает, в какое мгновение эта женщина оставила мир и свет над собой, никто не ведает, какую последнюю вспышку мирской красоты запечатлел ее тонущий взгляд, никто этого не ведает, мгновение было неизвестное, теперь оно сокрыто, погруженное в текучий мрак времен, под искристой поверхностью потока.

Огненная линия — над ней лежала опушка леса, под ней бежала вода.

Так вот, однажды никто не пришел с обедом в кузницу. Кузнец и ученик — после смерти сына работы у них было по горло — ждут-пождут, кузнец только все больше мрачнел от злобы, так его донимал полуденный голод. Ученик же был приучен помалкивать, да ведь и ему поесть надо, побледнел весь, глаза потускнели, уже далеко за полдень перевалило. Кузнец ковал, ковал и бормотал проклятья, яростные удары молота ничего хорошего не предвещали.

Вечер настал, кузнец пошел домой. Приходит, а в доме пусто и тихо.

Пусто и тихо. Все убрано, тихо, блестит чистотой. И нигде никого. Собака в будке спит. Черный кот промелькнул, к лесу бежит. Стоит кузнец в сумерках на дворе и не знает, куда ему податься.

...а в этот самый миг, в сумерках, в мягкой сентябрьской дымке стояли у ручья несколько ребятишек, вода в ручье сверху серебром поблескивала, а внизу темная; в серой туманной дымке все еще комары гудели.

Ручей в этом месте расширялся и тихо струился под ольхами, отражая все как в зеркале. Полоска огня указывала его путь во мраке. И вот ребятишки увидали в медленных струях воды вроде как мешковину, вроде как полуистлевшая куча тряпок плывет, расползается в воде, а в середине расползшееся лицо, серо-белая масса. Ничто. А ведь всего-то один день прошел, с тех пор как ее не стало. Видно, когда жизнь покинула ее, то, что было ею, в миг полностью распалось, — ребятишки как завороженные смотрели на то, что плыло мимо и некогда кем-то было. А потом все в один голос завопили и в ужасе помчались, задыхаясь, тяжело дыша, домой, домой.

Но не в пример тому, что было, когда сын ушел из жизни, и вопреки всем ожиданиям кузнец, теперь вроде бы старик уже, устроил неприметной пышные похороны — с венками и траурными лентами. Вся деревня собралась, черная процессия змеилась вслед за гробом, от кузнецова дома к церкви. Потом черная густая толпа воротилась в дом, где кузнец устроил поминки, соседка с дочками в кухне помогали, множество блюд, водки хоть залейся, бутылка за бутылкой знай поблескивали. Сам кузнец

в костюме, волосы белые и лицо белое, губы горят, потрескались, распухли — и песни пели, и крик стоял, и драка была; стаканы бились, и стулья трещали; и блевотина, и мокрота, и икота, и взрывы смеха стояли над столом. Мальчонка-ученик спьяну разрыдался, его водой окатили да и вытолкали с крыльца. Мокрый насквозь, растерянный ползал он на коленях по двору, все хотел обратно. Только его не впустили. Низкое послеполуденное сентябрьское солнце светило сильно, дворовая пыль пахла смертью, мухами и смертью, в конце концов мальчонка заснул в будке вместе с собакой, которая изредка рассеянно лизала ему лицо, — словом, настоящие были поминки.

Стало быть, и она, безвестная, соединилась с сыном и предками, с их телами и душами, слилась с землистой массой корней под черным камнем с голубкой. "Спасибо тебе, черная земля, спасибо, глубь земная, что ты нас принимаешь".

Мать и сын были вроде как водянистыми мертвяками, серыми такими, вечно плачущими существами. И вдруг оба вместе ушли в землю и воду, что с журчанием текла отовсюду из земли — под темной палой листвой, под корнями, — кладбищенские корни сплетались с лесными, звучала непостижимая песнь мертвецов. Песнь эта была недосягаема, вода ничего не сообщала кузнецу, бессвязно бормотала только, а это до него не доходило. Теперь он совсем погрузился в собственный свой мир. Мир сухой, жаркий и пустой. Там он был наедине с огнем, горевшим светло и безмолвно.

Огонь кузнеца был двойствен. Созидательный, творящий. Но и разрушительный.

Теперь он все работал — работал и работал, ни о чем другом не думал. Совсем сухой сделался, ровно трут, того гляди вспыхнет. Почти не спал. Вообще-то он мог круглые сутки работать, по крайней мере ученика держал на ногах, пока тот чуть без памяти не валился.

Только огонь, только жар.

"Есть в человеке склонность причинять другим страдание — без причины и цели".

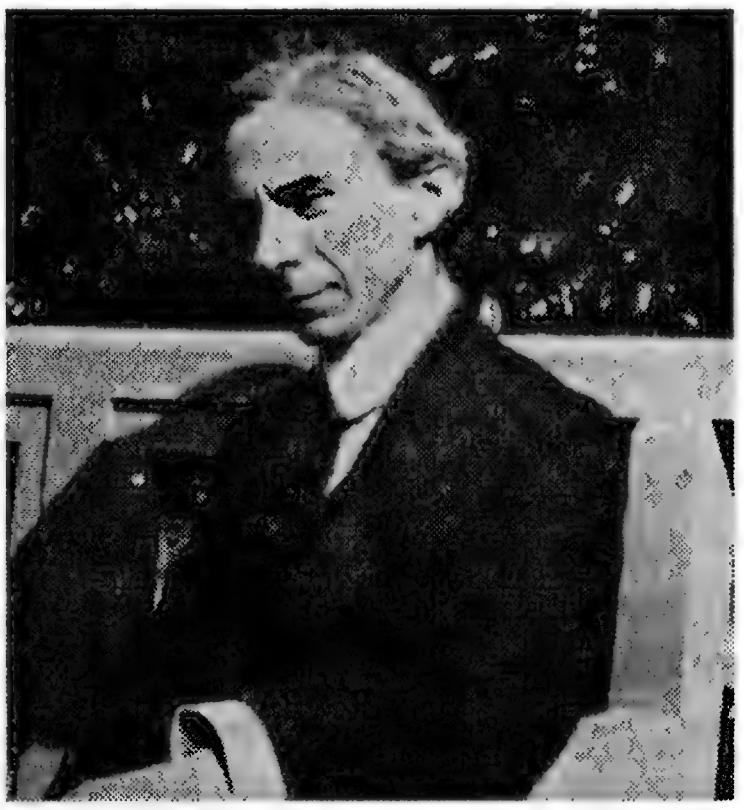
А кузнец все работал, работал. И в жарком одиночестве это все больше превращалось в некую бесцельную деятельность, которая уже не была настоящей работой. Это было что-то бессвязное, что-то бушевавшее само по себе. И чудить он начал в работе: насадит, к примеру, на пруток живую мышь и жарит ее заживо, она пищит, визжит — ну куда это годится? Или махнет раскаленными клещами прямо возле застывших от ужаса глаз ученика, прижавшегося к стене, — зачем?

Тенью метался кузнец на фоне огня. И руки его сплошь не то делали, ошибались. Однажды ученик взял котомку, собрал свой инструмент и, ни слова не сказав, ушел. После этого кузница стала приходить в упадок. Кузнец — а он был лишь огонь, огонь и ненависть, бог войны — однажды как бы выгорел изнутри и сделался совершенно пустым, ничего больше не мог. В игру играл, воображая, что все может. А сам ничего не мог. Только играл. Народ его чурался, и кузница разрушалась все быстрее. Как пустая тень метался кузнец, выполнял движения, будто работал, плясал на фоне огня.

Но вот однажды вечером он потушил огонь, залил горн водою. Потом запер кузницу на большой висячий замок и ушел прочь — и больше не вернулся. Кузница все стояла. А кузнец бродил по округе, то там появится, то здесь. И наконец как-то субботним вечером, когда в воздухе уже чувствовалось вешнее тепло, объявился на кладбище возле черного камня с голубкой. Он принес бутылку водки и два стакана, один — себе, другой — сыну. (Жена-то у него не пила, стало быть и стакан ей не нужен.) Так началась у кузнеца новая жизнь, теперь он сидел и беседовал (кричал, пел, ругался) со своими усопшими.

Состарился, совсем древним стариком стал, этакий бродячий пень, а все ходил да с мертвыми разговаривал — на обожженной черной маске светлые глаза; он говорил с мертвыми, весь мир стал царством мертвых, и там он бродил, отныне и вовек.

Бертран Рассел



Автобиография

Перевод с английского Т. Казавчинской, Н. Цыркун

Часть *первая* 1872—1914

Пролог

Ради чего я живу

ВСЮ мою жизнь пронизывали три страсти, простые, но неодолимые в своем могуществе: жажда любви, тяга к знанию и мучительное сочувствие к страданиям человечества. Как могучие ветры, носили они меня над пучиною боли, увлекая из стороны в сторону и порой доводя до отчаяния.

Я искал любви, прежде всего потому, что от нее душа кипит восторгом, безмерным восторгом — за несколько таких часов не жаль пожертвовать всей жизнью. Я искал любви и потому, что она прогоняет одиночество, страшное одиночество трепещущего сознания, чей взор устремлен за край Вселенной, в непостижимую безжизненную бездну. Наконец, я искал любви и потому, что в единении двух видел, словно на заставке таинственной рукописи, прообраз рая, открывавшегося поэтам и святым. Вот что я искал и вот что в конце концов обрел, хоть это и напоминает чудо.

С не меньшей страстью я стремился к знанию. Я жаждал проникнуть в человеческое сердце. Жаждал узнать, почему светят звезды. Стремился разгадать загадку пифагорейства — понять власть числа над изменяющейся природой. И кое-что, правда совсем немного, мне удалось понять.

© Т. Казавчинская. Перевод (ч. I), 2000
© Н. Цыркун. Перевод (ч. II, III), 2000

Печатается в сокращении.

Любовь и знания — когда они давались в руки — влекли меня наверх, к небесной выси, но сострадание возвращало вновь на землю. Крики боли эхом отдавались в сердце: голодающие дети, жертвы насилия, беспомощные старики, ставшие ненавистным бременем для собственных детей, весь этот мир, где бескрайнее одиночество, нищета и боль превращают человеческую жизнь в пародию на самое себя. Я так хотел умерить зло, но был не в силах, и я сам страдаю.

Такова была моя жизнь. Ее стоило жить, и если бы я мог, охотно прожил бы ее сначала.

Детство

Самое раннее сохранившееся у меня воспоминание — это приезд в феврале 1876 года в Пембрук-лодж. Точнее сказать, самого приезда я не помню, но помню огромную стеклянную крышу лондонского вокзала, скорее всего Паддингтонского (показавшегося мне несказанно прекрасным), откуда я отправился в путь. Из того первого дня в Пембрук-лодж мне особенно запомнилось чаепитие в комнате для слуг — просторной, пустой, с массивным длинным столом, такими же массивными стульями и высоким табуретом. Тут пила чай вся прислуга, кроме экономки, повара, горничной и дворецкого — так сказать, местной аристократии, собиравшейся в комнате у экономки. Меня усадили на высокий табурет, и ясно помню собственное удивление: отчего это слуги не сводят с меня глаз? В ту пору я не знал, что представляю собой судебный казус, над которым уже ломают голову и лорд-канцлер, и знаменитый королевский адвокат, и другие почтенные особы, как не знал до определенного возраста и об удивительных событиях, предшествовавших моему появлению в Пембрук-лодж.

Незадолго до этого мой отец лорд Эмберли умер после долгой болезни, исподволь подтачивавшей его силы. Мать и сестра скончались от дифтерита примерно полутора годами раньше. Моя мать была деятельной, живой, острой на язык, серьезной, оригинальной и бесстрашной — такой она предстала предо мной со страниц своих писем и дневника. Отец, обладавший философским складом ума, посвятил себя науке и был человеком не светским, болезненным и педантичным. Как друг и последователь Джона Стюарта Милля, он отстаивал контроль над рождаемостью и избирательное право для женщин. Взгляды эти разделяла и его жена. Отстаивая противозачаточные средства, он лишился места в парламенте, матери тоже не раз доставалось из-за ее радикальных воззрений. На приеме в саду в честь королевы Марии герцогиня Кембриджская при виде моей матери произнесла в полный голос: "Я знаю, кто вы. Вы невестка[1]. Но сейчас вы говорите как грязные радикалы и грязные американцы. Весь Лондон судачит об этом, во всех клубах это обсуждают. Надо бы задрать вам подол и проверить, стираете ли вы свои нижние юбки". А вот письмо от британского консула во Флоренции, которое говорит само за себя:

1. Т. е. невестка Джона Рассела, первого графа Рассела (1792—1878) — государственного деятеля, премьер-министра Великобритании от партии вигов (1846—1852, 1865—1866), министра иностранных дел (1860—1865). (*Здесь и далее, кроме особо указанных случаев, прим. перев.*)

22 сентября 1870 г.

Глубокоуважаемая леди Эмберли, я отнюдь не являюсь поклонником господина Мадзини. Напротив, его характер и принципы внушают мне брезгливость и омерзение. К тому же, как официальное лицо, я не могу служить посредником для передачи ему корреспонденции. Не желая, однако, проявлять по отношению к Вам неучтивость, я предпринял единственно возможный для себя шаг, чтобы доставить Ваше письмо по назначению, а именно – отправил его по почте на имя государственного прокурора Гаэты.

Остаюсь преданный Вам Э. Паджет

У меня хранится принадлежавший Мадзини футляр для часов, который он подарил моей матери.

Она часто выступала с приветствиями на собраниях суфражисток и в одной из дневниковых записей отзывается о миссис Сидни Уэбб и леди Кортни – в связи с Поттеровской сестринской общиной – как о бабочках-однодневках. Впоследствии, познакомившись с миссис Сидни Уэбб[1], я ощутил огромное уважение к матери: какой требовательностью нужно было обладать, чтобы счесть миссис Уэбб ветреной особой! Однако из писем, адресованных ею, например, позитивисту Генри Крамтону, видно, что ей не чужда была известная игривость и кокетливость; наверное, к миру она обращалась менее хмурой своей стороной – не той, что поверяла дневнику.

Отец был вольнодумцем и работал над капитальным сочинением "Анализ религиозных верований", опубликованным посмертно. В его огромной библиотеке стояли книги по буддизму, труды по конфуцианству, патристика и многое другое. Почти все время он жил за городом и писал книгу. Но в начале супружества родители по нескольку месяцев в году проводили в своем лондонском доме Динз-ярд. Мать и ее сестра миссис Джордж Хоуард (ставшая позднее леди Карлейль) держали соперничающие салоны. У миссис Хоуард можно было увидеть всех прерафаэлитов, а у матери – всех английских философов начиная с Милля.

В 1867 году мои родители побывали в Америке, где подружились со всеми бостонскими радикалами. Могли ли они предвидеть, что внуки и внучки тех самых пылких демократов обоего пола, чьим речам они рукоплескали и чьей победой над рабством восхищались, казнят Сакко и Ванцетти? Родители поженились в 1864 году, им было по двадцать два года. Как похвастал мой брат в своей автобиографии, на свет он появился через девять месяцев и четыре дня после свадьбы. Незадолго до моего рождения они переехали в совершенно безлюдное место, в дом, называвшийся тогда Рейвенскрофт (теперь – Клейдон-холл) и стоявший на крутом лесном холме, над обрывистыми берегами Уая. Именно оттуда, когда мне было три дня от роду, мама отправила следующий отчет своей матери: "В младенце восемь и три четверти фунта веса и двадцать один дюйм в длину, он очень толстый и уродливый и, как все говорят, очень похож на Фрэнка: такие же широко расставленные глаза и срезанный подбородок. Во время кормлений ведет себя совсем как Фрэнк. У меня сейчас много молока, но если ему не дать грудь сразу, или если у него газы, или что-нибудь еще такое, он впадает в ярость, верещит, сучит нога-

1. Супруги Сидни (1859–1947) и Беатрис (1858–1943) Уэбб – английские экономисты и историки; Сидни Уэбб – один из организаторов Фабианского общества.

ми и весь трясется от злости, пока его не успокоишь... Очень энергично задирает головку и водит глазками".

К моему брату пригласили в качестве учителя серьезного исследователя Д. Э. Сполдинга – во всяком случае, на него есть ссылка в "Психологии" Уильяма Джеймса[1]. Он был дарвинистом, изучал инстинкты у цыплят, которым разрешалось – дабы облегчить ему научную задачу – безобразничать и гадить повсюду в доме, включая гостиную. Он страдал открытой формой туберкулеза и умер почти вслед за моим отцом. Основываясь, видимо, на чисто теоретических предпосылках, родители решили, что хотя ему как туберкулезнику не следует иметь потомство, несправедливо было бы обрекать его на воздержание. Посему мать предложила ему сожительство, хотя ни малейшего свидетельства о том, что это доставляло ей хоть мало-мальское удовольствие, я в ее бумагах не обнаружил. Такой порядок вещей продержался очень недолго, поскольку учрежден был вскоре после моего рождения, а мне едва исполнилось два года, когда матери не стало. Тем не менее отец и тогда не расстался с учителем, а после его смерти выяснилось, что в завещании он назначил двух атеистов: учителя и Кобден-Сандерсона – опекунами своих сыновей, дабы уберечь их от ужасов религиозного воспитания. Но из его бумаг дедушка и бабушка дознались о том, что́ имело место между учителем и матерью, от чего, как истинные викторианцы, испытали шок. И решили, если потребуется, привести в действие закон, лишь бы вырвать невинных крошек из когтей безбожников. Злокозненные безбожники обратились за советом к сэру Хоресу Дейви (впоследствии лорду Дейви[2]), который заверил их, что дело они проиграют – скорее всего, по аналогии с судебным процессом Шелли[3]. Таким образом, мы с братом были определены под опеку канцлерского суда, и в день, о котором я уже рассказывал, Кобден-Сандерсон передал нас с братом дедушке и бабушке. Немудрено, что вся эта история подогрела интерес слуг к моей персоне.

Мать я совсем не помню, разве только осталось воспоминание о том, как я вываливаюсь из тележки, запряженной пони, что, надо думать, произошло в ее присутствии. Это подлинное воспоминание, а не аберрация сознания, я долгие годы никому об этом не рассказывал и проверил лишь десятилетия спустя. В памяти живут только два моментальных впечатления, связанных с отцом: он дает мне страницу, где все напечатано красным, и красные буквы кажутся мне волшебными, а еще помню, как он принимает ванну. Согласно завещанию, родителей похоронили в нашем саду в Рейвенскрофте, но потом эксгумировали и перенесли в фамильный склеп в Чинис. За несколько дней до смерти отец написал своей матери следующее письмо.

Рейвенскрофт, в среду ночью

Дорогая моя мама,

Вам будет приятно узнать, что я намереваюсь приехать в Рэдклифф как только смогу, хотя причина промедления Вас не обрадует. У меня довольно про-

1. Уильям Джеймс (1842–1910) – психолог и философ, один из основоположников прагматизма в философии.
2. Сэр Хорас Дейви (1833–1907) – английский судья.
3. Перси Биши Шелли (1792–1822) – великий английский поэт; после смерти первой жены пытался через суд получить право воспитывать детей от первого брака, но проиграл процесс как "аморальная личность".

тивный приступ бронхита, который удержит меня еще некоторое время в постели. Ваше письмо, то, что написано карандашом, пришло сегодня, и из него я понял, что Вы тоже измучены, и огорчился. Но как я ни измотан, не писать я все равно не могу, так как мне не спится. Незачем и говорить, что приступ не опасный и я не думаю о плохих последствиях. Но, наученный горьким опытом, знаю, что болезнь порой прикидывается на миг совершенно невинной и готова запросить пощады, когда победы нет и в помине. У меня поражены оба легких, и положение может ухудшиться. Умоляю Вас не посылать телеграмм и вообще не предпринимать никаких поспешных действий. У нас теперь вместо Одленда чудесный молодой доктор, который ради собственной своей репутации – он только начинает практиковать в наших местах – сделает для меня все возможное. Повторяю, что надеюсь поправиться, но на случай печального исхода хочу сказать, что ожидаю смерти спокойно и без суеты, "Как тот, кто, завернувшись в одеяло, спокойно предается сладким снам"[1].

О себе – никакой тревоги, даже сердце не трепещет, но очень горюю по нескольким людям, которых предстоит покинуть, и более всего – по Вам. Боль и слабость мешают мне найти подходящие слова, чтобы выразить, как глубоко я всегда ощущал Вашу неизменную и нерушимую любовь и доброту, даже тогда, когда, как могло казаться, ее не стоил. Безмерно сокрушаюсь, что порою вынужден был держаться резко, – ничего, кроме любви, я никогда не хотел Вам высказать. Я сделал очень мало из того, что собирался, но уповаю, что толика сделанного – не из худших. Умираю с чувством, что одно важное дело в жизни я успел завершить. С моими дорогими мальчиками, надеюсь, Вы будете видеться как можно чаще, и они будут относиться к Вам как к матери. Вы знаете, что похоронить меня следует тут, в моем любимом лесу, в том прелестном уголке, который уже давно меня поджидает. Вряд ли можно надеяться, что Вы будете присутствовать при погребении, но я очень бы желал того.

Наверное, очень эгоистично с моей стороны писать все это и причинять Вам боль; просто боюсь, что в другой раз буду слишком слаб, чтобы держать перо. Если смогу, буду писать ежедневно. От своего дорогого отца я во всю мою жизнь не видел ничего, кроме доброты и чуткости, за что искренне его благодарю. От всей души надеюсь, что на склоне долгой, достойно прожитой жизни он будет избавлен от горя утраты сына. Посылаю самые нежные слова любви Агате, Ролло и, если можно, бедному Уилли.

Ваш любящий сын Э.[2]

Пембрук-лодж, где жили мои дедушка и бабушка, нескладный и невысокий — всего в два этажа, — стоял в Ричмонд-парке. Право владения домом принадлежало царствующему монарху, и своим именем дворец был обязан леди Пембрук, к которой Георг III в годы своего помешательства питал нежные чувства. В 40-е годы королева предоставила его в пожизненное пользование моим дедушке и бабушке, и с тех пор они всегда там жили. Знаменитое заседание кабинета министров, описанное во "Вторжении в Крым" Кинглейка[3], — то самое, когда решался вопрос о Крымской войне и несколько министров проспали голосование, — происходило в Пембрук-лодж. Самого Кинглейка, впоследствии жившего в Ричмонде, я прекрасно помню. Как-то раз я спросил сэра Спенсера Уолпола, откуда у Кинглейка такая стойкая неприязнь к Наполеону III. "Из-

1. Заключительные строки поэмы "Танатопсис" Уильяма Каллена Брайанта (1794–1878).
2. Джон Рассел, виконт Эмберли (1842–1876).
3. Александр Кинглейк (1809–1891) — английский историк и путешественник.

за женщины", – последовал ответ. "Вы мне расскажете, что это была за история?" – естественно, оживился я. "Нет, сэр, – отрезал он, – не расскажу". А вскоре он умер.

К Пембрук-лодж примыкало одиннадцать акров парка, по воле хозяев почти целиком находившегося в состоянии запустения. Первые восемнадцать лет моей жизни парк этот много значил для меня. К западу открывался необозримый вид, простиравшийся от Эпсомских холмов (как я думал, это о них говорилось в считалочке "По горам, по долам") до Виндзорского замка, а между ними располагались Хайндхед и Литхилл. Я с детства привык к далеким горизонтам, к шири закатного неба, беспрепятственно открывавшегося взору, и без них никогда потом не бывал по-настоящему счастлив. В парке росло много чудесных деревьев: дубы, березы, конские и съедобные каштаны, лаймы, изумительный кедр, криптомерии и гималайские кедры – дар индийских раджей. Беседку окружали заросли шиповника и ржавчинного лавра, а во множество укромных уголков можно было надежно спрятаться от взрослых, ничуть не опасаясь, что тебя найдут. Цветники были обсажены самшитовыми изгородями. За годы, что я прожил в Пембрук-лодж, парк окончательно одичал. Попáдали большие деревья, кустарник переметнулся через дорожки, лужайки поросли высокой, пышной травой, изгороди превратились чуть ли не в рощи. И все же парк, казалось, не забыл свое былое великолепие, когда по его лужайкам гуляли послы иностранных государств, а принцы восхищались ухоженными клумбами. Парк жил в прошлом, а вместе с ним жил в прошлом и я. В голове у меня роились фантастические истории о родителях и сестре, воображение рисовало мне образ деда, молодого и энергичного. Разговоры, которые в моем присутствии вели взрослые, всегда были о прошлом: о том, как дедушка ездил к Наполеону на Эльбу, или как двоюродный дедушка моей бабушки дрался за Гибралтар во время американской Войны за независимость, или как бабушкиному дедушке устроили обструкцию в графстве, когда он высказал предположение, что мир был сотворен не за 4004 года до Рождества Христова, а раньше, иначе бы на склонах Этны не сохранилось столько лавы. Порой беседа касалась более свежих событий, вроде того, что Карлейль назвал Герберта Спенсера "абсолютным вакуумом" или что Дарвин был польщен визитом Гладстона. Родителей моих не было на свете, и я часто пытался угадать, что они были за люди. Я привык бродить по парку в полном одиночестве, то собирая птичьи яйца, то предаваясь размышлениям о том, чтó есть убегающее время. Сколько себя помню, важные, определяющие детские впечатления прояснялись в сознании как-то мимоходом, когда я играл или занимался своими детскими делами, и старшим я никогда ни о чем таком не проговаривался. Полагаю, что минуты и часы стихийного насыщения жизнью, когда юному существу ничего не навязывается извне, и есть самые для него важные, именно тогда закладываются вроде бы поверхностные, а на самом деле жизненно важные впечатления.

Дедушка запомнился мне восьмидесятилетним стариком, сидевшим в кресле на колесиках во время прогулок по парку либо читавшим Хансарда[1] у себя в комнате. Когда он умер, мне было всего шесть лет от ро-

1. Имеются в виду правительственные документы, печатавшиеся в парламентской типографии Люка Хансарда с 1774 по 1889 г.

ду. Помню, как в день его смерти вдруг появилась наемная карета и оттуда вылез мой старший брат, хотя школьный семестр еще не кончился. Я завопил "ура!", и няня одернула меня: "Тише! Сегодня нельзя кричать "ура"!" Из чего понятно, что дедушка не играл особой роли в моей жизни; другое дело бабушка, которая была на двадцать три года моложе его. На протяжении всего моего детства она оставалась главным для меня лицом. Она принадлежала к шотландской пресвитерианской церкви, в политике и религии придерживалась либеральных взглядов (семидесяти лет перешла в унитарную церковь), но во всем, что касалось морали, отличалась величайшей строгостью. Замуж за дедушку, вдовца с шестью детьми на руках — двумя родными и четырьмя пасынками, — она вышла молоденькой, стеснительной девушкой, а через несколько лет его назначили премьер-министром. Надо думать, для нее это оказалось тяжелым испытанием. Она рассказывала, как еще в ее девические годы поэт Роджерс на одном из своих знаменитых утренников дал ей совет, заметив ее робость: "Работай язычком. Тебе это пойдет на пользу!" Из ее рассказов было совершенно ясно, что она ни разу в жизни не испытала ничего хоть отдаленно напоминавшего влюбленность. Помню, однажды она призналась мне, что вздохнула с облегчением, когда во время медового месяца к ней приехала погостить мать. Помню также, как она однажды сетовала на то, что сотни поэтов потратили столько слов на такую избитую тему, как любовь. Но дедушке она была верной, преданной женой и, сколько могу судить, ни разу ни в чем не отступила от тех весьма специфических требований, которые налагал на нее статус.

Своих детей и внуков она окружала глубокой и не всегда разумной заботой. Думаю, ей было совершенно неведомо ощущение бьющей через край энергии, животной радости существования, она воспринимала жизнь сквозь флер викторианской сентиментальности. Помню, как я тщетно пытался ей объяснить, что невозможно требовать, чтобы у всех было удобное жилье, и одновременно протестовать против нового строительства по той причине, что оно оскорбляет взор. Для нее каждое чувство существовало по отдельности и имело свои неотъемлемые права, и отказаться от одного чувства ради другого из-за такой прозаической вещи, как элементарная логика, было выше ее сил. По меркам своего времени она получила хорошее образование и безупречно, без малейшего акцента говорила по-французски, по-немецки и по-итальянски; основательно изучила Шекспира, Мильтона, поэтов XVIII века; могла без запинки перечислить знаки зодиака и имена девяти муз; английскую историю, как водилось у вигов, помнила до мельчайших деталей; была начитана во французской, немецкой, итальянской классике; а начиная с 1830 года знала политику не понаслышке. Но умение рассуждать не входило в ее образование, и все, что требовало логического хода мысли, начисто отсутствовало в ее умственной деятельности. Она так и не смогла понять, как работают речные шлюзы, хотя самые разные люди пытались ей это растолковать. Она впитала в себя пуританскую мораль викторианства, и не было такой силы на свете, которая могла бы убедить ее, что человек, готовый при случае чертыхнуться, не обязательно пропащая личность. Однако правило не обходилось без отступлений. Она поддерживала знакомство с сестрами Берри, дружившими с Хоресом Уолполом, и однажды заметила, — без малейшего осуждения! — что они "немного старомодны, любят ввернуть крепкое словцо". Как и многие люди подобного

склада, она столь же непоследовательно делала исключение для Байрона, которого считала жертвой несчастной юношеской любви. На Шелли ее терпимость не распространялась: жил в грехе и стихи писал слезливо-слащавые. Думаю, о Китсе она и слыхом не слыхала. Хорошо ориентируясь в мировой классике, заканчивавшейся для нее на Гёте и Шиллере, она понятия не имела о больших европейских писателях-современниках. Тургенев как-то подарил ей один из своих романов, но она его даже не раскрыла — Тургенев был для нее просто кузеном одной из приятельниц. Да-да, ей говорили, он пишет книги, но ведь кто только не пишет!

О современной психологии она, само собой, не имела ни малейшего представления. За кое-какими мотивами человеческого поведения она признавала право на существование: любовь к природе, забота об общественном благе, привязанность к детям — все это были добрые побуждения, а сребролюбие, властолюбие, тщеславие — дурные. Хорошие люди всегда руководствуются добрыми побуждениями, а плохие — плохими, однако и у плохих людей, даже очень, очень плохих, случаются временные просветления. Институт брака ставил ее в тупик. Понятно, долг мужа и жены — любить друг друга, но нехорошо, когда выполнение этого долга дается слишком легко, поэтому, если взаимное сексуальное влечение супругов слишком сильно, в этом есть что-то подозрительное, даже порочное. Разумеется, она не употребляла подобных выражений и буквально говорила вот что: "Знаешь, я никогда не считала супружескую привязанность таким же хорошим чувством, как родительская любовь, потому что тут всегда есть что-то не то, какой-то привкус эгоизма". Дальше этого она не могла допустить в свой ум такой низменный предмет, как секс. Лишь однажды я слышал от нее чуть более откровенное высказывание на запретную тему, это когда она обронила, что "лорд Пальмерстон отличался от остальных мужчин тем, что был не совсем хорош... как мужчина". Она не любила вина, терпеть не могла табак и почти не ела мяса. Жизнь ее отличалась аскетизмом: она употребляла лишь самую простую пищу, завтракала в восемь часов утра и до восьмидесяти лет не позволяла себе нежиться в мягком кресле, разве только после вечернего чая. В ней совершенно не было ничего светского, и она презирала тех, кто питал слабость к светским почестям. Должен с сожалением отметить, что к королеве Виктории она не испытывала особого пиетета и всегда со смехом вспоминала, как однажды, когда ей стало плохо в Виндзорском замке, королева была так любезна, что отдала распоряжение: "Леди Рассел дозволяется сесть. Леди такая-то встанет так, чтобы заслонить ее".

Когда мне исполнилось четырнадцать лет, ограниченность бабушкиных умственных горизонтов стала меня раздражать, а пуританские взгляды на мораль казаться крайностью. Но в детские годы на ее великую ко мне привязанность и неустанную заботу о моем благополучии я отвечал горячей любовью, и все это вместе давало мне великое чувство защищенности, столь необходимое детям. Помню, как я лежу в постели — мне года четыре, может быть, пять, и мысль о том, какой это будет ужас, когда бабушка умрет, не дает мне уснуть. Но когда она и в самом деле умерла — я был тогда уже женат, — я принял это как должное. Однако сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что с возрастом я все больше ощущал, как сильно она повлияла на мое формирование. Ее бесстрашие, заботу об общественном благе, презрение к условностям, равнодушие к господствующему мнению я всегда вменял ей в заслугу, они вызывали у

меня восхищение и желание подражать им. Бабушка подарила мне Библию, на форзаце которой написала свои любимые изречения, там было и такое: "Не следуй за большинством на зло"[1]. Благодаря этим словам, исполненным для нее особого смысла, я никогда не боялся оказаться среди тех, кто остается в меньшинстве.

Когда я был ребенком, в живых оставались две бабушкины сестры и четверо братьев, и все они время от времени гостили в Пембрук-лодж. О самом старшем, лорде Минто, помню лишь то, что называл его "дядя Уильям". Вторым по старшинству шел сэр Генри Эллиот, сделавший серьезную дипломатическую карьеру, однако о нем мало что сохранилось у меня в памяти. Третий, дядя Чарли, запомнился главным образом длинной вереницей титулов на адресованных ему конвертах, где он именовался "Достопочтенный сэр Чарльз Эллиот, адмирал, кавалер ордена Бани 2-й степени", и жил в Девонпорте. Мне объяснили, что дядя Чарли — контр-адмирал, а есть еще другой адмирал, более важный, который называется "адмирал флота"; меня это задело, я чувствовал, что должен как-то восстановить справедливость. Самого младшего, Джорджа Эллиота, оставшегося холостяком, я называл "дядя Додди". Мое внимание всегда обращали на то, что внешне я очень походил на него (как и на бабушкиного деда, мистера Брайдона, того самого, который впал в предосудительную ересь из-за вышеупомянутой лавы на Этне), больше ничего примечательного в дяде Додди не было. О дяде Уильяме у меня осталось одно очень болезненное воспоминание. Как-то он приехал в Пембрук-лодж вечером дивного июньского, пронизанного солнцем дня, каждой минутой которого я буквально упивался, и перед сном, когда я подошел к нему пожелать спокойной ночи, он весьма серьезно уведомил меня, что способность человека к радости с возрастом убывает и я уже никогда в жизни не смогу радоваться летнему дню так же сильно, как сегодня. Из глаз моих брызнули слезы, и я долго не мог успокоиться и заснуть той ночью. Впоследствии я убедился, что то было не только жестокое, но и ложное умозаключение.

Окружавшие меня взрослые отличались редкостным непониманием силы детских чувств. Помню, как в четырехлетнем возрасте меня фотографировали в Ричмонде и фотограф, который никак не мог удержать меня на месте, в конце концов посулил бисквитное пирожное, если я перестану ерзать. До того дня я лишь однажды пробовал бисквитное пирожное, показавшееся мне истинной амброзией, поэтому я замер как мышь, и фотограф был в восторге. Вот только пирожного мне не досталось. Другой раз меня поразила фраза в разговоре взрослых: "Когда прибудет этот молодой лев?" Я тотчас навострил уши: "А разве к нам привезут льва?". — "Да, — заверили меня, — в воскресенье. Совсем ручной, он будет в гостиной". Я буквально считал дни и часы до воскресенья, а в воскресенье счет уже перешел на минуты. И вот молодой лев уже в гостиной, и можно пойти посмотреть на него. Наконец я там, и что же? Лев оказался самым обыкновенным молодым человеком по имени Лев. Не могу описать всей глубины моего разочарования, мне и сегодня больно вспоминать свое тогдашнее горе.

Но вернемся к семье моей бабушки. О ее сестре леди Элизабет Ромилли мне запомнилось лишь то, что от нее я впервые услышал о Редьярде

1. Исх. 23, 2.

Киплинге, чьи "Простые рассказы с гор" она обожала. Куда более колоритной фигурой была вторая сестра, леди Шарлотта Портал, которую я называл "тетя Лотти". О ней рассказывали, что в детстве она как-то свалилась с кровати и забормотала со сна: "Съехала подушка, и я низко пала". Рассказывали также, что, наслушавшись разговоров взрослых о сомнамбулизме, она ночью поднялась с кровати и стала бродить на манер лунатиков. Старшие, от которых не укрылось, что сна у нее нет ни в одном глазу, договорились не касаться этой темы. Наутро, так и не дождавшись ни слова о вчерашнем, она не выдержала и спросила: "Разве никто не видел, как я вчера ходила во сне?" Способность брякать глупости не изменила ей и в дальнейшем. Как-то раз ей потребовался кеб для троих седоков, и, решив, что двуколка маловата, а четырехколесный экипаж великоват, она распорядилась, чтобы лакей нанял трехколесную карету. В другой раз, когда она уезжала на континент и ее провожал тот же лакей по имени Джордж, она высунулась из окна в миг, когда тронулся поезд, и закричала: "Джордж, Джордж, как ваше имя?", потому что вспомнила в последнюю минуту, что ей, наверное, понадобится послать ему хозяйственные распоряжения, а она даже не знает, кому адресовать письмо. "Джордж, миледи", — ответствовал он, но этого она, увы, уже не услышала.

Кроме бабушки, в Пембрук-лодж жили ее неженатые дети: дядя Ролло и тетя Агата. В мои первые сознательные годы дядя Ролло оказал на меня большое влияние, так как часто говорил со мной о науке, а эрудиция у него была огромная. Всю жизнь он страдал болезненной застенчивостью в столь тяжелой форме, что не мог заниматься какой-либо деятельностью, предполагавшей общение с другими людьми, но со мной, пока я оставался ребенком, чувствовал себя свободно и, случалось, обнаруживал вкус к диковинному юмору, о чем прочие члены семьи и не догадывались. Помню, как-то я спросил у него, почему в церквях не стекла, а витражи. Без тени улыбки он поведал, что прежде там были обычные стекла, но однажды взошедший на кафедру священник увидел через окно человека с ведром на голове, на которого вылилась вся побелка, потому что у ведра вылетело дно. У бедного священника это вызвало такой неудержимый приступ хохота, что от проповеди пришлось отказаться; вот так в церквях и появились витражи. Когда-то дядя служил в министерстве иностранных дел, но потом у него ухудшилось зрение, и в пору, когда я знал его, он не мог ни читать, ни писать. Через некоторое время зрение восстановилось, но он уже больше не пытался поступить на регулярную службу. По профессии он был метеорологом, ему принадлежат ценные выводы о связи между извержением вулкана Кракатау в 1883 году и наблюдавшимися после этого в Англии закатами необычной окраски, а также голубым цветом луны. Он не раз излагал мне свою систему доказательств, и всякий раз я слушал его как зачарованный. В первую очередь благодаря этим беседам во мне проснулся интерес к науке.

Из окружавших меня в Пембрук-лодж взрослых моложе всех была тетя Агата. Когда меня туда привезли, ей исполнилось двадцать два года, разница между нами составляла всего девятнадцать лет. В первые годы моего там пребывания она не раз пыталась заниматься моим обучением, но без особого успеха. У нее было три цветных мяча: ярко-красный, ярко-желтый и ярко-синий. Взяв в руки красный, она спрашивала: "Какого цвета этот мяч?" Я отвечал: "Желтый". Тогда она подносила его к клетке

с канарейкой и спрашивала: "Разве он такой же, как канарейка?" — "Нет", — отвечал я. Но так как я не знал, какого цвета канарейка, это не помогало. Постепенно я научился различать цвета, но в памяти осталось только то время, когда мне это не давалось. Потом она пыталась учить меня чтению, однако это было выше моего разумения. За время наших занятий я научился читать только одно слово: "или". Другие слова, такие же короткие, никак не запоминались. Должно быть, она отчаялась чего-нибудь добиться, потому что в пять лет без малого меня отдали в детский сад, где я и освоил наконец нелегкое искусство чтения. Когда мне исполнилось лет шесть-семь, она снова принялась за меня и стала учить английской конституционной истории, которой я очень заинтересовался. По сей день помню многое из того, что она говорила.

У меня до сих пор хранится маленькая записная книжечка, куда я заносил под ее диктовку вопросы и ответы. Применяемый ею метод легко продемонстрировать на следующем примере.

Вопрос. Из-за чего спорили король Генрих II и Томас Бекет? [1]

Ответ. Генрих желал положить конец злу, вызываемому тем, что епископы творили собственный суд и церковное право в стране существовало отдельно от обычного. Бекет отказывался ослабить власть епископальных судов, но в конце концов его склонили признать Кларендонские конституции (далее излагались соответствующие конституционные положения).

Вопрос. Пытался ли Генрих II улучшить управление страной?

Ответ. Да, в период своего многотрудного правления он не оставлял забот о реформировании закона. При нем возросла роль выездных судов, в графствах производились не только слушания денежных тяжб, но разбирались жалобы и выносились судебные решения. Именно благодаря реформам Генриха II появились первые ростки того, что превратилось впоследствии в суд присяжных.

Об убийстве Бекета не говорится ни слова. Казнь Карла I упоминается без малейшего осуждения.

Тетя Агата так и не вышла замуж, хотя когда-то была помолвлена с викарием, но помолвку пришлось разорвать из-за того, что у невесты возникли навязчивые состояния. У нее появилась маниакальная скупость: в своем просторном доме она пользовалась лишь несколькими комнатами ради экономии угля и по тем же соображениям принимала ванну только раз в неделю. Она всегда носила толстые шерстяные чулки, вечно собиравшиеся складками на щиколотках, и то и дело произносила прочувствованные речи о добродетелях одних и пороках других совершенно призрачных личностей, существовавших лишь в ее воображении. Она ненавидела моих жен и жен моего брата все то время, пока мы были на них женаты, и начинала обожать их, едва мы с ними расставались. Когда я впервые привел к ней мою вторую жену, она выставила на каминной полке снимок ее предшественницы и сказала со вздохом: "Вот смотрю я на вас, а на ум поневоле приходит Элис, и думаю, что это будет, если Берти, не дай Бог, вас тоже бросит". Мой брат как-то сказал ей: "Тетушка, вы всегда отстаете на одну жену", что ее ничуть не рассердило, а лишь безумно насмешило, и она потом всем пере-

1. Томас Бекет (1118–1170) — лорд-канцлер Англии (1155–1162), архиепископ Кентерберийский (1162). Убит в Кентерберийском соборе по приказу Генриха II.

сказывала его шутку. Те, кто считал ее слабоумной и сентиментальной, не могли прийти в себя от изумления, когда она вдруг, почувствовав себя в ударе, проявляла недюжинную проницательность и остроумие. Она пала жертвой благочестия моей бабушки, внушившей ей, что секс предосудителен, и если бы не это, скорей всего, стала бы счастливой, дельной, энергичной женой какого-нибудь достойного человека.

Брат был семью годами старше меня и не очень годился мне в товарищи. Дома он появлялся лишь в каникулы и праздники, когда освобождался от школы. Как и положено младшему брату, я относился к нему с обожанием и в первые дни после его приезда не помнил себя от радости, но еще через несколько дней начинал мечтать, чтобы каникулы поскорее кончились. Он постоянно дразнил и задирал меня, правда довольно добродушно. Помню, мне было лет шесть, когда он заорал во все горло, подзывая меня: "Малявка!" Я не подал виду, что слышу, — в конце концов, меня звали иначе. Потом он объяснил, что раздобыл кисть винограда и хотел угостить меня, а так как мне ни под каким видом и ни при каких обстоятельствах не разрешалось есть фрукты, удар был нешуточный. Еще в доме имелся маленький колокольчик, который я считал своим, но, возвращая его, брат всякий раз напоминал, что это его колокольчик, и снова отнимал у меня, хотя был слишком большим, чтобы получать удовольствие от детских игрушек. Брат вырос, но колокольчик еще долго хранился у него и если ненароком попадался мне на глаза, меня охватывало негодование. Из переписки родителей ясно, что брат доставлял им много огорчений, но мама его хотя бы понимала — характером и внешностью он пошел в Стэнли, тогда как для Расселов он был загадкой, и с первых же шагов они считали его исчадием ада[1]. Почувствовав, чего от него ждут, он, вполне естественно, стал вести себя в соответствии со своей репутацией. Родственники из кожи вон лезли, стараясь держать меня подальше от него, и я очень огорчался, когда стал это понимать. Он обладал способностью заполнять собой все пространство, и у меня быстро появлялось чувство, будто рядом с ним я задыхаюсь. До самой своей смерти он внушал мне смешанное чувство — любви и страха. Он страстно желал любви, но из-за крайней неуживчивости никогда не мог ее удержать, а утратив очередную привязанность, страшно страдал, и оттого, что сердце его обливалось кровью, делался жесток и неразборчив в средствах, но за всеми, даже самыми худшими его поступками лежали движения сердца.

В ранние детские годы слуги значили для меня много больше, чем родственники. Экономка по имени миссис Кокс служила младшей нянькой моей бабушки, еще когда та была крошкой. Прямая, энергичная, строгая и очень преданная нашей семье, она неизменно выказывала мне доброту. Должность дворецкого занимал типичный шотландец по имени Макалпайн. Он, бывало, сажал меня к себе на колени и читал вслух газетные репортажи о железнодорожных катастрофах. Завидев его, я тотчас залезал к нему на колени и требовал: "Еще про катастрофы". Была в доме и кухарка-француженка по имени Мишо, довольно устрашающая особа, но несмотря на трепет, который она мне внушала, я все рав-

1. В одном из писем к моему отцу бабушка пишет, чтобы он не принимал слишком близко к сердцу выходки моего брата; вот, например, Джон Фокс тоже был очень хулиганистым мальчишкой, а потом ничего, образумился. (*Прим. автора.*) Чарльз Джеймс Фокс (1749–1806) — английский государственный деятель.

но пробирался на кухню полюбоваться, как вращается насаженное на старинный вертел мясо, и стянуть из солонки комочек-другой соли, которую любил больше сахара. Она гонялась за мной с большим мясным ножом в руке, но увернуться ничего не стоило. За стенами дома можно было встретить садовника Макроби, о котором я почти ничего не помню, потому что он уволился, когда мне было пять лет, а также смотрителя и его жену, мистера и миссис Синглтон; я очень любил их за то, что они всегда угощали меня печеными яблоками и пивом, нарушая тем самым сторожайший запрет, под которым находились оба лакомства. Место Макроби занял садовник по имени Видлер, он с первой минуты огорошил меня тем, что англичане — отложившиеся десять колен Израилевых, и я, конечно, не мог понять, о чем он толкует. Сначала, когда я только приехал в Пембрук-лодж, ко мне приставили немецкую бонну мисс Хетшел, хотя я уже говорил по-немецки так же свободно, как по-английски. Буквально через несколько дней после моего приезда она отбыла, а вместо нее появилась другая немецкая бонна, прозывавшаяся Вильгельмина или, сокращенно, Мина. Мне живо помнится, как в свой первый вечер в доме она купала меня в ванне, а я на всякий случай решил не шевелиться и стоять как статуя — кто знает, чего от нее можно ожидать? Дело кончилось тем, что ей пришлось позвать на помощь слуг, потому что я не давал себя намылить. Впрочем, вскоре я к ней привязался. Она учила меня выводить буквы немецкого алфавита, сначала прописные, потом строчные, и когда мы дошли до конца алфавита, я сказал: "Теперь еще надо выучиться писать цифры" — и очень удивился и обрадовался, когда узнал, что они такие же, как в английском. Ей случалось дать мне шлепок, помню даже, как я плакал в таких случаях, но мне и в голову не приходило озлобиться и решить, что теперь мы враги. Она оставалась у нас до моего шестилетия. У меня тогда была еще няня Ада, которая по утрам, пока я лежал в постели, разводила огонь в камине, и мне всегда хотелось, чтобы она подольше не подбрасывала уголь, потому что мне нравились потрескивание и разноцветные огненные вспышки загорающихся дров. Няня спала со мной в детской, но я совершенно не помню, чтобы она раздевалась или одевалась в моем присутствии, — пусть фрейдисты толкуют это как угодно.

В детские и отроческие годы меня кормили по-спартански, причем ограничения были так велики, что с точки зрения сегодняшних норм рационального питания составляли угрозу для здоровья. Некая пожилая дама, мадам д'Этчегойан, племянница Талейрана, жившая по соседству с нами в Ричмонде, имела обыкновение дарить мне огромные коробки восхитительных шоколадных конфет, но мне разрешалось съесть одну штучку в воскресенье, зато и в будни и в праздники в мои обязанности входило обносить ими взрослых. Я любил крошить хлеб в подливку, что позволялось делать только в детской, но никак не в столовой. Нередко я спал перед обедом, и если мой дневной сон затягивался, обед подавали в детской, а если просыпался вовремя, обедал в столовой. Зачастую я притворялся спящим, чтобы не ходить обедать со всеми. В конце концов взрослые догадались о моем притворстве и в один прекрасный день, когда я еще лежал в постели, стали меня ощупывать. Я замер, воображая, что именно так, в полном оцепенении, лежат спящие, но, к своему ужасу, услышал: "Он не спит, лежит как каменный". Никто так и не узнал причину моего лицедейства. Помню такой случай: за обедом после сме-

ны тарелок всем, кроме меня, подали по апельсину. Мне не разрешалось есть апельсины в силу неколебимой уверенности взрослых в том, что фрукты вредят здоровью детей. Я знал, что нельзя просить апельсин, это была бы дерзость, но поскольку передо мной тоже поставили тарелку, я рискнул посетовать: "Тарелка есть, а на ней — ничего". Все засмеялись, но апельсина я все равно не получил. Мне не давали фруктов, практически не давали сахара, зато перекармливали другими углеводами. И все-таки в детстве я не болел ни единого дня и из всех детских болезней перенес в одиннадцать лет только корь в слабой форме. Впоследствии, когда у меня проснулся интерес к детям — в связи с тем, что у меня появились собственные, я ни разу не видал такого здорового ребенка, каким был сам, и все же не сомневаюсь, что любой современный педиатр-диетолог нашел бы у меня кучу разных болезней, развившихся из-за неполноценного питания. Возможно, меня спасало то, что я ел украдкой кислые яблоки с дичков; конечно, если бы это открылось, взрослые упали бы в обморок и поднялся бы переполох. Моя первая ложь также была продиктована инстинктом самосохранения. Гувернантке пришлось оставить меня на полчаса одного, и, уходя, она мне строго наказала ни под каким видом не есть ежевику. Когда она вернулась, я стоял в подозрительной близости к веткам. "Ты лакомился ягодами", — упрекнула она меня. "Вот и нет", — попробовал отпереться я. "А ну, покажи язык", — потребовала она. Мне стало ужасно стыдно, и я почувствовал себя совершенно испорченным мальчиком.

У меня было особое, невероятно обостренное чувство греха. В детстве на вопрос, какой гимн мне больше всего нравится, я ответил: "В тщете земной, под бременем греха моего". Как-то раз бабушка после семейной молитвы прочла притчу о блудном сыне и когда закончила, я сказал: "Я знаю, ты это выбрала потому, что я разбил кувшин". Впоследствии она любила вспоминать этот семейный анекдот, чтобы посмешить слушателей, не отдавая себе отчета в том, что подобная болезненная впечатлительность, имевшая поистине трагические последствия для ее детей, была делом ее собственных рук.

Если не все, то многое из того, что отложилось в детской памяти, было связано с унижением. В 1877 году дедушка и бабушка сняли на лето Стоун-хаус, дом архиепископа Кентерберийского, находившийся неподалеку от Бродстайерза. Мне показалось, что мы ужасно долго едем в поезде и, наверное, уже добрались до Шотландии, поэтому я спросил: "Мы сейчас в какой стране?" Все стали надо мной смеяться: "Он не знает, что из Англии никуда нельзя попасть иначе как по морю!" Я не осмелился сказать что-либо в свое оправдание, так и сидел, сгорая от стыда. Как-то раз, когда мы уже жили в этом архиепископском доме, я пошел к морю с бабушкой и тетей Агатой. На мне были новенькие ботинки, и когда мы выходили на прогулку, последнее нянино напутствие было: "Не промочи обновку!" Я стоял на камне, и вдруг начался прилив. Бабушка и тетка закричали, чтобы я шагал в воду и шел к берегу, но ведь я не мог замочить ботинки, а потому стоял и стоял, пока тетя сама не прошла по воде и не сняла меня с камня. Тетка и бабушка решили, что я испугался, и стали стыдить меня за трусость, а я, не желая признаваться, что повиновался нянину наказу, ничего им не сказал.

Но в целом жить в Стоун-хаусе было очень приятно. Мне вспоминается северный Форланд, о котором я думал тогда, что это один из четы-

рех углов Англии, ибо ее территорию я представлял себе как прямоугольник. Вспоминаются руины Ричборо, очень будоражившие мое воображение, и camera obscura[1] в Ремсгейте, возбуждавшая у меня еще более жгучий интерес. Вспоминаются поля с волнующимися хлебами — к величайшему моему сожалению, когда я вернулся туда тридцать лет спустя, от всего этого великолепия ничего не осталось. Вспоминаются, конечно, все удовольствия, связанные с морем: блюдечки, актинии, прибрежные скалы, песчаный берег, рыбачьи лодки, маяки. Меня поразило, что блюдечки, когда их пытаешься оторвать от скалы, прилипают еще сильнее, и я спросил у Агаты: "Тетя, а блюдечки умеют думать?" — "Не знаю", — ответила она. "Надо знать", — возмутился я. Плохо помню, как произошло знакомство с моим другом Уайтхедом, но мне рассказывали, что случилось это при следующих обстоятельствах. Когда мне сообщили, что земля круглая, и я не поверил этому, мои родственники обратились за поддержкой к местному приходскому священнику, а им был отец Уайтхеда. Склонившись перед авторитетом церкви, я принял общепринятую точку зрения и немедля принялся рыть в песке ход к антиподам. Сам я ничего этого не помню, но слышал от старших.

В то лето в Бродстайерзе меня повели в гости к сэру Мозесу Монтефиори[2], старому и необыкновенно почтенному еврею, жившему по соседству (в энциклопедии написано, что он вышел в отставку в 1824 году). Так я впервые узнал, что евреи есть не только в Библии. Прежде чем отвести меня к старику, бабушка долго и терпеливо объясняла, какой это достойный и заслуженный человек и как плохо было раньше, когда евреи были лишены элементарных гражданских прав, и как много сделали сэр Монтефиори и дедушка, чтобы это исправить. В данном случае бабушкины поучения отличались предельной ясностью, но порой оставляли меня в величайшем недоумении. Она была яростной сторонницей "малой Англии"[3] и сурово порицала колониальные войны; объясняла, что война с зулусами — позор и ответственность за нее несет прежде всего сэр Бартл Фрер, губернатор Кейпа. Но когда он приехал в Уимблдон и она повела меня с ним знакомиться, она держалась с ним так любезно, что никто бы не заподозрил, какого она о нем чудовищного мнения. Все это было совершенно непонятно.

Бабушка обычно читала мне вслух, и чаще всего — повести Марии Эджуорт. Одну историю, которая называлась "Подделанный ключ", она пропустила, объяснив, что детям читать ее не стоит. Но я все равно прочел этот самый "Ключ" — читал по одному предложению за раз, пока шел от книжной полки до места, где поджидала бабушка. Вообще ее попытки оградить меня от жизни редко увенчивались успехом. Помню, когда я уже был постарше, в прессе освещался скандальный бракоразводный процесс некоего Чарльза Дилка, и все это время она из предосторожности ежедневно сжигала газету. Но так как приносить ей газету входило в мои обязанности, я всегда поджидал почтальона у ворот парка и в результате не упустил ни слова из репортажей о процессе. Эта история меня особенно интриговала, потому что вышеупомянутый Дилк

1. Темная камера (*лат.*). Прибор в виде ящика с оптическим стеклом, через которое проходит свет и дает на противоположной стороне прибора перевернутое изображение.
2. Сэр Мозес Монтефиори (1784—1885) — британско-еврейский филантроп.
3. Сторонники "малой Англии" — противники новых колониальных захватов, получившие свое прозвание в период англо-бурской войны.

бывал в нашей церкви, и мне было интересно, что он чувствует, когда оглашают седьмую заповедь. Позднее я сам стал читать бабушке вслух и таким образом познакомился с огромным количеством английской классики: с Шекспиром, Мильтоном, Драйденом, "Задачей" Каупера, "Замком праздности" Томсона, Джейн Остен и множеством других книг, входивших в обязательное чтение.

В "Викторианском детстве" Амабел Хут Джексон (урожденной Грант Дафф) есть страницы, прекрасно передающие атмосферу Пембрук-лодж. Ее отец сэр Маунтстюарт Грант Дафф жил с семьей в большом доме в Туикнеме. Мы с Амабел дружили с четырехлетнего возраста и до самой ее смерти во время второй мировой войны. От нее я впервые услышал о Верлене, Достоевском, немецких романтиках и других замечательных писателях. Но ее воспоминания касаются более ранних лет. Она пишет:

Из мальчиков я дружила только с Бертраном Расселом, который жил со своей бабушкой, старой леди Рассел, вдовой лорда Джона, в Пембрук-лодж, стоявшем в Ричмонд-парке. Мы с Берти во всем были злодно, но втайне я восхищалась его старшим братом Фрэнком, очень красивым и талантливым юношей. Однако с огорчением должна признаться, что Фрэнк относился к маленьким девочкам так же, как мой старший брат, и имел обыкновение привязывать меня за косы к стволу дерева. Тогда как Берти, серьезный маленький мальчик в синем бархатном костюмчике, с такой же серьезной гувернанткой, был неизменно добр ко мне, и я очень любила приходить в Пембрук-лодж на чай. Но даже тогда я ощущала, какое это неподходящее место для маленьких детей. Леди Рассел всегда говорила полушепотом, а леди Агата, не расставшаяся с белой шалью, всегда выглядела понурой; Ролло Рассел никогда не открывал рта, только здоровался за руку, да так, будто хотел переломать вам кости, хотя ничего плохого не имел в виду. Все они выплывали из комнат, как призраки, и, казалось, никогда не испытывали чувства голода. Странное это было место для двух совсем юных и невероятно талантливых мальчиков.

Почти все детство я бóльшую часть дня гулял в саду в полном одиночестве и поэтому самые яркие жизненные впечатления переживал наедине. Крайне редко делился я с кем-нибудь своими сокровенными мыслями, а если и случалось, то потом непременно жалел об этом. В саду я знал каждый уголок: в одном месте меня ждали по весне белые примулы, в другом — гнездо горихвостки, в третьем — цветы акации, выглядывавшие из путаницы плюща. Я знал, где найти первые колокольчики, какие дубы раньше покрываются листвой. До сих пор помню, что в 1878 году на одном из них листья проклюнулись уже 14 апреля. Я любил наблюдать, как к росшим под моим окном двум пирамидальным тополям — каждый футов сто высотой — подкрадывается на закате тень дома. Просыпался я обычно рано и порой видел, как в небе появляется Венера, а однажды принял ее за мерцающий в лесу фонарь. Почти не бывало, чтобы я пропустил восход солнца, а в ясные апрельские деньки, выскальзывая из дому на рассвете, успевал как следует размять ноги перед завтраком. Я видел, как солнце окрашивает землю в пурпур и золотит облака, слушал ветер, упивался вспышками молнии. Однако с годами росло мучительное чувство безысходности, и при мысли, что я не найду людей, с которыми смогу говорить откровенно, на меня накатывало отчаяние.

И все же природа, книги и математика (правда, это уже позже) спасали меня от безысходного уныния.

Впрочем, в раннем детстве я был счастлив, лишь с приближением отроческих лет одиночество стало угнетать меня. У меня были гувернантки: немка и швейцарка, а умственно я еще недостаточно созрел, чтобы осознать свое сиротство как горе. Тем не менее меня, видимо, томило ощущение неприкаянности, помню, как я мечтал, чтобы родители были живы. Однажды — мне было тогда лет шесть — я признался в этом бабушке, и в ответ она принялась горячо меня убеждать, что их смерть для меня большая удача. От ее доводов остался тяжелый осадок на душе, я приписал их ревности. Тогда я, разумеется, не понимал, что с викторианской точки зрения она рассуждала вполне здраво. У бабушки было очень подвижное, выразительное лицо; проведя всю жизнь в высшем свете, она так и не овладела искусством скрывать свои чувства. Я и прежде замечал, что даже случайное упоминание о душевных болезнях вызывает у нее сильнейшее волнение, и часто недоумевал, что бы это могло значить. Лишь много лет спустя я узнал, что один из ее сыновей провел бóльшую часть жизни в приюте для душевнобольных. Карьеру он начал в самом прославленном полку, но после нескольких лет службы лишился рассудка. История, за точность которой я не вполне могу поручиться, сводится к следующему: однополчане дразнили его за то, что он избегал женщин; а в казарме на правах домашнего животного жил медведь, и однажды, шутки ради, они спустили его на дядю, который побежал куда глаза глядят. От страха у него помутился рассудок и отшибло память. Его нашли в какой-то деревне и поместили в лазарет работного дома, поскольку он не мог объяснить, кто он такой. Среди ночи он вскочил и с криком "Медведь! Медведь!" набросился на лежавшего на соседней койке бродягу и задушил его. Память так и не вернулась к нему, хотя он дожил до девятого десятка.

Когда я стараюсь вызвать в воображении самые ранние картины детства, мне прежде всего вспоминается весенняя теплынь в Пембрук-лодж; я приехал сюда совсем недавно, наверное с месяц назад, под ногами хлюпает талый снег, а я стою и смотрю, как распиливают на чурки огромную упавшую березу. Второе ясное воспоминание — это день моего четырехлетия, когда я получил в подарок трубу, в которую дудел до самого вечера, и в беседке меня потчевали чаем с именинным тортом. Следующее, что всплывает в памяти, это как тетя учит меня читать и различать цвета, но ярче всего я помню детский сад, где с величайшим наслаждением проучился года полтора, поступив туда в неполных пять лет. Это воспитательное заведение, откуда вышли все будущие государственные мужи, не афишировало свое местонахождение где-то между Бернерс и Оксфорд-стрит; и доныне, проходя по Бернерс-стрит, я должен специально себе напомнить, что там меня не ждет заколдованный дворец Аладдина. В детском саду я познакомился со многими детьми, но мало с кем из них потом встречался; впрочем, в 1929 году, едва сойдя с поезда в Ванкувере, я натолкнулся на Джимми Бейли. Задним числом я понимаю, что наша симпатичная воспитательница прошла классическую фребелевскую[1] выучку и была в курсе самоновейших педагогических методик. До сих пор я помню все ее уроки до мельчайших деталей,

1. Фридрих Фребель (1782–1852) — немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания; разработал идею детского сада и методику работы воспитателей.

но, кажется, больше всего меня восхитило, что от смешения желтой и синей краски получается зеленая.

Мне было всего шесть лет, когда умер дедушка, и вскоре после похорон мы уехали на лето в Сент-Филланс, в графство Перт. Вспоминается диковинная старая гостиница с трухлявыми дверными косяками, дощатый мостик через речку, скалистые озерные заводи, горы прямо напротив крыльца. От всего этого у меня осталось чувство огромного счастья. Следующее воспоминание совсем другого свойства: я сижу в комнате лондонского дома на Чешем-плейс, 8, учу таблицу умножения, но дело продвигается туго, из-за чего на меня криком кричит гувернантка, и я то и дело заливаюсь слезами.

Когда мне исполнилось семь лет, бабушка сняла на несколько месяцев дом в Лондоне, и я стал чаще видеться с родней матери. Ее отца уже не было в живых, но мать, леди Стэнли Олдерли, жила с дочерью Мод в большом доме на Дувр-стрит, 40. Меня часто приглашали туда на ланч, но, несмотря на прекрасное угощение, удовольствие делить трапезу с леди Стэнли, особой крайне язвительной и не знавшей снисхождения ни к полу, ни к возрасту, было сомнительное. Я страшно робел ее, и это ее злило, ибо никто из Стэнли не страдал неуверенностью в себе. Я буквально из кожи вон лез, стараясь завоевать ее расположение, но вечно терпел неудачу, причем по самым неожиданным причинам. Помню, както я сказал, что за последние семь месяцев вырос на два с половиной дюйма, и если буду и дальше расти такими темпами, то в год буду прибавлять по четыре и две седьмых дюйма. "Ты что, не знаешь, — обрушилась она на меня, — что в хорошем обществе не говорят о долях меньше половины или четверти, это педантизм!" — "Теперь знаю", — ответил я. "До чего похож на своего отца!" — бросила она тете Мод. В общем, как ясно видно из вышесказанного, мои героические попытки ей угодить ничем хорошим не кончались. Мне было лет двенадцать, когда она поставила меня в центре гостиной, где собралось множество гостей, и стала экзаменовать, читал ли я то-то и то-то — следовал длинный список научно-популярных книг. Я не читал ни одной из них. Тогда, повернувшись к гостям, она демонстративно вздохнула: "Какие у меня отсталые внуки!" Она являла собой человеческую разновидность, выработанную XVIII веком: рациональную, трезвую, ставившую превыше всего знание и презиравшую слащавое викторианское лицемерие. Ей принадлежит чуть ли не главная роль в создании Гертон-колледжа[1], в вестибюле которого висит ее портрет, но после ее смерти дорогие ей принципы были забыты. "Пока я жива, часовни в Гертоне не будет!" — твердила она, однако часовню, действующую там и поныне, заложили ровно в день ее смерти. Как только я достиг отрочества, она стала применять контрмеры против того, что считала фальшью и слюнтяйством в моем воспитании. "Никто не может упрекнуть меня в неподобающем поведении, но я всегда говорила, что нарушить шестую заповедь страшнее, чем седьмую, — тут, по крайней мере, требуется согласие обеих сторон", — объясняла она мне. Однажды я и впрямь обрадовал ее — попросил подарить на день рождения "Тристрама Шенди". "Не стану надписывать, — сказала она, — потому что люди скажут: "Ну и чудачка у тебя бабушка!" И все же не удержалась и сделала надпись на томике, который оказался пер-

1. Гертон-колледж — женский колледж Кембриджского университета; основан в 1869 г.

вым подписным изданием Стерна. Не помню, чтобы мне еще хоть раз удалось заслужить ее одобрение.

Она испытывала величайшее презрение ко всему, что почитала глупостью. В день своего рождения она всегда давала обед для тринадцати приглашенных и самого суеверного из них заставляла уйти первым. Помню, одна из ее внучек, очень жеманная девица, как-то пришла с комнатной собачкой, докучавшей бабушке тявканьем. Парируя сердитые упреки бабушки, гостья сказала, что у нее не собака, а ангел. "Ангел? Ангел? — возмутилась леди Стэнли. — Какой вздор! Ты что же, полагаешь, что она у нее есть душа?" — "Да, есть", — отважилась сказать внучка, и все время, что она оставалась с визитом, бабушка сообщала каждому очередному посетителю: "Знаете, что говорит эта глупышка Гризель? Что у собак есть душа!" У бабушки было обыкновение принимать в огромной гостиной целые толпы визитеров, в числе которых бывали самые известные писатели своего времени, и потчевать их чаем. Но стоило кому-нибудь из них откланяться, как, повернувшись к остальным, она со вздохом говорила: "Дураки так утомляют!" Она принадлежала к ирландским Диллонам, бежавшим во Францию после Бойнской битвы[1] и получившим под командование собственный полк во французской армии: воспитана она была как якобитка. Французская революция заставила семью вернуться в Ирландию, но бабушка выросла во Флоренции, где ее отец занимал пост премьер-министра. Там, во Флоренции, она еженедельно навещала вдову Младшего Претендента[2]. Она часто говорила, что ее предки допустили одну-единственную глупость — были якобитами. Дедушку с материнской стороны я не знал, но не раз слышал, что он держал жену в ежовых рукавицах, и коли так, полагаю, был весьма замечательной личностью[3]. У бабушки было огромное потомство, и ее сыновья и дочери почти в полном составе каждое воскресенье являлись к ней на ланч. Старший ее сын — глухой как пень — принял мусульманство; второй сын, Лайельф, вольнодумец, боролся с церковью в лондонском школьном комитете; третий, Элджернон, католик, был камерарием при папском дворе и епископом Эммаусским. Лайельф был остроумен, энциклопедически образован и саркастичен; Элджернон — столь же остроумен, но тучен и жаден; мусульманин Генри не унаследовал никаких семейных талантов и распространял вокруг себя скуку — полагаю, на свете не существовало более скучного человека, чем он. Будучи глухим, он желал все расслышать и во всем принять участие. По воскресеньям за обеденным столом завязывались самые настоящие баталии, ибо среди бабушкиных дочерей и зятьев имелись и англикане, и унитарии, и позитивисты, и это не считая сыновей, принадлежавших к нескольким конфессиям! Когда схватки достигали яростного накала, Генри, заслышав шум, начинал требовать, чтобы ему объяснили, что происходит. Сосед по столу принимался кричать ему прямо в ухо то, что думал о существе спора, а остальные вопили: "Не верь ему, Генри, дело совсем не в этом!" Поднимался невообразимый шум и гам. Посреди всего этого действа дядя Лайельф любил огорошить публику вопросом: "Кто из вас буквально верит в ис-

1. В Бойнской битве (1690) Вильгельм III Оранский разбил Якова II Стюарта.
2. Младший Претендент — прозвище Карла Эдуарда Стюарта (1720–1788), внука короля Якова II, дано ему в отличие от его отца, Якова Эдуарда Стюарта (1688–1766), Старшего Претендента.
3. Так оно и было. См. Nancy Mitford. The Ladies of Alderly, 1938. (*Прим. автора.*)

торию Адама и Евы?" Спрашивал же он это с единственной целью заставить своих братьев — мусульманина и священника — признать единство их позиций, а горшей муки для них не существовало. В воскресные дни я шел к столу на подгибающихся от страха ногах: кто мог угадать, из-за чего на этот раз на меня напустится эта камарилья? Среди всех них лишь одна женщина, жена дяди Лайельфа, была мне другом, но она принадлежала не к Стэнли, а приходилась сестрой сэру Хью Беллу[1]. Бабушка считала, что проявила необыкновенную широту, позволив Лайельфу породниться, как она говорила, с "лавочниками", но так как сэр Хью был мультимиллионером, мне это не казалось таким уж подвигом с ее стороны.

Однако и на мою грозную бабушку Стэнли имелась управа. Как-то к чаю должен был прийти Гладстон[2], и перед этим она долго втолковывала мне, чем нехороша его политика гомруля и как она ему все это выложит прямо в лицо. Я присутствовал при их разговоре, но ни одно критическое замечание не сорвалось у нее с языка — под его ястребиным оком не могла не присмиреть даже она. Ее зять лорд Карлейль рассказывал мне о другом, еще более курьезном случае. Как-то раз она гостила в Нэуортском замке одновременно с Бёрн-Джонсом[3], чей кисет напоминал по форме черепаху. А в замке жила и настоящая черепаха, и в один прекрасный день она забрела в библиотеку. Это навело молодое поколение на мысль подшутить над старшими. Кисет Берн-Джонса был водворен в гостиной рядом с камином, куда после обеда перешли дамы, которые стали возмущаться тем, что от черепахи теперь нет покоя и в гостиной. Одна из них подняла кисет с пола и тут же закричала, что черепаха "размягчилась"! Лорд Карлейль тотчас принес из библиотеки соответствующий том энциклопедии и сделал вид, будто зачитывает место, где говорится, что от сильного жара с черепахами такое случается. Бабушка проявила живейший интерес к этому естественноисторическому явлению и при случае охотно его вспоминала; а много лет спустя в пылу спора по поводу гомруля леди Карлейль, по столь ей свойственной сердечной доброте, выложила матери правду о тогдашнем розыгрыше. Но бабушка отрезала: "Можешь думать обо мне что угодно, но я не дура и не верю тебе!"

Мой брат, который пошел характером в Стэнли, любил Стэнли и терпеть не мог Расселов, а я любил Расселов и побаивался Стэнли. Но когда я повзрослел, чувства мои переменились. Я унаследовал от Расселов застенчивость, чувствительность и способности к метафизике, а от Стэнли — энергию, крепкое здоровье и жизнерадостность. В общем и целом, второе важнее.

Но вернусь к воспоминаниям детства, следующее из которых относится к зиме 1880—1881 года, проведенной нами в Борнмуте. Тогда я впервые узнал имя Томаса Харди, чей трехтомный роман "Старший трубач драгунского полка" лежал на столе в гостиной. Скорее всего, я запомнил его имя лишь потому, что не понимал смысл слов "старший трубач" и "драгунский", да еще не мог взять в толк, что значит "обезумевшая толпа", фигурировавшая в названии другой книги этого же автора: "Вда-

1. Сэр Хью Белл (1844—1931) — английский промышленник.
2. Уильям Гладстон (1809—1898) — английский политический деятель, с 1868 г. лидер либеральной партии. В 60-90-е гг. неоднократно был премьер-министром Англии; сторонник гомруля — движения за ограниченное самоуправление Ирландии при сохранении верховной власти английской короны.
3. Эдуард Бёрн-Джонс (1833—1898) — английский художник-прерафаэлит.

ли от обезумевшей толпы". Той зимой моя гувернантка-немка заявила, что рождественские подарки достанутся только тем, кто верит в Деда Мороза, это заставило меня рыдать в три ручья, так как я уже утратил соответствующую веру. Про Борнмут помню только, что нас застала там небывалая вьюга и еще что я учился кататься на коньках и потом все отрочество с упоением предавался этому занятию. Как-то, когда мы жили на Дувр-стрит, я катался в Сент-Джеймсском парке и провалился в озеро; помню, как я бегу по улицам, с меня течет вода, и от стыда я не могу поднять глаз на прохожих. Но и это не излечило меня от страсти скользить по тонкому льду. Следующий год ничем памятным не ознаменовался. Зато свое десятилетие я помню ясно, как вчерашний день: тепло и светло, я сижу в цветущем ракитнике, и тут появляется гувернантка-швейцарка, которую бабушка только что допросила с пристрастием, приняла на работу и послала поиграть со мной в мяч. Она говорит, что "словила" мяч, и я поправляю ее. Потом режу свой именинный торт, но никак не могу отделить первый кусок и страшно теряюсь. Но главное, что помнится, — это невероятное обилие солнечного света.

В одиннадцать лет под руководством брата я начал изучать геометрию. То было одно из самых значительных событий в моей жизни — головокружительное, как первая любовь. Я и представить себе не мог, что на свете существуют такие восхитительные вещи! Когда я выучил пятую теорему, брат заметил, что в принципе она считается трудной, но ничего трудного я не заметил. Тут у меня впервые забрезжила мысль, что я, наверное, не лишен способностей. С этой минуты и до тех пор, как мы с Уайтхедом закончили "Principia Mathematica"[1], то есть до моих тридцати восьми лет, математика составляла главную мою страсть и служила главным источником радости, но, как это всегда бывает, радости не безоблачной. Мне было сказано, что в геометрии Евклида ничто не принимается без доказательств, поэтому я испытал страшное разочарование, узнав, что вначале вводятся аксиомы. Я отказывался принимать их, если брат не докажет, что это необходимо, но он просто сказал: "Если ты их не примешь, мы не сможем двигаться дальше". А так как я очень хотел двигаться дальше, я против воли принял их, так сказать, pro tem[2]. Однако сомнения в математических предпосылках, тогда впервые меня посетившие, не покидали меня и позже и в конце концов определили направление моих научных занятий.

Начала алгебры давались мне труднее, возможно, из-за качества преподавания. Требовалось вызубрить: "Квадрат суммы двух чисел равен сумме их квадратов плюс их произведение, умноженное на два". Я не имел ни малейшего понятия, что это значит, и поскольку так и не вызубрил, мой наставник швырнул мне в голову учебник, что нимало не способствовало усилению моей умственной деятельности. Но когда первые шаги были преодолены, дальше все пошло гладко. Мне нравилось поражать слушателей моими познаниями. Помню, как-то я запустил пенсовую монетку, и учитель, уже следующий, спросил меня, почему она вращается. "Потому что мои пальцы образуют пару". — "А что ты знаешь о парах?" — "Все!" — ответил я весело.

Бабушка постоянно тревожилась, как бы я не переутомился, и поэтому уроки мои были очень непродолжительны. Дело кончалось тем, что

1. "Основания математики" (*лат.*).
2. Временно, пока что (*лат.*).

я занимался тайком у себя в спальне, сидел холодными ночами за письменным столом в одной рубашке, при свете единственной свечи, готовый при малейшем шорохе задуть ее и нырнуть в постель. Мне преподавали латынь и греческий, хотя я находил, что нет ничего глупее, чем учить языки, на которых никто не говорит. Больше всего я любил математику, а потом уже историю. Сравнить себя мне было не с кем, и я долгое время не знал, каков я: хуже или лучше других мальчиков, но однажды услышал, как дядя Ролло, прощаясь у входной двери с главой Бейллиола[1] Джоуэттом, заметил: "Да, делает большие успехи", и почему-то я догадался, что это обо мне. Поняв, что я умный, я решил про себя, что, если ничего не случится, добьюсь известности на интеллектуальном поприще, и во все годы моей молодости не позволял никаким отвлекающим обстоятельствам встать между мной и этой целью.

Тем не менее совершенно неверно было бы думать, что все мое детство прошло под знаком неулыбающейся серьезности. Я старался извлечь из жизни как можно больше радости, и порой довольно злокозненного свойства. Семейный доктор, старик шотландец с бачками, обычно приезжал в пролетке, которая стояла у входных дверей, пока эскулап выносил свой приговор. Залихватский цилиндр его кучера призван был свидетельствовать о процветающей практике патрона. Я обычно забирался на крышу, устраивался аккурат над этим великолепным головным убором и, зачерпнув из ближайшего желоба пригоршню полусгнивших розовых бутонов, стрелял в намеченную цель. Они дождем летели вниз и с тихим звуком шмякались о донце цилиндра, а я поскорее отодвигался от края крыши, чтобы кучер подумал, что гнилушки сыплются прямо с неба. Порой я позволял себе и худшие проказы: когда пролетка трогалась, швырял вдогонку снежки, подвергая опасности драгоценную жизнь обоих — кучера и доктора. Была у меня еще одна любимая забава. В воскресные дни, когда в парке было полным-полно гуляющих, я забирался на самую верхушку большого бука, росшего на границе наших владений, повисал головой вниз и начинал верещать, зорко наблюдая за собравшейся подо мной толпой, чтобы не пропустить миг, когда она перейдет от взволнованного гомона к непосредственным мерам по моему спасению. Тут я мгновенно переворачивался и тихо спускался вниз на нашу сторону. В пору, когда у нас жил Джимми Бейли, я позволял себе еще более дикие выходки. Кресло на колесиках, в котором раньше возили дедушку, хранилось в чулане. Мы извлекли его оттуда и скатывались с каждой попадавшейся на пути горки. Иные наши проделки так и остались неизобличенными. Например, мы долго овладевали искусством раскачиваться на веревке, привязанной к ветке дерева; фокус состоял в том, чтобы, описав полный круг, вернуться в исходную точку. Требовалась немалая ловкость, чтобы не застрять на полпути или со всего маху не треснуться спиной о шершавый ствол дерева. Когда к нам в гости приходили другие мальчики, мы устраивали настоящее цирковое представление, и если они пытались подражать, со злорадным удовольствием наблюдали за их мучительным, беспомощным барахтаньем. В имении у дяди Ролло, где одно время мы проводили по три месяца в году, имелись три коровы и ослик. Ослик был поумнее коров и научился открывать носом калитки в изгородях между полями, но считалось, что он упрямый и от него нет ника-

1. Известный колледж Оксфордского университета; назван по имени его основателя, Джона де Бейллиола (ум. 1269).

кого проку. Однако я не согласился с этим вердиктом и после многих бесславных попыток все же научился ездить на нем без седла и уздечки. Он брыкался и лягался, но сбросил меня, лишь когда я привязал к его хвосту гремучую жестянку с камнями. Верхом на осле я путешествовал по всей округе, даже приехал проведать дочь лорда Вулсли, который жил в трех милях от дядиного дома. <...>

Юность

Мое детство прошло в основном в состоянии радости и душевной открытости, я любил почти всех взрослых, среди которых мне довелось жить. Но чувства мои разительно переменились, когда подошел возраст, который в современной детской психологии называется "латентным периодом". Помню, что стал употреблять жаргонные словечки, притворяться бесчувственным и вообще разыгрывать из себя "мужчину". К родственникам я проникся презрением — как еще было относиться к людям, которые испытывают панический страх перед жаргоном и считают, что лазать по деревьям — очень опасное занятие? Мне столько всего возбранялось, что я начал прибегать к притворству и упорно придерживался этой методы до двадцати одного года. Привычка стала второй натурой: что бы я ни делал, я ощущал, что лучше мне об этом помалкивать, и избавиться от этого обыкновения, сложившегося в отроческие годы под гнетом обстоятельств, я так и не смог за всю последующую жизнь. Мной и сегодня владеет безотчетное желание спрятать лежащую передо мной книгу, когда кто-то входит в мою комнату, не говорить, откуда я вернулся, не признаваться, что я делал. Без сознательного волевого усилия я и сейчас не могу побороть свою инстинктивную тягу к скрытности, зародившуюся в ту пору, когда приходилось продираться сквозь рогатки дурацких запретов.

Мне выпала на долю очень одинокая и очень несчастливая юность. И эмоциональную, и интеллектуальную свою жизнь я вынужден был держать в строжайшем секрете. Интересы мои распределялись между сексом, религией и математикой. Мне неприятно говорить о моих юношеских сексуальных переживаниях и не хочется вспоминать, что я чувствовал в те годы, но я постараюсь рассказать, как все было на самом деле, а не как мне бы того желалось. О половой жизни я узнал впервые в двенадцать лет от мальчика по имени Эрнест Логен, с которым в более нежном возрасте мы вместе ходили в детский сад. Как-то раз нам довелось спать в одной комнате, и он всю ночь объяснял мне природу коитуса и его связь с деторождением, в качестве примеров приводя всякие забавные историйки. Сведения эти я нашел замечательно интересными, но никакой физической реакции они у меня не вызвали. Тогда мне показалось самоочевидным, что свободная любовь — единственно разумная форма взаимоотношений и что брак — следствие христианских предрассудков (совершенно точно помню, что пришел к этой мысли сразу, как только узнал тайну пола, однако вскоре мнение мое переменилось). Мне было четырнадцать лет, когда мой наставник бросил невзначай, что вскоре в моем организме произойдут важные изменения. В большей или меньшей степени я уже способен был понять, что́ он имеет в виду. Как раз в ту пору у меня гостил другой мальчик, Джимми Бейли — тот самый,

которого я встретил в 1929 году в Ванкувере, — и мы часто говорили об этом предмете, причем не только друг с другом, но и с юным слугой нашего возраста или, может быть, чуть постарше, отличавшимся не в пример большей осведомленностью, чем мы. Но когда взрослым стало известно, что тогда-то днем мы вели разговор со слугой, да еще на столь неподобающую тему, нам скорбным тоном было сделано внушение, после чего нас заперли в спальне и держали на хлебе и воде. Как ни странно, эти меры не убили во мне интереса к вопросам пола. Мы с Джимми проводили много времени, говоря на те же "неподобающие" темы и пытаясь узнать то, чего не знали. Я обнаружил, как полезен для "расширения горизонтов" медицинский справочник. В пятнадцать лет меня стали одолевать сексуальные желания почти невыносимой силы. Я сидел за книгами, но был не в состоянии сосредоточиться из-за бесконечно повторявшихся эрекций, и хотя у меня вошло в привычку мастурбировать, я все же не слишком часто предавался этому занятию, так как очень совестился своей слабости и пытался от нее избавиться, но до двадцати лет — когда, влюбившись, излечился в одночасье — оставался ей подвержен.

Тот же наставник, который затронул как-то в разговоре тему полового созревания, несколько месяцев спустя вскользь заметил, что принято говорить "мужская грудь", но "женские груди". Почему-то это вызвало у меня такое невыносимое возбуждение, что я совершенно смешался, и он стал прохаживаться на счет моей притворной скромности. Много часов в день у меня отнимало фантазирование о женском теле, и я стал подглядывать в щелочку за горничными, пытаясь подгадать момент их переодевания, но все без толку. Мы с другом потратили целую зиму на то, чтобы вырыть длинный подземный ход — такой узкий, что пробраться туда можно было только ползком, на локтях и коленях, — и крохотную комнатушку примерно в шесть кубических футов. У нас дома служила горничная, которую я, бывало, уговаривал вползти со мной в это убежище, а там целовал и обнимал. Как-то я спросил, не согласится ли она провести со мной ночь, но она ответила, что лучше умрет, чем согласится (чему я поверил), и заодно прибавила, что я удивил ее — "она-то думала, что я хороший". В общем, тем дело и кончилось. К тому времени я отрешился от рационалистического взгляда на сексуальные отношения, которого придерживался до периода созревания, и безоговорочно принял традиционную систему ценностей, сочтя ее вполне здравой. Я стал болезненно впечатлителен и считал себя вконец испорченным. В то же время во мне проснулся интерес к собственной психологии, и я стал весьма последовательно и отнюдь не бестолково заниматься самоанализом, но до моего сведения тут же было доведено, что всякая интроспекция есть свидетельство душевного нездоровья; тем самым внимание к собственным мыслям и чувствам стало для меня лишним доказательством моих психических отклонений. Но после двух или трех лет самонаблюдения до меня вдруг дошло, что у человека нет другого доступа к чрезвычайно важным для него знаниям и, следовательно, объявлять это вредоносным противоречит здравому смыслу. И на душе у меня полегчало.

Одновременно с плотскими желаниями во мне заговорило и очень сильное романтическое чувство, сексуальная природа которого тогда была мне непонятна. Я стал чутко реагировать на красоту закатов и облаков, весеннее и осеннее переодевание деревьев, но в основе этого глубоко сентиментального восприятия лежала бессознательная сублима-

ция сексуальности и попытка эскапизма. Я читал много разных стихов, в том числе и очень плохих, вроде "In memoriam"[1]. Сколько помню, я прочел тогда все стихотворения Мильтона, почти всего Байрона, очень много Шекспира, Теннисона и, главное, Шелли. На Шелли я наткнулся совершенно случайно. Однажды, поджидая тетю Мод в ее гостиной на Дувр-стрит, я от нечего делать взял в руки томик стихов, который открылся на "Аласторе". Он показался мне самой прекрасной из всех поэм, и его ирреальность, несомненно, весьма способствовала моему восторгу. К тому времени, когда в гостиной появилась тетя, поэма была дочитана почти до середины, но пришлось поспешно захлопнуть книжку и сунуть на полку. Я обратился к старшим с вопросом, признают ли они Шелли великим поэтом, но они были о нем дурного мнения. Меня это, конечно, не остановило, и все свободное время я читал его стихи и учил наизусть. Поскольку рядом не было никого, с кем бы я мог поделиться своими мыслями и чувствами, я часто думал о том, как замечательно было бы подружиться с Шелли, и спрашивал себя, встречу ли я когда-нибудь хоть одну такую же родственную душу.

Вместе с интересом к поэзии во мне проснулся интерес к религии и философии. Дедушка мой был англиканином, бабушка принадлежала к шотландской пресвитерианской церкви, но затем перешла к унитариям; меня через воскресенье возили то в Питершем — в епископальную приходскую церковь, то в Ричмонд — в пресвитерианскую, а дома преподавали доктрины унитаризма. Лет до пятнадцати последний и был моим вероисповеданием. Но на шестнадцатом году жизни я принялся изучать так называемые рациональные доказательства основ христианства систематически. В размышлениях об этом предмете я провел долгие часы, но не мог никому открыться из страха оскорбить чувства близких. И постепенная утрата веры, и необходимость таиться причиняли мне ужасные страдания. Я полагал, что, перестав верить в Бога, свободу воли и бессмертие души, непременно буду несчастен. Однако доводы, приводимые в обоснование этих догматов, оказались крайне неубедительными. Я с великой скрупулезностью разбирал их один за другим. Сначала я исследовал свободу воли. В пятнадцать лет у меня уже не было никаких сомнений в том, что движение материи — живой и неживой — полностью определяется законами механики и, следовательно, воля не может влиять на тело. В ту пору я начал записывать свои мысли в тетрадь для упражнений по греческому языку, писал я по-английски, но греческими буквами — из страха, что иначе кто-нибудь дознается о моих размышлениях. В этих записях отражено мое представление о человеческом теле как машине. Сознание, что я становлюсь материалистом, доставляло мне интеллектуальное удовлетворение, но материалистом я был скорей декартовского толка (сам того не ведая, ибо Декарт был для меня тогда лишь создателем системы координат). Я пришел к выводу, что сознание — неопровержимая данность и, следовательно, чистый материализм невозможен. Эти выводы я сделал, когда мне было пятнадцать лет, а двумя годами позже я уже не сомневался в том, что жизни после смерти не существует, но все еще верил в Бога, ибо аргумент первопричины представлялся мне неопровержимым. Но однажды, незадолго до того,

1. "Памяти" (*лат.*). Поэма Альфреда Теннисона (1809–1892), написанная на смерть его друга Артура Хэллема; Т. был удостоен после выхода поэмы (1850) звания поэта-лауреата.

как я поступил в Кембридж, — мне тогда исполнилось восемнадцать лет, — я, читая "Автобиографию" Милля, встретил следующее рассуждение: его отец объяснил ему, что на вопрос "Кто меня сотворил?" нет ответа, ибо иначе тотчас встает следующий вопрос: "Кто сотворил Бога?" Это позволило мне отбросить аргумент первопричины и стать атеистом. В долгие годы религиозных сомнений постепенная утрата веры страшно угнетала меня, но, дойдя до логического конца, я с удивлением обнаружил, что рад покончить с высокими материями.

Все это время я жадно поглощал одну книгу за другой. Выучился итальянскому и смог прочесть Данте и Макиавелли. Прочел Конта, которого, кстати сказать, нашел малоинтересным. Проштудировал и тщательно законспектировал "Политическую экономию" и "Логику" Милля. С интересом прочитал Карлейля, но совершенно не принял его насквозь сентиментальное обоснование религии, ибо уже тогда выработал позицию, которой всегда придерживался впоследствии: никогда не принимать богословское утверждение, если оно не подкреплено данными, используемыми для доказательства какого-либо научного положения. Я прочел Гиббона, "Историю христианства" Мильмана и полное издание "Путешествий Гулливера". Рассказ о йеху произвел на меня сильнейшее впечатление, и я стал воспринимать людей в соответствующем свете.

Не следует забывать, что вся эта бурная умственная жизнь проходила как бы в подполье, никак не проявляясь внешне и не отражаясь на моих взаимоотношениях с окружающими. На людях я был стеснителен, ребячлив, неуклюж, хотя благовоспитан и доброжелателен. С завистью смотрел я на тех, кто умел вести себя свободно, не испытывая мучительной неловкости. Больше всего мне не давали спать лавры одного знакомого молодого человека по имени Каттермол. Малый он был пожалуй что жуликоватый, но до чего непринужденно прохаживался под руку с элегантной молодой девушкой, которой явно нравилась его самоуверенность, — я просто глаз от него не мог отвести! Нет, никогда, никогда, никогда не научусь я держаться так же любезно и не смогу угодить той, кого захочу завоевать, думалось мне.

Кое о чем иногда удавалось поговорить и с учителями. До шестнадцати лет я учился дома, но наставники редко задерживались больше чем на три месяца. Тогда я не понимал почему, но, полагаю, дело объяснялось просто: сговором, в который я пытался войти с каждым новым учителем, чтобы отменить очередные глупые запреты моих родственников. Один из моих менторов, агностик, охотно говорил на религиозные темы, но думаю, потому-то он у нас недолго пробыл. Больше всего бабушка и остальные мои родственники любили и дольше всего держали учителя, погибавшего от злостной чахотки, отчего у него невыносимо дурно пахло изо рта. Но им и в голову не приходило, что с медицинской точки зрения мне было небезопасно по многу часов в день находиться в непосредственной близости от заразного больного.

Незадолго до шестнадцатилетия меня отправили в школу к репетитору, который готовил юношей к экзамену на офицерский чин (жил он на Олд-Саутгейт — тогда это было за городом). Мне нужно было подготовиться в Кембридж, в Тринити-колледж, а не в армию, тогда как большинство моих соучеников, кроме одного-двух повес, которым предстояло принять духовный сан, мечтали об офицерском звании. Однокашникам моим исполнилось по семнадцать-восемнадцать, а то и

девятнадцать лет, и я сильно им уступал по возрасту. Все они уже достигли той поры, когда молодые люди частенько заглядывают к проституткам, что и составляло главную тему их разговоров. Наибольший восторг вызывал у них один малый, хвастaвший тем, что подцепил и залечил сифилис, — это придавало ему огромный авторитет в их глазах. Усевшись в кружок, они обменивались похабными историями. На все, что бы ни случилось, реакция была стандартная — скабрезности. Как-то раз учитель послал одного из них в соседний дом с запиской. По возвращении посланец под гогот слушателей пересказывал, как сообщил появившейся на звонок горничной: "У меня тут для вас кое-что имеется" (намекая на презерватив в кармане), а она ответила: "Как хорошо!" Другой раз в церкви, когда певшие гимн дошли до строки: "Восславлю моего Авенира", я услышал смешок: "Никогда не знал, что это так называется".

Хотя мне уже были ведомы муки юношеского желания, грубость моих товарищей внушала мне омерзение. Вследствие чего я превратился в крайнего пуританина и пришел к мысли, что секс без большой любви — животное занятие. Замкнувшись в себе, я старался как можно меньше соприкасаться с остальными. Они же, напротив, цеплялись ко мне, решив, что я подхожу на роль мальчика для битья. Ставили на стол стул, силой усаживали меня туда и заставляли петь единственную известную мне шуточную песенку "Старец Авраам"[1]. <...>

Я быстро сообразил, что отвязаться можно, лишь сохраняя полную невозмутимость и непрошибаемое благодушие. А через семестр или два появился более подходящий кандидат на шутовскую должность, развлекавший собрание тем, что легко приходил в бешенство. Я, со своей стороны, тоже привык к их сальностям и больше не обращал на это внимания, но все равно чувствовал себя глубоко несчастным. От дома репетитора через поля вилась тропинка в сторону Нью-Саутгейта, и я часто гулял там в одиночестве, любуясь закатом и обдумывая способы самоубийства. Однако с собой я не покончил — меня слишком интересовала математика. Мои родственники, конечно, пришли бы в ужас, скажи я им, какого рода разговоры считаются здесь нормой, но так как я делал успехи в математике, я предпочитал терпеть и ни словом не обмолвился, что это за местечко. Через полтора года таких занятий, в декабре 1889-го, я сдал экзамены и получил именную стипендию. Десять месяцев, предшествовавших моему отъезду в Кембридж, я пробыл дома, занимаясь с учителем, которого рекомендовал мой бывший репетитор.

В школе у репетитора я на какое-то время сошелся с молодым человеком по имени Эдвард Фицджеральд — американцем по матери и канадцем по отцу, впоследствии известным альпинистом, совершившим множество восхождений в Южных Альпах (Новая Зеландия) и в Андах. Родители у него были богачи, которые занимали огромный дом на Рутленд-стрит, 19 (теперь его уже снесли). Его сестра писала стихи и близко дружила с Робертом Браунингом[2], которого я часто заставал у них дома. Впоследствии она стала первой женой лорда Эдмонда Фицмориса[3], а потом — синьорой де Филиппи. Сестра была намного старше брата и полу-

1. Английская детская песенка.
2. Роберта Браунинга я уже встречал раньше. Когда мне было два года, он как-то пришел на ланч в Пембрук-лодж и говорил не закрывая рта, тогда как всем присутствовавшим хотелось послушать актера Сальвини, которого поэт привел с собой. Я терпел, терпел, а потом вдруг заорал во всю мочь: "Пусть этот человек замолчит!" Он повиновался. (*Прим. автора.*)
3. Эдмонд Фицморис (1846–1935) — английский историк и государственный деятель.

чила классическое образование. Тогда она вызывала у меня чувство романтического преклонения, но, встретив ее годы спустя, я обнаружил, что она невыносимо скучная особа. Эдвард воспитывался в Америке и являл собою личность в высшей степени искушенную. Ленивый и апатичный, он был разносторонне одарен, а математические способности имел поистине выдающиеся. Для него не составляло труда определить возраст любого известного вина или марку сигары; он мог ложками поглощать горчицу, приправленную черным перцем; близко познакомился с европейскими борделями; обладал обширными знаниями литературы и за годы учебы в Кембридже собрал отличную библиотеку раритетов. Едва он появился у репетитора, меня сразу потянуло к нему как к человеку, принадлежавшему, по крайней мере, к цивилизованному сообществу, чего никак нельзя было сказать об остальных (никто из них и слыхом не слыхал о Роберте Браунинге, умершем как раз в то время, когда я учился в этой школе). На уик-энды мы оба уезжали домой, но сперва он непременно увозил меня к себе потрапезничать с его родителями, а потом мы отправлялись на какой-нибудь дневной спектакль или концерт. Мои родственники навели справки о родителях, но за них поручился сам Роберт Браунинг. Истомившись от долгого одиночества, я привязался к Эдварду до глупости страстно. К величайшему моему удовольствию, я получил приглашение поехать с ним и его родителями в августе за границу, где был только в двухлетнем возрасте, и перспектива увидеть чужие страны привела меня в восторг. Сначала мы отправились в Париж, где в то время проходила Всемирная выставка 1889 года, поднимались на только что открывшуюся Эйфелеву башню. Затем перебрались в Швейцарию и в течение недели переезжали с места на место, а напоследок остановились в Энгадине. Мы с Эдвардом ходили в горы — взбирались на Пиц-Корвач и Пиц-Палю. Оба раза шел снег, во время первого восхождения горная болезнь началась у меня, а во время второго — у него. Второй поход вообще оказался богат захватывающими приключениями: один из наших проводников свалился в пропасть, откуда его вытаскивали на веревках, причем меня поразило его sang froid[1] — он все время чертыхался.

Как раз в эти дни у нас с Фицджеральдом, к несчастью, возник довольно серьезный разлад. На мой взгляд, он непростительно грубо разговаривал с матерью, и по молодости лет я позволил себе выговаривать ему за это. Его это страшно злило, то была какая-то холодная злоба, которая потом не утихала месяцами, а так как, вернувшись к репетитору, мы поселились вместе, он заполнял время тем, что говорил мне гадости, в чем, надо отдать ему должное, достиг большого совершенства. Постепенно я проникся к нему великой ненавистью, которая сейчас кажется мне непостижимой. Как-то раз в приступе гнева я сжал ему горло и стал душить. Я хотел его убить, но когда он посинел, отпустил руки. Вряд ли он успел понять, как был близок к смерти. Но и после этого случая мы, можно сказать, оставались приятелями все то время, пока он учился в Кембридже, то есть до конца второго курса, когда он женился.

Время шло, и я все больше отдалялся от своих родственников. Я соглашался с их взглядами на политику, но и только. Поначалу я иногда пытался заговорить с ними о чем-нибудь, что и в самом деле занимало мои мысли, — в ответ неизменно раздавались язвительные замечания, и это

1. Хладнокровие (*франц.*).

приучило меня держать язык за зубами. Мне представлялось несомненным, что целью любой человеческой деятельности является счастье, однако, к своему величайшему изумлению, я обнаружил, что некоторые люди так не думают. Я узнал, что вера в счастье называется утилитаризмом и это всего лишь одно из многих этических учений, адептом какового я и стал, о чем весьма опрометчиво сообщил бабушке. Она осыпала меня градом насмешек и с тех пор всегда предлагала разрешить те или иные этические противоречия исходя из принципов утилитаризма. Она просто не располагает серьезными доводами против утилитаризма, и ее афронт интеллектуально несостоятелен, смекнул я. Узнав, что я интересуюсь метафизикой, она сказала: "Весь предмет этой науки укладывается в софизм: 'Что есть разум?' — 'Всё, кроме материи'. — 'Что есть материя?' — 'Всё, кроме высоких материй' ". Когда она в пятнадцатый или шестнадцатый раз повторила эту остроту, мне стало скучно, но она продолжала бороться с метафизикой до конца своих дней и даже написала на эту тему сатиру в стихах. <...> Помню, как она сказала, когда я уже был взрослым человеком: "Я слышала, ты опять пишешь книгу" — с таким упреком в голосе, словно речь шла не о новой книге, а об еще одном внебрачном ребенке. Против математики она, в общем, не возражала, хотя ей не верилось, что от этой науки может быть какой-нибудь толк. Она-то надеялась, что я стану священником-унитарием. До двадцати одного года я не заикался о своих религиозных убеждениях. Да что тут говорить, еще в четырнадцать лет я понял: для того, чтобы хоть как-то выжить, дома нужно держать рот на замке, ни единым словом не касаясь того, что меня в самом деле интересует. Бабушка на все отвечала шутками, на первый взгляд забавными, а на деле едкими. Ничем не лучше была тетя Агата. Дядя Ролло, в ту пору уже похоронивший свою первую жену, совершенно ушел в себя от горя. Учившийся в Бейллиоле брат стал буддистом и любил мне объяснять, что душа может поместиться даже в самый крохотный конвертик. Помню, как, мысленно перебирая все виденные мной малюсенькие конверты, я представлял себе душу, бьющуюся в них, как сердце, но судя по тому, что я почерпнул из его рассказов об эзотерическом буддизме, эта картина мало чем могла помочь в моих религиозных исканиях. С тех пор как брат достиг совершеннолетия, мы почти не виделись — он старался держаться подальше от семьи, где считался "испорченным". Я вознамерился сделать важное математическое открытие, когда вырасту, но надежды встретить кого-нибудь, с кем я смогу дружить и свободно делиться мыслями, у меня не было, как не было и веры в будущее, сулившее мне, как я полагал, одни несчастья.

Живя в Саутгейте, я очень заинтересовался политикой и экономикой. "Политическую экономию" Милля я не только прочел, но и принял целиком, без оговорок. Прочел я и Герберта Спенсера, который в "Человеке против государства" показался мне слишком большим доктринером, но в общем и целом я с ним согласился. Тетя Агата привлекла мое внимание к сочинениям Генри Джорджа[1], от которого была в восторге. Джордж убедил меня в том, что за счет национализации земли можно получить абсолютно все, чего социалисты надеются добиться с помощью социализма, в каковой уверенности я и пребывал до первой мировой войны.

1. Генри Джордж (1839–1897) — американский экономист и публицист; пропагандировал идеи единого земельного налога и национализации земли.

Бабушка Рассел и тетя Агата горячо поддерживали гладстоновскую политику гомруля, и у нас в Пембрук-лодж бывали многие члены парламента-ирландцы. Как раз в ту пору "Таймс" выступила с заявлением, что располагает документами, подтверждающими виновность Парнелла[1] в убийстве, одним из соучастников которого он якобы был. Почти все высшее сословие, в том числе большинство тех, кто поддерживал Гладстона в 1886 году, легко согласилось с обвинением, в которое верило до тех пор, пока в 1889 году фальсификатор Пиготт не разоблачил себя тем, что не смог написать слово "неуверенность", и это стало неопровержимым доказательством непричастности Парнелла к преступлению. Бабушка и тетка всегда горячо спорили с теми, кто обвинял сторонников Парнелла в связях с террористами, ибо относились к нему с большим пиететом (однажды и мне случилось обменяться с ним рукопожатием), но когда он оказался замешан в скандале, приняли сторону отрекшегося от него Гладстона.

Я дважды ездил в Ирландию с тетей Агатой. Совершал там далекие прогулки и с ирландским патриотом Майклом Дейвиттом, и в одиночестве и был безмерно очарован красотой природы. Особенно меня пленило маленькое озерцо Лугала в графстве Уиклоу, навсегда связавшееся для меня со строчками:

> Как к галечному пляжу движется волна,
> Так и минута к гибели стремится[2].

Приехав пятьдесят лет спустя в Дублин к моему другу Крамтону Дэвису, я уговорил его посетить Лугалу. Но он привез меня не к памятному "галечному пляжу", а в лес высоко над озером, и я отбыл с твердым убеждением, что нечего и пытаться воскрешать старые воспоминания.

В 1883 году дядя Ролло купил дом на склонах Хайндхеда, куда в течение долгого времени мы приезжали на три месяца в году. В ту пору там не было других домов, только два брошенных постоялых двора: "Королевские хижины" и "Семь шипов" (сейчас уже обретшие хозяев). Дом Тиндала[3], с которого пошла мода на эти места, тогда еще только строился. Меня часто водили туда в гости, и однажды Тиндал дал мне свою книгу "Формы воды". Я очень почитал его как выдающегося деятеля науки и страшно хотел произвести на него впечатление. Дважды это в какой-то мере удалось. Дело было так: он разговаривал с дядей Ролло, а я старался удержать на одном пальце две трости с изогнутыми набалдашниками. Тиндал поинтересовался, что я такое делаю, и я объяснил, что пытаюсь экспериментальным путем найти центр тяжести. То был первый случай. А второй произошел несколько лет спустя, когда я сказал, что поднимался на пик Пиц-Палю, — Тиндал был альпинистом-первопроходцем. Невыразимое удовольствие доставляли мне прогулки по вересковым пустошам, я шел через Блэкдаун к Панчбоулу, добирался до Чарта — до самой Чаши Дьявола. Особенно мне запомнилась проселочная дорога, которая называлась "Тропка матушки Банч"[4] (теперь там все застроено и кра-

1. Чарльз Стюарт Парнелл (1846–1891) — ирландский политический деятель, лидер движения за гомруль, "некоронованный король Ирландии".
2. Первые две строки 60-го сонета Шекспира.
3. Джон Тиндал (1820–1893) — английский физик и популяризатор науки.
4. Трактирщица XVIII века, чье питейное заведение носило ее имя; впоследствии в ее честь была названа книга по домоводству, содержавшая много забавных советов и выдумок; с именем матушки Банч ассоциируется идея уюта и веселья.

суется надпись "Тракт Банч"), она постепенно сужалась, сужалась, пока не превращалась в горную тропу, ведущую на гребень Херт-хилла, и вдруг, совершенно неожиданно, можно сказать, без всякого предупреждения, перед вами открывался захватывающий дух, широченный вид на половину Суссекса и почти весь Суррей. Подобные минуты многое определили в моей жизни. Вообще то, что случалось под открытым небом, как я понял, не в пример сильнее действовало на меня, чем то, что происходило в помещении. <...>

Помолвка

Однажды воскресным летним днем 1889 года дядя Ролло, в чьем доме на склонах Хайндхеда я гостил, позвал меня на далекую пешую прогулку по окрестностям. Когда мы спускались с Фрайдейз-хилла, что неподалеку от Фернхерста, он заметил: "А сюда въехали новые жильцы; пожалуй, надо зайти представиться". Как человека стеснительного, меня ужаснула эта идея, и я стал умолять дядю не оставаться ужинать, как бы ни повернулось дело. Он обещал, но слова своего, к моей радости, не сдержал. Нашими новыми соседями оказалась американская семья Пирселл-Смит, состоявшая из отца и матери, людей уже немолодых, дочери с мужем, носивших фамилию Костелло, младшей дочери, учившейся в колледже Брин-Мор[1] и приехавшей на каникулы к родителям, а также сына, студента Бейллиола. В свое время Пирселл-Смит и его жена были знаменитыми евангелистскими проповедниками, но вследствие скандала, разгоревшегося из-за того, что его застали целующимся с молодой женщиной, он отошел от веры, а мать семейства слишком состарилась, чтобы вести столь утомительный образ жизни. Их зять Костелло, очень умный человек и радикал по убеждениям, входил в совет Лондонского графства. Он приехал из Лондона, когда мы уже сидели за столом, и стал рассказывать последние новости о проходившей тогда забастовке докеров. Забастовка эта была очень важным и знаменательным событием, свидетельствовавшим о том, что профсоюзное движение начало проникать в низы и, значит, вошло в свою следующую фазу. Я слушал его разинув рот, так как понимал, что он только что побывал в самой гуще жизни. Студент Бейллиола ронял блистательные сентенции и казался всезнайкой, судившим обо всем с презрительной бесшабашностью. Но больше всего меня заинтересовала дочь, приехавшая из колледжа Брин-Мор. Она была писаная красавица, в подтверждение чего приведу отрывок из одной статьи, опубликованной 10 мая 1921 года в газете "Бюллетень" в Глазго: "Помню, что впервые встретил миссис Бертран Рассел более двадцати лет тому назад в Эдинбурге на каком-то городском празднестве или приеме (возможно, в честь делегатов Общества трезвости). В ту пору она была одной из самых красивых женщин, каких только можно вообразить себе, причем, несмотря на квакерское происхождение, держалась с какой-то прирожденной царственной величавостью. У всех присутствовавших она вызвала такое восхищение, что со всей надлежащей почтительностью и скромностью, как и пристало эдин-

1. Известный частный колледж высшей ступени в г. Брин-Мор штата Пенсильвания; основан в 1880 г. квакерами как колледж для женщин.

буржцам, мы объявили ее царицей вечера". Она была более эмансипирована, чем остальные знакомые мне девушки: училась в колледже, одна приехала в Англию из Америки на пароходе и, как вскоре выяснилось, дружила с Уолтом Уитменом. Она спросила, не случалось ли мне читать Экхарта, а я как раз дочитал его утром, что счел счастливым предзнаменованием. Она была приветлива, и я совсем не робел ее. Влюбился я с первого взгляда. В то лето я больше не встречался ни с кем из них, но впоследствии, приезжая к дяде Ролло на три летних месяца, каждое воскресенье проделывал четыре мили пешком, чтобы, появившись к ланчу, остаться до самого ужина, после которого, по обычаю этой семьи, все отправлялись в лес и, усевшись в кружок у костра, пели негритянские спиричуэлс, в те дни в Англии неизвестные. Мне, как и Гёте, Америка представлялась романтическим краем свободы, а мои американские знакомые и впрямь были свободны от многих предрассудков, сковывавших меня дома, в том числе и от диктата хорошего тона, что больше всего и пленяло. У них в доме я впервые встретил Сидни Уэбба, тогда еще холостого.

Сидни и Беатрис Уэбб, с которыми я близко дружил в течение многих лет, а иногда даже и вместе жил, являли собой самую гармоничную супружескую пару, какую мне только доводилось видеть. Однако романтическое отношение к любви и браку внушало им едва ли не гадливость: брак был одной из социальных институций, предназначенной направлять инстинкт в русло закона. Первые десять лет совместной жизни миссис Уэбб время от времени роняла: "Брак — это мусорная корзина для эмоций". Позже наметились кое-какие перемены. Приглашая на уик-энды какую-нибудь супружескую чету и совершая в воскресенье короткую бодрящую прогулку парами — Беатрис с гостем, Сидни с гостьей, — Сидни в какую-то минуту произносил: "Я знаю, что сейчас говорит Беатрис. Она говорит: 'Как всегда повторяет Сидни, брак — это мусорная корзина для эмоций' ". Принадлежало ли исконно это изречение Сидни, покрыто мраком неизвестности.

С Сидни я познакомился еще до его женитьбы на Беатрис. Тогда он представлял собой величину гораздо меньшую, чем половина того человеческого тандема, каким они стали поженившись. Их сотрудничество было поистине взаимодополняющим. Я всегда считал — хотя, наверное, это упрощение, да и звучит недостаточно уважительно, — что она придумывает, а он действует. По-моему, он был самым работоспособным человеком из всех, кого я знал. Когда они с Беатрис писали книгу о местном самоуправлении, они разослали циркулярные письма с вопросами к местным чиновникам по всей стране, указав, что данный конкретный чиновник сможет получить книгу, над которой они работают, на законном основании, вычтя ее стоимость из налоговых сборов. Когда я сдал им свой дом, почтальон ближайшего отделения, социалист по убеждениям, не знал, гордиться ли ему тем, что он их обслуживает, или горевать от того, что ему ежедневно приходится таскать по тысяче ответов на их циркуляры. Уэбб начинал как чиновник второго класса в министерстве по делам государственной службы, но благодаря огромному трудолюбию поднялся до первого класса. Ему была свойственна излишняя серьезность — он не терпел кощунственных шуток по поводу святынь вроде политической теории. Так, например, в ответ на мое замечание, что у демократии есть по крайней мере одно преимущество: член парламента

не может быть глупее своих избирателей, ибо чем он глупее, тем стократ глупее должны быть избравшие его, — Уэбб страшно рассердился и осадил меня: "Я не одобряю такого рода аргументов".

Миссис Уэбб отличалась бóльшей широтой, чем муж. Так, она способна была испытывать неподдельный интерес к конкретным человеческим особям, даже совершенно бесполезным. Будучи истово верующей, не принадлежала ни к одной конфессии, но как социалистка предпочитала англиканскую церковь — государственную. Она была одной из девяти дочерей человека по имени Поттер, выбившегося из низов и сколотившего почти все свое состояние на строительстве солдатских бараков в Крыму. Он стал последователем Герберта Спенсера, и миссис Уэбб являла собой блестящий продукт воспитательных теорий этого философа. Неприятно признаваться, но моя мать, которая жила неподалеку от миссис Уэбб в деревне, охарактеризовала ее в своем дневнике как "бабочку-однодневку" в сфере социальной работы, однако можно полагать, что, узнав ее получше, переменила бы свое мнение к лучшему. Когда миссис Уэбб заинтересовалась социализмом, она решила подвергнуть фабианцев, и прежде всего знаменитую троицу: Уэбба, Шоу и Грэма Уоллеса[1] — испытанию. Состоялось нечто вроде суда Париса, где мужчины заняли место женщин и Сидни сыграл роль Афродиты.

Уэбб жил на свои заработки до тех пор, пока Беатрис не обрела скромный достаток в виде отцовского наследства. Беатрис сохранила привычку к сословным привилегиям, чего начисто лишен был Сидни. Поняв, что им хватает денег и без жалованья Сидни, они решили посвятить себя научным исследованиям и высшим формам пропаганды. Их книги делают честь их трудолюбию, а Школа экономики[2] — организаторским способностям Сидни. Но не думаю, что при тех же способностях он добился бы в жизни хоть половины такого успеха, если бы у него не было опоры в виде Беатрис с ее самоуверенностью. Я как-то спросил у нее, страдала ли она когда-нибудь в юности застенчивостью. "Ну нет, — ответила она, — если бы, входя в набитую людьми комнату, я ощутила хотя бы тень смущения, я бы сказала себе: "Ты самая умная из всех в самой умной семье самого умного класса самого умного народа в мире, чего тебе бояться?"

Я любил миссис Уэбб и восхищался ею, хотя не разделял ее мнений по очень многим важным вопросам. Прежде всего и больше всего я восхищался ее способностями, поистине огромными. Кроме того, я восхищался ее цельностью: посвятив себя общественным интересам, она никогда не позволяла себе отклониться, поддаться личным амбициям, которых не была лишена. Я любил ее как дорогого, преданного друга всех тех, кого она дарила личной привязанностью. Но я не принимал ее взглядов на религию, на империализм, я не был согласен с ее обожествлением государства, составлявшим самую суть фабианства. По-моему, это привело и обоих Уэббов, и Шоу к непозволительной терпимости по отношению к Муссолини и Гитлеру и в конце концов к глупейшему низкопоклонству перед советским правительством.

Но на свете не бывает абсолютно последовательных людей. Я как-то сказал Шоу, что Уэббу, по-моему, недостает отзывчивости. "Не скажи-

1. Грэм Уоллес (1858—1932) — английский социолог и политолог, член Фабианского общества.
2. Лондонская школа экономики — колледж Лондонского университета; основан в 1895 г.

те! — возразил Шоу. — Как-то в Голландии мы с Уэббом ехали в трамвае и подкреплялись печеньем. В этот же вагон полицейские ввели преступника в наручниках. Пассажиры в ужасе шарахнулись от него, а Уэбб подошел к заключенному и отдал пачку". Я всегда напоминаю себе об этом случае, когда чувствую, что слишком критически настроен по отношению к Уэббу или Шоу.

Некоторых людей Уэббы ненавидели. Ненавидели Уэллса — за то, что он оскорбил строгую викторианскую мораль миссис Уэбб, за то, что пытался свергнуть Уэбба с престола в Фабианском обществе. Ненавидели с самого начала Рамсея Макдональда[1]. Самый лестный отзыв о нем, какой мне довелось от них услышать, исходил от миссис Уэбб в пору, когда формировалось первое лейбористское правительство, она сказала тогда, что он отличный исполняющий обязанности партийного лидера.

Как у политиков, у них была довольно любопытная история. Сначала они кооперировались с консерваторами, потому что миссис Уэбб понравилось, что Артур Бальфур[2] намеревался дать больше денег церковным школам. Когда в 1906 году консервативное правительство пало, Уэббы сделали несколько слабых и бесплодных попыток объединиться с либералами. Но потом догадались, что как социалисты больше придутся ко двору в лейбористской партии, верными членами которой и стали.

В течение многих лет миссис Уэбб постоянно постилась, отчасти для оздоровления, отчасти из религиозных соображений. Она никогда не завтракала и ограничивалась очень скудным обедом. Плотно ела она лишь за ланчем, на который обычно приглашала немало важных шишек. Но к назначенному времени она уже испытывала такой голод, что, как только объявляли, что стол накрыт, стремительно неслась вперед, опередив гостей, и немедленно начинала есть. Тем не менее она верила, что голодание придает ей бóльшую духовность, и призналась мне, что благодаря недоеданию у нее бывают чудесные видения. "Да, — отозвался я, — когда ешь слишком мало, чудится всякое-разное, а когда пьешь слишком много, чудится только зеленый змий". Боюсь, мое замечание показалось ей непозволительно дерзким. Уэбб не разделял ее религиозных убеждений, но относился к ним вполне терпимо, несмотря на неудобства, которые порою из-за этого испытывал. Когда мы вместе жили в гостинице в Нормандии, она никогда не спускалась к завтраку, так как не могла вынести вида наших жующих физиономий. Сидни, конечно, спускался выпить кофе с булочками. Но в первое утро она прислала вниз горничную с сообщением: "Нам не нужно масла на завтрак для Сидни", — это неизменное "нам" очень умиляло ее друзей.

Оба они были людьми глубоко недемократичными и считали, что втирать очки простому народу и окорачивать его — прямая обязанность государственного деятеля. Я понял, откуда идут представления миссис Уэбб о государственном управлении, когда она рассказала, как проходили акционерные собрания в компании ее отца. Она усвоила его идеи, а он полагал, что дело директоров — указывать пайщикам их место, и точ-

1. Джеймс Рамсей Макдональд (1866—1937) — английский государственный деятель, основатель и лидер лейбористской партии, с 1920 по 1935 г. неоднократно занимал пост премьер-министра Англии.
2. Артур Джеймс Бальфур (1848—1930) — премьер-министр Великобритании (1902—1905) от консервативной партии.

но так же, по ее мнению, должно было вести себя правительство по отношению к избирателям.

Отцовские рассказы о перипетиях его карьеры вовсе не вызвали у нее неподобающей непочтительности к великим мира сего. После того как он построил зимние бараки для французских солдат в Крыму, он отправился в Париж за деньгами. На строительство он потратил почти все, что имел, и ему жизненно важно было, чтобы с ним расплатились. Но хотя все в Париже признавали задолженность, чека ему все никак не выдавали. Наконец как-то раз он встретил лорда Брасси, который приехал в Париж с похожим поручением. Когда мистер Поттер рассказал о своих передрягах, лорд Брасси ответил ему со смехом: "Милейший, вы просто не знаете входов и выходов. Нужно дать пятьдесят фунтов министру и по пять каждому из его подчиненных". Сказано — сделано, и на следующий день появился чек.

Сидни без колебаний прибегал к уловкам, которые многим показались бы неблаговидными. Например, он рассказывал мне, что, когда хочет провести через комитет какое-то решение, которое не поддерживается большинством, он выносит резолюцию, где спорный пункт упоминается дважды. При первом обсуждении он ведет долгие дебаты и в конце концов деликатно отступает. Можно ставить девять против десяти, заверял меня он, никто не заметит, что этот же самый пункт упоминается в резолюции второй раз.

Уэббы сделали очень много для английского социализма, который благодаря им обрел стержень. Они сделали примерно то же самое, что последователи Бентама раньше сделали для радикалов. У бентамистов и Уэббов была известная жесткость, известная сухость — уверенность, что эмоциям место в мусорной корзине. Но при этом и бентамисты, и Уэбы втолковали свои доктрины энтузиастам. Бентам и Роберт Оуэн сумели оставить после себя интеллектуально устойчивое "потомство", и это же удалось Уэббам и Кейру Харди. Никто не может даровать людям все блага, придающие смысл человеческой жизни, и если удается внести в эту жизнь хоть толику желаемого — это уже предел разумных ожиданий. Уэббы выдержали это испытание — если бы не они, Британская лейбористская партия, несомненно, была бы куда более аморфной и нецивилизованной. Их мантия досталась их племяннику сэру Стаффорду Криппсу; не будь их, британская демократия не прошла бы так же спокойно через бурные годы, выпавшие нам всем на долю.

Когда я сказал дома, что познакомился с Сидни Уэббом, бабушка ответила, что слушала как-то его лекцию в Ричмонде и что он "не совсем...". "Не совсем что?" — не отступал я. "Не совсем джентльмен по мыслям и манерам". От подобных замечаний я искал защиты у Пирселл-Смитов. Среди них я был счастлив, разговорчив, переставал конфузиться. Они настолько раскрепостили меня, что я даже почувствовал себя умным. У них в доме я встречался с интересными людьми, такими, как Уильям Джеймс. Логен Пирселл-Смит вразумлял меня по части культурных веяний 90-х: Флобер, Уолтер Пейтер[1] и так далее. Он сообщил мне четыре принципа хорошего слога: "Ставить запятую перед каждым пятым словом"; "Не пользоваться союзом "и" — разве что в начале

1. Уолтер Пейтер (1839—1894) — английский критик, искусствовед, писатель, близкий к прерафаэлитам.

предложения" и т. п., и я выучился писать, перебивая себя бесконечными скобками, в стиле Уолтера Пейтера. Усвоил, что положено говорить о Мане и Моне, а также о Дега, которые в те дни были тем, чем впоследствии стали Матисс и Пикассо.

От Логена Пирселла-Смита, который был семью годами старше меня, я получил множество нравственных советов. Сам он в то время осциллировал между филадельфийским квакерством и богемой Латинского квартала. По своим политическим взглядам он принадлежал к социалистам, его обратил в свою веру Грэм Уоллес, один из основателей Фабианского общества (впоследствии сам вернувшийся к либерализму). Логен пытался скрестить квакерскую филантропию с социалистическим символом веры. Что касается секса, он тогда придерживался самых аскетических, даже, пожалуй, манихейских принципов, хотя на религию смотрел как агностик. Он мечтал внушить молодым вольнодумцам мысль о необходимости высочайшей самодисциплины и самоограничения. С этой целью он организовал общество — Орден педантов, как он называл его в шутку, — членом которого я стал и правилам которого подчинялся в течение нескольких лет.

Время шло, и с каждым годом я все больше привязывался к Элис — незамужней дочери Пирселл-Смитов. Она была не такая дерзкая, как ее брат Логен, и не такая безответственная, как ее сестра миссис Костелло. Казалось, все ее существо излучает обыкновенную человеческую доброту, к которой, несмотря на Пембрук-лодж, я не переставал тянуться, доброту, не замутненную предвзятостью и педантизмом. Я боялся, что она выйдет замуж раньше, чем я вырасту, ведь она была пятью годами старше меня. Навряд ли она до тех пор останется незамужней, но если останется, решил я, попрошу ее стать моей женой. Помню, как-то мы поехали с ней и ее братом навестить судью Вона Уильямса (чья жена носила елизаветинские плоеные воротники и вообще поражала всяческими неожиданностями), по дороге они выпытали у меня, что я верю в любовь с первого взгляда, и стали прохаживаться насчет моей сентиментальности. Меня это страшно уязвило, ведь я не мог признаться, что заставляет меня так думать. Я понимал — Элис была не то, что бабушка называла "леди", но находил, что она вылитая остеновская Элизабет Беннет, и, пожалуй, втайне наслаждался собственной непредубежденностью.

В мае 1893 года я достиг совершеннолетия, и мои отношения с Элис переросли в нечто более серьезное, чем безмолвное обожание. На кембриджском трайпосе — публичном экзамене на степень бакалавра с отличием, — я стал седьмым по счету ранглером[1] и обрел независимость, правовую и финансовую. Элис приехала в Кембридж со своей кузиной, и мне представилась возможность говорить с ней свободнее, чем раньше. Она приехала еще раз, когда начались летние каникулы, с той же кузиной, но я уговорил ее задержаться на день после отъезда родственницы. Мы гуляли вдоль реки и обсуждали проблему развода, причем она была настроена менее воинственно, чем я. Теоретически она была сторонницей свободной любви — что меня восхищало, хотя сам я придерживался более строгих взглядов, — но одновременно страшно стыдилась ухода сестры от мужа к художественному критику Беренсону, и это

1. Ранглер — выпускник, занявший второе место на экзамене по математике в Кембриджском университете.

весьма меня озадачивало. В самом деле, лишь после нашей свадьбы она согласилась познакомиться с Беренсоном. Меня очень вдохновил ее второй визит в Кембридж, и мы стали постоянно переписываться. Я больше не проводил лето в Хезлмире, потому что бабушка и тетя Агата не ладили со второй женой дяди Ролло, но 13 сентября отправился во Фрайдейз-хилл с двухдневным визитом. Теплый воздух был напоен золотом, не доносилось ни малейшего дуновения, утром в лощине лежала дымка. Помню, что Логен позволил себе издеваться над "золотыми дымками" Шелли, а я в ответ стал подтрунивать над ним самим, говоря, что дымку можно было увидеть и сегодня, но для этого нужно раньше просыпаться. Сам я встал на рассвете, потому что мы с Элис договорились прогуляться перед завтраком. Мы пошли на холм и уселись в буковом лесочке, в дивном месте, напоминавшем раннеготический собор с узкими оконницами, образованными просветами между стволами, сквозь которые виднелась расстилавшаяся во все стороны равнина. Утро было свежее, росистое, и пока мы там сидели, я думал, что все это, наверное, и есть человеческое счастье. Однако неизменная робость помешала мне перейти от чувств к словам. Завтрак давно закончился, когда я, преодолевая тревогу и неуверенность в себе, сделал ей предложение по всей форме, в соответствии с обычаем того времени. В ответ я не получил ни согласия, ни отказа. Мне даже не пришло в голову, что можно поцеловать ее или хотя бы взять за руку. Мы договорились, что будем видеться и переписываться по-старому, а там пусть все решит время. Это произошло в саду, а когда мы сели за ланч, подали письмо от леди Генри Сомерсет, которая приглашала Элис приехать на Всемирную чикагскую ярмарку, чтобы поучаствовать в пропаганде трезвости — добродетели, которой, как считалось в ту пору, Америке сильно недоставало. Элис, перенявшая у своей матери горячую веру в полное трезвенничество, страшно обрадовалась открывшейся возможности. Она торжествующим тоном прочла письмо вслух и сказала, что, конечно, поедет, и я сразу почувствовал себя таким маленьким-маленьким, ведь это означало многомесячную разлуку, а для нее, быть может, и начало заманчивой карьеры.

Вернувшись домой, я сказал бабушке и тетке, что сделал предложение, и в ответ получил весь стандартный набор сословных предрассудков: она не леди, она охотится за детьми, она безродная аферистка, продувная бестия, пользующаяся моей неопытностью, плебейка, которой неведомы тонкие чувства, особа, чьей вульгарности я буду стыдиться. Но я уже получил наследство — 20 000 фунтов, которые мне завещал отец, и не обращал внимания на их слова. Отношения у нас стали очень натянутыми и оставались таковыми до тех пор, пока я не женился.

Все это время я вел дневник, который запирал на замочек и тщательно скрывал ото всех. Туда я записывал свои разговоры с бабушкой об Элис и возникавшие у меня в связи с этим чувства. А вскоре мне в руки попался дневник моего отца, где часть записей была застенографирована (видимо, тоже для того, чтобы сохранить их в тайне), и я узнал, что примерно в том же возрасте, в каком я сделал предложение Элис, он попросил руки моей матери, и бабушка говорила ему почти то же самое, что говорила мне, и он записывал в свой дневник чуть ли не те же мысли, какие записывал я в свой. От этого у меня появилось жуткое чувство,

будто я живу не своей жизнью, а переживаю заново жизнь отца, и меня стал мучить суеверный страх перед наследственностью[1].

Несмотря на сильную влюбленность, у меня не было осознанной потребности в физической близости. Более того, когда однажды мне приснился эротический сон, в котором мое чувство обрело более реальные проявления, я ощутил, что любовь опошлена. Но со временем природа сделала свое дело.

Следующим важным днем стало 4 января 1894 года, когда я приехал из Ричмонда на Гроувнор-роуд, 44, где жили родители Элис. В тот день был сильный снегопад, Лондон буквально утопал в снегу, и я брел из Воксхолла по снежной пороше дюймов в шесть глубиной. От всего этого возникало странное ощущение замкнутого пространства — тишина в городе стояла такая, как на одинокой снежной вершине. В тот день я впервые поцеловал Элис. Все мое знание женщин исчерпывалось заигрываниями с горничной, о которой я рассказывал выше, я и не подозревал, какое упоительное счастье — целовать любимую женщину. Хотя Элис по-прежнему колебалась, выходить ей за меня замуж или нет, мы весь день только и делали, что целовались, отвлекаясь лишь на еду, и, кажется, не обменялись ни единым словом, если не считать моей декламации "Эпипсихидиона"[2]. Домой я вернулся поздно — полторы мили шел пешком сквозь метель, устал, но чувствовал себя на седьмом небе.

Следующие два месяца, пока шел мой очередной семестр в Кембридже, настроение Элис все время менялось. То она страстно хотела выйти за меня замуж, то твердо решала сохранить свободу. Я тогда очень упорно занимался, потому что мне предстояло в течение года сдать вторую половину трайпоса по этике, но любовь, надо заметить, безоблачная или трудная, никогда не мешала моему умственному сосредоточению. Наступили пасхальные каникулы, и сначала я поехал с тетей Мод в гости к своему дяде епископу, а оттуда в Париж, где у Логена была собственная квартира, по соседству с которой остановились и Элис с матерью. Тогда я впервые познакомился с образом жизни американских студентов, приезжавших в Париж изучать искусство, и, на мой тогдашний взгляд, это было очень свободное и веселое житье. Помню, как Элис явилась на танцы в платье от Роджера Фрая. Помню также, как мои друзья пытались, впрочем довольно безуспешно, приобщить меня к живописи на выставке импрессионистов, проходившей в Люксембургском саду. Еще помню, как мы плыли на пароходике по ночной Сене мимо Фонтенбло, рядом стояла Элис, а Логен тревожил тишину своими безупречными силлогизмами. Когда я вернулся в Кембридж, Джеймс Уорд сделал мне выговор: я-де, вместо того чтобы работать, все каникулы прохлаждался на континенте. Но я не слишком огорчился и все равно получил степень бакалавра с отличием.

К тому времени, когда я разделался с трайпосами, Элис окончательно согласилась стать моей женой. Тут мои родственники, не перестававшие вести позиционную войну, осознали, что пора пустить в ход тяжелую артиллерию, ибо контролировать мои поступки они не могли, а их

1. В письме к Элис от 2 сентября 1894 года я писал: "Тетя Джорджи (леди Джорджиана Пил, падчерица моей бабушки) вчера была очень добра, но невыносимо любопытна (как, впрочем, большинство женщин); она сказала, что даже в давние времена при малейшем намеке на женитьбу у бабушки начиналось что-то вроде лихорадки, она всегда суетилась и подымала вокруг этого шум. (*Прим. автора.*)
2. Поэма Перси Биши Шелли.

филиппики в адрес Элис, само собой, не производили желаемого действия. И они нашли подходящее оружие — еще немного, и оно бы привело их к победе. Семейный доктор, уже фигурировавший на этих страницах насупленный старик шотландец с бачками, принялся вводить меня в подробности нашей семейной истории, раньше лишь смутно мной подозреваемые: мой дядя Уильям сошел с ума; у тети Агаты после помолвки появились галлюцинации, что и привело к разрыву ее отношений с женихом; мой отец страдал эпилепсией (судя по тому, что мне потом рассказывали об этой болезни серьезные врачи, диагноз представляется сомнительным). В те дни люди, считавшие себя апологетами науки, были одержимы прямо-таки суеверным страхом перед наследственностью, к тому же тогда еще не была установлена связь между умственными расстройствами и отрицательным влиянием окружающей среды и неправильного воспитания. У меня появилось чувство роковой предопределенности. Я прочел "Привидения" Ибсена и "Наследие Курцев" Бьёрнсона. Выяснилось, что у Элис тоже был дядя с большими странностями. Подчеркивая эти обстоятельства с упорством, которое и меня самого чуть не довело до умопомешательства, родственники убедили нас с Элис получить врачебное заключение о том, грозит ли нашему потомству психическая неполноценность. Лучшее медицинское светило, проинструктированное нашим семейным доктором, накрученным, в свою очередь, моими родственниками, постановило, как и следовало ожидать, что, принимая во внимание наследственность, нам нельзя иметь детей. Этот вердикт мы с Элис выслушали в доме семейного врача в Ричмонде, после чего ходили кругами по Ричмонд-Грин и решали, что нам делать. Я был за то, чтобы отказаться от женитьбы, так как поверил докторским словам и очень хотел иметь потомство, а Элис говорила, что не очень хочет детей и предпочитает выйти замуж и жить вдвоем. Так мы проспорили примерно полчаса, и я с ней согласился. В конце концов мы объявили родственникам, что намерены пожениться, но детей у нас не будет. О контроле над рождаемостью в то время говорили не иначе как с ужасом, который он теперь внушает разве что католикам. Мои близкие и доктор буквально рвали на себе волосы. Последний торжественно заявил, что его опыт однозначно свидетельствует о том, что применение противозачаточных средств ведет к неизбежному расстройству здоровья. Бабушка намекнула, что эти средства и довели моего отца до эпилепсии. Воздух сотрясался от вздохов, стонов, всхлипов, в обстановке болезненного страха и напряжения буквально невозможно было дышать. Узнав, что мой отец страдал эпилепсией, тетя — галлюцинациями, а дядя — помешательством, я содрогнулся, ибо в то время все люди, относившиеся с уважением к науке, свято верили в неотвратимость наследственного сумасшествия. Эту мистическую веру исповедовал и я, хотя не располагал никакими надежными медицинскими сведениями. 21 июля 1893 года (в день рождения Элис, как я узнал позже) мне приснилось, что моя мать не умерла, а сошла с ума и поэтому я должен отказаться от брака. Какого труда мне стоило преодолеть страх, владевший мной с тех пор, как я узнал все вышесказанное, видно из следующих заметок, которые я сделал тогда, но не показал никому, даже Элис (она прочла их много позже):

20–21 июля (1894). Полночь. Сегодня годовщина моего сна об Элис (и соответственно день ее рождения). Это странное совпадение, как и то, что почти все приснившееся сбылось, сильно подействовало на мое воображение. Я всегда был суеверен и от счастья стал только суевернее: страшно, когда ты так сосредоточен на другом человеке. Все, что не связано с нею, не имеет для меня никакой цены. Даже на свою карьеру, на свое моральное самосовершенствование, на свой ум (каков бы он ни был), на все, что я обрел или надеюсь обрести, я смотрю лишь как на потенциальный дар моей жене, все это для меня не более чем способ показать, как невыразимо много значит для меня ее любовь. Я счастлив, божественно счастлив. Более того, я по-прежнему могу утверждать, что моя страсть лишена похоти. Но как раз тогда, когда я абсолютно счастлив и моя радость кристально чиста, она вдруг выходит за свои пределы и разбивается о снедающий меня страх утраты – иначе было бы слишком легко любить то, что покоится на таком хрупком и шатком основании! Мой сон в день ее рождения; последовавшее затем открытие, что моя семья и в самом деле обманула меня, обманула точно так, как во сне; эти их торжественные и назойливые предупреждения; эти семейные трагедии, открывавшиеся мне одна за другой, безнадежные, ничем не разрешившиеся, сокрушившие жизнь почти всех моих близких; и хуже всего, этот неизбывный мрак, повисший, как фатум, над П.-л.[1], который, стоит лишь туда приехать, проникает мне в самую душу и, как я ни борюсь, вытравляет радость из всего, даже из любви Элис, к чему примешивается еще и страх перед наследственностью. Все это неизбежно разъедает душу, заставляет верить, что на семье лежит какое-то проклятье и я тщетно бьюсь, чтобы вырваться на волю, а ведь это естественная привилегия других людей. Хуже всего то, что страх неизбежно распространяется и на Элис. Мне кажется, что тьма – моя природная стихия и что по воле злого рока я, вместо того чтобы выйти к свету, тащу ее назад, в пропасть, откуда и сам выбрался лишь наполовину. Не знаю, чем грозит рок: внезапным ударом или долгой пыткой, вымотывающей силы и убивающей любовь, но меня не оставляет страх перед семейным призраком, который, я это чувствую, тянет ко мне свои липкие щупальца и вот-вот схватит, лишь бы не дать вырваться из этого вечного сумрака.

Все эти чувства – просто бред, причина которого главным образом – шоколадный торт и поздние отходы ко сну, но тем не менее чувства эти реальны и по любому поводу овладевают мной с неодолимой силой. Как ни больно это будет моим родственникам, я должен некоторое время почти не навещать их и П.-л., иначе мне и впрямь придется опасаться за свой рассудок. П.-л. для меня все равно что фамильный склеп, где обитают призраки маньяков, особенно с тех пор, как я все знаю от доктора Андерсона. А здесь, благодаренье Богу, все светло и дышит здоровьем, и самое лучшее – моя Элис. Если я сумею забыть П.-л. и ужасное завещанное мне наследство, я перестану терзаться дурными предчувствиями, а буду испытывать лишь чистую радость разделенной любви, радость столь великую и дивную, что я не перестаю изумляться, как она вообще возможна в этом проклинаемом людьми мире. Но как бы я хотел знать, что он в конце концов даст ей радость, а не продемонстрирует, как уже было начал, сколь ужасна порою жизнь и какая пучина горя в ней скрывается.

Зародившиеся в то время страхи подсознательно мучили меня потом всю жизнь. Тогда же появились и неведомые прежде ночные кошмары: меня вроде бы убивали, и чаще всего убийца был маньяком. Я стал

1. Пембрук-лодж.

кричать во сне, а как-то ночью чуть не задушил жену, так как мне привиделось, что я защищаю свою жизнь в смертельной схватке.

Из-за этих же страхов я в течение многих лет по возможности старался избегать любых душевных волнений и жил интеллектуальной жизнью, приправленной долей легкомыслия. Благодаря счастливому браку я постепенно обрел психическое равновесие, и если впоследствии на мою долю выпадали душевные бури, рассудок никогда меня не подводил и я больше не испытывал сознательного страха перед сумасшествием, но бессознательный — остался.

Если я и мучился сомнениями по поводу того, как нам с Элис следует поступить, то все они улетучились, когда нам попался врач, который бодро меня заверил, что нет никаких причин опасаться противозачаточных средств, — он сам много лет ими пользовался и ничего плохого не случилось, мы попросту сваляем дурака, если не поженимся. И мы смело двинулись вперед, презрев оскорбленные чувства двух поколений. После двух лет совместной жизни мы и сами пришли к заключению, что то, что нам внушали наши консультанты-эскулапы, было полной чепухой, и решили завести детей. Но оказалось, что Элис бесплодна и весь шум был из ничего.

Вся эта скандальная история со сватовством привела к тому, что я переехал во Фрайдейз-хилл к родителям Элис и засел за диссертацию, темой которой избрал неевклидову геометрию. Почти ежедневно я получал письма от родственников на тему "тот образ жизни, который ты ведешь", но мне было ясно, что, если я дам им волю, они доведут меня до безумия и что от Элис я набираюсь душевного здоровья. Мы с ней все больше и больше сближались.

Но мои родичи не желали сдаваться. В августе они уговорили посла в Париже, лорда Даффферина, предложить мне пост атташе. У меня не было ни малейшего желания соглашаться, но бабушка сказала, что ей не так много осталось жить на этом свете и мой долг — помочь ей удостовериться, что разлука не способна исцелить меня от безрассудной страсти. Я не хотел, чтобы меня мучили угрызения совести, когда она будет лежать на смертном одре, и согласился поехать, но ровно на три месяца и при условии, что, если мои чувства не переменятся, семья перестанет чинить препятствия нашей свадьбе. Моя дипломатическая карьера оказалась недолгой и бесславной. Я возненавидел и работу, и людей, и тамошнюю атмосферу цинизма, и разлуку с Элис. В Париж ко мне приехал брат с тайным поручением, мне тогда, конечно, неизвестным, разведать обстановку. Он решительно занял мою сторону, и 17 ноября, в день, когда истекали назначенные три месяца, я отряхнул с ног прах Парижа и вернулся к Элис. Правда, первым делом нам предстояло помириться, потому что она приревновала меня к своей сестре, с которой я и впрямь очень часто виделся под конец моей парижской жизни. Надо лишь прибавить, что на достижение полного и окончательного мира ушло минут десять.

Единственным по-настоящему ценным парижским приобретением стала моя дружба с Джонатаном Стерджессом, к которому я питал большую нежность. Оказавшись много лет спустя после его смерти в Рэе, в доме Генри Джеймса, (тогда там был музей), я вдруг увидел на стене портрет Стерджесса. Мне это так разбередило душу, что из всего осмотра мне только и запомнилось, что этот портрет. Стерджесс был калекой,

наделенным тончайшей чувствительностью, человеком литературным до мозга костей и принадлежавшим к тому кругу, который, трудно назвать иначе, как американская аристократия (он приходился племянником Дж. П. Моргану). Он был невероятно остроумен. Как-то раз, когда я повел его в сад университетского совета в Тринити, он сказал: "А, это то самое место, где Джордж Элиот сказала Майерсу[1], что Бога нет, но мы все равно должны быть хорошими; а Майерс подумал и решил, что Бог есть, но можно быть и нехорошими". В Париже я виделся с ним очень часто, и это послужило началом дружбы, закончившейся лишь с его смертью. <...>

Первый брак

Мы с Элис поженились 13 декабря 1894 года. Ее предки более двухсот лет принадлежали к филадельфийским квакерам, и она оставалась верующей, входившей в Общество друзей. Поэтому венчание состоялось в квакерском собрании на Сент-Мартинс-лейн. Не помню точно, но, кажется, один из квакеров, ощутивший сошествие "внутреннего света", произнес проповедь о чуде в Кане Галилейской, чем задел чувства Элис как сторонницы трезвенности. Во время помолвки мы часто спорили на темы христианства, но повлиять на ее взгляды мне удалось лишь через несколько лет совместной жизни.

После замужества переменились и другие ее взгляды. Как всякая американка своего времени, она была воспитана в убеждении, что секс — животное начало и что счастью в браке больше всего мешает низменная мужская похоть. Физическая близость допустима, считала она, только если супруги хотят иметь детей, но так как мы не собирались их иметь, ей пришлось смягчить свою позицию. И все же она считала, что, выйдя замуж, предподчтет как можно реже вступать в интимные отношения. Я не стал переубеждать ее, но этого и не потребовалось.

До женитьбы ни у нее, ни у меня не было опыта половой жизни. И нам, как, несомненно, и другим парам, пришлось поначалу трудно. Я много раз слышал от разных людей, что из-за этого их медовый месяц превратился в пытку, но с нами ничего такого не произошло. Трудности мы воспринимали юмористически и быстро с ними справились. Однако помнится, недели через три после свадьбы я так устал от любовных подвигов, что испытывал к Элис одну лишь ненависть и не мог понять, зачем мне понадобилось жениться на ней. Но это настроение продержалось ровно столько, сколько занял переезд из Амстердама в Берлин, и больше никогда не повторялось.

Мы решили, что в первые годы после женитьбы должны повидать разные страны, и начали с того, что провели три месяца в Берлине. Там я ходил в университет, где главным образом занимался экономикой, но не оставлял работы и над диссертацией. Три раза в неделю мы посещали концерты, а также свели знакомство с социал-демократами, которые тогда считались очень опасными людьми. Леди Эрминтруд Мале, жена посла, была моей кузиной, и нас часто приглашали в посольство на обе-

1. Фредерик Уильям Майерс (1843—1901) — английский поэт, эссеист; основатель Общества психических исследований.

ды. Принимали нас очень любезно, все атташе обещали нас проведать, но никто так ни разу и не появился, а когда мы стали наносить им визиты, никого никогда не заставали дома. Мы долго не придавали этому значения, а потом вдруг выяснилось, что весь этот афронт получился из-за нашего посещения собрания социалистов, о котором Элис невзначай упомянула в разговоре с послом. Сообщила нам об этом бабушка, получившая письмо от леди Эрминтруд, но как бы ни была бабушка настроена против Элис, она тотчас встала на ее сторону. Ведь это был общественный вопрос, а по всем общественно-политическим вопросам мы могли твердо рассчитывать на их с тетей Агатой либеральную позицию.

Примерно в то же время обрели форму и мои интеллектуальные стремления. Я решил не замыкаться в рамках той или иной профессии, а писать. Хорошо помню холодный, ясный день ранней весны, я хожу по Тиргартену и строю планы. Я задумал тогда написать серию книг по философии науки: от чистой математики до физиологии, и еще одну серию — по социальным вопросам, в надежде, что обе в конце концов соединятся и образуют синтез, и теоретический, и практический. План этот был продиктован главным образом гегелевскими идеями; тем не менее впоследствии я сколько мог придерживался его. То была важная минута выбора жизненных целей.

Весной мы с Элис перебрались во Фьезоле, к ее сестре, снимавшей небольшую виллу, рядом с которой в точно такой же игрушечной вилле жил Беренсон. Потом мы путешествовали по Адриатическому побережью, делая остановки в Пезаро, Урбино, Равенне, Римини, Анконе и многих других местах. Все это вспоминается как очень счастливое время: Италия, весна, первая любовь, — в такой обстановке возликовал бы и самый большой брюзга. Мы купались в море нагишом, потом ложились на песок обсыхать — развлечение было рискованное, потому что в любую минуту мог появиться полицейский, обходивший дозором берег для проверки, не добывает ли кто соль из морской воды, уклоняясь тем самым от солевого налога. По счастью, мы ни разу не попались.

Но подошло время подумать всерьез о моей диссертации, которую я должен был к августу закончить, поэтому мы обосновались в Фернхерсте, и я впервые узнал на собственном опыте, что такое серьезная творческая работа. Полосы надежды сменялись полосами отчаяния, зато, завершив наконец диссертацию, я нимало не сомневался, что раз и навсегда покончил со всеми философскими вопросами, лежавшими в основаниях геометрии. Я не знал еще тогда, что в творческой работе и подъем духа, и его упадок одинаково обманчивы и что работа никогда не бывает ни так плоха, как кажется в плохие дни, ни так хороша, как кажется в хорошие. Диссертацию прочли Уайтхед и Джеймс Уорд, поскольку она касалась и математики и философии. До того как был объявлен окончательный результат, Уайтхед разгромил ее в пух и прах, причем совершенно справедливо, и я решил, что работа никуда не годится и можно не дожидаться официального результата, но все же сходил к Уорду просто из вежливости. У него сложилось противоположное мнение, и он расхвалил меня до небес. А на следующий день я узнал, что избран членом совета колледжа, и Уайтхед со смехом объяснил мне, что хотел воспользоваться последним случаем серьезно покритиковать мою работу, ибо другого такого больше никому не представится.

Моим первым супружеством начался период большого счастья и плодотворной работы. Душевные потрясения остались позади, и всю свою энергию я направил в интеллектуальное русло. Я много читал по математике и философии; писал кое-что свое и заложил основу для последующей работы; ездил за границу; но большую часть свободного времени отдавал серьезному чтению, главным образом историческому. После обеда мы с женой завели обыкновение читать по очереди вслух и таким образом осилили несколько многотомных классических трудов по истории. Кажется, последнее, что мы прочли таким способом, была "История города Рима" Грегоровиуса. В интеллектуальном отношении то было самое плодотворное время жизни, и я бесконечно благодарен моей первой жене за помощь. Поначалу ее испугало мое намерение тихо жить в деревне, но из-за работы я не мог от этого отказаться. Для счастья мне хватало ее общества и работы, больше ничего не требовалось. Правда, на деле мы, как правило, проводили в деревне не более полугода. Но и тогда она нередко отлучалась: произносила речи в поддержку избирательного права женщин или во славу трезвенности. Чтобы угодить ей, я зарекся пить спиртное, но по привычке оставался трезвенником и потом, когда первоначальное побуждение отпало. Я не употреблял алкоголь до первой мировой войны, когда король дал соответствующий обет. Он дал его, чтобы легче было убивать немцев, и потому между пацифизмом и потреблением спиртного я усматривал определенную связь.

Осенью 1895 года, когда прошли выборы в совет колледжа, мы вернулись в Германию, чтобы лучше познакомиться с немецкой социал-демократией. В тот приезд мы виделись только с социалистами. Познакомились с Бебелем и Либкнехтом-старшим. Либкнехт-младший (тот, кого убили сразу после войны) в ту пору был еще ребенком. Скорее всего, мы видели и его, когда обедали у его отца, но мне он не запомнился. Тогда социал-демократы были пламенными революционерами, и я по молодости лет еще не догадывался, как они преобразятся, когда придут к власти. В начале 1896 года я читал лекции о них в Лондонской школе экономики, помещавшейся тогда в Адельфи, на Джон-стрит. Полагаю, что был первым лектором, посвятившим им курс. В ту пору я и познакомился с У. А. Хьюинзом[1], под чьим серьезным влиянием находился в течение пяти лет. Питомец католической семьи, он заменил церковь Британской империей.

В ту пору я был не в пример более нервозен, чем впоследствии. Поскольку я преподавал в Школе экономики, мы поселились на Эшли-гарденс, 90, но я не мог там заниматься из-за грохота лифта и ежедневно ходил к родителям Элис на Гроувнор-роуд читать Георга Кантора[2], которого тщательно штудировал. Тогда я ошибочно полагал, что все его доказательства неверны, но тем не менее разобрал по косточкам и аккуратно законспектировал. Это сослужило мне хорошую службу, когда впоследствии я обнаружил, что ошибался не он, а я.

Когда пришла весна, мы купили в Фернхерсте маленький коттедж для рабочих, называвшийся "Ветряк", и пристроили довольно просторную гостиную и две спальни. Там прошло много чудеснейших часов мо-

1. Уильям Альберт Хьюинз (1865—1931) — английский экономист.
2. Георг Кантор (1845—1918) — немецкий математик; разработал основы теории множеств.

ей жизни: я приобрел основательные знания в интересовавших меня областях, а мои исследования специалисты оценили выше, чем я надеялся. В студенческие годы я не знал, что у меня такие хорошие способности, как оказалось потом. Помню, что мечтал как о недостижимом счастье, что когда-нибудь напишу такую работу, как Мактаггарт[1]. В те первые годы нашей с Элис совместной жизни Уайтхед мало-помалу превратился из учителя в друга. В 1890 году на первом курсе я слушал у него курс статистики. Как-то раз он попросил студентов найти в учебнике 35-й параграф, а ко мне повернулся и сказал: "Вам не надо, вы это уже знаете", — в самом деле, десятью месяцами раньше я не только процитировал этот параграф на экзамене, но даже указал его номер — он это помнил, чем навсегда покорил мое сердце.

В Англии Уайтхеда считали математиком, честь открыть его как философа выпала Америке. На многие философские вопросы мы с ним смотрели по-разному, что положило конец нашему сотрудничеству, и когда он перебрался в Америку, я, понятно, стал видеться с ним гораздо реже. Расхождения появились во время первой мировой войны, когда он совершенно не принял моего пацифизма. Надо сказать, что в наших спорах по поводу пацифизма он проявлял больше терпимости, чем я, и в том, что эти разногласия привели к охлаждению, я виноват не в пример больше него.

В самом конце войны погиб его младший сын, восемнадцатилетний юноша. То был чудовищный удар для Уайтхеда, лишь благодаря неимоверному напряжению воли он смог продолжить работу. И то, что его мысли обратились к философии и он стал искать пути преодоления чисто механистического образа Вселенной, прямо связано с пережитой им трагедией. В его философии было много непроясненного, много такого, чего я так и не сумел понять. Он всегда склонялся к Канту, которого я не любил, а когда стал развивать собственную философскую систему, выявилось, что находится под влиянием Бергсона. Его волновала идея единства Вселенной, он полагал, что оправданны только научные выводы, те, которые подтверждают это единство. Меня же темперамент увлекал в другую сторону, но вряд ли можно решить с помощью чистого разума, кто из нас ближе подошел к истине. Те, кому по душе его мировоззрение, вправе сказать, что он старался утешить простых людей, тогда как я старался разозлить философов; те, что согласны с моим взглядом на мир, могут возразить, что, пока он ублажал философов, я веселил простых людей. Как бы то ни было, каждый из нас пошел своим путем, но взаимная привязанность никогда не умирала.

Уайтхед отличался необычайной широтой интересов, а его исторические познания всегда вызывали у меня изумление. Как-то я случайно обнаружил, что такая в высшей степени серьезная и своеобразная книга, как "История Тридентского собора" Паоло Сарпи, служит ему чтением на сон грядущий. О каких бы исторических событиях ни заходила речь, он всегда мог добавить нечто неожиданное, наполнявшее их особым смыслом, вроде того, что политические взгляды Бэрка определялись его деловыми интересами в Сити или что между гуситской ересью и богемскими серебряными рудниками историки усматривают опреде-

1. Джон Эллис Мактаггарт (1866—1925) — английский философ, представитель персонализма; преподавал в Кембридже.

ленную связь. Он был наделен пленительным юмором и величайшей мягкостью. В мои университетские годы студенты называли его Херувимом; возможно, тем, кто знал его позже, это прозвище показалось бы дерзким и неуместным, но в ту пору оно ему очень подходило. Его предки священствовали в Кенте, наверное, с тех самых пор, как там высадился святой Августин[1]. Уайтхед любил вспоминать в качестве шутки, как мой дедушка, весьма страшившийся распространения в стране католицизма, заклинал его сестру никогда не отходить от англиканской церкви — в силу своей полной неправдоподобности, это опасение безумно смешило рассказчика. Богословие Уайтхеда не совпадало с ортодоксией, но что-то специфическое, сформировавшееся в детстве в доме деревенского священника, ощущалось в самом способе его мирочувствия, и это же давало себя знать в его позднейших философских работах.

Он был очень скромен — признание, что он старается превратить свои недостатки в достоинства, означало для него крайнюю степень бахвальства. Он охотно выставлял себя в смешном свете. В Кембридже жили две сестры — жеманные пожилые дамы, будто сошедшие со страниц "Кренфорда"[2], а на самом деле прогрессистки самого крайнего толка: какие бы реформы ни проводились, они всегда оказывались на переднем крае. Уайтхед не раз вспоминал, причем не без грусти, что поначалу, введенный в заблуждение их внешним видом, решил слегка их напугать — просто так, шутки ради, и сказал что-то не слишком радикальное, но все же. "Ах, мистер Уайтхед, как приятно слышать это от *вас*!" — обрадовались старушки, подчеркнув тем самым, что считали его столпом реакции.

Он обладал поистине невероятной способностью к концентрации. Как-то в жаркий летний день в Гранчестер, где мы вместе тогда жили, приехал наш общий друг Крамтон Дэвис, и я повел его в сад поздороваться с хозяином. Уайтхед сидел и писал что-то математическое. Мы с Дэвисом долго стояли и смотрели, как он испещряет символами одну страницу за другой. Он нас не видел, хотя сидел на расстоянии какого-нибудь ярда, и в конце концов мы удалились с чувством священного трепета.

Близко его знавшим постепенно становилось известно о нем много такого, что не проявлялось в более поверхностном общении. Посторонним он казался добродушным, рациональным и невозмутимым, но на самом деле вовсе не был невозмутимым и уж тем менее — бесчеловечным, иначе говоря, монстром, называемым "рациональным человеком". Глубоко и страстно любил он свою жену и детей; всегда остро сознавал насущную необходимость религии; в молодости под влиянием кардинала Ньюмена чуть было не перешел в католичество; впоследствии отчасти обрел в философии то, чего искал в религии. Как все, кто живет очень планомерно и размеренно, он имел склонность к мучительным внутренним монологам и, когда ему казалось, что его никто не слышит, распекал себя шепотом на все корки за то, что считал своими слабостями. Первые годы супружества были омрачены денежными затруднениями, страшно его тяготившими, но не отвратившими от работы — важной, а не денежной.

1. Св. Августин Кентерберийский — аббат монастыря Св. Григория в Риме; в 596 г. был отправлен папой Григорием Великим в Англию для распространения христианства, положил начало английской христианской церкви.
2. "Кренфорд" — проникнутый юмором роман Элизабет Гаскелл (1810—1865) о маленьком захолустном городке со старомодным, простодушным укладом.

Присущие ему деловые качества не находили особого применения в ту пору, когда я лучше всего знал его. Он обладал поистине удивительной проницательностью, позволявшей ему легко добиваться своего на заседаниях всяческих комитетов, что приводило в изумление тех, кто считал его человеком непрактичным, витавшим в эмпиреях. Из него мог бы получиться отличный администратор, если бы не один фатальный недостаток: его полная неспособность отвечать на письма. Как-то я послал ему письмо с математическим вопросом — ответ требовался незамедлительно для критической статьи о Пуанкаре, которую я тогда писал. Не получив ответа, я написал снова. Ответа не последовало. Тогда я отправил телеграмму. Он по-прежнему хранил молчание, и я послал вторую телеграмму, на сей раз с оплаченным ответом. В конце концов пришлось поехать к нему в Бродстайерз. Его друзья, уже знавшие эту его странность, в тех редких случаях, когда кто-нибудь из них получал от него письмо, собирались вместе и поздравляли счастливца. В свое оправдание он говорил, что, если станет отвечать на письма, не будет успевать писать свое. Этот довод представляется мне исчерпывающим и не подлежащим обсуждению.

Учителем он был совершенно замечательным: проникался личным интересом к каждому ученику, понимал и сильные, и слабые его стороны, умел извлечь лучшее, на что тот был способен. Никогда не прибегал к наказаниям, не позволял себе сарказма, не демонстрировал превосходства — не делал ничего такого, чем не преминул бы воспользоваться преподаватель более посредственный. Думаю, что у способной молодежи, попадавшей к нему в руки, он неизменно вызывал искреннюю и преданную любовь, как это было со мной.

Уайтхед с женой часто гостили у нас в деревне, а мы у них в Кембридже. Как-то раз мы остановились у тогдашнего главы колледжа Монтегю Батлера и спали в его доме на кровати королевы Анны — к счастью, всего однажды.

В 1896 году мои лекции о немецком социализме вышли в виде книги — первой моей книги. Но это не вызвало у меня воодушевления, так как я решил посвятить себя философии математики. Я переработал свою диссертацию и отдал в университетское издательство, где ее приняли к печати и выпустили в 1897-м под названием "Очерк оснований геометрии". Впоследствии я пришел к мысли, что в этой книге слишком много кантианства, но то обстоятельство, что моя первая философская работа не содержала в себе вызова дежурной ортодоксии, пошло на пользу моей репутации. В те дни в научных кругах считалось, что все критики Канта просто не доросли до понимания его идей, и чтобы опровергнуть подобную предубежденность, было полезно однажды с ним согласиться. Книга моя получила очень высокую оценку — на самом деле много более высокую, чем того заслуживала. С тех пор о каждой следующей моей книге рецензенты неизменно говорили, что она свидетельствует об упадке автора.

Осенью 1896 года мы с Элис отправились на три месяца в Америку, главным образом для того, чтобы представить меня ее родственникам. Первым делом мы побывали в доме Уолта Уитмена в Камдене, в Нью-Джерси. Оттуда мы поехали в маленький фабричный городок Миллвил, где двоюродный брат Элис, Бонд Томас, служил управляющим на стекольном заводе, давнишнем семейном предприятии. Жена Бонда Эдит

близко дружила с Элис. Согласно переписи, этот городок насчитывал 10002 жителя, но Томасы уверяли, что на самом деле жителей всего двое — они сами. Он был простая душа, а у жены имелись литературные амбиции. Она писала плохие пьесы в духе Скриба и думала, что, если бы ей удалось вырваться из Миллвила и свести знакомство с литературными знаменитостями Европы, ее талант получил бы признание. Он был рабски ей предан, а она крутила романы с мужчинами, которые казались ей более тонкими натурами, чем муж. В ту пору вокруг Миллвила расстилались девственные леса, и она любила возить меня в своей пролетке на дальние прогулки по раскисшим проселочным дорогам. Она не расставалась с револьвером, объясняя это тем, что никогда не знаешь заранее, когда он понадобится. Дальнейшие события навели меня на мысль, что все дело было в ее знакомстве с "Геддой Габлер". Когда два года спустя она с мужем гостила в нашем палаццо в Венеции, мы познакомили ее с разными писателями, и тут оказалось, что все ее творения, отнявшие столько сил и десять лет жизни, никуда не годятся. В Америку она вернулась совершенно сломленной, и следующее полученное нами известие было, что она покончила с собой: положив на грудь любовные письма мужа, выстрелила через них в сердце. Спустя какое-то время он снова женился на женщине, которая, как говорили, была вторая Эдит.

Дальше мы поехали в Брин-Мор, погостить у президента колледжа Кэри Томас, сестры Бонда Томаса. Вся семья преклонялась перед ней. Она отличалась невероятной энергией и верой в культуру, сочетая это с мужской деловитостью и безграничным презрением к сильному полу. Я познакомился с ней во Фрайдейз-хилле, перед самым ее приездом Логен сказал: "Приготовься встретиться с нашей Возлюбленной Кэри", что отражало отношение к ней всей их семьи. Я же совершенно не способен был воспринимать ее серьезно, уж очень легко она приходила в удивление. Она твердо придерживалась той непогрешимой точки зрения, что для того, чтобы написать научную работу, нужно сначала изучить всю соответствующую литературу, поэтому я торжественно заверил ее, что все главное в неевклидовой геометрии придумал до чтения литературы и, более того, именно благодаря незнанию таковой. С тех пор она всегда считала, что я просто farceur[1]. Всевозможные происшествия в дальнейшем лишь подтвердили справедливость моего мнения о ней. Например, как-то раз в Париже мы повели ее на "Орленка", и по ее репликам я понял, что она понятия не имеет о французской революции 1830 года. Я кратко пересказал ей историю Франции, а два-три дня спустя она попросила порекомендовать учебник по истории Франции, за которым по ее поручению ее секретарша отправлялась в магазин. Но в Брин-Мор Кэри играла роль Зевса Громовержца, и там все ее трепетали. Она жила со своей подругой мисс Гуинн, составлявшей почти полную ей противоположность. Мисс Гуинн, слабовольная, мягкая, ленивая, обладала хотя и небольшим, но подлинным литературным вкусом. Они дружили с ранней юности, вместе ездили в Германию, чтобы получить научную степень, что, впрочем, удалось только Кэри. Но в то время, когда мы гостили у них, их дружба уже несколько поизносилась. Мисс Гуинн проводила два уик-энда в месяц со своей семьей, и ровно в день ее отъезда обычно появлялась другая дама, по имени мисс Гаррет,

1. Шутник, балагур (*франц.*).

удалявшаяся непосредственно перед возвращением мисс Гуинн. Пока мы там гостили, мисс Гуинн влюбилась в на редкость блестящего молодого человека по имени Ходдер, преподавателя Брин-Мор. Это привело Кэри в ярость, и каждый вечер, не давая нам уснуть, она раздраженным голосом часами напролет песочила мисс Гуинн. У Ходдера были жена и ребенок и, как говорили, многочисленные интрижки со студентками колледжа. Что все же не помешало мисс Гуинн в конце концов женить его на себе. Она добилась, чтобы их венчал высокоцерковник, желая показать, что оставшаяся в Брин-Мор жена — незаконная, ведь служитель Высокой церкви никогда бы не согласился венчать разведенного. Правда, Ходдер раззвонил повсюду, что развелся, но поведение мисс Гуинн призвано было отрицать это. Измотанный беспутной жизнью, он скончался вскоре после свадьбы. Ум у него был поистине блистательный, и рассуждал он — если рядом не оказывалось женщин — замечательно интересно.

В Брин-Мор я читал лекции по неевклидовой геометрии, а Элис произносила с трибуны речи о даре материнства, дополняя их частными беседами с женщинами на тему свободной любви. Из-за этого разразился скандал, и нас буквально выдворили из колледжа. Мы перебрались в Балтимор, где я продолжал читать те же лекции в университете Джонса Хопкинса. Остановились мы у доктора Томаса, отца Кэри. Любопытные люди были эти Томасы! Один из сыновей, добившийся больших успехов в хирургии мозга, работал в клинике при "Джонсе Хопкинсе"; дочь Элен, имевшая несчастье быть глухой, — в Брин-Мор. Ласковая, добрая, с дивными рыжими волосами — я несколько лет был влюблен в нее, в 1900 году это чувство дошло до апогея. Раза два я просил ее поцеловать меня, но она не соглашалась. В конце концов она вышла замуж за Саймона Флекснера, директора Рокфеллеровского института медицинской профилактики. Мы оставались добрыми друзьями, хотя под конец ее жизни виделись редко. У доктора Томаса была еще одна дочь — благочестивая и правоверная квакерша, неизменно именовавшая всех неквакеров "люди мира сего". Члены семьи постоянно употребляли церковные обороты и обращались ко всем на "ты", так же разговаривали друг с другом и мы с Элис. Иные из квакерских доктрин показались бы диковинными стороннему человеку. Помню, как моя теща объясняла, что в силу своего воспитания считает "Отче наш" "подставной" молитвой. В первую минуту от подобного замечания нельзя было не обомлеть, но она объясняла, что "подставным" называется все, что исходит от неквакеров, в отличие от квакеров, а значит, таковы любые готовые формулы, ибо молитвы должны вдохновляться Святым Духом, и, следовательно, "Отче наш", будучи готовой формулой, — молитва "подставная". Как-то в другой раз она уведомила всех обедавших, что в силу все того же данного ей воспитания не почитает Десять заповедей, ибо они тоже "подставные". Не знаю, остались ли еще квакеры, которые столь истово веруют в водительство Святого Духа, что не чтут Десять заповедей, — я таких в последнее время не встречал. Конечно, не стоит думать, что добродетельные последователи этой секты только и делают, что нарушают заповеди. — Святой Дух призрит на своих верных, но за пределами квакерских общин такие доктрины могут иметь не столь безобидные последствия. Помнится, как, описывая в своей брошюре всяческие известные ей отклонения от нормы, моя теща озаглавила один из разде-

лов, по прочтении которого становилось ясно, что речь идет о прелюбодеянии, — "Божественное водительство".

Я обнаружил, что семьи коренных филадельфийских квакеров наделены теми же чертами, что и выродившаяся провинциальная аристократия. Дряхлые скряги под девяносто сидели на своих кубышках, как собаки на сене, а их шестидесятилетние и семидесятилетние отпрыски со всем возможным терпением дожидались их смерти. Разнообразные психические расстройства скорее были нормой, чем исключением из правила. Те, что числились в здоровых, нередко отличались чрезвычайным скудоумием. В Филадельфии жила тетка Элис, сестра отца, очень богатая и придурковатая старая дева. Она весьма расположилась ко мне, но почему-то у нее зародилось смутное подозрение, что я не *по-настоящему* верю в то, что мы спасемся кровью Господа нашего Иисуса Христа. Не знаю, откуда взялась эта фантазия, — я, со своей стороны, не говорил ничего, что могло бы заронить в нее эту мысль. В День Благодарения мы пришли к ней на обед. Невероятно прожорливая старуха закатила пиршество, рассчитанное на раблезианские желудки, но едва мы прикоснулись к столовым приборам, сказала: "Остановимся на минутку и вспомним бедных", — надо полагать, для нее это было все равно что острая, возбуждавшая аппетит закуска. Два ее племянника, жившие по соседству и ежевечерне являвшиеся к ней на поклон, полагали несправедливым, чтобы племяннику и племянницам, живущим в Европе, досталась после ее смерти такая же доля наследства, как им. Она же любила прихвастнуть своими европейскими родственниками и давала понять, что уважает их больше, чем тех, кого можно постоянно изводить. Короче говоря, "европейцы" ничего не потеряли оттого, что находились далеко.

В ту пору Америка была страной редкостного простодушия. Куча народу просила меня объяснить, за что посадили Оскара Уайльда. В Бостоне мы остановились в пансионе, который держали две пожилые квакерши, и за завтраком одна из хозяек громко, через весь стол, обратилась ко мне: "Последнее время что-то совсем не видно Оскара Уайльда, скажите, что он поделывает?" — "Сидит в тюрьме", — ответил я, радуясь, что она спрашивает, что поделывает, а не что сделал. В те дни я смотрел на Америку с самодовольным превосходством островного британца. Однако, пообщавшись с американскими учеными, особенно с математиками, не мог не осознать, как сильно повлияла на них Германия, опередившая Англию почти по всем научным направлениям. Чем дольше я путешествовал, тем поневоле становилась меньше моя уверенность в том, что все достойное знания исходит из Кембриджа, и в этом смысле поездки принесли мне большую пользу.

О 1897 годе я помню очень мало — главным образом, что тогда вышли из печати мои "Основания геометрии". Помню также, как меня обрадовало восторженное письмо по поводу моей книги от Луи Кутюра́[1], с которым я в ту пору не был знаком, но чью работу "Математическая бесконечность" рецензировал. Я мечтал, что буду получать хвалебные письма от неизвестных мне иностранцев, и письмо Кутюра было первым в таком роде. Он описывал, как продирался через мою книгу "armé d'un dictionnaire"[2], потому что не знал английского языка. Вскоре я поехал в

1. Луи Кутюра (1868–1914) — французский философ; известен трудами в области теории познания и логики, один из основателей современной математической логики.
2. Вооружившись словарем (*франц.*).

Канн, где он профессорствовал. Он не ожидал, что я так молод, но это не помешало нам сблизиться и дружить до самой его смерти, последовавшей в 1914 году: он погиб под колесами грузовика во время всеобщей мобилизации. В последние годы его жизни мы почти не виделись, потому что он с головой ушел в разработку международного языка идо, которому отдавал предпочтение перед эсперанто. Он рассказывал, что за всю человеческую историю никто не подвергался таким гонениям, как эсперантисты, но от слова "эсперанто" хотя бы можно образовать производное — "эсперантист", а от "идо", сокрушался он, даже имени носителя нельзя образовать. Я тут же нашелся, предложив ему "идиот", но почему-то это ему не очень понравилось. Вспоминается, как в жуткую июльскую жару 1900 года мы сидели за ланчем в Париже. Миссис Уайтхед, у которой было слабое сердце, упала в обморок, и пока Кутюра ходил за sal volatile[1], кто-то открыл окно. Вернувшись, он решительно затворил его, приговаривая:"De l'air, oui, mais pas de courant d'air"[2]. Вспоминается также, как в 1905 году в Париже он пришел ко мне в гостиницу повидаться, и мистер Дэвис и его дочь Маргарет — отец и сестра Крамтона и Теодора Дэвисов — сидели и слушали его. А он говорил, говорил без умолку минут тридцать и вдруг подвел итог: "Тот, кто по-настоящему умен, держит язык за зубами", и тут мистер Дэвис, несмотря на свои восемьдесят лет, бросился вон из номера, но все равно слышно было, как он хохочет в коридоре. Какое-то время Кутюра был страстным приверженцем моих идей в области математической логики, но ему недоставало осмотрительности в спорах, и во время моего долгого противоборства с Пуанкаре мне порой приходилось туго: защищать нужно было не только себя, но и Кутюра. Лучшая его работа посвящена логике Лейбница. Поскольку Лейбниц хотел слыть человеком с достатком, печатающимся не для заработка, он публиковал лишь второразрядные свои сочинения, и все главные его труды остались в рукописях. Впоследствии публикаторы печатали только то, что *им* казалось ценным, и, таким образом, основные его сочинения пребывали в безвестности. Первым их откопал Кутюра. Понятное дело, меня это очень обрадовало, потому что тем самым я получил документальное подтверждение правильности той интерпретации Лейбница, которая содержалась в моей книге о нем и которая без работы Кутюра осталась бы бездоказательной. В первый же день, когда мы познакомились, он объявил мне, что не занимается "le sport". И когда я чуть позже спросил его, ездит ли он на велосипеде, он сказал: "Да нет же, я же сказал, что не занимаюсь спортом". Мы переписывались много лет — письма, которые я посылал ему в начале англо-бурской войны, были проникнуты империалистическим духом, о чем я теперь весьма сожалею.

С 1898 по 1902 год мы с Элис обычно проводили часть года в Кембридже. В ту пору я начал понемногу выбираться из пучины немецкого идеализма, куда погрузился из-за Мактаггарта и Стаута. Мне очень помог в этом Мур[3], с которым мы тогда много общались. Какое это было наслаждение после нескольких лет неверия в реальность чувственного мира вновь поверить, что столы и стулья и впрямь существуют! Причем

1. Нюхательная соль (*франц.*).
2. Свежий воздух — это конечно, но не сквозняк (*франц.*).
3. Джордж Эдвард Мур (1873—1958) — английский философ, зачинатель неореалистического направления в философии.

главный интерес для меня представляла логическая сторона дела. Приятно было думать, что отношения реальны, и хотелось выяснить, грозит ли катастрофой метафизике допущение, что все суждения имеют субъектно-предикатную форму. Лейбница я стал читать случайно: в колледже объявили курс по нему, а Мактаггарт собрался ехать в Новую Зеландию, и меня попросили прочесть этот курс вместо него. Изучив Лейбница и его критиков, я смог проиллюстрировать свой подход к логике, к которому пришел главным образом благодаря Муру.

Мы с Элис две осени подряд ездили в Венецию, с тех пор я знаю там чуть ли не каждый камень. Со дня моей свадьбы и до начала первой мировой войны, пожалуй, не проходило года, чтобы я не побывал в Италии. Я исходил ее пешком, объездил на велосипеде, как-то раз плавал у ее берегов на трамповом судне, заходившем в каждый порт между Венецией и Генуей. Особенно по душе мне были маленькие, труднодоступные городки и горные виды в Апеннинах. Но разразилась первая мировая война, и так случилось, что я вернулся в Италию лишь в 1949 году. В 1922 году я собирался туда на конгресс, но Муссолини, тогда еще не совершивший свой coup d'état[1], послал предупреждение организаторам, что хотя, пока я буду в Италии, с моей головы не упадет ни волоса, всех итальянцев, замеченных в общении со мной, предадут смерти. Я не желал оставлять за собой кровавый след и перестал ездить в осквернённую им страну, как ни любил ее.

Летом 1899 года я последний раз виделся с Салли Фэрчайлд. Следующая наша встреча состоялась лишь в 1940-м, когда мы уже состарились и только и могли что гадать, отчего в былые времена так нравились друг другу. Обедневшая аристократка из Бостона, с которой я познакомился в 1896 году во время своего визита в этот город, она не была писаной красавицей с безупречными чертами лица, но ни у кого больше я не встречал такой грации и легкости движений. Путь ее был буквально устлан сердцами поклонников. Она часто повторяла, что легче легкого догадаться, к чему клонит англичанин, если говорит: "Родитель, конечно, у меня того, но я считаю, вы сговоритесь", — это он делает предложение. Второй раз я встретил ее в Рашморе, в загородном доме у моего дяди, генерала Питт-Риверса, где она гостила с матерью. За исключением самого генерала, все остальные члены семьи — кто больше, кто меньше — страдали помрачением рассудка. Миссис Питт-Риверс, урожденная Стэнли, превратилась в патологическую скопидомку: если кто-нибудь из гостей не доедал яичницу с беконом, она норовила переложить объедки обратно на блюдо. Ее старший сын, гвардеец, лощеный и благовоспитанный, неизменно опаздывал к завтраку и, появившись, звонил в колокольчик, чтобы ему подали горячее. Тетка, слыша, как он отдает распоряжения дворецкому, начинала кричать, что ничего не надо приносить, после гостей и так осталось много недоеденного. Дворецкий даже бровью не вел в ее сторону и спокойно выполнял приказы гвардейца. В семье был еще один сын, художник — "безумный и порочный, но веселый"[2]. Третьему, славному, но никчемному малому, посчастливилось жениться на портнихе Элспет Фелпс и тем самым избежать нищеты. Но самой интересной фигурой в семье был Сент-Джордж, один из первых

1. Государственный переворот (*франц.*).
2. Цитата из поэмы Роберта Браунинга (1812–1889) "Смерть в пустыне".

изобретателей электричества, бросивший свои опыты ради эзотерического буддизма и отправившийся в Тибет общаться с махатмами. По возвращении он узнал, что Эдисон и Сванн уже используют электрическое освещение, счел это нарушением своего патентного права и затеял целую серию бесконечных тяжб, которые постоянно проигрывал, так что в конце концов остался банкротом, в чем увидел лишнее подтверждение справедливости буддистской истины, что нужно освобождаться от земных желаний. Моя бабушка Стэнли обычно заставляла его играть с ней в вист и, когда наступала его очередь сдавать карты, всегда приговаривала: "Очень хорошо, что тебе сейчас сдавать, — немного согрешишь, уж очень ты праведный". Праведность и деловая сметка были в нем сбалансированы в идеальной пропорции. Сент-Джордж влюбился в Салли Фэрчайлд и пригласил ее с матерью в Рашмор. Еды там, как всегда, было в обрез, и однажды за завтраком Салли и художник даже вступили в единоборство: каждый тянул к себе последнюю тарелку рисового пудинга, — к сожалению, верх взял художник. В день отъезда Салли сказала, что едет таким-то поездом, но миссис Питт-Риверс настояла, чтобы по дороге на станцию она осмотрела знаменитые развалины и села на более поздний поезд. Салли попыталась искать защиты у Сент-Джорджа, и поначалу он даже обещал заступничество, но когда дошло до дела, сбился на проповедь о тщете человеческих желаний, что и решило судьбу его сватовства — она ему отказала (впоследствии он женился на леди Эдит Дуглас, сестре лорда Альфреда, но брак был расторгнут по причине его импотенции). Летом 1899 года Фанни долго жила во Фрайдейз-хилле, и в конце концов я очень к ней привязался. Тогда я не понимал, что влюблен, даже руку ей ни разу не поцеловал, но со временам осознал, как много она значила для меня. Помню, словно это было вчера, как мы долго гуляли светлыми летними сумерками, ничем не выдавая своих чувств, в соответствии со строгими моральными предписаниями того времени.

Осенью 1899 года разразилась англо-бурская война. В то время я был либералом-империалистом и поначалу бурам нисколько не сочувствовал. Поражения Британии внушали мне немалую тревогу, я не мог ни о чем думать, кроме новостей с театра военных действий. Жили мы тогда в "Ветряке", и днем я проделывал четыре мили пешком до станции за вчерашним выпуском вечерней газеты. Элис как американка довольно прохладно воспринимала происходящее и сердилась, что меня это так занимает. Когда буры стали проигрывать, мой интерес к войне поубавился, а в 1901 году я уже поддерживал буров.

В 1900 году вышла из печати моя книга "Философия Лейбница", а в июле того же года я отправился в Париж, которым открылась новая глава моей жизни. <...>

Principia Mathematica

В июле 1900 года в Париже состоялся Международный философский конгресс, приуроченный к проходившей там Всемирной выставке. Мы с Уайтхедом решили поехать на конгресс, тем более что из оргкомитета я получил приглашение прочесть доклад. Из-за знаменитого математика Бореля наш приезд имел характер небольшой военной кампании. Кэри Томас попросила Элис привезти в Париж двенадцать пустых

чемоданов, которые она оставила в Англии, а Борель обратился к Уайтхеду с просьбой взять с собой его племянницу, работавшую в Англии учительницей. На Северном вокзале нас собралось довольно много, но багажную квитанцию нам выдали всего одну. Багаж племянницы прибыл очень быстро, наш — тотчас следом, затем появилось одиннадцать чемоданов Кэри, но двенадцатого, последнего, все не было и не было. Мы стояли и ждали, и тут Борель, потеряв всякое терпение, вырвал у меня из рук квитанцию и умчался с перрона, увлекши за собой племянницу с ее единственным баулом, а нас оставив на произвол судьбы: без квитанции мы не могли вынести ни наш багаж, ни чемоданы Кэри. Тогда мы с Уайтхедом подняли наши чемоданы, как тараны, и пробили ими цепь оторопевших контролеров, так что маневр удался.

Конгресс стал поворотной точкой в моей профессиональной жизни, потому что там состоялось мое знакомство с Пеано[1]. Заочно, по работам я знал его и раньше, но не потрудился изучить предложенную им символику. Во время прений я обратил внимание на точность аргументации, выгодно отличавшую его от других выступающих, он брал верх в любом споре, который затевал. По некотором размышлении я пришел к выводу, что дело, должно быть, в применяемом им логическом аппарате. Поэтому я попросил у него все его статьи и после конгресса уединился в Фернхерсте, чтобы спокойно вникнуть в каждое слово, написанное им и его учениками. Вскоре стало совершенно ясно, что его символика и есть тот самый инструмент, который я искал в течение многих лет и благодаря которому получал в свое распоряжение новый замечательный аппарат и мог взяться за логическое исследование, о котором давно мечтал. К концу августа я уже досконально изучил все работы его школы. Сентябрь был посвящен применению его методов к логике отношений — теперь, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что весь тот месяц стояла мягкая, солнечная погода. В Фернхерсте с нами тогда жили Уайтхед и его жена, и я ежедневно делился с ним моими новыми идеями. Каждый вечер обсуждение упиралось в новое, неожиданное препятствие, и каждое утро выяснялось, что вчерашнее препятствие само собой разрешилось во сне. То было время настоящего интеллектуального опьянения. Нечто похожее испытывает альпинист, когда взбирается по склону в густом тумане, а на вершине туман внезапно рассеивается, и все становится видно на сорок миль вокруг. Годами я пытался проанализировать понятия, лежащие в основании математики, такие, как порядок и кардинальные числа. И вдруг за какие-нибудь несколько недель я, как казалось, нашел ясные ответы на вопросы, мучившие меня долгие годы. Причем в процессе поиска этих ответов я вводил новую математическую технику, позволявшую отвоевать у философской расплывчатости целые области, придав им точность математической формулы. Сентябрь 1900 года был зенитом моей интеллектуальной жизни. Я говорил себе, что наконец-то сделал нечто стоящее; кстати сказать, у меня появился страх за себя: чувство, что нужно беречься и не попасть под колеса, пока я не дописал все до конца. Я послал статью с изложением своих идей Пеано, в его журнал. А в начале ноября принялся за "Основания математики", к написанию которых приступал уже не раз, но неудачно. Третья, четвертая, пятая и шестая части были потом опубликованы в

1. Джузеппе Пеано (1858–1932) — итальянский математик; ввел в употребление простую математическую символику, получившую широкое распространение.

том виде, в каком вышли из-под моего пера осенью 1900 года. Я написал тогда также первую, вторую и седьмую части, но их потом пришлось переделывать, так что книга приобрела окончательный вид лишь в мае 1902 года. В ту пору, в течение октября, ноября и декабря, я писал по десять страниц ежедневно и завершил рукопись в последний день века, как раз чтобы успеть отправить хвастливое письмо Элен Томас о том, что сегодня дописал книгу в 200 000 слов.

Как ни странно, с концом века настал конец и моему чувству триумфа, и с той поры начались и уже никогда не прекращались периоды интеллектуальной и эмоциональной угнетенности, переходившей порой в черную тоску.

На весенний триместр 1901 года мы вместе с Уайтхедами сняли дом профессора Мейтланда в Даунинг-колледже, а сам профессор поехал на Мадейру поправлять расстроенное здоровье. Его экономка сообщила нам, что он "вконец высох, а все из-за сухарей — ничего, кроме них, в рот не брал", но, полагаю, это не совсем точно отражало медицинскую суть дела. Миссис Уайтхед на глазах превращалась в хроническую больную, все учащавшиеся у нее сердечные приступы сопровождались острой болью. Мы трое, Уайтхед, Элис и я, страшно беспокоились о ней. Уайтхед не только бесконечно любил ее, но и был совершенно не приспособлен к жизни: как мы понимали, он вряд ли смог бы серьезно работать, оставшись один. Как-то вечером в Ньюнем приехал Гилберт Марри[1] почитать отрывки из своего тогда еще не опубликованного перевода "Ипполита". Мы с Элис пошли его послушать, и меня очень взволновали прекрасные стихи. Возвратившись, мы застали миссис Уайтхед в страшных мучениях, в тот день у нее случился какой-то особенно сильный приступ. Казалось, она была отрезана от остального мира стеной боли, и вдруг на меня навалилась страшная тоска: я понял, как безысходно одинока каждая человеческая душа. Со времени женитьбы моя эмоциональная жизнь протекала ровно и гладко; довольствуясь поверхностной игрой ума, я забыл о существовании более важных предметов. Внезапно словно земля разверзлась под ногами, мысленно я перенесся в совсем иные сферы. За какие-нибудь пять минут я успел понять примерно следующее: человеческое одиночество невыносимо; ничто не может сквозь него прорваться, кроме любви того высочайшего накала, какую проповедуют религиозные учителя; все, что идет не от нее, либо приносит вред, либо, в лучшем случае, не помогает; значит, войны бесполезны; закрытые школы омерзительны; от применения силы надо отказаться; а отношения между людьми нужно строить так, чтобы проникнуть в самую сердцевину человеческого одиночества и воззвать к нему. В комнате был младший сын Уайтхедов, мальчик лет трех, на которого я никогда прежде не обращал внимания, как и он на меня. Нужно было увести его, чтобы он не теребил мать, и без того терзавшуюся болью. Я взял его за руку — он охотно повиновался, сразу успокоился, и мы ушли. С тех пор и до самой смерти, постигшей его в 1918 году на войне, мы оставались друзьями.

За пять минут я стал совсем другим человеком. Некоторое время потом я еще ощущал нечто вроде мистического озарения. Мною владело чувство, будто я знаю самые сокровенные мысли всех попадавшихся на пути прохожих, и хотя это, несомненно, было иллюзией, я и в самом де-

1. Гилберт Марри (1866–1957) — английский ученый-классик, известен своими переводами античных трагедий.

ле стал гораздо ближе ко всем моим друзьям и знакомым. Из империалиста я за пять минут превратился в пацифиста и сторонника буров. В течение многих лет я превыше всего ценил точность и аналитичность и вдруг воспылал полумистическим восторгом перед красотой, преисполнился сильнейшим интересом к детям и загорелся, подобно Будде, величайшим желанием создать философию, способную облегчить человеческую жизнь. Голова горела как в лихорадке, к страданиям примешивалась доля торжества — я ощущал, что могу, совладав с ними, превратить их, как я надеялся, во врата мудрости. Когда пережитое мной просветление — как я считал, мистической природы — почти совсем рассеялось, во мне заговорила застарелая привычка к аналитическому мышлению. И все же многое из того, что я тогда ощутил как откровение, осталось со мной навсегда: отношение к первой мировой войне, интерес к детям, равнодушие к мелким неприятностям, особая эмоциональная тональность, которой с тех пор окрашено мое общение с другими людьми, — все это оттуда.

В конце весеннего триместра мы с Элис вернулись в Фернхерст, и я засел за логическую дедукцию математики, которая потом превратилась в "Principia Mathematica". Мне казалось, что работа уже близка к завершению, но в мае начался интеллектуальный спад, не менее мучительный, чем спад эмоциональный, пережитый мной в феврале. Как доказал Кантор, самого большого числа не существует, но мне казалось, что число всех предметов в мире должно быть самым большим из возможных. Я изучил канторовское доказательство с максимальной тщательностью и попробовал применить его к классу всех существующих предметов. Что заставило меня рассмотреть классы, которые не являются классами самих себя, и задаться вопросом, является ли класс таких классов членом самого себя. Я обнаружил, что в каждом из ответов содержится противоречие. Сначала мне показалось, что я легко смогу его разрешить и что скорее всего в рассуждении допущена элементарная ошибка. Но постепенно стало ясно, что все гораздо серьезнее. Такое противоречие уже обнаружил Бурали-Форти, открывший, что логический анализ сродни древнегреческому парадоксу Эпименида Критского: все критяне — лжецы. Парадокс, по существу подобный парадоксу Эпименида, можно воспроизвести, дав человеку лист бумаги, на одной стороне которого написано: "Утверждение на другой стороне этого листа ложно". Перевернув его, человек читает: "Утверждение на другой стороне этого листа истинно". Казалось бы, смешно взрослому человеку тратить время на такие забавы, но что оставалось делать? Что-то было неверно, коль скоро на основании обычных предпосылок нельзя избежать подобных противоречий. Тривиальная или нетривиальная, задача требовала решения. Примерно с июля и почти до конца 1901 года я надеялся, что решение будет найти легко, но перед Новым годом уже знал, что потребуется огромная работа. Поэтому я решил дописать "Основания математики", оставив эту задачу на потом. Осенью мы с Элис возвратились в Кембридж, где мне предстояло читать двухтриместровый курс математической логики. В этих лекциях содержался общий очерк "Principia Mathematica", но никакого метода для разрешения противоречий не предлагалось.

Примерно в то время, когда я дочитывал эти лекции и мы вместе с Уайтхедами уже перебрались в гранчестерский Милл-хаус, накатила еще

худшая беда. Как-то днем я решил прокатиться на велосипеде; внезапно на проселочной дороге меня пронзила мысль, что я больше не люблю Элис. До этой минуты мне и в голову не приходило, что мое чувство к ней выдохлось. Такое открытие не могло не повлечь за собой самые серьезные последствия. Со времени нашей свадьбы у нас с Элис все было общее: мы спали в одной постели, имели общую гардеробную, рассказывали друг другу обо всем случившемся. Она была пятью годами старше, и я привык смотреть на нее как на человека более практичного и мудрого житейски и потому передоверил ей многие обыденные дела. Я знал, что она по-прежнему привязана ко мне, да и не хотелось быть жестоким, но в ту пору я придерживался мнения (скорее всего ложного, как показал последующий жизненный опыт), что настоящая близость не терпит лжи. Да и ясно было, что я не смогу сколько-нибудь долго притворяться, что люблю ее, как раньше, ибо исчез естественный позыв к физической близости, и одного этого было довольно, чтоб обнаружились мои подлинные чувства. Во время этого кризиса дало себя знать резонерство, унаследованное мною от отца: чтобы оправдаться в собственных глазах, я стал вспоминать все недостатки Элис. Я не сразу сказал ей, что разлюбил ее, но, конечно, она сама почувствовала неладное. Несколько месяцев она отсутствовала — уезжала лечиться тишиной и покоем, а когда вернулась, я начал с заявления, что хочу перебраться в отдельную комнату, а кончил признанием, что мое чувство к ней умерло, причем пытался, как и в разговорах с самим собой, списать все на ее характер.

Хотя задним числом я стыжусь этой неприглядной казуистики, предъявленный мной счет имел под собой определенные основания. Из-за того, что Элис пыталась жить святее и безгрешнее, чем это в силах человеческих, дело нередко доходило до фальши. Как и ее брат Логен, она не чужда была каверзности: ей нравилось сталкивать людей и заставлять их думать друг о друге гадости; действовала она бессознательно, но с инстинктивной тонкостью. Она умела так похвалить человека, что похвала была опасней брани, при этом не понимавшие, что к чему, слушатели восторгались ее великодушием. Злокозненность зачастую толкала ее на ложь. Так, она внушала миссис Уайтхед, что я не выношу детей и уайтхедовских малышей следует держать от меня подальше. А мне она говорила, что миссис Уайтхед — плохая мать и уделяет недостаточно внимания собственным детям. Пока я ехал по проселочной дороге, в памяти всплыла целая куча подобных эпизодов; я понял, что она далеко не святая, как мне всегда казалось. Однако я зашел слишком далеко в своем гневе и позабыл, как велики были ее достоинства.

Отчасти эта перемена чувств объяснялась тем, что я стал замечать в ней (хотя и в сглаженной форме) черты, которые отталкивали меня в ее матери и брате. Элис безмерно почитала свою мать, преклонялась перед ней и как перед воплощенной праведностью, и как перед кладезем мудрости. Надо сказать, что так к ней относились очень и очень многие, и в том числе Уильям Джеймс. Я же, напротив, постепенно пришел к убеждению, что не знаю никого хуже нее. Своего мужа, к которому она испытывала презрение, она безмерно унижала, никогда не говорила с ним или о нем иначе как с нескрываемым пренебрежением. Невозможно отрицать, что человек он был неумный, но такого отношения, как позволяла себе она, все же не заслуживал, да и никто, в ком была хоть капля милосердия, ничего подобного бы себе не разрешил. Он завел лю-

бовницу, но из лучших побуждений старался скрыть это от жены. Письма этой женщины он обычно рвал и бросал в корзину для бумаг. Но жена складывала обрывки и, давясь от смеха, зачитывала вслух Элис и Логену. После кончины старика она продала его вставную челюсть. Она отказалась выполнить его предсмертную просьбу — подарить от его имени пять фунтов садовнику. (Все мы сложились, чтобы собрать эту сумму, все, кроме нее.) То был единственный случай, когда Логен не мог не ужаснуться ее бессердечию, которое довело его до слез; впрочем, очень скоро он вернулся к своему обычному обожанию. Вот что она написала, когда ему было три с половиной месяца от роду:

У нас с Логеном сегодня состоялось первое настоящее сражение, из которого он вышел победителем, о чем, полагаю, не догадывается. Я отхлестала его так, что не осталось живого места, его уже и впрямь некуда было бить, и все же он не сдался. Тем не менее надеюсь, что это послужит ему уроком.

И послужило — ей больше не пришлось избивать его до крови. И ему, и остальным своим детям она внушила, что все мужчины — скоты и идиоты, а женщины — святые и ненавидят половую близость; немудрено, что Логен, как легко было предвидеть, стал гомосексуалистом. Ее феминизм дошел до таких степеней, что даже Бога ей было трудно почитать, — ведь Он был мужского рода. Проходя мимо паба, она неизменно восклицала: "Твои дела, о Господи!", ибо, будь Создатель женщиной, на свете не появилась бы такая скверна, как спиртное.

Я еле сдерживался, когда Элис поддерживала мать. Как-то, помню, Фрайдейз-хилл собрались сдать внаем, и будущие жильцы прислали письмо, желая выяснить, производилась ли санинспекция канализационных труб. Все мы сидели за чаем, когда мать Элис заявила, что, хотя никакой санинспекции не было, она ответит, что была. Я возмутился, но Элис и Логен шикнули на меня, как на расшумевшегося ребенка, который не понимает, с кем вступает в спор. Порой я пытался поговорить с Элис о матери, но разговора не получалось. Однако в конце концов ужас, который внушала мне эта особа, хоть и в малой степени, но все же передался ее почитателям, не исключая Элис.

Самые тяжелые дни в жизни я провел в Гранчестере.

Моя спальня выходила окнами на мельницу, и неумолчный шум воды сливался в единое целое с владевшим мной отчаянием. Долгими ночами я лежал без сна, вслушиваясь сначала в соловьиное пение, потом — в утренние птичьи хоры, а на рассвете смотрел в окно на восход солнца, пытаясь найти утешение в красоте мира. Я страдал от непереносимого чувства одиночества, того самого одиночества, в котором годом раньше распознал суть человеческого существования. Один бродил я по полям вокруг Гранчестера, и чудилось, что колеблющиеся под ветром ивы белыми изнанками листочков шлют мне привет из какого-то мирного края. Я читал религиозные сочинения, вроде "Святости смерти" Тейлора, в надежде отыскать там нечто такое, что дает их авторам поддержку, даруемую верой и не зависящую от религиозной догмы. Я пытался найти себе прибежище в чистом созерцании; начал писать "Вероисповедание свободного человека", и лишь ритмический рисунок складывавшихся в строчки слов приносил заметное успокоение.

Во время написания "Principia Mathematica" наши с Уайтхедом отношения складывались трудно и напряженно. Со стороны Уайтхед выглядел спокойным, разумным, рассудительным, но, узнав его ближе, вы понимали, что это не более чем фасад. Как и у других невероятно сдержанных людей, его самообладание порой давало сбои, отнюдь не свидетельствовавшие о здоровье. Незадолго до встречи с миссис Уайтхед он уже было совсем собрался перейти в католичество, но в последнюю минуту удержался от этого шага из любви к будущей жене. Терзаемый страхом перед нищетой, он пытался побороть его самым неразумным способом: сорил деньгами направо и налево, чтобы убедить себя, что ему любые траты по карману. Пугая жену и слуг, бормотал проклятия по собственному адресу и осыпáл себя ужасными упреками или порой молчал по нескольку дней кряду, ни единым словом ни на что не отзываясь. Миссис Уайтхед жила в постоянном страхе за его рассудок. Оглядываясь на прошлое, я полагаю, что опасность была не так велика, как ей представлялось в силу присущего ей мелодраматизма, и все же то была вполне реальная угроза, пусть и несколько преувеличенная. Она говорила со мной совершенно откровенно, и мне ничего не оставалось, кроме как объединить наши усилия ради того, чтобы спасти его разум. Все это не отражалось на его работе, но порою чувствовалось, что подобная выдержка превосходит человеческие силы и в любую минуту у него может произойти срыв. Миссис Уайтхед то и дело находила астрономические счета от кембриджских торговцев, но не решалась признаться мужу, что платить ей нечем, из страха, что это выведет его из равновесия. Обычно я старался наскрести необходимую сумму и тайно передать ей. Мне было отвратительно обманывать Уайтхеда — страшно подумать, какое бы он испытал унижение, дознайся он о происходящем. Но его семье необходимо было на что-то жить, необходимо было писать "Principia Mathematica", и я не видел, как иначе достичь желаемого. Я жертвовал все, что получал со своего капитала, а порой и залезал в долги, но до 1952 года никому и словом не обмолвился об этом.

Между тем Элис чувствовала себя еще несчастнее меня, и ее несчастье лишь усугубляло мое собственное. Раньше мы подолгу жили с ее родственниками, но я объявил, что больше не в состоянии выносить ее мать и что мы должны уехать из Фернхерста. Лето мы провели неподалеку от Бродвея в Вустершире. Страдания прибавили мне сентиментальности, я стал слагать в уме фразы вроде "Наши сердца превратились в урны с прахом разбитых надежд" и снизошел до чтения Метерлинка. Но прежде, несмотря на острый душевный кризис и ощущение полной безысходности, я закончил "Основания математики". Это произошло 23 мая. Потом в Бродвее я занимался математической обработкой того, что впоследствии превратилось в "Principia Mathematica". Я принял все меры, чтобы обеспечить участие Уайтхеда в этом этапе работы, но то неподлинное, неискреннее, сентиментальное состояние, в которое я позволил себе погрузиться, сказалось даже на моих математических занятиях. Помню, что послал Уайтхеду черновик первых нескольких страниц и в ответ получил следующий вердикт: "Все, даже предмет книги, принесено в жертву желанию сделать доказательства покороче и поаккуратнее". Этот изъян книги — прямое следствие моего душевного изъяна.

В начале осени мы переехали на Чейн-уок, где сняли дом на полгода, и жизнь стала несколько более приемлемой. Мы общались со множест-

вом людей, среди которых попадались и остроумные, и милые, и начали понемногу вылезать из собственной скорлупы, но все это мало что меняло. Пока мы с Элис оставались в одном доме, она время от времени появлялась у меня в спальне в ночной рубашке и молила провести с ней ночь. Порой я соглашался, но лучше бы не делал этого. Так продолжалось девять лет — все эти годы она надеялась меня вернуть и ни разу не посмотрела на другого мужчину; все эти годы и у меня не было интимных отношений с другой женщиной. Раза два в год я пытался восстановить нашу супружескую близость в надежде утолить ее горе, но тщетно — Элис утратила для меня привлекательность. Сейчас, думая об этом времени, я понимаю, что нужно было уехать гораздо раньше — нельзя было нам так долго жить под одной крышей, но она не хотела разъезжаться и даже грозила самоубийством, если я ее оставлю. А так как у меня не было женщины, к которой я хотел бы уйти, то думалось: почему не пойти ей навстречу и не сделать как она просит?

Лето 1903 и 1904 годов мы провели в Чарте и Тилфорде. У меня вошло в привычку между одиннадцатью и часом ночи бродить по лугу, благодаря чему я научился различать три вида криков козодоя (большинству людей известен лишь один): я упорно искал, как разрешить логическое противоречие, о котором рассказывал выше. Каждое утро я садился за стол, где меня ждал чистый лист бумаги. Целый день, не считая небольшого перерыва на ланч, я сидел перед все тем же чистым листом. Наступал вечер, а лист нередко оставался чистым. Зимой, пока мы жили в Лондоне, я не пытался работать, но два лета 1903 и 1904 годов остались в памяти как время полного интеллектуального тупика. Было ясно, что двигаться дальше, не разрешив эти противоречия, нельзя, а я дал себе слово, что никакие трудности не помешают мне довести до конца "Principia Mathematica", и похоже было, что вся оставшаяся жизнь уйдет на созерцание чистого листа бумаги. Особенно раздражало то, что противоречия тривиальны и время уходит вроде бы на игру в бирюльки.

И все же не стоит думать, что я только и делал, что изнурял себя интеллектуально и предавался отчаянию. Помню, например, как в Тилфорде у нас с субботы по вторник гостил Мейнард Кейнс[1].

В 1905 году дела повернулись к лучшему. Мы с Элис решили поселиться под Оксфордом и построили дом в Бэгли-вуд (где никаких домов тогда еще не было). Весной 1905 года мы перебрались туда, и почти сразу после переезда я создал теорию дескрипций, которая стала первым шагом на пути преодоления трудностей, так долго меня мучивших. Вскоре после этого умер Теодор Дэвис, о чем я уже рассказывал раньше. В 1906 году я разработал теорию типов, после чего оставалось только одно — дописать книгу. Из-за преподавания Уайтхеду не хватало свободного времени, чтобы заниматься такой кропотливой механической работой, и я ежедневно отдавал ей по десять-двенадцать часов в течение восьми месяцев в году, начиная с 1907 и кончая 1910 годом. Рукопись все разрасталась и разрасталась, и стоило выйти на прогулку, как в душе всякий раз подымалась тревога: а вдруг начнется пожар и она сгорит! — ведь ее нельзя было перепечатать или хотя бы переписать. Когда мы наконец повезли ее в университетское издательство, она была такая ог-

1. Джон Мейнард Кейнс (1883—1946) — английский экономист, член "группы Блумсбери".

ромная, что пришлось нанять старую извозчичью карету. По подсчетам издателей, на этой книге им предстояло потерять шестьсот фунтов, а синдики[1] готовы были внести лишь триста и предупредили, что не считают возможным превысить эту цифру. Двести фунтов великодушно предоставило Королевское общество, а оставшиеся сто пришлось покрыть нам самим. Таким образом, за десять лет работы каждый из нас "заработал" по пятьдесят фунтов убытка. Это побивает даже рекорд "Потерянного рая"[2].

Душевное неблагополучие, изматывающая умственная работа, тянувшаяся с 1902 по 1910 год, — все это держало меня в страшном напряжении. В те годы я часто думал: неужели это когда-нибудь кончится и я доберусь до конца туннеля, в котором застрял? Всякий раз проходя по Кеннингтону, находившемуся неподалеку от Оксфорда, я останавливался на пешеходном мосту, смотрел на проходящие поезда и думал, что завтра брошусь под один из них. Но наступало завтра, а с ним просыпалась и надежда, что я когда-нибудь закончу "Principia Mathematica". Более того, в работе скрывался своеобразный вызов, и не принять его, не выйти победителем было бы непростительным малодушием. Я не отступал и в один прекрасный день завершил работу, но мой истощенный ум так и не восстановился — не подлежит сомнению, что с тех пор я не мог оперировать сложными абстракциями с былой легкостью. Отчасти — но лишь отчасти — из-за этого я впоследствии переменил направление своей работы.

В те годы зиму я обычно посвящал политике. Когда Джозеф Чемберлен стал защитником протекционизма, я осознал себя ярым сторонником свободы торговли. Влияние Хьюинса, нацеливавшего меня на империализм и империалистический таможенный союз с Германией, испарилось в ту самую минуту, когда произошел мой душевный кризис и я стал пацифистом. Тем не менее в 1902 году я вступил в небольшой клуб под названием "Сподвижники", организованный Сидни Уэббом с целью обсуждения политических вопросов с более или менее империалистической точки зрения. Именно там я впервые встретился с Гербертом Уэллсом, о котором до тех пор не имел ни малейшего понятия. Его позиция была мне ближе всех в этом собрании. По правде говоря, остальные шокировали меня до глубины души. Помню сверкающие, налитые кровью глаза Эймери во время обсуждения войны с Америкой, на которую "мы пошлем все взрослое мужское население страны", захлебываясь от возбуждения, говорил он. Другой раз сэр Эдвард Грей[3] (тогда еще не получивший министерского портфеля) произнес речь в защиту Антанты, не дожидаясь официального правительственного решения по этому вопросу. Я привел исчерпывающие доводы против подобной политики, указав, что она чревата войной, и когда никто из присутствовавших меня не поддержал, отказался от членства. Из чего ясно, что мой протест против первой мировой войны был заявлен на самой ранней стадии, какую только можно помыслить. Затем я принялся отстаивать свободную торговлю и Союз свободной торговли. У меня совершенно отсутствовал опыт выступлений перед широкой публикой, и вначале я

1. Синдик — член сената Кембриджского университета.
2. Джону Мильтону (1608–1674) за поэму "Потерянный рай" уплатили десять фунтов стерлингов.
3. Эдвард Грей (1862–1933) — английский государственный деятель.

так терялся и нервничал, что слова мои словно падали в вату, но со временем научился владеть собой. Когда прошли выборы 1906 года и протекционизм перестал быть самым жгучим политическим вопросом дня, я обратился к проблеме женского избирательного права. Как пацифист я недолюбливал крайних и всегда сотрудничал с партией конституционалистов. В 1907 году на дополнительных выборах я даже баллотировался в парламент, чтобы отстаивать там право голоса для женщин. Уимблдонская кампания протекала бурно и закончилась молниеносно. Молодому поколению сейчас трудно вообразить, какой бешеный афронт вызывала идея женского равноправия. Когда спустя несколько лет мне довелось вести кампанию против первой мировой войны, оказываемое сопротивление было куда слабее той бури страстей, какой встретили в 1907 году суфражисток. Большинство населения страны воспринимало саму проблему издевательски, как повод для бурного веселья. Из толпы неслись глумливые выкрики вроде "Давай домой, у тебя там детки плачут!" — это в адрес женщин, а мужчинам независимо от возраста предназначалось: "А ты сказал мамаше, куда пошел?" и тому подобное. В нас швыряли тухлыми яйцами, одно угодило в Элис. Во время моего первого выступления в толпу выпустили крыс, чтобы поднять переполох среди женщин, часть которых участвовала в сговоре и визжала от хорошо разыгранного испуга, дабы продемонстрировать, чего на самом деле стоит их пол. <...> Можно понять неистовство мужчин, почуявших угрозу для своего превосходства, но отчаянное цепляние многих женщин за прошлое, когда к ним, как и ко всему их полу, относились наплевательски, остается для меня загадкой. Никогда не слышал, чтобы американские негры или русские крепостные прибегали к насильственным методам протеста против их собственного освобождения! Самой известной противницей политических прав женщин была королева Виктория. Я стал страстным поборником женского равноправия с юности, с тех самых пор, когда прочел то, что писал об этом Милль. А его я прочел за несколько лет до того, как узнал, что моя мать в 60-е годы возглавляла кампании в защиту женского избирательного права. Мало что на свете кажется мне более странным, чем стремительная и полная победа этого движения во всем цивилизованном мире.

Со временем я пришел к заключению, что получить ограниченное избирательное право для женщин, являвшееся первоначальной целью кампании, стоило бы бóльших трудов, чем полное, так как полное было на руку либералам, которые тогда находились у власти. Крайние суфражистки возражали против признания полного варианта избирательного права на том основании, что тогда принцип равноправия не будет соблюден во всех пунктах, ибо, хотя большее количество женщин приобретет право голоса, они получат его на несколько иных условиях, чем мужчины. Из-за этой позиции ортодоксальных суфражисток я в конце концов порвал с ними и примкнул к основной фракции, отстаивавшей право для всех женщин, достигших совершеннолетия. Эту группу организовала Маргарет Дэвис (сестра Крамтона и Теодора), а возглавил Артур Хендерсон[1]. Я тогда все еще был либералом и пытался убедить себя, будто Артур всех сбивает с толку, но как-то ничего у меня из этого не получалось.

1. Артур Хендерсон (1863—1935) — английский государственный деятель, лидер лейбористской партии; лауреат Нобелевской премии мира.

Все это занятные и отрадные промежуточные эпизоды в очень тяжелой полосе, тянувшейся с 1902 по 1910 год. Не спорю, то был очень плодотворный период, но вся радость, какую я мог бы извлечь из "Principia Mathematica", отхлынула в конец 1900 года, после чего страдания и труд слишком меня изнуряли, чтобы хватало сил радоваться. Конец этого восьмилетия оказался более светлым, ибо более щедрым, чем начало, но единственное врезавшееся в память острое ощущение счастья осталось от минуты, когда я передавал рукопись университетскому издательству. <...>

Снова в Кембридже

Покончив с "Principia Mathematica", я ощутил непривычную пустоту, очень приятную, но тревожную — наверное, так себя чувствуют выпущенные на свободу заключенные. А поскольку в ту пору меня живо интересовала борьба между либералами и палатой лордов за бюджет и соответствующий парламентский акт, я решил заняться политикой и обратился в штаб-квартиру либеральной партии с просьбой выделить мне избирательный округ. Получив назначение в Бедфорд, я поехал туда и произнес речь перед либеральной ассоциацией, наградившей меня аплодисментами. Однако перед выступлением меня завели в маленькую комнатку за сценой и подвергли форменному катехизическому экзамену, состоявшему, сколько я помню, из следующих вопросов:

Вопрос. Принадлежите ли вы к англиканской церкви?
Ответ. Нет, я был воспитан как нонконформист.
Вопрос. И остаетесь таковым в настоящее время?
Ответ. Нет, в настоящее время это не так.
Вопрос. Следует ли понимать, что вы агностик?
Ответ. Да, именно так меня следует понимать.
Вопрос. Испытываете ли вы желание время от времени посещать церковь?
Ответ. Нет, не испытываю.
Вопрос. Испытывает ли ваша жена желание время от времени посещать церковь?
Ответ. Нет, не испытывает.
Вопрос. Означает ли это, что вы агностик?
Ответ. Да, пожалуй, это правомерный вывод.

Вследствие данных мной ответов кандидатом от округа был избран мистер Келлауэй, который получил пост министра почтовой связи и во время войны неизменно придерживался нужных взглядов. Должно быть, в Бедфорде радовались, что счастливо отделались от меня. Но и я радовался, что счастливо отделался от них, ибо, пока там раздумывали над моей кандидатурой, я получил приглашение читать лекции по основаниям математики в Тринити-колледже, что было мне несравненно ближе, чем политика, а если бы я прошел в Бедфорде, пришлось бы отказаться от Кембриджа, куда я переехал в октябре 1910 года, к началу осеннего триместра. Кроме квартиры на Бридж-стрит, мне предоставили также комнаты в Невилз-корте, в крыле "I". Я страшно их полюбил, то было

первое жилище, которое принадлежало мне и только мне с тех пор, как в 1894 году я окончил Кембридж. Дом в Бэгли-вуд мы продали, и жизнь на новом месте вроде бы стала входить в нормальное русло.

Но мне это только померещилось. Во время выборов 1910 года, еще находясь в Бэгли-вуд, я сказал себе, что должен помочь либералам всем, чем могу, а так как помогать члену парламента от моего округа я не желал, потому что, на мой взгляд, он нарушил ряд важных обещаний, я решил поддержать члена парламента от соседнего округа, располагавшегося за рекой. Им оказался Филипп Моррелл, друг и оксфордский однокашник моего шурина Логена, питавшего к нему самую страстную привязанность. Филипп Моррелл был женат на леди Оттолайн Кавендиш-Бентинк, сестре герцога Портлендского. Мы немного знали друг друга в детстве, потому что тетка Оттолайн, миссис Скотт (бабушка королевы-матери), жила в Хэм-Коммон. У меня сохранилось два ярких, правда не связанных с Оттолайн, воспоминания об этом доме. Во-первых, детский праздник, где я впервые попробовал мороженое. Приняв его за обычный пудинг, я зачерпнул большую ложку и разом проглотил. От неожиданности, к ужасу взрослых, которые не могли понять, в чем дело, у меня полились слезы. Второе воспоминание еще неприятнее. Высаживаясь из кареты, я поскользнулся на брусчатке у дверей миссис Скотт и больно ушиб член. В связи с чем мне было прописано утром и вечером сидеть в горячей ванне и осторожно тереть его губкой, что привело меня в величайшее недоумение, ибо до сей поры мне внушали, что это маловажный орган. Когда Филипп обручился с Оттолайн, Логен весь кипел завистливой злобой и отпускал шпильки по ее адресу, но, впрочем, вскоре смирился с происшедшим. Порой наши пути с Моррелами пересекались, но я всегда держался невысокого мнения о Филиппе, а Оттолайн оскорбляла мое пуританство неумеренным, как я тогда считал, употреблением духов и пудры. Первым заставил меня взглянуть на нее иначе Крамтон Дэвис, которому она помогла наладить работу в возглавляемой им Организации земельных ценностей, чем вызвала его неподдельное восхищение.

Во время январских выборов 1910 года я почти каждый вечер выступал на собраниях в поддержку Филиппа Моррелла и целыми днями ходил по его избирателям. Запомнилось, как в Иффли я зашел в дом к отставному полковнику, который вылетел в холл с криком: "Вы что ж думаете, я буду голосовать за такого мерзавца! Немедленно убирайтесь, не то спущу на вас собак!" Пожалуй, не осталось деревушки между Оксфордом и Кавершемом, где бы я не выступал. За время этой кампании мне представилось немало случаев поближе познакомиться с Оттолайн. Я увидел, что она по-настоящему добра к самым разным людям и очень серьезно относится к своей общественной работе. Филипп, как и все кандидаты от либералов, проиграл выборы, но получил предложение баллотироваться от округа Бернли, который и представлял в парламенте с декабря 1910 года вплоть до следующих выборов, известных под названием "Кайзера на виселицу!". Все это привело к тому, что некоторое время мы с Моррелами не виделись. Но в марте 1911 года я получил приглашение прочесть три лекции в Париже: одну в Сорбонне и две где-то еще, и поскольку по дороге мне было удобно остановиться в Лондоне, я попросил Моррелов приютить меня на одну ночь в их доме на Бедфорд-сквер, 44. Вкусом Оттолайн отличалась изысканным, правда

несколько экстравагантным, и дом ее был изумительно хорош. Элис никогда не могла разрешить конфликт между квакерской аскезой и эстетизмом ее брата. Поэтому в светской жизни — в украшении гостиной, в праздничной одежде — она считала нужным соблюдать каноны художественного вкуса, но когда дело касалось ее и только ее, верх брали природные инстинкты и квакерская простота, так, например, она всегда носила фланелевые ночные рубашки. А я всю жизнь любил красивые вещи, но не умел себя ими окружить. Обстановка дома Оттолайн утоляла какую-то изголодавшуюся за годы первого брака часть моей души. Едва я переступил порог, как сразу ощутил, что все докучливые неудобства внешнего мира остались позади. В тот день 19 марта, когда я остановился там на пути в Париж, Филиппа не было; как выяснилось, его неожиданно вызвали в Бернли, и я оказался tête-à-tête с Оттолайн. За обедом мы говорили о Бернли, политике, промахах правительства, но потом в беседе зазвучали более интимные ноты. Решившись на робкие ухаживания, я с удивлением увидел, что она их не отвергает. До этой минуты мне и в голову не приходило, что Оттолайн может позволить мне любить себя, но постепенно с приближением темноты желание провести с ней ночь становилось все неотступнее. Наконец я больше не мог сопротивляться и, к величайшему своему изумлению, понял, что глубоко люблю ее и что она отвечает мне взаимностью. До этого времени у меня не было полной близости ни с одной женщиной, кроме Элис. В силу разных привходящих и случайных обстоятельств не было ее в тот вечер и у нас с Оттолайн, но мы договорились стать любовниками, как только представится случай. Меня буквально переполняли чувства, ради которых я был готов пожертвовать всем на свете. Я хотел уйти от Элис и настаивал, чтобы Оттолайн ушла от Филиппа. А что он на это скажет и что почувствует, меня не трогало. Знай я, что он убьет и ее, и меня (как предупреждала миссис Уайтхед), я готов был и на такую цену за одну ночь с Оттолайн. Девять лет железного самоограничения подошли к концу — и концу безвозвратному. Однако в первый вечер не обсуждают все детали будущей жизни. Было уже довольно поздно, когда мы в первый раз поцеловались, и хотя не ложились до четырех часов утра, разговор свелся к отрывистым репликам. Рано утром мне предстояло отправиться в Париж, чтобы читать по-французски лекции перед в высшей степени критически настроенной аудиторией. Собраться с мыслями и сосредоточиться на том, что я говорю, было очень трудно, и подозреваю, что читал я из рук вон плохо. Я жил как в тумане, и все окружающее казалось не совсем реальным. Оттолайн предстояло ехать в Стадленд (который в ту пору был маленьким местечком), и мы договорились, что я приеду туда и пробуду три дня. Но прежде я отправился на уик-энд в Фернхерст, где начал с визита к зубному врачу, который сообщил мне, что он подозревает у меня рак и советует проконсультироваться у специалиста, к которому можно будет попасть лишь через три недели, потому что тот отбыл на пасхальные каникулы. Затем я сказал Элис об Оттолайн. Она впала в ярость и заявила, что на бракоразводном процессе обвинит во всем Оттолайн. Но Оттолайн из-за ребенка и из-за Филиппа, к которому испытывала искреннюю привязанность, не хотела развода, поэтому я должен был уберечь ее от огласки и ответил Элис, что развод она может получить, когда пожелает, но имя Оттолайн не должно при этом фигурировать. Она же твердила, что непременно привлечет Оттолайн к от-

ветственности. Тогда я сказал очень спокойно и твердо, что у нее ничего не получится, ибо, если она предпримет что-либо подобное, я наложу на себя руки, просто чтобы расстроить ее планы. Я бы так и сделал, и она почувствовала, что это не пустые слова. Тут уж она совсем разбушевалась. Так прошло несколько часов. Когда она наконец успокоилась, я прочел лекцию по философии Локка ее племяннице Карин Кастелло, которой предстояло сдавать трайпос, сел на велосипед и уехал. Тем и завершился мой первый брак. В следующий раз мы с Элис встретились в 1950 году как добрые знакомые.

После этой сцены я отправился прямиком в Стадленд – все еще считая, что болен раком. В Суонидже я нанял стародедовскую колымагу с еле переставлявшей ноги лошадью. Пока она лениво тащилась по горам и долам, я весь извелся от нетерпения и вдруг в сосновом лесочке у дороги увидел Оттолайн и спрыгнул к ней, оставив вещи тащиться тем же способом к пункту назначения. От трех дней и ночей в Стадленде осталось неповторимое ощущение полноты жизни, которая редко бывает так щедра к человеку. Разумеется, я не стал говорить Оттолайн, что у меня находят рак, но мысль о близком конце неимоверно обостряла мою радость, которую, казалось, я вырываю у смерти. Когда зубной врач сообщил мне диагноз, моим первым побуждением было возблагодарить Господа за то, что Он призывает меня к себе, подарив напоследок образ счастья. Пожалуй, в глубине души я сохранил веру в садистического Бога, который испытывает удовольствие от людских мучений. Но в те дни в Стадленде у меня появилось сомнение в том, что Ему это всегда удается. К тому же, когда я наконец попал к специалисту, выяснилось, что я здоров и все мои страхи не более чем буря в стакане воды.

Оттолайн была высокая, с вытянутым, тонким, немного лошадиным лицом и чудесными волосами какого-то необыкновенного цвета – вроде апельсинового варенья, но только потемнее. Доброжелательницы всегда нашептывали, что она их красит, но это неправда. В ее изумительно красивом, мягком, вибрирующем голосе ощущались стальная воля и бесстрашие. Она была стеснительна, и поначалу мы робели друг друга, но оба сильно любили, и постепенно отступавшая застенчивость лишь обогащала палитру наслаждения. Мы оба отличались серьезностью и презрением к условностям, оба принадлежали к потомственной аристократии, но предпочли иной круг общения, поскольку терпеть не могли жестокость, сословное чванство и узколобость знати, но при этом не вполне освоились и в новой среде, где на нас посматривали подозрительно и недоуменно, оттого что мы отличались от остальных. Весь этот сложный комплекс чувств был досконально известен и ей, и мне. Глубокая человеческая близость продолжалась всю нашу жизнь, и хотя с 1916 года мы перестали быть любовниками, это не помешало нам остаться навсегда задушевными друзьями.

Оттолайн оказала на меня огромное и по большей части благотворное влияние. Она высмеивала меня, когда во мне просыпался снобизм университетского профессора и научного педанта и я заговаривал непререкаемым тоном. Мало-помалу она отучила меня от мысли, что я испорчен до мозга костей и должен держать под неусыпным контролем разума свои чудовищные пороки. Благодаря ей во мне поубавилось эгоизма и самодовольства. У нее было неподражаемое чувство юмора, и я стал остерегаться невзначай попасть ей на язык. С ее помощью я во

многом одолел свое пуританство и готовность порицать всех и вся. Ну и, наконец, сама счастливая любовь после долгих лет душевной пустоты все упростила и поставила на место. Мужчины часто боятся женского влияния, но, судя по моему опыту, нет ничего неразумнее такого страха. Я думаю, что мужчины нуждаются в женщинах, а женщины — в мужчинах и интеллектуально, и физически. Я, со своей стороны, очень многим обязан женщинам, которых любил и без которых был бы гораздо более ограниченным человеком.

После Стадленда разладившиеся и запутанные семейные отношения накалились еще больше, и все очень страдали. Элис по-прежнему кипела, и Логен тоже. Уайтхеды, которые все это время были моими добрыми ангелами, убедили их отказаться от идеи бракоразводного процесса с привлечением Оттолайн, и Элис заявила, что в таком случае не нуждается в разводе. Я хотел, чтобы Оттолайн ушла от Филиппа, но очень скоро понял, что на это нечего надеяться. А между тем Логен имел объяснение с Филиппом и поставил ему ряд условий, которые Филипп в свою очередь поставил Оттолайн. То были тягостные обязательства, не на шутку омрачившие нам радость любви. Хуже всего было то, что нам запрещалось бывать ночью под одной крышей. Я рвал и метал, а Филипп, и Логен, и Элис, со своей стороны, негодовали не меньше моего, Оттолайн не знала, куда деться от всех этих страстей. В такой обстановке невозможно было сохранить то состояние восторга, с которого начались наши отношения. Я видел, как крепки семейные связи Оттолайн, как она дорожит своим мужем, своим ребенком, своей собственностью, тогда как я в отличие от нее ничем не дорожил, и сознание нашего неравенства заставляло меня мучиться ревностью, упрекать, предъявлять требования. И все же поначалу сила взаимной страсти помогала справляться со всеми бедами. У Оттолайн был небольшой домик в Пеппарде в Чилтернских округах, где она обычно проводила июль. Я обосновался в Ипсдене, в шести милях от Пеппарда, куда ежедневно приезжал на велосипеде — появлялся в полдень и уезжал к полуночи. Жара в то лето стояла небывалая, столбик термометра однажды поднялся до девяноста семи градусов в тени. Мы обычно отправлялись с ланчем в буковый лес и возвращались к вечернему чаю. То был целый месяц величайшего счастья. Но Оттолайн очень нездоровилось, и кончилось тем, что ей пришлось поехать в Мариенбад, куда я вскоре тоже прибыл, только остановился в другой гостинице. С наступлением осени она вернулась в Лондон, и я снял квартиру на Бьюри-стрит, неподалеку от Британского музея, чтобы она могла навещать меня. Я ежедневно читал лекции в Кембридже, но обычно приходил к ней с утра и уходил так, чтобы поспеть к 5.30 на лекцию. Оттолайн страдала тяжелыми головными болями, из-за чего наши свидания бывали порой нерадостны, и, к сожалению, в подобных случаях мне не всегда хватало заботливости и предупредительности. Тем не менее мы повздорили лишь однажды, когда я заподозрил ее в религиозности. Но постепенно мной все больше завладевало беспокойство и ощущение, что я люблю больше, чем она. Правда, иногда я забывал об этом страхе, да и то, что я принимал за равнодушие, порой объяснялось ее скверным самочувствием, порой — но не всегда. Я, не зная того, страдал пиореей, из-за чего у меня пахло изо рта, о чем я не имел понятия. А она не могла себя заставить сказать мне об этом, и только когда я сам обнаружил, что болен, и излечился, она призналась, как это ей мешало.

В конце 1913 года я поехал в Рим повидать ее, но там был Филипп, и поездка оказалась неудачной. Я подружился с одной немкой, которую тем летом встретил у озера Гарда. Мы с Сэнгером[1] вышли из Инсбрука и целый месяц шли через Альпы, пока в конце концов не добрались до Пунто-Сан-Виджилио, где присоединились к компании ожидавших нас друзей, состоявшей из мисс Силкокс, наставницы колледжа Сент-Феликс, Мелиена Стауэлла и его приятельницы, чьего имени я уже не помню. Мы заметили молодую женщину, сидевшую за столиком в одиночестве, и поспорили, замужем она или нет. Я предположил, что она разведена. Чтобы проверить правильность своей догадки, я завязал знакомство и выяснил, что был прав. Ее муж, психоаналитик, решил, — видимо, таковы были его представления о требованиях профессии, — что ему следует расстаться с женой. После их разрыва я ее и встретил. Но как только требования этикета были удовлетворены, они снова поженились и жили долго и счастливо. У этой молодой обворожительной женщины было двое детей. А я в то время безумно хотел иметь детей — при виде играющего на улице ребенка у меня просто сжималось сердце. Мы с ней очень подружились и вместе совершили поездку в деревню. Мне хотелось близости с ней, но я подумал, что сначала должен ей все объяснить про Оттолайн, что и сделал. Сначала она слушала равнодушно, потом стала возражать, но в конце концов согласилась, что на один день можно отменить все запреты. Мы больше никогда не виделись, лишь время от времени до меня доходили вести о ней. <...>

Весной 1914 года я получил приглашение прочесть Лоуэлловские лекции[2] в Бостоне и одновременно курс философии в Гарварде. Объявив тему своих Лоуэлловских лекций, я на самом деле никак не мог решить, что именно собираюсь говорить. Я часто сидел в холле гостиницы, размышляя о том, что входит в наши представления о Вселенной, ибо такова была заявленная мною тема. Вернувшись в Кембридж из Рима 1 января 1914 года и понимая, что откладывать больше некуда, я вызвал на следующий день стенографистку, хотя не имел ни малейшего понятия, что собираюсь ей диктовать. Но едва она вошла в комнату, мысли мои прояснились, все встало на свои места, и я продиктовал весь текст от начала до конца. Впоследствии он составил книжку под названием "Наши знания о Вселенной как основа для применения научного метода в философии".

Седьмого марта я взошел на борт "Мавритании", на которой плыл и сэр Хью Белл. Во время морского перехода его жена старалась не спускать с него глаз, потому что он то и дело оказывался в обществе какой-нибудь хорошенькой девушки. Но когда мы встречались впоследствии, он упорно твердил, что плыл на "Лузитании", к тому времени уже затонувшей, а не на "Мавритании".

Из Нью-Йорка я тотчас отправился в Бостон и в поезде чувствовал себя как дома, потому что два моих соседа беседовали о Джордже Тревельяне[3]. В Гарварде меня представили всему профессорскому составу. Я

1. Чарльз Перси Сэнгер (1871—1930) — английский экономист и юрист; друг и однокашник Бертрана Рассела по Кембриджу.
2. Джон Лоуэлл (1789—1836) — американский промышленник и филантроп, создатель просветительского фонда для ежегодного чтения в Бостоне двух курсов лекций: для развития интеллекта и морали; по его завещанию, лекции читаются в стенах какого-либо из бостонских университетов, и президент фонда должен носить фамилию Лоуэлл.
3. Джордж Маколей Тревельян (1876—1962) — английский историк.

горжусь тем, что с первого же взгляда невзлюбил профессора Лоуэлла, который впоследствии принимал участие в осуждении и казни Сакко и Ванцетти. Хотя в ту пору у меня не было никаких причин не жаловать его, я ощущал к нему не меньшую неприязнь, чем в последующие годы, когда он в полной мере явил свои доблести защитника отечества. Каждый гарвардский профессор, с которым меня знакомили, разражался следующей тирадой: "Наш философский факультет, доктор Рассел, в последнее время понес три невосполнимые потери. Мы лишились общества нашего высокочтимого коллеги, профессора Уильяма Джеймса, вследствие его кончины; профессора Сантаяны, переехавшего в Европу по причинам, которые ему, вне всякого сомнения, представляются уважительными; и последнего по счету, но не по значению — профессора Ройса, который, как я счастлив заметить, остался среди нас, но, увы, перенес инсульт". Все это произносилось вальяжно, серьезно, торжественно. Наконец я понял, что больше не могу это терпеть, — пора принимать ответные меры. В следующий раз во время представления я сам отбарабанил означенный текст на рекордной скорости, но — вотще. "Да, профессор Рассел, как вы верно заметили...", — неотвратимо затянул в ответ мой очередной знакомец и не смолк, пока не договорил до конца. Не знаю, все ли американцы таковы или только профессора. Я склонен думать, что только вторые. Гарвардские профессора удивили меня еще одной своей особенностью: если я приходил к ним в гости, они неизменно растолковывали мне дорогу домой, хотя к ним я добирался без посторонней помощи. Что ж, у культуры Гарварда имеются свои пределы: Скофилд, профессор искусствоведения, считал Альфреда Нойза[1] прекрасным поэтом!

С другой стороны, учащаяся молодежь, особенно аспиранты, произвели на меня сильное впечатление. Гарвардская философская школа до того, как она понесла три пресловутые потери, была и в самом деле лучшей в мире. Я гостил у Уильяма Джеймса в Гарварде во время своего пребывания в Америке в 1896 году; восхищался намерением Ройса включить математическую логику в учебный план философского факультета; с Сантаяной, который близко дружил с моим братом, я был знаком с 1893 года и восторгался им в той же мере, в какой не разделял его мнений. Традиции этих философов еще поддерживались. Ральф Бартон Перри делал все возможное, чтобы заменить их, и с огромным воодушевлением взялся за то, что получило название неореализма (Перри был женат на сестре Беренсона). Однако уже тогда он грешил типичным для Новой Англии морализаторством, из-за которого и превратился в интеллектуальную жертву первой мировой войны. Как-то раз он встретился у меня в апартаментах с Рупертом Бруком[2], о котором до той поры слыхом не слыхал. Руперт, только что вернувшийся из Океании, пространно рассуждал о вырождении тамошнего мужского населения вследствие запрета на каннибализм. Профессор был уязвлен до глубины души: ведь каннибализм — грех, или он чего-то не понимает? Нимало не сомневаюсь, что после гибели Руперта профессор присоединил свой панегирик к славословиям остальных, не сознавая, что встреченный им у

1. Альфред Нойз (1888—1958) — английский поэт, автор сюжетных поэм, написанных в традиционном стиле.
2. Руперт Брук (1887—1915) — английский поэт-баталист, участник первой мировой войны; погиб на поле боя.

меня молодой ниспровергатель устоев и был тем самым юным золотоволосым богом, который отдал жизнь за свою страну.

Как я уже сказал, студенты в Гарварде были замечательные. Моя аспирантская группа — их было двенадцать человек — раз в неделю приходила ко мне на чай; одного из них звали Т. С. Элиот, и впоследствии он написал об этом стихотворение под названием "Мистер Аполлинекс"[1]. Тогда я не знал, что Элиот — поэт, хотя, полагаю, "Портрет дамы" и "Пруфрок" уже были написаны, но он счел неуместным упоминать об этом. Он отличался невероятной молчаливостью и лишь однажды обронил замечание, совершенно меня сразившее. В ответ на мои восхваления Гераклита он вдруг бросил: "Да, мне всегда кажется, что он как Вийон". Я нашел эту мысль столь блестящей, что все время ждал, когда он еще чем-нибудь одарит нас. Второго заинтересовавшего меня ученика звали Демос. Грек, чей отец под влиянием миссионеров принял евангелизм и стал священником, Демос вырос в Малой Азии, и его с детства приучали к мысли, что он будет работать библиотекарем в небольшой местной библиотеке, но когда он прочел все тамошние книги, он понял, что ему больше нечего ждать от Малой Азии, накопил денег и купил себе билет четвертого класса до Бостона. Там он сначала устроился официантом в ресторан, а потом поступил в Гарвард. Он очень упорно работал, а способности у него были блестящие. В конце концов он стал профессором, но не преодолел известной ограниченности. Так, в 1917 году он объяснял мне, что как грек, уроженец страны, которой движут истинно моральные побуждения, не может купиться на фальшь других воюющих сторон.

Когда гарвардский триместр подошел к концу, я проехался еще по нескольким университетам и прочел по одной лекции в каждом из них. Побывал я и в Анн-Арбор; тамошний президент провел меня по всем новым зданиям и особенно задержался в библиотеке, которой больше всего гордился. Мы стояли в прекрасном читальном зале с чудесными рабочими столами, а он объяснял, что нигде в мире нет такого каталога, составленного по последнему слову науки, нигде нет такой современной системы центрального отопления. Я спросил: "А книги берут часто?" Он удивился, но ответил: "Ну, сейчас в зале есть один читатель". Мы пошли посмотреть на читателя — перед ним лежал роман.

Из Анн-Арбор я отправился в Чикаго, где остановился в семье известного гинеколога, выпустившего книгу о женских болезнях, на обложке которой красовалось цветное изображение матки. Я получил эту книгу в подарок, но ее обложка так смущала меня, что я передарил этот опус знакомому медику. Хозяин мой был вольнодумцем, когда речь шла о богословии, но как только разговор заходил о морали, превращался в завзятого пуританина. Его жена, очаровательная немолодая дама, несколько ограниченная, но довольно проницательная, вызывала страшное раздражение у собственных детей. В семье были четыре дочери и сын, с которым мне тогда не довелось познакомиться, а вскоре после войны он умер. Одна из дочерей приезжала в Оксфорд заниматься античной литературой под руководством Гилберта Марри еще в то время, когда я жил в Бэгливуд. Преподавательница английской литературы в Брин-Мор снабдила ее

1. Стихотворение Т. С. Элиота "Мистер Аполлинекс" написано о Бертране Расселе и его визите в Гарвард.

рекомендательным письмом к нам с Элис. Я несколько раз виделся с этой девушкой в Оксфорде; она показалась мне яркой личностью, и мне хотелось продолжить знакомство. Перед отъездом в Чикаго я получил от нее письмо с приглашением погостить в доме ее родителей. Она встретила меня на вокзале, и я сразу почувствовал себя с ней легко и просто, как ни с кем в Америке. Оказалось, что она пишет хорошие стихи и вообще отличается замечательным и очень своеобразным литературным вкусом. В этом доме я провел две ночи, причем вторую — с ней. А три ее сестры стояли на страже, чтобы предупредить нас, если покажутся родители. Она была не то чтобы красавица, но обворожительная, страстная, поэтичная, незаурядная. Ей выпала одинокая, безрадостная юность, и казалось, что я могу ей дать то, о чем она мечтает. Мы договорились, что при первой же возможности она приедет в Англию, и мы, не скрываясь, поселимся вместе, а может статься, впоследствии поженимся, если я получу развод. С чем я тотчас и отбыл домой и прямо с борта парохода написал Оттолайн обо всем происшедшем. Она тоже написала мне примерно в то же время, что хочет перейти к платоническим отношениям, — наши письма разошлись в пути. Но мои новости: известие о романе и о том, что в Америке меня вылечили от пиореи, — заставили ее переменить решение. Оттолайн, когда хотела, умела быть неотразимой любовницей, из тех, кого невозможно оставить, — впрочем, в последнее время она почти не давала мне повода об этом вспомнить. По возвращении я застал ее в Лондоне, и мы решили каждый вторник проводить в Бэрнеме. Последняя наша поездка туда совпала с объявлением войны между Австрией и Сербией; Оттолайн была в тот день в ударе. Между тем чикагская девушка уговорила своего ни о чем не догадывавшегося отца поехать с ней в Европу, и 3 августа они отплыли. Но когда она приехала, голова моя была полна войной и только, я собирался выступить с публичным протестом против военных действий и, следовательно, не мог рисковать репутацией, ибо семейный скандал обратил бы в пустой звук любые мои слова. В общем, я понял, что не могу привести в исполнение прежний план. Она осталась в Англии, и хотя время от времени наша связь возобновлялась, война перечеркнула мою любовь, и я разбил своей подруге сердце. Впоследствии она заболела какой-то тяжелой и редкой болезнью, сначала ее парализовало, а потом к этому прибавилось и психическое расстройство. В последний раз я видел ее в 1924 году. В ту пору она уже не могла ходить, но переживала светлый период сознания. Тем не менее во время разговора я все время чувствовал, что ее рассудок заполонили темные, болезненные страхи. Кажется, то была ее последняя ремиссия перед окончательным умопомрачением, хотя прежде, до болезни, она отличалась острым и очень своеобразным умом, чудесным и в то же время необычным нравом, и если бы нам не помешала война и мы осуществили задуманное, возможно, нам довелось бы узнать большое счастье. Эта трагедия до сих пор не дает мне покоя.

Часть *вторая:* 1914—1944

Первая *война*

Период с 1910 по 1914 год был временем перемен. Моя жизнь до 1910-го и моя жизнь после 1914-го разнились между собой так же сильно, как жизнь Фауста до и после встречи с Мефистофелем. Я пережил процесс омоложения, начатый Оттолайн Моррелл и продолженный войной. Наверное, странно, что война вообще способна кого-нибудь омолодить, но она в самом деле вытряхнула из меня старые предрассудки и заставила думать по-новому о многих важных вещах. Кроме того, она подарила мне новый вид деятельности, которая не вызывала у меня той скуки, что овладевала мной всегда, когда я пытался вернуться к математической логике. Таким образом я приучился представлять себя чем-то вроде обыкновенного Фауста, которому Мефистофель явился в виде великой войны.

В жаркие июльские дни я обсуждал в Кембридже сложившуюся ситуацию во всех деталях. Мне не верилось, что Европа обезумеет настолько, чтобы ввязаться в войну, но я был убежден: если война начнется, Англия будет в ней участвовать. Я твердо стоял на том, что Англии следует сохранять нейтралитет, и собрал подписи большого числа профессоров и преподавателей под декларацией, которая была опубликована в "Манчестер гардиан". Ко дню объявления войны почти все они изменили свое мнение. Оглядываясь назад, удивляешься, как люди могли не понимать, что грядет. В воскресенье 2 августа я, как уже упоминал в этой автобиографии, встретил во дворе Тринити-колледжа Кейнса, который спешил одолжить у шурина мотоцикл, чтобы ехать в Лондон. Я сразу догадался, что его пригласили в правительство для консультации по финансовым вопросам. Это указывало на наше скорое вступление в войну. В понедельник утром я решил поехать в Лондон. Мы завтракали с Морреллами на Бедфорд-сквер, где выяснилось, что Оттолайн всецело разделяет мой образ мыслей. Она одобрила решение Филиппа выступить в палате общин с пацифистской речью. Я пошел в палату в надежде услышать знаменитое заявление сэра Эдварда Грея, но желающих собралось столько, что пройти мне не удалось. Я, однако, узнал, что Филипп свою речь произнес. Вечером я бродил по улицам, большей частью в районе Трафальгарской площади, видя вокруг толпы возбужденных людей. В тот и последующие дни я, к своему изумлению, обнаружил, что перспектива войны вызывает восторг у обыкновенных людей. Я, как и многие пацифисты, наивно полагал, что войны навязываются равнодушному населению деспотичным и двуличным правительством. Я успел заметить, как накануне этих событий сэр Эдвард Грей изощренно лгал, скрывая от народа, что именно имеется в виду под нашей помощью Франции в случае войны. Я наивно полагал: когда народ поймет, что ему лгали, он возмутится; вместо этого он выражал благодарность за предоставленную ему возможность выполнить свой моральный долг. Утром 4 августа я прогуливался с Оттолайн по пустым улицам за Британским музеем, где теперь располагаются здания университета. Будущее рисовалось нам в мрачных тонах. Когда мы делились своими страхами с другими, нас считали сумасшедшими. По сравнению с тем, что произошло потом, наши опасения были дет-

ским летом. Вечером 4-го, после ссоры с Джорджем Тревельяном, которая длилась на протяжении всего нашего пути по Стрэнду, я посетил последнее заседание комитета по нейтралитету, на котором председательствовал Грэм Уоллес. Во время заседания раздался удар грома, который старшее поколение членов комитета приняло за взрыв немецкой бомбы. Это рассеяло их последние сомнения по поводу нейтралитета. Первые дни войны повергли меня в состояние глубочайшего изумления. Лучшие мои друзья, такие как Уайтхед, были настроены крайне воинственно. Люди вроде Дж. Л. Хэммонда[1], годами строчившие статьи против участия в европейской войне, заняли совершенно иную позицию — пример Бельгии вышиб у них почву из-под ног. Поскольку я давно знал от своего приятеля, военного из Стафф-колледжа, что Бельгия неминуемо будет втянута в войну, то не предполагал, что серьезные публицисты могут быть столь легкомысленны и невежественны. Газета "Нейшн" устраивала по вторникам завтрак для сотрудников, и 4 августа я туда пошел. Редактор газеты Мэссингем выступал горячо против нашего участия в войне. Он с энтузиазмом принял мое предложение написать в его газету. На следующий день я получил от него письмо, начинающееся словами: "Сегодня — это не вчера", и далее о том, что его мнение полностью изменилось. Тем не менее в следующем номере он опубликовал мое длинное письмо против войны. Не знаю, что именно повлияло на него, знаю лишь, что одна из дочерей Асквита видела, как 4 августа он спускался по лестнице немецкого посольства, и подозреваю, что ему указали, сколь недальновидно отсутствие патриотизма в такой критический момент. В течение примерно всего первого года войны он оставался патриотом и со временем стал забывать о своем пацифизме. Несколько пацифистов из числа членов палаты общин в компании двух-трех сочувствующих начали собираться в доме Морреллов на Бедфорд-сквер. Я посещал эти собрания, из которых впоследствии возник Союз демократического контроля. Любопытно было обнаружить, что многих пацифистов-политиков больше интересовало, кто из них возглавит антивоенное движение, чем реальная антивоенная деятельность. Тем не менее они заявляли о своем пацифизме, и я изо всех сил старался думать о них хорошо.

Я жил в невероятнейшем эмоциональном напряжении. Хотя я и не предугадал истинный масштаб военной катастрофы, я все же сумел предвидеть гораздо больше, чем многие другие. Будущее вселяло в меня ужас, но еще больший ужас я испытывал от того, что девяносто процентов населения радостно предвкушает кровавую бойню. Мне пришлось пересмотреть свои взгляды на природу человека. В ту пору я был полным невеждой в психоанализе, но своим путем пришел к психоаналитическим воззрениям на человеческие страсти. Я сделал эти выводы, пытаясь осмыслить общее отношение к войне. Раньше я полагал, что родителям свойственно любить своих чад, но война убедила меня в том, что это скорее исключение. Я также полагал, что люди больше всего на свете любят деньги, но обнаружил, что еще больше они любят разрушение. Я полагал, что интеллектуалы, как правило, любят истину, но опять-таки выяснил, что не более десяти процентов из них предпочтут истину популярности. Гилберт Марри, мой близкий друг с 1902 года, занимал в отличие от меня пробурскую позицию. Естественно было ожидать от него, что он

1. Джон Лоуренс Хэммонд (1872–1949) — английский историк, писатель, государственный деятель.

и теперь станет на миролюбивые рельсы, а он принялся писать о вероломстве немцев и сверхъестественных добродетелях сэра Эдварда Грея. Я преисполнился отчаянного сочувствия к молодым людям, которым грозила отправка на бойню, и ненавистью ко всем европейским государственным деятелям. В течение нескольких недель мне казалось, что, встреться мне на пути Асквит или Грей, я не удержусь от смертоубийства. Однако постепенно эти личные чувства исчезли. Их поглотила огромная трагедия и понимание того, что государственные деятели всего-навсего дали волю стремлениям самих народов.

Кроме всего прочего, меня терзали "муки патриотизма". Успехи немцев до битвы на Марне вызывали у меня ненависть. Я желал поражения Германии так же страстно, как какой-нибудь отставной полковник. Любовь к Англии — чуть ли не самое сильное чувство, на какое я способен, и отрешиться от него в тот момент было мне очень трудно. Тем не менее у меня никогда не возникало даже мимолетного сомнения относительно того, что́ я должен делать. Порой я ощущал себя скептиком, порой бывал циничен, а то и равнодушен, но когда пришла война, до меня словно донесся глас Божий. Я знал, что мой долг — протестовать, пусть даже этот протест не даст плодов. Все мое существо восстало против войны. Как ревнителю истины мне была отвратительна националистическая пропаганда, которая велась во всех воюющих странах. Как стороннику цивилизации мне претило возвращение варварства. Как человека с нормальными родительскими чувствами меня глубоко ранила массовая бойня молодежи. Я не надеялся на то, что из противостояния войне выйдет толк, но чувствовал, что для спасения человеческой чести те, кого еще не сшибло с ног, должны доказать, что они твердо стоят на земле. После того как я увидел эшелоны с новобранцами, отправлявшиеся с вокзала Ватерлоо, меня стали посещать странные видения. Я почти воочию видел, как рушатся и падают в воду лондонские мосты, как город исчезает, словно утренний туман. Его жители казались мне призраками, и я всерьез задумался о том, не есть ли мир, где я вроде бы жил, всего лишь плод моих болезненных кошмаров. Однако эти настроения были мимолетны, а необходимость работать положила им конец.

Первое время Оттолайн была моей надежной опорой. Не будь ее, я бы чувствовал себя совершенно одиноким, но она никогда явно не выражала ни своей ненависти к войне, ни отказа принимать мифы и ту ложь, которыми был затуманен мир.

Некоторое утешение я нашел в беседах с Сантаяной, который находился тогда в Кембридже. Он был нейтралом, а кроме того, питал слишком мало уважения к человеческой породе, чтобы беспокоиться, уничтожит она себя или нет. Его спокойная философская отчужденность, хоть я и не имел желания ей подражать, действовала на меня благотворно. Накануне битвы на Марне, когда казалось, что немцы вот-вот возьмут Париж, он сонно заметил: "Думаю, мне надо поехать в Париж. У меня там зимние кальсоны, не хочется, чтобы они достались немцам. Есть и другая, менее важная причина, она заключается в том, что там у меня осталась рукопись книги, над которой я работал последние десять лет, но она мне не так нужна, как кальсоны". Он, однако, не поехал в Париж, потому что исход битвы на Марне снял с него эту заботу. Зато в другой раз он мне сказал: "Завтра еду в Севилью, хочу оказаться там, где люди не скрывают страстей".

С началом октябрьского семестра мне надо было опять читать лекции по математической логике, но это казалось бессмысленным. Поэтому я взялся за организацию отделения Союза демократического контроля среди преподавателей, и многие мои коллеги по Тринити-колледжу на первый взгляд сочувствовали этой идее. Я также выступал на собраниях старшекурсников, которые выразили готовность меня слушать. Помнится, в одной из речей я сказал: "Глупо считать немцев злодеями", и, к моему удивлению, аудитория дружно зааплодировала. Но после того, как затонула "Лузитания", возобладал воинственный дух. Распространилось мнение, будто я каким-то образом несу ответственность за эту катастрофу. Из тех преподавателей, что входили в Союз демократического контроля, многие к тому времени получили мобилизационные повестки. Барнс (впоследствии епископ Бирмингемский) ушел из университета, чтобы стать настоятелем храма. Те, что постарше, начали впадать в истерическое состояние, и я заметил, что за трапезой меня стараются избегать.

Пока шла война, каждое Рождество на меня накатывало такое глубокое, всепоглощающее отчаяние, что я ничем не мог заниматься, только сидел в кресле и думал о бессмысленности человеческого существования. На Рождество 1914 года благодаря Оттолайн я нашел способ отчасти рассеять уныние. Я стал посещать от имени благотворительного комитета нищих немцев, чтобы выяснить, в каких условиях они живут, и, если понадобится, помочь им. Эта работа помогла разглядеть в яростном котле всеобщей ненависти примеры замечательной доброты. Нередко хозяйки жилищ в бедных кварталах, и сами-то бедные, позволяли немцам оставаться у них бесплатно, потому что знали, что работы им не найти. Вскоре это решилось само собой, поскольку всех немцев интернировали, но в первые месяцы войны они страшно бедствовали.

Как-то в октябре 1914 года на Нью-Оксфорд-стрит я встретил Т. С. Элиота. Я не знал, что он в Европе. Выяснилось, что он приехал в Англию из Берлина. Естественно, я спросил, что он думает о войне. "Не знаю, — ответил он, — одно могу сказать: я не пацифист". Иными словами, он готов был воспользоваться любым оправданием геноцида. Я близко сдружился с ним, а впоследствии и с его женой, на которой он женился в начале 1915 года. Поскольку они были отчаянно бедны, я предоставил им одну из двух спален в моей квартире, в результате чего часто мог их видеть. Я любил их обоих и старался всячески им помогать, покуда не обнаружил, что невзгоды доставляли им удовольствие. У меня были облигации одной инженерной компании, которая теперь перешла на военные рельсы, номинальной стоимостью три тысячи фунтов. Я никак не мог решить, что мне с ними делать, и наконец отдал Элиоту. Годы спустя, когда война кончилась и сам он позабыл о бедности, Элиот вернул их мне.

Летом 1915 года я написал "Принципы социальной реконструкции", или, как без моего на то согласия назвали эту книжку в Америке, "Почему люди воюют". У меня не было намерения писать что-либо подобное, и книжка была совершенно не похожа на предыдущие мои писания, но все получилось как-то само собой. Я, в сущности, сам не понимал, что пишу, покуда не закончил. У нее есть структура и концепция, но и то и другое выявилось, лишь когда было заполнено пространство между первым и последним словом. Там я выдвинул философию политики, осно-

ванную на убеждении, что человеческая жизнь строится скорее под влиянием импульсов, чем разумно обусловленной цели. Импульсы я разделил на две группы — импульсы обладания и импульсы творчества, считая лучшей жизнью ту, которая по большей части строится на творческих импульсах. В качестве примеров, демонстрирующих импульсы обладания, я привел государство, войну и бедность, а примерами творческих импульсов мне послужили образование, брак и религия. По моему убеждению, преобразующим принципом должна стать свобода творчества. Книга создавалась как цикл лекций, которые я потом опубликовал. К моему удивлению, ее ждал быстрый успех. Я писал, никак не рассчитывая на то, что ее будут читать, для меня это было просто как исповедание веры, а она принесла мне кучу денег и заложила основу будущих прибылей.

Эти лекции определенным образом были связаны с моей кратковременной дружбой с Д. Г. Лоуренсом. Оба мы чувствовали, что пришла пора сказать нечто важное о принципиальных изменениях, произошедших в человеческих отношениях, но не сразу разобрались, что наши взгляды на суть этого процесса диаметрально противоположны. Мое знакомство с Лоуренсом было мимолетным и каким-то горячечным, длилось оно всего-навсего с год. Нас свела Оттолайн, которая обожала нас обоих и решила, что мы тоже должны восхищаться друг другом. Пацифизм возбудил во мне дух горького бунтарства, и в Лоуренсе я тоже увидел бунтаря. Поначалу создалось впечатление, что мы можем прийти к определенному согласию, и далеко не сразу мы поняли, что так же отличаемся друг от друга, как каждый из нас от кайзера.

Отношение Лоуренса к войне определялось двумя обстоятельствами. С одной стороны, он не мог быть искренним патриотом, потому что жена у него была немкой. А с другой — так ненавидел человечество, что, с его точки зрения, оба лагеря были правы в своей взаимной ненависти. Выяснив это, я понял, что не могу симпатизировать ему ни в том, ни в другом. Осознание различий, однако, шло постепенно, а на первых порах мы вполне ладили. Я пригласил его к себе в Кембридж, где познакомил с Кейнсом и множеством других людей. Он всех их возненавидел лютой ненавистью и приговаривал, что все они "мертвые, мертвые, мертвые". Иной раз мне казалось, что он прав, мне нравился его запал, нравились энергия и страстность его чувств, нравилась убежденность в том, что для правильного устройства мира требуется нечто радикальное. Я соглашался, что политика тесно связана с психологией личности. В нем чувствовалась гениальность, и поначалу, не соглашаясь с ним, я сомневался в собственной правоте, думая, что, может быть, он глубже проник в природу человека, нежели я. Далеко не сразу я стал воспринимать его как орудие зла, а он нечто подобное ощутил по отношению ко мне.

В то время я готовил курс лекций, которые вошли потом в "Принципы социальной реконструкции". Ему тоже хотелось читать лекции, и у нас наметилось сотрудничество. Мы обменивались письмами; мои потерялись, а его были опубликованы. По его письмам можно проследить, как мы постепенно осознавали, сколь глубоки различия между нами. Я твердо верил в демократию, а он развивал целую философию фашизма еще тогда, когда политики до этого не додумались. "Я не верю, — писал он, — в демократический контроль. Я считаю, что рабочий человек способен выбирать губернаторов или радетелей его насущных нужд, но не

более того. Электорат следует тщательно подбирать. Рабочий человек должен выбирать только то руководство, которое будет заниматься тем, что непосредственно его касается, и только. Выбор чиновников высокого ранга следует доверить высшим классам. Верховную власть до́лжно вручить одной голове — ибо все живое имеет одну голову, — и не надобно никаких глупых республик с их глупыми президентами, только один избранный король, что-то вроде Юлия Цезаря". Он, разумеется, воображал, что, когда установится диктатура, он и будет Юлием Цезарем. Мечтательность вообще была его свойством. Он никогда не позволял себе ступить на почву реальности. Пускался в пространные рассуждения о том, как следует вещать Истину большинству, и не знал никаких сомнений по поводу того, станет ли большинство ее выслушивать. Я поинтересовался, что он собирается предпринять. Изложит ли свою философию в книге? Нет: в нашем развращенном обществе всякое написанное слово — ложь. Отправится ли он в Гайд-парк провозглашать Истину с ящика из-под мыла? Нет: это было бы слишком опасно (время от времени на него находили приступы страха). Но что же тогда?— настаивал я. В этом пункте мы обычно меняли тему разговора.

Мало-помалу я убедился, что на самом деле он вовсе не стремился улучшить мир, находя удовольствие в пылких филиппиках о том, как он плох. Если, паче чаяния, эти перлы красноречия дойдут до чьих-то ушей — хорошо; но по большому счету они предназначались узкому кругу преданных учеников, которые отправились бы со святой миссией куда-нибудь в пустыню Нью-Мехико. Все это сообщалось мне на языке фашистского диктатора, как нечто, что я *должен* нести в народ, причем слово "должен" было подчеркнуто тринадцать раз.

Его письма становились все более и более враждебными. Он писал: "Что пользы жить так, как живете вы? Мне не верится, что ваши лекции действительно хороши. Вы исчерпали себя, разве не так? Что пользы в том, чтобы цепляться за тонущий корабль, разглагольствуя на языке толпы? Не лучше ли броситься за борт? Почему бы не очистить сцену? Сегодня до́лжно преступать закон, а не учительствовать или проповедовать". Мне все это казалось чистой риторикой. Я уж и так преступал закон, как ему и не снилось, и его обвинения казались мне беспочвенными. Эти обвинения он в разное время облекал в разные слова. Однажды он мне написал: "Перестаньте работать, совсем перестаньте писать, станьте живым существом, а не механическим орудием. Уйдите с общественной сцены. Ради спасения вашей же чести станьте ничем, молью, существом, которое знает свое место и не думает. Ради Бога, станьте ребенком, а не мудрецом. *Не делайте* больше ничего — но, ради Бога, начните *быть*, начните с самого начала и будьте идеальным ребенком: во имя мужества.

Да, и хочу вас попросить, когда будете писать завещание, оставьте мне денег, чтобы хватало на жизнь. Живите вечно. Но мне хочется, чтобы вы сделали меня одним из своих наследников".

Тут была одна загвоздка: чтобы оставить ему наследство, нужно было располагать чем-то, что можно было бы завещать.

У него была мистическая философия "крови", которая мне не нравилась. "Есть, — говорил он, — другое вместилище сознания, кроме мозга и нервов. Есть сознание крови, которое существует в нас независимо от обыкновенного интеллекта. Человек живет, сознавая кровью свое бы-

тие, безотносительно к нервам и мозгу. Эта половина жизни принадлежит тьме. Когда я беру женщину, во мне говорит кровь. Познание крови всеобъемлюще. Нам следует понять, что помимо и независимо от интеллектуального и нервного сознания у нас есть бытие крови, сознание крови, душа крови". Эти рассуждения казались мне откровенной чепухой, и я с жаром их отметал, не зная еще тогда, что они ведут прямиком в Освенцим.

Он впадал в ярость, если при нем говорили, что кто-то хорошо относится не к нему, а к кому-то другому, а когда я клеймил войну за страдания, которые она с собой несет, он обвинял меня в лицемерии. "Ни-почем не поверю, что в глубине души вы жаждете мира. Вы просто хитрыми обходными путями лелеете свое стремление к бунтарству. Либо удовлетворяйте свою мятежную натуру честно и открыто, признавшись: ненавижу вас всех, лгунов и свиней, и не собираюсь больше метать перед вами бисер, либо держитесь за свою математику, где можете оставаться честным. Но являться в роли ангела мира — извините, по мне, пусть уж лучше в ней является адмирал Тирпиц[1].

Теперь и представить нельзя, какой опустошительный эффект произвело на меня это письмо. Я склонялся к мысли, что он обладает даром прозрения, которого у меня нет, и, когда он заявил, что корни моего пацифизма — в вожделении крови, почти поверил ему. Целые сутки я считал, что не гожусь для этой жизни, и обдумывал самоубийство. Но потом возобладал здравый смысл, и я решил отказаться от похоронных мыслей. Когда он сказал, что я *должен* нести в народ его доктрины, а не свои собственные, я восстал и попросил его не забывать, что он не учитель, а я не ученик. Он писал: "Истинные враги человечества — это вы, вожделеющие вражды. Вас вдохновляет не ненависть ко лжи, а ненависть к людям из плоти и крови, это извращенная форма духовного вожделения крови. Почему бы не стать его властелином? Давайте разойдемся. Так будет лучше". Я тоже так считал. Но ему доставляло удовольствие извергать на меня свои поношения, и месяцами он изводил меня письмами, в которых теплилось ровно столько дружелюбия, сколько требовалось для поддержания переписки. В конце концов она тихо скончалась без лишнего драматизма.

Мало кто догадывался, что Лоуренс был рупором своей жены. Он обладал даром речи, но идеи рождались в ее голове. Когда психоанализ был едва известен в Англии, она каждое лето наведывалась в лагерь австрийских фрейдистов. Из этого источника она черпала идеи, впоследствии развитые Муссолини и Гитлером, и передавала их Лоуренсу, так сказать, посредством сознания крови. Лоуренс был, в сущности, робок и робость пытался скрыть за бравадой. Но его жена была отнюдь не робка, и ее тирады не сверкали зарницами, а гремели как раскаты грома. Он чувствовал себя относительно спокойно под ее крылышком. Подобно Марксу, он по-снобистски гордился браком с немецкой аристократкой и чудесно описал ее в "Любовнике леди Чаттерли". Он невольно обманывал себя, маскируя царящий в голове хаос под жесткий реализм. Он обладал замечательным пером, но его идеи нельзя просто так беспечно предать забвению.

1. Альфред фон Тирпиц (1849–1930) — немецкий адмирал; сторонник роста вооружений, особенно подводного флота, в целях борьбы с Англией во время первой мировой войны.

Меня привлекали в Лоуренсе динамизм и обыкновение выдвигать дерзкие предположения, которые он почитал за очевидные. Устав от обвинений в непотребной зависимости от разума, я надеялся, что писатель вольет в меня живительную дозу неразумия. И действительно, он дал мне определенный стимул, и, наверное, книга, которую я написал, вопреки его инвективам оказалась лучше, чем могла быть, не познакомься я с Лоуренсом.

Тем самым я вовсе не хочу сказать, что в его идеях есть доброе зерно. Глядя из сегодняшнего дня, я вообще не вижу в них ничего стоящего. То были идеи чувствительного, несостоявшегося деспота, яришегося на мир, который не пожелал ему подчиниться. Обнаружив к своему удивлению, что вокруг существуют и другие люди, он возненавидел их. Хотя по большей части продолжал жить в уединенном мире собственных фантазий, населенном призраками, которым его воображение придавало зловещий характер. Его чрезмерная сосредоточенность на сексуальности объяснялась тем, что лишь сексуальный акт давал ему почувствовать, что он не единственное человеческое существо на свете. Однако это открытие было так болезненно, что сексуальные отношения он воспринимал как бесконечное сражение, в котором один пытается уничтожить другого.

В период между войнами мир влекло к безумию. Нацизм придал форму этому влечению. Лоуренс стал прекрасным выразителем культа безумия. Впрочем, не уверен, что холодная, бесчеловечная трезвость политики сталинского Кремля была лучше.

С наступлением 1916 года война приняла еще более ожесточенный характер, и оставаться пацифистом становилось все труднее. Наши отношения с Асквитом были по-прежнему дружескими. До того как Оттолайн вышла замуж, он был ее обожателем, и я часто встречал его у нее в Гарсингтоне. Однажды, искупавшись в пруду нагишом, я вышел на берег и наткнулся прямо на него. Этой встрече премьер-министра с пацифистом явно недоставало приличествующей случаю величественности. Как бы то ни было, я надеялся, что он не упечет меня за решетку. Во время Пасхального восстания[1] в Дублине тридцать семь узников совести были приговорены к смертной казни, и мы, депутация пацифистов, обратились к Асквиту с прошением о смягчении приговора. Он в ту пору как раз торопился в Дублин, но вежливо выслушал нас и принял необходимые меры. Даже в правительстве многие считали, что узники совести были незаконно осуждены на смерть, и если бы не Асквит, свершилась бы ужасная ошибка и многих из них отправили бы на расстрел.

Однако Ллойд Джордж оказался более крепким орешком. Однажды я с Клиффордом Алленом (председателем Антимобилизационного комитета) и мисс Кэтрин Маршалл отправился к нему на беседу по поводу узников совести, томившихся в тюрьме. Он назначил нам встречу во время ланча в Уолтон-Хит. Мне не хотелось пользоваться его гостеприимством, но делать было нечего. Он вел себя очень дружелюбно, однако понимания мы не встретили. В конце беседы я разразился речью чуть ли не в библейском духе, сказав, что его имя войдет в историю бесславия. Более я не имел удовольствия с ним встречаться.

1. Ирландское национальное восстание 20—24 апреля 1916 г. (на Пасхальной неделе) против господства англичан.

С началом мобилизации почти все время и всю энергию я тратил на процессы узников совести. Антимобилизационный комитет полностью состоял из мужчин призывного возраста, но в качестве ассоциированных членов они принимали женщин и мужчин постарше. После того как весь первоначальный состав комитета попал за решетку, был сформирован новый комитет, председателем которого стал я. Работы было по горло, требовалось следить за соблюдением прав личности и за тем, чтобы военные власти не посылали отказников во Францию, ибо после отправки к ним могли применить даже такие меры наказания, как смертная казнь. Я очень много ездил по всей стране. Три недели провел в шахтерских районах Уэльса, выступая и в помещениях, и прямо на улицах. Мне никто не мешал, и везде в промышленных районах я находил понимание аудитории. Однако в Лондоне все было иначе.

Клиффорд Аллен, председатель Антимобилизационного комитета, был очень способным и очень гибким молодым человеком. Он принадлежал не к христианскому, а к социалистическому крылу пацифистского движения. Налаживание гармоничных отношений между социалистами и христианами шло туго, и он продемонстрировал беспристрастность, достойную восхищения. Летом 1916 года он попал под военный трибунал и был осужден на тюремное заключение. Всю войну я встречался с ним только в те редкие дни, когда его выпускали на волю. Его освободили по состоянию здоровья (он находился на грани смерти) в начале 1918 года, но вскоре я и сам угодил в тюрьму.

Во время рассмотрения дела Клиффорда Аллена – его тогда впервые привлекли к судебной ответственности – я познакомился с леди Констанс Моллесон, известной под своим сценическим именем Колетт О'Нил. Ее мать, леди Эннсли, дружила с принцем Генрихом Прусским. Их дружба началась до войны и возобновилась после ее окончания. Это, конечно, плохо сочеталось с ее принадлежностью к стану пацифистов, но Колетт и ее сестра, леди Клер Эннсли, были настоящими пацифистками и сотрудничали с Антимобилизационным комитетом. Колетт была замужем за актером и драматургом Майлсом Моллесоном. В 1914 году он записался в армию, но, к счастью, его не взяли из-за больной ноги. Таким образом, он находился в очень выгодном положении, которое использовал на благо отказников, ибо убедился в справедливости пацифистского движения. Я обратил внимание на Колетт в суде и там же был ей представлен. Выяснилось, что она дружила с Алленом, и он мне потом рассказывал, как щедро она отдавала этой работе свое время, как свободна в своих суждениях и предана делу пацифизма. Ну а то, что она была молода и очень хороша собой, я увидел сам. На сцене она делала большие успехи, сыграла подряд две главные роли, но когда пришла война, целые дни проводила в помещении комитета, надписывая конверты. Зная все это, я, естественно, постарался познакомиться с ней поближе.

Тем временем наши отношения с Оттолайн становились все более отчужденными. В 1915 году она уехала из Лондона и поселилась в Мейнор-хаусе в Гарсингтоне, недалеко от Оксфорда. Этот прелестный старый дом раньше использовался как ферма, и Оттолайн вплотную занялась его переустройством. Я довольно часто наведывался в Гарсингтон, но она относилась ко мне вполне равнодушно. Я искал других женщин, которые могли бы заполнить образовавшуюся брешь, но безуспешно –

пока не познакомился с Колетт. После встречи на суде мы увиделись на обеде, устроенном пацифистами. Из ресторана мы ушли вместе, я проводил ее домой, на Бернард-стрит, 43, возле Рассел-сквер. Меня сильно влекло к ней, но я не сумел далеко продвинуться по части ухаживания и только сказал, что через несколько дней должен выступить с речью в Портмен-румз на Бейкер-стрит. Явившись туда, я увидел ее в первом ряду и пригласил после лекции поужинать в ресторане, после чего опять пошел проводить. На этот раз меня пригласили зайти. Колетт была очень молода, но обладала той несуетливой смелостью, которая была свойственна Оттолайн (смелость — качество, существенное для меня в каждой женщине, в которую я готов серьезно влюбиться). Мы проговорили полночи, и посреди беседы нас настигла любовь. Говорят, надо быть стыдливым; я с этим не согласен. Мы были едва знакомы, но именно в ту ночь между нами установились очень серьезные и глубокие отношения, иногда радостные, иногда болезненные, но никогда не пошлые или мелкие по сравнению с теми общественными страстями, которые вызывала война. В сущности, война прочно вплелась в ткань нашей любви. В тот раз, когда мы впервые легли в постель (в первую ночь нам за разговорами было не до постели), с улицы вдруг донесся дикий крик радости. Я вскочил, бросился к окну и увидел падающий горящий цеппелин. Торжествующий крик толпы был вызван агонией умирающего в кабине летчика. Любовь Колетт служила в ту пору для меня убежищем — не от самой жестокости, от которой было не убежать, но хотя бы от непереносимого сознания того, каковы люди. Вспоминаю одно воскресенье, которое мы провели, гуляя в Саутдауне. Вечером мы пришли на станцию, чтобы сесть на поезд и вернуться в Лондон. Станция была запружена солдатами, большинство отправлялись на фронт, почти все пьяные, половина в компании таких же пьяных проституток, другую половину провожали жены или подружки, беспомощные, отчаявшиеся, полубезумные. Меня пронзил жестокий ужас войны, и я приник к Колетт. В мире ненависти она была хранительницей любви, любви во всех смыслах слова, от самого расхожего до самого глубинного. В ней была несокрушимость камня, что в те дни просто не имело цены.

После ночи, когда сгорел цеппелин, я ушел от нее рано утром в дом моего брата, где тогда жил. По дороге мне попался старик, торговавший цветами. Он выкрикивал: "Прелестные нежные розы!" Я купил букет, заплатил и велел доставить на Бернард-стрит. Можно было предположить, что деньги возьмут, а цветы не доставят, но я знал, что все будет в порядке. Слова "прелестные нежные розы" стали с тех пор лейтмотивом моих мыслей о Колетт.

Мы поехали на трехдневный "медовый месяц" (больше я не мог себе позволить) в гостиницу "Кот со скрипкой" на бакстонских болотах. Было зверски холодно. По утрам в кружке замерзала вода. Но мрачноватые болота отвечали нашему настроению. От них веяло холодом, но они создавали ощущение свободы. Мы проводили дни в долгих прогулках, а ночи были наполнены страстью, в которой растворялась вся боль мира, оставляя почти нечеловеческий экстаз.

Поначалу я даже не понимал, как серьезна моя любовь к Колетт. Я привык считать, что все серьезные чувства отданы Оттолайн. Колетт была столь молода, простодушна, ненасытна в своей любви к удовольствиям, что я не доверял собственным чувствам, думал, что просто затеял

легкую интрижку. На Рождество я поехал в Гарсингтон, где собралась большая компания. Там был Кейнс, который, совершив шутливый обряд венчания двух собак, закончил словами: "Кого соединил человек, того не разлучит собака". Там был Литтон Стрейчи[1], который прочитал нам отрывок из рукописи "Знаменитых викторианцев". Были также Кэтрин Мэнсфилд и Миддлтон Мерри[2]. Я уже был с ними знаком, но именно тогда поближе сошелся с Кэтрин. Не могу судить о верности своих впечатлений, но они сильно расходятся с мнениями других. Она была восхитительная собеседница, лучше, чем писательница, особенно когда рассказывала о том, что собиралась писать; когда же речь заходила о людях, в ее словах сквозила зависть и обнаруживалась опасная проницательность относительно вещей, которые они предпочли бы скрыть, а также их наименее привлекательных свойств. Она ненавидела Оттолайн только потому, что Мерри та нравилась. Я понял, что должен преодолеть чувства, которые испытывал к Оттолайн, поскольку она не отвечала мне настоящей взаимностью и не могла дать мне счастье. Я выслушал все, что имела сказать против нее Кэтрин Мэнсфилд, и к концу уже мало чему верил, но все же настроился думать об Оттолайн скорее как о друге, чем как о возлюбленной. (Потом я с Кэтрин больше не встречался, зато мог целиком отдаться чувству к Колетт.)

Встреча с Кэтрин произошла в опасную минуту, когда моя личность подвергалась трансформации. Из-за войны я чуть было не стал законченным циником, и мне стоило большого труда убедить самого себя в том, что какая бы то ни было деятельность имеет смысл. Временами на меня находили припадки такого отчаяния, что я целыми днями неподвижно сидел в кресле, изредка почитывая Экклезиаста. А потом пришла весна, и я вдруг обнаружил, что избавился от всех сомнений по поводу Колетт. На самом пике моего зимнего отчаяния я нашел себе занятие, хотя и столь же бесполезное, как все прочие, но в ту пору не лишенное смысла. Поскольку Америка продолжала сохранять нейтралитет, я написал открытое письмо президенту Вильсону, призывая его спасти мир. Вот начало этого письма:

Сэр,

у Вас есть возможность оказать огромную услугу человечеству, превзойдя в служении ему даже Авраама Линкольна, сколь бы велик он ни был. В Вашей власти закончить войну справедливым миром, что в свою очередь рассеяло бы угрозу новой войны в ближайшем будущем. Еще не поздно избавить европейскую цивилизацию от уничтожения; но может оказаться слишком поздно, если позволить войне продлиться еще два или три года, как предсказывают военные.

Желание воевать сейчас достигло той точки, откуда всем, кто не потерял способность думать, ясно видны дальнейшие перспективы. Главам всех воюющих стран должно быть понятно, что победа в этой войне невозможна ни для одной из сторон. В Европе преимущество за Германией; за пределами Европы и на морях преимущество у союзных войск. Ни та, ни другая сторона не способны одержать столь полную победу, чтобы заставить противника искать мира. Война наносит тяжкие удары, но не такие тяжкие, чтобы положить конец военным действиям. Очевидно, что рано или поздно придет время переговоров, ко-

1. Литтон Стрейчи (1880–1932) – английский писатель-биограф, член "группы Блумсбери".
2. Джон Миддлтон Мерри (1889–1957) – английский критик, издатель "Атенеума" и других литературных журналов; муж писательницы Кэтрин Мэнсфилд.

торые будут вестись исходя из наличествующего на тот момент баланса побед и потерь, а результат их будет почти таким же, какого можно достигнуть и сейчас. Германское правительство признало этот факт и выразило свою готовность заключить мир на условиях, которые по меньшей мере можно считать платформой для переговоров. У правительств союзников не хватило мужества публично признать то, что они не могут отрицать неофициально, однако надежда на решительную победу вряд ли имеет право на поощрение. Из-за недостатка мужества они готовы вовлечь Европу в ужасы непрерывной войны еще на два или три года. Это несовместимо с понятием гуманизма. Вы, сэр, можете положить этому конец. Ваша власть дает такую возможность и возлагает на Вас ответственность; Ваши предшествующие действия вселяют уверенность в том, что Вы воспользуетесь Вашей властью с беспрецедентной для государственных деятелей мерой мудрости и гуманности...

Военная цензура осложняла отправку документа такого рода, но Кэтрин, сестра Хелен Дадли, которая как раз у нее гостила, взялась отвезти письмо в Америку. Она нашла вполне невинный способ его спрятать и доставила прямиком в Комитет американских пацифистов, благодаря которым письмо было напечатано чуть ли не во всех американских газетах. Мне важно было донести до американцев мысль, которую разделяли многие, что эта война не может кончиться ничьей победой. И таков будет ее исход, ежели Америка по-прежнему будет держать нейтралитет.

С середины 1916 года и до того, как в мае 1918-го я попал в тюрьму, я очень много работал с Антимобилизационным комитетом. С Колетт мы встречались только урывками, и сами встречи чаще всего были связаны с этой работой. Клиффорда Аллена периодически сажали на несколько дней в тюрьму и, когда он категорически отказался подчиняться приказам военных, отдали под трибунал, и мы с Колетт вдвоем ходили на судебные заседания.

Когда произошла революция Керенского, в Лидсе состоялся большой митинг тех, кто ей сочувствовал. Я там выступал, а Колетт присутствовала вместе с мужем. Мы поехали поездом с Рамсеем Макдональдом, который со специфически шотландским юмором рассказывал в пути длинные истории, столь занудные, что их просто невозможно было дослушать до конца и узнать, в чем же соль. В Лидсе было решено попытаться сформировать в различных районах Англии и Шотландии организации, которые в перспективе могли бы стать рабочими и солдатскими советами по русскому образцу. В этих целях в лондонской церкви Братства на Саутгейт-роуд мы провели митинг. Патриотические газеты разослали листовки по всей округе (очень бедному району), в которых говорилось, что мы связаны с немцами и подаем сигналы их аэропланам, чтобы они знали, куда бросать бомбы. Наш митинг не имел успеха, и церковь осадила целая толпа. Большинство из наших решили, что сопротивляться бесполезно и даже вредно — ведь мы были непротивленцами, остальные побоялись, что нас слишком мало, чтобы противостоять всему населению района. Но несколько человек, в том числе Фрэнсис Мейнелл, все же попытались сопротивляться, и я помню, как он вошел с улицы с лицом, залитым кровью. Во главе толпы стояли офицеры, все, кроме них, были пьяны. Самые отчаянные вооружились досками, утыканными ржавыми гвоздями. Офицеры попыта-

лись заставить присутствовавших среди нас женщин покинуть церковь, чтобы потом разделаться с мужчинами, которых они, как и всех пацифистов, считали трусами. В этой ситуации отличилась миссис Сноуден. Она хладнокровно отказалась уйти, если вместе с женщинами не позволят выйти и мужчинам. Ее поддержали и другие женщины. Это озадачило офицеров, которые не желали нападать на женщин. Но толпа, почуяв запах крови, пришла в неистовство. Полиция взирала на все это спокойно. Двое пьяных хулиганов бросились на меня с досками. Пока я раздумывал, как отразить атаку, одна из женщин подошла к полицейским и попросила защитить меня. Те в ответ просто пожали плечами. "Но это известный философ", – сказала она. На что полицейские опять пожали плечами. "Весь мир знает его как выдающегося ученого", – продолжала она. Полицейские не двинулись с места. "Его брат – граф", – в отчаянии выкрикнула она. В ответ на последний аргумент они поспешили мне на помощь. Мне, однако, она уже была не нужна. Я обязан жизнью молодой женщине, которую даже не знал. Она встала между мной и этими негодяями, и я успел ускользнуть. К счастью, сама она не пострадала. Но многие, в том числе и женщины, выбрались из церкви в разорванной одежде. Колетт тоже была там, но нас разделила толпа, и я не мог найти ее, пока мы оба не оказались на улице. Домой мы возвращались вместе, настроение у нас было подавленное.

Проповедник церкви Братства, пацифист, был человеком необычайного мужества. Несмотря на печальный опыт, он попросил меня вновь обратиться к прихожанам его церкви. На этот раз толпа устроила поджог прямо под кафедрой, и мое выступление было сорвано. Два раза встречался я со столь явными проявлениями агрессивности, все прочие собрания проходили довольно мирно. Тем не менее газеты представили их в совершенно ином свете, и мои друзья, не исповедовавшие пацифизм, пытались меня урезонить: "Зачем тебе ходить на собрания, если толпа их всегда срывает?"

К тому времени обострились мои отношения с правительством. В 1916 году я написал листовку, которую распространил Антимобилизационный комитет, об одном узнике совести, приговоренном к тюремному заключению. Листовка была напечатана без подписи, и я с удивлением узнал, что ее распространители попали за решетку. Тогда я написал в "Таймс", что автором являюсь я. Против меня было выдвинуто обвинение, и в присутствии лорд-мэра я выступил с пространной речью в свою защиту. Меня приговорили к штрафу в 100 фунтов. Я не стал платить, тогда в погашение штрафа на эту сумму было продано мое имущество в Кембридже. Мои добрые друзья выкупили эти вещи и вернули мне, так что мой протест остался безнаказанным. Тем временем все мои молодые коллеги в Тринити-колледже получили мобилизационные повестки. Старшее поколение колледжа также сочло необходимым внести свой вклад в победу: меня лишили права читать лекции. Когда в конце войны молодежь вернулась в университет, мне предложили возобновить лекции, но у меня уже не было на то желания.

Как ни странно, рабочие военных заводов склонялись к пацифизму. Мои выступления в Южном Уэльсе, каждое из которых весьма неточно освещалось соответствующими наблюдателями, привели к тому, что министерство обороны издало приказ, запрещающий мне выезд в закрытые районы. Под закрытыми районами подразумевались зоны, особо

охранявшиеся от шпионов. Сюда входило все побережье. Вследствие заявленных протестов министерство вынуждено было отметить, что не подозревает меня в шпионаже в пользу Германии, тем не менее меня не подпускали к побережью, чтобы я не мог подавать сигналы немецким подводным лодкам. Приказ вышел как раз когда я вернулся в Лондон из Суссекса, где останавливался у Элиотов. Мне пришлось попросить их привезти мне расческу и зубную щетку, потому что правительство запретило мне сделать это самому. Если бы не эти знаки внимания со стороны властей предержащих, я бросил бы пацифистскую работу, поскольку убедился в ее полной бесполезности. Однако, обнаружив, что правительство думает иначе, я решил, что, должно быть, заблуждаюсь, и продолжал в том же духе. Независимо от того, видел я в этой работе какой-то толк или нет, я уже не мог оставить ее, иначе могло бы показаться, что я испугался.

Антимобилизационный комитет издавал еженедельную газетку под названием "Трибунал", и я писал статьи в каждый номер. После того как я перестал с ней сотрудничать, мой преемник, заболев, попросил написать статью вместо него. Я выполнил его просьбу и написал, что американских солдат собираются использовать в Англии как штрейкбрехеров, к чему они вполне привыкли у себя на родине. Это утверждение я подкрепил цитатой из доклада сената. За эту публикацию меня приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев. Арест не вызвал у меня неудовольствия, напротив, помог сохранить самоуважение и дал возможность поразмышлять над чем-то более светлым, чем разгул разрушительных сил. Благодаря вмешательству Артура Бальфура меня разместили в отделении первой категории, так что, находясь в тюрьме, я мог читать и писать сколько хочу, при условии, что не буду заниматься пропагандой пацифизма. Тюрьма во многих отношениях показалась мне вполне приятным заведением. У меня не было никаких обязательных занятий, мне не надо было принимать трудных решений, бояться непрошеных визитеров, ничто не отвлекало меня от работы. Я очень много читал. Написал книгу "Введение в философию математики", что-то вроде популярной версии "Оснований математики", и приступил к работе над "Анализом сознания". Мне было интересно общаться с заключенными, которые нравственно ничем не уступали тем, кто жил на воле, разве что были чуточку поглупее, коль скоро позволили себя арестовать. Для тех, кто привык читать и писать, но не имел преимуществ привилегированного положения, как я, тюрьма — жестокое и ужасное наказание. Спасибо Артуру Бальфуру — я не испытал таких лишений. Я благодарен ему за помощь, хотя в корне не согласен с проводимой им политикой. Меня очень развеселил тюремный охранник, который пожелал записать сведения обо мне. На вопрос о вероисповедании я ответил "агностик". Он спросил, как это пишется, и со вздохом заметил: "Что ж, религий много, но я думаю, все верят в единого Бога". Это замечание смешило меня целую неделю. Как-то раз, читая "Знаменитых викторианцев" Стрейчи, я так громко расхохотался, что вошел охранник и сказал, чтобы я не забывался, тюрьма — место, где отбывают наказание. В другой раз Артур Уэйли, переводчик китайской поэзии, прислал мне только что переведенное и еще не опубликованное стихотворение:

Мне прислали в подарок из Аннама
Красного какаду.
Нежного, как цветы персика,
Говорящего на человеческом языке.
И с ним сделали то, что всегда делают
С учеными и речистыми.
Взяли клетку с крепкими прутьями
И заперли в ней.

Дважды в неделю мне разрешали свидания, конечно всегда в присутствии тюремщика, но от того не менее радостные. Оттолайн и Колетт приходили по очереди и приводили с собой еще одного-двух человек. Я изобрел способ нелегальной отправки писем: вкладывал листки в неразрезанные страницы книг. Разумеется, я ничего не объяснял в присутствии охранника. В первый раз, вручая Оттолайн "Труды Лондонского математического общества", сказал, что эта книга гораздо интереснее, чем кажется. Еще раньше я нашел способ переправлять свои любовные послания к Колетт через начальника тюрьмы: читая мемуары о Великой французской революции, я обнаружил там письма Жирондена Бюзо к мадам Ролан, а так как я писал свои письма по-французски, я говорил, что переписал их из книги, — надо сказать, по смыслу они не так уж разнились. А вообще-то я подозреваю, что начальник тюрьмы просто не понимал по-французски, но не хотел признаваться в своем невежестве.

В тюрьме было полно немцев, в том числе очень образованных. Когда я однажды опубликовал рецензию на книгу о Канте, ко мне подошли собратья-заключенные и деликатно указали на не вполне адекватную интерпретацию его философии. Некоторое время в той же тюрьме содержался Литвинов[1], но мне не дали возможности поговорить с ним, хотя издалека я его видел.

Настроения, которые владели мною в заключении, нашли отражение в моих письмах к брату, как и все прочие, перлюстрированных начальником тюрьмы.

6 мая 1918 г.

...Жизнь здесь напоминает плавание на океанском лайнере: тебя втиснули в толпу заурядных человеческих особей, и единственная возможность скрыться – уединиться в своей каюте. Я не нахожу, что эти люди хуже обыкновенной толпы, за исключением, пожалуй, того, что они слабее духом, если судить по лицам. Но это меня мало беспокоит. Единственное большое испытание для меня – невозможность видеться с друзьями. Какую радость доставила мне наша вчерашняя встреча! Надеюсь, когда ты придешь в следующий раз, захватишь с собой еще двоих – вероятно, у вас с Элизабет есть список. Ужасно хочется повидать как можно больше друзей. Кажется, ты решил, что я сделался равнодушен к подобным вещам, но ты ошибаешься. Встречи с людьми, которых я люблю, не могут стать безразличны. Мне нравится перебирать в уме все, что навевает воспоминания о приятных происшествиях.

Раздражительность и недостаток табака беспокоят меня не так сильно, как я опасался, но со временем, наверное, дадут о себе знать. Отдых от бремени

1. Максим Литвинов (1876—1951) — советский государственный и партийный деятель, занимавший в Наркоминделе посты члена коллегии, зам. наркома, наркома.

ответственности столь сладостен, что перевешивает почти все неудобства. Тут я ни о чем не забочусь; нервы отдыхают – ощущение божественное. Я свободен от мучительных вопросов: что еще мог бы я сделать? Какие еще меры можно предпринять, до которых я не додумался? Есть ли у меня право бросить все и вернуться к философии? Здесь я невольно должен от всего отрешиться, и это гораздо покойнее, нежели сделать то же по доброй воле и терзаться сомнениями насчет своей правоты. Тюрьма обладает некоторыми прерогативами католической церкви...

27 мая 1918 г.

...Передай леди Оттолайн, что я прочитал обе книги об Амазонке. Томлинсона я полюбил, Бейтс навевает на меня скуку, пока я его читаю, но оставляет в памяти яркие образы, которые потом приятно вспоминать. Томлинсон многим обязан "Сердцу тьмы". Он составляет разительный контраст Бейтсу. Видно, наше поколение в сравнении с другими слегка повредилось в уме, потому что позволило себе узреть немного истины, а истина призрачна, безумна, неприглядна; чем больше на нее взираешь, тем меньше в тебе остается душевного здоровья. Викторианцы (бедняжки) были здоровы и удачливы, потому что никогда не приближались к истине. Но что касается меня, то уж лучше я сойду с ума от истины, чем останусь в здравом уме, но во лжи...

10 июня 1918 г.

...Пребывать здесь, в этих условиях, не более неприятно, чем служить атташе в парижском посольстве, и не так мерзко, как в том мире ужаса, в котором я провел полтора года, занимаясь у репетитора. Молодые люди, с которыми я имел тогда дело, почти все пошли в армию или в церковники, так что по части нравственности стояли ниже среднего уровня...

8 июля 1918 г.

...Я не ропщу, напротив. Поначалу я был слишком озабочен собственными проблемами, хотя и в пределах разумного, надеюсь. Теперь я почти не думаю о них, ибо сделал все, что мог. Я много прочитал и весьма плодотворно занимался философией. Может показаться странным и невероятным, но мое настроение зависит от войны не больше, чем от чего-либо иного: когда дела у союзников идут хорошо, я радуюсь, когда плохо – волнуюсь о всяких очень далеких от войны вещах...

22 июля 1918 г.

...Я читал о Мирабо. Его смерть удивительна. Умирая, он сказал: "Ah, si j'eusse vécu, j'eusse donné de chagrine à ce Pitt! [1] *"– и это нравится мне больше, чем слова Питта. Но это не самые последние его слова. Он продолжил: "Il ne reste plus qu'une chose à faire: c'est de se parfumer, de se couronner de fleurs et de s'environner de musique, afin d'entrer agréablement dans se sommeil dont on ne se ràveille plus, Legrain, qu'on se prépare à me raser, à faire ma toilette toute entière"* [2]*. Потом, повернувшись к рыдающему другу: "Eh bien! Êtes-vous content, mon cher connoisseur en belles morts? – Наконец, услышав ружейные выстрелы: – Sont-ce déja les funérailles d'Achille?"* [3] *И затем, очевидно, умолк, решив, как я думаю, что все сказанное*

1. Случись мне выжить, я пожалел бы Питта (*франц.*).
2. Мне осталось только одно: надушиться, украсить себя цветами, позвать музыкантов и погрузиться в приятный сон, от которого нет пробужденья; Легран, который приготовил мне бритье, завершит мой туалет (*франц.*).
3. Вы довольны, мой дорогой знаток прекрасной смерти? Разве это не похороны, достойные Ахилла? (*франц.*)

дальше испортит впечатление. Это иллюстрация к тезису, который я защищал в нашем разговоре в среду, о том, что необыкновенный взрыв энергии порождается необыкновенной мерой тщеславия. Есть и другой движущий мотив: любовь к власти. Филипп II Испанский и Сидни Уэбб с Гроувнор-роуд тщеславием не отличаются.

Единственное, из-за чего я страдал в тюрьме, — это разлука с Колетт. Ровно через год после того, как я влюбился в нее, она полюбила другого, хотя и не хотела, чтобы в наших отношениях что-либо менялось. Но меня мучила ревность. Я был самого худшего мнения об этом человеке, и не без основания. Мы с ней ужасно ссорились, и наши отношения уже не могли быть прежними. Все время, пока я был в тюрьме, меня терзала ревность, сводило с ума бессилие. Я не мог оправдать свою ревность, которую считаю отвратительным чувством, но она буквально сжирала меня. Испытав припадок ревности в первый раз, я почти полмесяца не мог спать ночами и заснул, только когда доктор прописал мне снотворное. Теперь я понимаю, какая это была глупость, поскольку чувства ко мне со стороны Колетт были достаточно серьезными, чтобы пережить какое угодно количество незначительных влюбленностей. Однако подозреваю, что философское отношение, которое дается мне сейчас так легко, обязано не столько философии, сколько физиологии. Дело в том, что Колетт была очень молода и не могла постоянно жить в атмосфере сугубой серьезности, как я. Но все это я понимаю теперь, а тогда позволил ревности завладеть мною, дал Колетт грубую отповедь, и в результате ее чувства ко мне значительно охладели. Мы оставались любовниками до 1920 года, но возвышенное состояние первого года уже не вернулось.

Я вышел из тюрьмы в сентябре 1918 года, когда стало ясно, что война идет к концу. Вместе с многими другими я возлагал большие надежды на Вудро Вильсона. Конец войны был таким стремительным и драматичным, что мы не успели эмоционально перестроиться. Утром 11 ноября, за несколько часов до того, как это стало общеизвестно, я уже знал о достигнутом соглашении. Я вышел из дому и сказал о перемирии первому встречному — бельгийскому солдату, который отозвался словами: "Tiens, c'est chic!"[1] Я зашел в табачную лавку и сказал об этом продавщице. "Очень рада, — ответила она, — теперь мы наконец избавимся от этих интернированных немцев". В 11 часов, когда было сделано официальное объявление, я шел по Тоттенхэм-Корт-роуд. Через две минуты народ из контор и магазинов повалил на улицы. Люди садились в автобусы и велели водителям везти их куда заблагорассудится. Я видел, как мужчина и женщина, явно незнакомые, встретились на середине улицы и стали целоваться.

Ночью я стоял на улице, наблюдая за настроениями толпы, как в тот августовский день четыре года назад. Толпа была беспечна и спокойна, за все это ужасное время люди не научились ничему, кроме того, чтобы с еще большим безрассудством хвататься за каждое самомалейшее удовольствие. Я чувствовал себя отчаянно одиноким в этой веселой толпе — как призрак, явившийся ненароком с другой планеты. Конечно, я тоже радовался, но моя радость была не та, что у остальных. Всю свою жизнь я страстно желал ощутить единение с массой, с толпой, охвачен-

1. Вот как! Здорово (*франц.*).

ной энтузиазмом. Это страстное желание часто вводило меня в заблуждение. Я воображал себя либералом, социалистом, пацифистом, но в истинном смысле не был ни тем, ни другим, ни третьим. Скептик-интеллектуал в самый неподходящий момент нашептывал мне слова сомнения, которые отчуждали меня от беспечного энтузиазма других людей и ввергали в беспросветное одиночество. Во время войны, когда я сотрудничал с квакерами, непротивленцами и социалистами и готов был разделить с ними все огорчения, которые приносит обнародование непопулярных мнений, я говорил квакерам, что, по моему убеждению, большинство войн в истории человечества оправдано, а социалистам — что мне ненавистна тирания государства. На меня смотрели косо и те и другие и, хотя принимали мою помощь, чуяли во мне чужака. Все, чем я занимался еще в ранней юности, все мои удовольствия были отравлены горечью одиночества. Пожалуй, мне удавалось бежать от него в минуты любви, но по зрелом размышлении я понял, что то была лишь иллюзия бегства. Я не знал ни одной женщины, для которой доводы разума были бы столь же непререкаемы, как для меня, и всякий раз, когда они ставились на карту, я убеждался, что вожделенное единомыслие в любви недостижимо. То, что Спиноза назвал "интеллектуальной любовью к Богу", представлялось мне самой желанной путеводной нитью, но в моей душе не было ничего даже отдаленно напоминавшего хотя бы абстрактного Бога, которого позволил себе признать Спиноза и которому я мог бы отдать свою любовь. Я любил призрак, и в любви к призраку призрачной становилась моя собственная личность. Я скрыл ее под маской воодушевления, нежности и радости жизни. Но мои глубинные чувства оставались неразделенными и не встречали сочувствия. Море, звезды, ночной ветер в пустошах значили для меня больше, чем самые любимые существа, и привязанность к человеку была для меня, в сущности, всего лишь попыткой восполнить отсутствующего Бога.

Война 1914—1918 годов все изменила. Я оставил ученые занятия и стал писать совсем другие книги. Изменилось мое представление о человеческой природе. Я впервые понял, что пуританизм не ставит целью счастье человека. Перед лицом смерти я обрел новую любовь к живому. Я понял, что большинство людей дают волю своим разрушительным импульсам из-за несчастий и только радость может построить более совершенный мир. Я увидел, что и реформаторы, и реакционеры подвержены жестокости, и усомнился в целях, которые требуют для своего достижения жесткой дисциплины. Находясь в оппозиции к самой идее общности, видя, как общественные добродетели используются для избиения немцев, трудно было не отказаться от морали в пользу веры. Меня спасло только глубокое сочувствие к мирским страданиям. Я потерял старых друзей и завел новых. Я познакомился с людьми, которыми восхищался, и первым среди них назвал бы Э. Д. Морела[1]. Мы познакомились в первые дни войны и часто встречались, пока оба не оказались в тюрьме. У него была одна страсть — правдивое представление фактов. Начав с разоблачения бесчинств, творимых бельгийцами в Конго, он не мог принять миф о "маленькой отважной Бельгии". Внимательно изучив дипломатию французов и сэра Эдварда Грея в Марокко, он не мог считать немцев единственными виновниками войны. С неизбывной

1. Эдвард Морел (1873—1924) — английский пацифист.

энергией и бесстрашием — он был органически не способен пасовать перед трудностями, — он делал все, что было в его силах, чтобы открыть людям глаза на истинные причины, заставлявшие правительство посылать молодых людей на бойню. Чаще других противников войны подвергался он нападкам политиков и прессы, как и тех слепцов, которые под влиянием пропаганды наивно верили, что он находится на содержании у кайзера. В конце концов его отправили за решетку, предъявив смехотворное обвинение: за использование секретарши для ведения частной переписки. На самом деле он послал письмо и какие-то документы Ромену Роллану. В отличие от меня он не попал в привилегированную первую категорию, и тюрьма подорвала его здоровье на всю оставшуюся жизнь. Несмотря ни на что, мужество никогда ему не изменяло. Он часто засиживался до глубокой ночи ради Рамсея Макдональда, который зачастую вел себя как последний трус, но когда Макдональду выпала честь формировать правительство, он и не подумал включить в него "германофила" Морела. Морела глубоко ранила его неблагодарность, и вскоре он умер от болезни сердца, которую получил в тюрьме.

Несмотря на расхождения во взглядах, среди квакеров были люди, которые вызывали у меня искреннее восхищение. Могу назвать казначея Антимобилизационного комитета мистера Грабба. Когда мы впервые встретились, это был старик семидесяти лет, очень тихий, всегда державшийся в тени, малоподвижный, сдержанный. Без лишних слов и видимых эмоций он выступал в защиту молодых людей, томящихся в тюрьме, мало заботясь о собственной безопасности. Мой брат находился в зале суда, когда Грабба вместе с группой единомышленников приговорили к тюремному заключению за пацифистские публикации. Брат, не принадлежавший к пацифистскому движению, был потрясен силой характера и цельностью этого человека. Фрэнк сидел рядом с общественным обвинителем Мэттьюзом, своим другом. Когда тот сел, проведя перекрестный допрос мистера Грабба, брат шепнул ему: "Признаться, Мэттьюз, роль Торквемады тебе не к лицу!" Эта реплика так разозлила Мэттьюза, что он перестал разговаривать с Фрэнком.

Одним из самых забавных случаев, имевших ко мне непосредственное отношение, был вызов в министерство обороны. Вкрадчивые чиновники умоляли меня не терять чувства юмора, ибо, по их мнению, человек с чувством юмора не станет высказываться в пользу непопулярных мнений. Однако их увещевания пропали втуне, а я потом пожалел, что не сказал им, как помирал со смеху каждое утро, читая в газетах о военных потерях.

Когда война кончилась, стало очевидно, что все сделанное мною не принесло никакой пользы никому, кроме меня. Я не спас ни единой жизни и ни на минуту не приблизил конец войны. Не смог сделать ничего такого, что смягчило бы последствия Версальского договора. Однако, как бы то ни было, я не сделался соучастником преступлений воюющих стран, а сам обрел новую философию и новую молодость. Я избавился от резонерства и от пуританства. Выучился понимать язык инстинктов, которым ранее не владел, и отчасти вознаградил себя за годы одиночества. Во время перемирия многие возлагали большие надежды на Вильсона. Другие искали вдохновляющий пример в большевистской России. Обнаружив, что не могу черпать оптимизм ни в том, ни в другом источнике, я тем не менее не впал в отчаяние. Я считал, что худшее еще впе-

реди, но это не лишило меня веры в то, что мужчины и женщины в конце концов откроют для себя простую тайну естественных радостей. <...>

Россия

Окончание войны помогло мне избежать неприятностей, которые в противном случае не миновали бы меня. В 1918 году подняли призывной возраст, и я подлежал мобилизации, чему, конечно, никак не мог подчиниться. Меня вызвали на медицинскую комиссию, но, несмотря на все усилия, не смогли вручить мне повестку: правительственные чиновники забыли, что упекли меня в тюрьму. Если бы война еще продлилась, я вскоре опять попал бы туда как узник совести. С финансовой точки зрения конец войны оказался также крайне для меня благоприятным. Я спокойно тратил наследственные деньги, когда работал над "Principia Mathematica". Но совесть не позволяла мне жить на капитал, полученный после смерти бабушки, и я подарил его Кембриджскому университету, Ньюнем-колледжу и прочим образовательным заведениям. Избавившись от ценных бумаг, которые я отдал Элиоту, я остался примерно с сотней фунтов ежегодно поступающих незаработанных денег — согласно брачному договору, этот минимум я уже никому не мог передать. Все это меня не пугало, поскольку я научился зарабатывать деньги книгами. Правда, в тюрьме мне разрешалось писать только о математике, а не о том, на чем можно было бы заработать. Так что, выйдя из тюрьмы, я оказался бы без единого пенни в кармане, если бы Сэнгер и некоторые другие друзья не устроили для меня лекции в Лондоне. С окончанием войны я опять мог зарабатывать писательством и уже не испытывал материальных затруднений, если не считать пребывания в Америке.

С концом войны изменились и наши отношения с Колетт. Во время войны нас многое объединяло, нас связывали общие и очень сильные переживания, но потом все осложнилось, отношения стали напряженными. Мы то и дело расставались, как казалось, навсегда, но каждый раз разлука бывала временной. В течение трех летних месяцев 1919 года мы с математиком Литтлвудом арендовали фермерский дом на холме в миле от Лалуорта. В доме было много комнат, и все лето к нам наезжали толпы гостей. Это очень красивая местность на берегу моря. Кроме отличного купания тамошние края предоставляли Литтлвуду возможность демонстрировать искусство скалолазания, в котором он был очень силен. Я тем временем начал присматриваться к своей будущей второй жене. Нас познакомила в 1916 году ее подруга Дороти Ринч, моя бывшая ученица в Гертоне. Летом 1916-го она организовала двухдневную вылазку, в которой приняли участие Дора Блэк, Жан Нико, я и она. Жан Нико — молодой французский философ, тоже мой ученик, не попавший на войну из-за туберкулеза (который и свел его в могилу в 1924 году). Это был один из самых обаятельных людей, которых я когда-либо знал, человек большого благородства и великого ума. К тому же он обладал особенным чувством юмора, чрезвычайно меня забавлявшим. Как-то в разговоре с ним я заметил, что профессиональным философам следует не только овладевать университетской наукой и теориями, которые создали их предшественники, но и попытаться понять окружающий мир. "Вы

правы, — ответил он, — только эти теории гораздо интереснее, чем окружающий мир". Незнакомая мне прежде Дора Блэк сразу привлекла мое внимание. Вечер мы провели в Шере, и чтобы заполнить послеобеденное время, я задал каждому вопрос, чего бы им больше всего хотелось в жизни. Не помню, что ответили Дороти и Жан; сам я сказал, что хотел бы исчезнуть, как герой "Похороненного заживо" Арнольда Беннета, при условии, что, как и он, найду какую-нибудь вдовушку. К моему удивлению, Дора ответила, что хотела бы выйти замуж и иметь детей. До той минуты я полагал, что ни одна молодая интеллектуалка не признается в столь простом желании, из чего заключил, что эта девушка, должно быть, исключительно искренна. В отличие от прочих в нашей компании она в то время не была ярой противницей войны.

В июне 1919 года по предложению Дороти Ринч я пригласил Дору на чай к нам с Алленом, с которым мы делили тогда квартиру в Баттерси. Она пришла, и мы ввязались в жаркий спор по поводу отцовских прав. Она заявила, что, будь у нее дети, считала бы их только своими, не признавая никаких притязаний со стороны отца. Я пылко возразил: "Ну, тогда, если я когда-нибудь заведу детей, то не от вас!" В результате следующим вечером мы вместе обедали и к концу обеда договорились, что она приедет погостить в Лалуорт. В тот день я в очередной раз — и самым решительным образом — расстался с Колетт, полагая, что никогда более не увижусь с ней. Однако на следующий же день после нашего с Литтлвудом приезда в Лалуорт получил от Колетт телеграмму, гласившую, что, понапрасну прождав поезда несколько часов, она направляется к нам в наемном автомобиле. К счастью, Дора на несколько дней припозднилась, но вообще все лето мне пришлось тщательно следить за тем, чтобы их визиты не совпадали.

Вышесказанное было написано мною в 1931 году, а в 1949-м я показал это Колетт. Колетт прислала мне в ответ два моих письма, которые я ей отправил в 1919-м, из них явствовало, как много я забыл. Прочтя их, я припомнил, что в то время в Лалуорте мои чувства резко менялись в зависимости от перемен в поведении Колетт. Она поочередно впадала в одно из трех состояний: страстной преданности, холодной решимости расстаться навеки и пассивного безразличия. Каждое из этих настроений отдавалось во мне эхом, причем резонанс на самом деле был гораздо сильнее, чем мне по прошествии лет помнилось. Наши письма свидетельствовали о ненадежности памяти, когда дело касается чувств. Обе женщины знали о существовании друг друга, но деликатность удерживала нас от окончательного выяснения отношений. Мы с Дорой стали любовниками сразу по ее прибытии в Лалуорт, и каждый ее приезд доставлял мне огромную радость. Размолвки с Колетт объяснялись ее нежеланием иметь детей; я понимал, что если уж заводить детей, то откладывать нельзя. Дора как раз хотела иметь детей, не важно — в браке или нет, и мы с самого начала не предохранялись. Она была слегка разочарована тем, что наши отношения почти сразу приобрели характер супружеских, а когда я сказал, что рад был бы получить развод и жениться на ней, она ударилась в слезы, поскольку это предвещало конец нашей независимости и беззаботности. Но наши взаимные чувства были столь прочными, что исключали всякие другие увлечения. Те, кто знал ее только с деловой стороны, вряд ли поверили бы, как она очаровательна, когда на ее плечи не давит груз ответственности. Во время купаний при лу-

не или когда она бежала босиком по росистой траве, мне точно так же хотелось быть отцом ее детей, как и во время серьезных бесед.

Дни в Лалуорте текли в приятных забавах, главным образом в купании и беседах. В то время общая теория относительности была еще в новинку. И мы с Литтлвудом бесконечно ее обсуждали. Мы, к примеру, спорили о том, является ли расстояние от нашего дома до почты таким же, как от почты до нашего дома, или же нет, и никогда не приходили к единому мнению. Наблюдения во время случившегося тогда солнечного затмения подтвердили предположение Эйнштейна относительно отклонения светового луча, и Литтлвуду прислали телеграмму из Эддингтона, где говорилось: Эйнштейн сказал, что так и должно было быть.

Как всегда бывает, когда группа хорошо знакомых между собой людей собирается за городом, у нас появились свои шутки, которых не понимали непосвященные. Порой эти шутки были довольно рискованными. В нашу компанию как-то попала некая миссис Фиск Уоррен, с которой я познакомился в Бэгли-вуд, богатая, красивая, умная, хорошо образованная. Появление на мировой арене "великих" модернистов — во многом результат ее поддержки, которую она не афишировала. Тщательно отобранные преподаватели обучали ее античной философии, не требуя знания древнегреческого языка. Эта дама обладала даром мистического постижения и обожала Уильяма Блейка. Я гостил в ее загородном доме в Массачусетсе в 1914 году и смог по достоинству оценить его редкостную атмосферу. Ее муж, с которым я в ту пору не встречался, был ревностным пропагандистом единого налога и прокладывал дорожку в малые страны, вроде Андорры, с перспективой воплощения на практике принципов Генри Джорджа. Когда мы были в Лалуорте, она прислала мне книгу своих стихов и книгу мужа, посвященную его любимой теме. Одновременно пришло и его письмо из Лондона, где он писал, что хочет со мной встретиться. Я ответил, что это невозможно, поскольку я не в Лондоне. Он телеграфировал, что готов приехать в понедельник, вторник, среду, четверг или пятницу, в любой удобный для меня день, хотя ему придется выехать из Лондона в шесть утра. Я выбрал пятницу и принялся лихорадочно перелистывать книгу стихов его жены. Нашел стихотворение под названием "Тому, кто спит рядом со мной", а в нем строчку: "Твое искусство наполнено мясом и вином этого мира". Прочел стихотворение компании и позвал экономку, чтобы заказать обильную трапезу и много выпивки. Муж миссис Фиск Уоррен оказался худым, аскетичным, беспокойным субъектом, не желавшим тратить время на шутки и легкомысленные занятия. Когда мы все собрались за ланчем и я стал угощать его и предлагать напитки, он печально сказал: "Нет, спасибо. Я вегетарианец, а вина вообще не пью". Чтобы замять неловкость, Литтлвуд для виду отпустил какую-то шутку, ответом был наш дружный смех, о причине которого гость, конечно, и не догадывался.

Лето, море, природа и хорошая компания плюс любовь и начало мирного времени — чего еще можно было желать! В конце лета я вернулся в квартиру Клиффорда Аллена в Баттерси, а Дора в качестве научного сотрудника Гертон-колледжа поехала в Париж продолжать свои исследования по зарождению французского вольнодумства XVII–XVIII веков. Мы иногда виделись то в Лондоне, то в Париже. Я все еще встречался с Колетт и пребывал в нерешительности.

На Рождество мы с Дорой встретились в Гааге, куда я приехал повидаться с моим другом Витгенштейном. Впервые я познакомился с Витгенштейном в Кембридже перед войной. Он австриец, отец его был очень богат. Витгенштейн собирался стать инженером и с этой целью отправился в Манчестер. Заинтересовавшись математикой, он начал наводить в Манчестере справки, кто занимается этим предметом. Кто-то упомянул мое имя, и Витгенштейн переселился в Тринити-колледж. Витгенштейн — идеальный пример гения в традиционном смысле слова: страстный, глубокий, неутомимый и властный. Человек необыкновенной чистоты, сравнить его можно разве что с Джорджем Муром. Помню, я как-то взял его с собой на заседание Аристотелевского общества, где собралось много дураков, которым я старался не показывать, что о них на самом деле думаю. По дороге домой он яростно клеймил меня за двоедушие; по его мнению, я должен был сказать им, что они такое. Бурная жизнь Витгенштейна изобиловала всяческими невзгодами, но сила его духа была необыкновенной. Он питался молоком и овощами, и я, бывало, думал о нем словами миссис Патрик Кэмпбелл, которая сказала о Шоу: "Помилуй нас Боже, ежели он как-нибудь съест кусок мяса". Витгенштейн приходил ко мне каждый вечер ближе к полуночи, три часа молча мерил шагами комнату, как дикий зверь. Однажды я спросил его: "Вы размышляете о логике или о собственных грехах?" — "О том и о другом", — ответил он, продолжая шагать. Я боялся сказать ему, что пора спать, потому что и мне и ему было ясно: уйдя из моего дома, он совершит самоубийство. В конце своего первого семестра в Тринити он пришел ко мне с вопросом: "Как вы думаете, я полный идиот?" — "А зачем вам это знать?" — спросил я. Он ответил: "Если я идиот, то стану авиатором, а если нет, буду философом". Я сказал: "Дорогой друг, не знаю, полный вы идиот или нет, но если на каникулах вы напишете эссе на любую интересующую вас философскую тему, я прочту и дам ответ". Он так и сделал, принес мне свою работу к началу следующего семестра. Прочитав первое предложение, я понял, что он гений, и уверил его, что становиться авиатором ему ни в коем случае не следует. В начале 1914 года он пришел ко мне чрезвычайно возбужденный и сообщил: "Я уезжаю из Кембриджа, уезжаю сейчас же". — "почему?" — "Потому что муж моей сестры переехал в Лондон, а я не смогу жить рядом с ним". Остаток зимы он провел на севере Норвегии. Еще в начале нашего знакомства я спросил у Джорджа Мура, что он думает о Витгенштейне. "Я о нем очень высокого мнения", — сказал он и на мой вопрос "почему?" ответил: "Потому что он единственный человек, который на моих лекциях выглядит озадаченным".

Когда началась война, Витгенштейн, большой патриот, пошел офицером в австрийскую армию. Первые несколько месяцев можно было писать ему, и он отвечал, а потом переписка прервалась, и я долгое время ничего о нем не слыхал, покуда через месяц после заключения перемирия не получил от него письмо из Монте-Кассино, в котором сообщалось, что через несколько дней после перемирия он был взят в плен итальянцами, к счастью, вместе со своей рукописью. Оказалось, что в окопах он написал книгу и хотел, чтобы я ее прочитал. Он был из той породы людей, которые не замечают такой малости, как разрывы снарядов, если размышляют над логическими проблемами. Он прислал мне рукопись, которую мы обсуждали в Лалуорте с Дороти Ринч и Нико. Это

была книга, опубликованная впоследствии под названием "Логико-философский трактат". Очень важно было встретиться с ним и обсудить ее. Лучше всего в какой-нибудь нейтральной стране. Мы договорились встретиться в Гааге. Но тут возникло неожиданное препятствие. Накануне войны отец Витгенштейна перевел весь капитал в Голландию, так что в конце войны был так же богат, как и до нее. Как раз во время заключения перемирия отец умер, и Витгенштейн унаследовал все его богатство. Однако он придерживался мнения, что деньги для философа — обуза, и все отдал брату и сестрам. В результате ему нечем было оплатить дорогу от Вены до Гааги, а он был слишком горд, чтобы принять деньги от меня. Наконец решение нашлось. В Кембридже оставались его книги и мебель, и Витгенштейн изъявил желание продать их мне. Я последовал совету агента по продаже мебели, в чьем ведении находились эти вещи, и купил все за предложенную цену. Реальная стоимость была намного выше, так что то была самая выгодная сделка, которую я когда-либо заключал. Благодаря этому Витгенштейн смог добраться до Гааги, где мы провели неделю, обсуждая его книгу строка за строкой, пока Дора ходила в Публичную библиотеку читать речи Сальмазия[1] против Мильтона.

Витгенштейн был не только логиком, но еще и патриотом и пацифистом. Он придерживался очень высокого мнения о русских, с которыми братался на фронте. Он рассказывал, как однажды в галицийской деревушке от нечего делать набрел на книжную лавку, а в ней была одна-единственная книга — размышления Толстого о Евангелии. Он купил ее, прочел, и она оказала на него глубокое действие. На какое-то время он сделался весьма религиозным, ему даже казалось недостойным общаться со мной. Чтобы заработать на жизнь, Витгенштейн уехал учительствовать в начальной школе в австрийской деревне Траттенбах. Он, бывало, писал мне оттуда: "Жители Траттенбаха безнравственны". Я отвечал: "Все люди безнравственны". В ответ он писал: "Это правда, но жители Траттенбаха безнравственны более других". Я отвечал, что такое заявление противно логике. Но у него было оправдание: крестьяне отказывались снабжать его молоком, считая, что арифметика, которой он учит их детей, не имеет никакого отношения к деньгам и материальным расчетам. Он, должно быть, страдал от голода и лишений, но из его уст почти никогда не срывалось ни слова жалобы, он обладал дьявольской гордыней. Его сестре пришла в голову удачная мысль начать строительство дома и нанять его в качестве архитектора. Это обеспечило ему несколько лет безбедного существования, а потом он поступил преподавателем в Кембридж, где сын Клайва Белла[2] сочинял на него эпиграммы. Он не умел общаться с людьми. Уайтхед так описывал первый визит к нему Витгенштейна: его проводили в гостиную, где семья пила чай; не заметив присутствия миссис Уайтхед, он некоторое время молча шагал из угла в угол, а потом его как прорвало: "Пропозиция имеет два полюса. Это *a*р*b*". "Я, — рассказывал Уайтхед, — естественно, спросил, что такое *a* и *b* , но осекся, поняв, что сказал глупость. "*A* и *b* не определяются", — громовым голосом возгласил Витгенштейн".

1. Сомэз (1588—1653) — французский гуманист и полиглот, именовавшийся на латинский манер Сальмазием; автор трактата "Защита короля Карла I", на который Мильтон ответил "Защитой английского народа" и другими трактатами.
2. Клайв Белл (1881—1964) — искусствовед, литературный критик, член "группы Блумсбери".

Как у всех великих людей, у него были свои слабости. В 1922 году, в самый разгар его мистического вдохновения, когда он со всей серьезностью уверял меня, что лучше быть добрым, нежели умным, выяснилось, что он до ужаса боится ос и клопов и не может из-за них остаться на еще одну ночь в гостинице, которую мы сняли в Инсбруке. После путешествия по России и Китаю я приобрел иммунитет против такого рода неудобств, но в данном случае все доводы были бессильны. Если не считать этих маленьких фобий, он был личностью совершенно необыкновенной.

Почти весь 1920 год я провел в поездках. На Пасху меня пригласили с лекциями в Барселону, в Каталонский университет. Из Барселоны я поехал на Майорку, где остановился в гостинице Соллера. Старый хозяин гостиницы (единственной в этой местности) объявил, что поскольку он вдовец, то готовить еду не сможет, зато мне позволяется в любое время срывать в саду апельсины. Он сказал это с таким величественным видом, что мне ничего не оставалось, как выразить глубочайшую признательность. На Майорке у меня началась великая распря с Дорой, не прекращавшаяся много месяцев на всех широтах и долготах.

Я планировал отправиться в Россию, и Дора собиралась ехать со мной. На мой взгляд, ехать ей туда смысла не было, поскольку она не проявляла особого интереса к политике, тем более что поездка могла оказаться довольно рискованной из-за свирепствовавшего в стране тифа. Но мы оба были неуступчивы, и компромисс был недостижим. До сих пор считаю, что прав был я, а она думает, что права была она.

Вскоре после возвращения с Майорки выдался случай ехать в Россию. Туда отправлялась делегация лейбористов, которые пожелали, чтобы я отправился вместе с ними. Правительство рассмотрело мое заявление, и после беседы у Г. Л. Фишера[1] мне разрешили присоединиться к ним. Договориться с советским правительством было гораздо труднее, и когда я уже добрался до Стокгольма, Литвинов все еще отказывал мне в разрешении на въезд, несмотря на то что мы сидели вместе в тюрьме Брикстон. Наконец все недоразумения с советским правительством были улажены. Компания у нас подобралась забавная. Миссис Сноуден, Клиффорд Аллен, Роберт Уильямс, Том Шоу, невероятно толстый и старый трейд-юнионист по имени Бен Тернер, совершенно беспомощный без жены и просивший Клиффорда Аллена снимать ему ботинки, Хейден Гест, сопровождавший делегацию как врач, и еще несколько профсоюзных чиновников. В Петрограде, где в наше распоряжение предоставили императорский автомобиль, миссис Сноуден, сидя за рулем, восхищалась его роскошью и выражала сочувствие "бедному царю". Она и Хейден Гест, теософ с пылким темпераментом и непомерным либидо, были настроены антибольшевистски. Роберт Уильямс чувствовал себя в России абсолютно счастливым; он был, пожалуй, единственным, кто произносил речи во славу советского правительства. Он все время твердил, что в Европе назревает революция, и Советы воспользовались его услугами. Я предупреждал Ленина, что Уильямсу нельзя верить. На следующий год, в Черную пятницу[2], он сбежал. Еще с нами был Чарли Бак-

1. Гербер Альфред Фишер (1865–1940) – английский историк и государственный деятель.
2. "Черная пятница" – пятница 15 апреля 1921 г., день срыва забастовки солидарности английских горняков, против которых были брошены правительственные войска.

стон, который через пацифизм пришел к квакерству. Когда мы жили в одном номере, он прерывал меня на полуслове, чтобы сотворить молчаливую молитву. К моему удивлению, пацифизм не привел его к осуждению большевиков.

Для меня время, проведенное в России, превратилось в постепенно усиливавшийся кошмар. Я предал бумаге свои размышления, в которых, на мой взгляд, отразилась правда, но не тот ужас, который владел мною там. Жестокость, бедность, подозрительность, преследования наполняли самый воздух, которым мы дышали. Наши разговоры постоянно прослушивались. Ночи оглашались выстрелами — это убивали в тюрьмах несчастных идеалистов. Все было пропитано лицемерием, люди называли друг друга "товарищ", но как по-разному звучало это слово применительно, скажем, к Ленину или ленивому официанту! Как-то в Петрограде (так назывался в ту пору этот город) ко мне явилась четверка одетых в лохмотья людей, заросших щетиной, с грязными ногтями, спутанными волосами. То были самые известные поэты России. Одному из них позволили зарабатывать на жизнь чтением лекций по стихосложению, если он будет освещать предмет с марксистских позиций, и он жаловался, что хоть убей не может понять, при чем тут Маркс.

Другие оборванцы, с которыми я встретился, были членами Петроградского математического общества. Я присутствовал на одном из заседаний этого Общества, слушал доклад по неевклидовой геометрии. Я ничего не мог понять, кроме формул, записанных на доске, но, судя по ним, это был вполне компетентный доклад. В Англии я никогда не видел таких униженных и жалких бродяг, как петроградские математики. Мне не разрешили встретиться с Кропоткиным, а вскоре он умер. Представители правящего класса выглядели не менее самоуверенно, чем выпускники Итона или Оксфорда. Они были убеждены, что с помощью своей формулы счастья решат все проблемы. Те, что были поумнее, понимали, что это не так, но не осмеливались говорить вслух. Однажды в конфиденциальной беседе врач по фамилии Залкинд стал говорить, что климат оказывает большое влияние на характер, но вдруг осекся и сказал: "Это, конечно, не так. На характер воздействуют только экономические условия". На моих глазах все, что представлялось мне ценным в человеческой жизни, разрушалось в интересах узколобой философии, которую вдалбливали в ум многомиллионного народа, живущего в нищете, о которой запрещалось говорить. С каждым днем, проведенным в России, ужас мой усиливался, в конце концов я потерял всякую способность к объективному суждению.

Из Петрограда мы поехали в Москву, это очень красивый город и благодаря ориентальным мотивам архитектурно более интересный, чем Петроград. Меня ставила в тупик изобретательность большевиков, одержимых идеей массового производства. Главная трапеза, начинавшаяся около четырех часов, включала помимо прочего рыбьи головы. Мне так и не удалось узнать, куда же девались рыбьи тушки, предполагаю, что их съедали народные комиссары. Москва-река кишела рыбой, но ловить ее на удочку не дозволялось, поскольку еще не было придумано более современного способа ловли. Город почти умирал с голоду, а кормить народ продолжали рыбьими головами, выловленными с помощью траулеров, потому что тушки пришлось бы добывать примитивным образом.

Когда мы плыли на пароходе по Волге, Клиффорд Аллен заболел острой пневмонией, которая вызвала обострение туберкулеза. Мы следовали до Саратова, но Аллен был так плох, что его нельзя было снимать с парохода, поэтому Хейден Гест, миссис Сноуден и я оставались на борту до самой Астрахани. Каюта у него была очень тесная, а жара стояла невыносимая. Иллюминаторы приходилось держать плотно задраенными из-за малярийных комаров, к тому же Аллен страдал от жестокой диареи. Мы ухаживали за ним посменно, и хотя на пароходе была русская медсестра, она отказывалась сидеть при нем по ночам, опасаясь, что он умрет и ее схватит дух мертвеца.

Астрахань я могу сравнить только с адом. Воду для городских нужд брали в той части реки, куда суда сбрасывали отходы. На улицах стояли лужи, где размножались миллионы комаров; ежегодно треть жителей болела малярией. Канализационной системы не было вовсе, и на видном месте в центре города возвышалась гора экскрементов. Чума приобретала эпидемический масштаб. Недавно, во время гражданской войны, здесь проходили бои с войсками Деникина. Мух было столько, что во время еды блюда накрывали салфетками, надо было быстренько сунуть руку под салфетку, схватить кусок и молниеносно отправить в рот. Сама салфетка моментально становилась черной от мух. Город располагается в основном ниже уровня моря, и температура достигала пятидесяти градусов по Цельсию. Местным врачам советские начальники велели внимательно выслушать все, что скажет Хейден Гест насчет борьбы с малярией. Как специалист-эпидемиолог он работал в расположении британской армии в Палестине. Он прочитал замечательную лекцию, по завершении которой астраханцы сказали: "Да, все это мы тоже знаем, но здесь слишком жарко". Подозреваю, что подобные высказывания могли стоить докторам жизни, но в данном случае об их дальнейшей судьбе мне ничего неизвестно. Самый авторитетный из них обследовал Клиффорда Аллена и сказал, что тот вряд ли протянет и несколько дней. Когда спустя полмесяца его обследовал доктор уже в Ревеле и сказал то же самое, я уже знал, как сильна у Аллена воля к жизни, и не так испугался. Он прожил еще много лет и стал украшением палаты лордов.

По возвращении в Англию я попытался выразить свое мнение, значительно изменившееся за время поездки, в виде писем к Колетт, соответственно изменив даты. Последнее из них я потом опубликовал в книге о Китае. Поскольку там гораздо точнее отражаются мои тогдашние впечатления, чем я мог бы обрисовать их сейчас, я и помещаю их здесь.

24 апреля 1920 г.
Лондон

Приближается день моего отъезда. Надо переделать тысячу дел, а я сижу и предаюсь бесплодным размышлениям, бесполезным, мятежным размышлениям, которым никогда не предаются здравомыслящие люди, размышлениям, которые надо вытеснять работой, но вместо этого сами вытесняют работу. Завидую тем, кто всегда верит в то, во что верит, кого не беспокоит равнодушие к тому, что выходит за рамки собственной частной жизни. Я притязал на то, чтобы приносить пользу другим, чтобы достичь каких-то значительных результатов, чтобы дать людям новую надежду. И теперь, когда цель близка, все это кажется мне прахом и тленом. Когда я смотрю в будущее, мой разочарованный взгляд видит лишь борьбу, одну лишь борьбу, растущую жестокость, тиранию, террор

и рабскую покорность. Человечество моей мечты – гордые, бесстрашные, благородные люди – придут ли они когда-нибудь на нашу землю? Или они обречены воевать, убивать, мучить друг друга до конца времен, покуда земля не остынет и затухающее солнце не перестанет согревать их бессмысленное исступление? Не знаю. Ощущаю лишь отчаяние. Я познал беспросветное одиночество, идя путем земли, как призрак, голос которого никто не слышит, блуждая, как пришелец с другой планеты.

Нет конца вечной вражде, вражде между маленькими радостями и великой болью. Я знаю, что маленькие радости – это смерть, и все же – я так устал, я так сильно устал. Во мне не на жизнь, а на смерть борются разум и чувство, отнимая всю мою энергию, которую я мог бы потратить в своих целях. Я знаю, что без борьбы не достичь ничего стоящего, ничего не достичь без жестокости, организованности и дисциплины. Я знаю, что ради коллективного действия индивид должен быть превращен в механизм. И хотя разум понуждает в это верить, меня это не вдохновляет. Я люблю отдельную человеческую душу – в ее одиночестве, в ее надеждах и страхах, внезапных порывах и странных привязанностях. Как далеко от нее до армий, государств и чиновников; но проделать этот путь – единственный способ избежать бесполезной чувствительности.

В суровые годы войны я мечтал о счастливом дне, когда она кончится, когда мы сядем с тобой в солнечном саду у Средиземного моря, наполненном ароматом гелиотропа, окруженном кипарисами и священными падубовыми рощами, – и тогда, наконец, я смогу сказать тебе о моей любви и прикоснуться к радости столь же настоящей, как и боль. Это время пришло, но у меня другие дела, а у тебя иные желания; и когда я сижу, погруженный в свои мысли, все дела кажутся мне тщетными, а все желания бессмысленными.

И это не подвигнет меня к действиям.

12 мая 1920 г.
Петроград

Наконец я здесь, в городе, который открыл миру новую страницу истории, разжег самую смертельную ненависть и самые безумные надежды. Откроет ли он мне свою тайну? Узнаю ли я его сокровенную душу? Или получу только статистические данные и голые факты? Пойму ли я то, что увижу, или все это останется для меня странным и непонятным спектаклем? Глухой ночью мы вышли на пустой станции, и наш автомобиль загрохотал по спящим улицам. Из окна гостиницы я смотрел через Неву на Петропавловскую крепость. Река тускло блестела в свете северной зари; нельзя выразить словами, как прекрасен был вид, как наполнен чарами волшебной вечной мудрости. "Чудесно", – сказал я стоявшему рядом большевику. "Да, – отозвался он. – Теперь в Петропавловке не тюрьма, а Генеральный штаб".

Я встряхнулся. "Приди в себя, дружище, – мысленно сказал я себе, – ты тут не турист, и не дело млеть от рассветов, закатов и достопримечательностей, отмеченных в путеводителе; ты здесь для того, чтобы провести социальное исследование, изучить экономику и политику. Очнись от грез, забудь о вечности. Люди, к которым ты приехал, назвали бы все это буржуазными фантазиями бездельника, и положа руку на сердце ты мог бы с ними согласиться". И я вступил в разговор, пытаясь выяснить, как купить зонт в советском магазине, что оказалось столь же непостижимо, как ускользающая суть последних тайн бытия.

Двенадцать часов, которые я уже потратил на разгадки русской души, дали пока лишь повод для иронии. Я был готов к материальным трудностям, неудобствам, грязи и голоду, которые, я полагал, должно скрасить ощущение великой надежды. Наши товарищи-коммунисты, без сомнения правомерно, сочли за лучшее избавить нас от лишений. Не успели мы вчера после обеда пересечь границу, как нам уже устроили два банкета, накормили хорошим завтраком, угостили первоклассными сигарами, а ночь я провел в огромной дворцовой спальне, сохранившей всю старорежимную роскошь. На всем пути следования наш вагон тщательно отделяли от толпы цепью солдат. Кажется, меня погрузили в великолепие огромной военной империи. Так что надо перенастроиться. Для этого нужен цинизм, а у меня его маловато. В результате я задаю себе один и тот же вопрос: в чем тайна этой раздираемой страстями страны? Ведома ли она большевикам? Догадываются ли они вообще о существовании такой тайны? Сомневаюсь.

13 мая 1920 г.
Петроград

Я попал в странный мир, мир умирающей красоты и тяжкой жизни. Меня все время тревожат фундаментальные вопросы, страшные, неразрешимые вопросы, которые никогда не задают себе мудрые люди. Пустые дворцы и переполненные столовые, разрушенное или мумифицированное в музеях былое великолепие и наряду с этим – расползающаяся по городу (благодаря вернувшимся беженцам) самоуверенная американизация. Все систематизируется; все должно быть организовано и справедливо распределено. Одно и то же образование для всех, одно и то же жилье, одни и те же книги и одна на всех вера в то, что происходящее совершенно: для зависти нет места, разве что к счастливым жертвам несправедливости, живущим за границей.

Потом я пытаюсь взглянуть на то же самое с точки зрения оппонента. Вспоминаю "Преступление и наказание" Достоевского, "В людях" Горького, "Воскресение" Толстого. Думаю о жестокости и разрушениях, на которых было построено былое великолепие; о бедности, пьянстве, проституции, прожитых впустую жизнях; думаю о поборниках свободы, томившихся в Петропавловской крепости; вспоминаю убийства, погромы, избиения. Через ненависть к прошлому я становлюсь терпимее к новому, но не могу возлюбить это новое ради него самого.

И все же я виню себя за то, что не могу его полюбить. В нем проявились обычные для всего нового свойства – безобразие, брутальность, но в то же время – энергия созидания и вера в истинную ценность творимого. Когда создаешь механизм общественной жизни, некогда задумываться о чем-либо ином. Когда же новое общество будет в основном построено, появится время задуматься о том, как вдохнуть в него душу, – так я, по крайней мере, считаю. "У нас нет времени для нового искусства и новой религии", – нетерпеливо говорили мне. Возникает, однако, вопрос: можно ли сперва создать тело и только потом впрыснуть в него соответствующее количество души? Может быть, – но я как-то сомневаюсь.

Я не нахожу никакого теоретического ответа на эти вопросы, зато на них яростно отвечают мои чувства. Я бесконечно несчастен в этой атмосфере – удушающей атмосфере примитивной целесообразности, безразличия к любви и красоте, к спонтанности жизни. Я не способен придавать такое значение примитивным нуждам, как здешние власти. Это несомненно связано с тем, что мне не пришлось провести в нужде и голоде полжизни, как им. Но разве нужда и голод и впрямь делают человека мудрее? Разве они помогают ему осознать идеалы,

которые должны вдохновлять каждого реформатора? Не могу избавиться от мысли, что они скорее сужают горизонт, чем раздвигают его. И все же червь сомнения грызет меня, и я разрываюсь между двумя ответами на этот вопрос...

2 июня 1920 г.
На Волге

День за днем плывет наш пароход вдоль неизвестных таинственных берегов. Компания у нас шумная, веселая, задиристая, охотно изобретающая всяческие теории для объяснения всего и вся, уверенная в том, что нет ничего и никого, что ей не под силу понять. Один из нас лжет, стоя одной ногой в могиле (Клиффорд Аллен), из последних сил сражаясь с собственной слабостью и равнодушием тех, кто в добром здравии, под денный и нощный аккомпанемент любовных воплей и смеха. А вокруг – великое безмолвие, необоримое, как Смерть, неисчерпаемое, как небо. Однако слушать это молчание всем недосуг, хотя оно так неотступно зовет меня, что я остаюсь глух к пропагандистским речам и бесконечной болтовне тех, кто в курсе всего на свете.

Прошлой ночью, очень поздно, наш пароход причалил к безлюдной пристани, где не было домов, только пустынный песчаный берег, а за ним – тополя и восходящая над ними луна. В молчании я сошел на берег и увидел на песке странное поселение – беженцев, спасающихся от голода. Каждое семейство со всеми своими пожитками молча сидело вокруг своего костерка, кто-то спал, кто-то бодрствовал. Неверное пламя освещало изнуренные бородатые лица одичавших мужчин, исполненные терпения примитивные лица женщин, по-взрослому медлительных ребятишек. Это, конечно, были человеческие существа, но мне было бы проще заговорить с собакой, кошкой или лошадью, чем с кем-нибудь из них. Я понял, что они просидят тут долгие дни, может быть недели, пока не придет пароход, который отвезет их туда, где, как они слышали – хотя информация вряд ли верна, – лежит земля добрее той, что им пришлось покинуть. Многие погибнут по дороге, они будут страдать от голода, жажды и палящего солнца, но никто не откликнется на их страдания. Для меня они олицетворяли самую душу России, безмолвную, пассивную в своем отчаянии, неслышную небольшой группе людей на Западе, создающих партии прогресса и реакции. Россия столь обширна, что те немногие, кто способен к самовыражению, теряются в ее просторах, как планета Земля в межзвездном пространстве. Мне казалось, что теоретики лишь увеличат несчастья большинства людей, заставляя их предпринимать действия, противные основным человеческим инстинктам, я не мог поверить, что большинство можно осчастливить, уповая на индустриализацию и принудительный труд.

Тем не менее, когда наступило утро, я вновь вступил в бесконечные дискуссии о материалистическом понимании истории и преимуществах подлинно народного правления. Те, с кем я все это обсуждал, не видели скитальцев на берегу, но даже если бы и видели, пренебрегли бы ими, ибо для пропаганды они не имели никакого значения. Однако что-то от их покорного молчания передалось и мне, что-то невыразимое вошло в мое сердце, несмотря на привычную и такую уютную интеллектуальную болтовню. В конце концов мне стало казаться, что политика – дьявольское наваждение, с помощью которого энергичные и быстрые умом мучают смиренные народы – ради кошелька, власти или науки. Пока мы путешествовали, подкрепляя себя пищей, отнятой у крестьян, под охраной солдат, набранных из их сыновей, я думал о том, что мы можем дать им взамен. И не нашел ответа. Время от времени я слышал их печальные песни, слушал зву-

ки балалайки; но звуки таяли в великом молчании степи, оставляя мне лишь грызущую безответную боль, рядом с которой тускнел луч случайной надежды.

Свердлов, министр транспорта (выражаясь по-нашему), сопровождавший нас в поездке по Волге, проявил чрезвычайную заботливость к Аллену. От Саратова до Ревеля мы проделали путь в вагоне, принадлежавшем царским дочерям, так что Аллену не пришлось сделать ни шагу. Судя по вагону, у царского семейства были странные привычки. Там находилась удобная софа с поднимающимся сиденьем, под которым были проделаны три отверстия для санитарных нужд. На пути домой, уже в Москве, мы яростно поспорили с Чичериным, который не разрешал Аллену уезжать из города, пока его не осмотрят два советских врача, причем сказал, что врачей сможет прислать только через два дня. В разгар нашей ссоры, на лестнице, я дал себе волю, потому что Чичерин был другом моего дяди Ролло и я возлагал на него большие надежды. Я кричал, что объявлю его убийцей. Нам, как и самому Аллену, казалось, что надо как можно скорее выбраться из России и любая задержка опасна для жизни. Наконец был достигнут компромисс: докторов вызвали сразу. Фамилия одного была Попов, фамилию другого я забыл. Советские чиновники считали, что Аллен к ним дружески расположен, а мы с Гестом и миссис Сноуден желаем ему смерти, чтобы лишить возможности свидетельствовать в их пользу.

В Ревеле я случайно познакомился с миссис Стэн Хардинг. Она направлялась в Россию преисполненная энтузиазма. Я как мог пытался развеять ее иллюзии относительно большевиков, но безуспешно. Едва она приехала, как ее засадили в тюрьму и держали там восемь месяцев. Освободили ее только благодаря настоятельным требованиям британского правительства. Вина за это лежала главным образом не на Советах, а на некой миссис Харрисон, богатой американке, которая плыла вместе с нами по Волге. Она явно была очень запугана и стремилась вырваться из России, но большевики держали ее под надзором. К ней приставили соглядатая по фамилии Аксенов, который занимался своим ремеслом еще при старом режиме; он следил за каждым ее шагом и прислушивался к каждому ее слову. У него была длинная борода, меланхоличное выражение лица, и он сочинял по-французски декадентские стишки — весьма изящные. В ночном поезде он ехал в том же купе, что и она; на пароходе, едва кто-нибудь начинал с ней разговор, он тут же подкрадывался и молча стоял рядом. Он умел замечательно подкрадываться. Мне было жаль бедняжку, а зря. Миссис Харрисон оказалась американской шпионкой, услугами которой пользовались и в Британии. Русские пронюхали, кто она такая, но сохранили ей жизнь — при условии, что она будет шпионить и в их пользу. Однако она саботировала, выдала их друзей, а врагам помогла бежать. Миссис Хардинг знала, что она шпионка, и американка постаралась от нее поскорее избавиться. Поэтому она выдала миссис Хардинг советским властям. Несмотря на все это, женщина она была очаровательная и ухаживала за Алленом гораздо более умело и самоотверженно, чем его старые друзья. Когда правда вышла наружу, Аллен упорно отказывался слышать о ней хоть одно худое слово.

Ленин, с которым я имел часовую беседу, меня разочаровал. Не то чтобы я прежде считал его великим человеком, но в ходе нашей беседы

я убедился в его ограниченности, узколобом понимании марксистской ортодоксии, а также заметил в нем нескрываемую озлобленность и жестокость. Об этом разговоре, так же как и вообще о своих приключениях в России, я рассказал в книге "Практика и теория большевизма".

В то время из-за блокады России никакой почтовой и телеграфной связи с ней не было. Но как только мы приехали в Ревель, я послал Доре телеграмму. К моему удивлению, ответа не последовало. Из Стокгольма я телеграфировал ее друзьям в Париж, пытаясь выяснить, где она, и мне ответили, что в последний раз получили от нее весточку из Стокгольма. Я предположил, что она выехала навстречу мне, но, понапрасну прождав встречи целые сутки, случайно услыхал от одного финна, что она отбыла в Россию через Нордкап. Я воспринял это как очередной ход в нашем затянувшемся споре о России и страшно разволновался, опасаясь, что ее посадят в тюрьму, поскольку цель ее приезда большевикам была неизвестна. Не в силах помочь делу, я вернулся в Англию, где пытался прийти в себя после шока, который испытал в России. Вскоре я стал получать письма от Доры, которые привозили из России друзья. К моему величайшему изумлению, Россия ей в такой же мере понравилась, в какой я ее возненавидел. Интересно, думал я, сможем ли мы когда-нибудь преодолеть наши разногласия? Между тем среди писем, дожидавшихся моего возвращения в Англию, было одно из Китая с приглашением приехать на год для чтения лекций. Приглашение последовало от Китайской лекционной ассоциации, озабоченной уровнем национального образования и принявшей решение импортировать по одному именитому иностранцу ежегодно. В прошлом году они приглашали доктора Дьюи[1]. Я решил, что приму приглашение, только если Дора согласится со мной поехать, и никак иначе. Проблема заключалась в том, чтобы связаться с ней в условиях блокады. В Ревеле я познакомился с одним квакером, Артуром Уоттсом, который часто ездил в Россию, и я послал ему телеграмму, которая обошлась мне в несколько фунтов, где подробно объяснял обстоятельства дела, просил по возможности найти Дору и передать мое предложение. Мне повезло, идея сработала. Чтобы успеть к сроку, возвратиться ей следовало немедленно. Большевики поначалу решили, что это ловкий трюк с моей стороны, но в конце концов ей удалось уехать.

Мы встретились в воскресенье на Фенчерч-стрит и сначала держались отчужденно и недружелюбно. Она считала мои инвективы против большевиков сентиментальной буржуазной чушью. Я воспринимал ее любовь к ним с немым ужасом. Она познакомилась с людьми, которые, по ее мнению, во всех смыслах превосходили меня. Как и в годы войны, я искал утешения у Колетт. Несмотря ни на что мы с Дорой готовились к отъезду на год в Китай. Какая-то сила, более мощная, чем слова и даже невысказанные мысли, не давала нам разойтись. Нам пришлось трудиться день и ночь. От ее приезда до дня отъезда в Китай оставалось всего пять дней. Надо было купить одежду, оформить паспорта, попрощаться перед долгой разлукой с друзьями и родственниками, и поскольку в Китае я собирался получить развод, необходимо было провести несколько ночей вместе, откровенно продемонстрировав любовную связь. Нанятые детективы оказались до того тупыми, что свидания пришлось по-

1. Джон Дьюи (1859—1952) — американский философ-прагматик.

вторять несколько раз. Наконец все было улажено. Дора с присущим ей дипломатическим тактом сумела внушить своим родителям, будто мы только что поженились. Иначе они не пришли бы провожать нас на вокзал Виктория, так как были людьми традиционных взглядов. Как только поезд тронулся, все кошмары, неприятности и недоразумения последних месяцев растаяли, и началась совершенно новая жизнь. <...>

Китай

Мы отправились в Китай из Марселя на французском пароходе "Портос". Накануне отъезда из Лондона стало известно, что из-за случая чумы на борту отплытие задерживается на три недели. Нам вовсе не хотелось еще раз переживать процедуру прощания, поэтому мы все же поехали в Париж и провели три недели там. За это время я закончил книгу о России и, поколебавшись, решил ее напечатать. Выступать против большевизма значило, конечно, играть на руку реакции, и большинство моих друзей считали, что нельзя обнародовать правду о России, если только она не в ее пользу. Я, однако, во время войны приобрел иммунитет к подобным аргументам патриотов и полагал, что ничего хорошего из молчания не выйдет. Правда, дело осложнялось нашими с Дорой отношениями. Душной летней ночью, когда она уснула, я встал с постели и вышел на балкон посовещаться со звездами. Мне хотелось разобраться во всем, отрешившись от дискуссионных страстей, и я устремил взор к Кассиопее. Мне показалось, что я скорее войду в гармонию со светилами, если опубликую то, что думаю о большевизме. Потому я продолжил работу и закончил книгу вечером накануне отъезда в Марсель.

В Париже мы почти все время проводили в приятных занятиях, покупках платья, подходящего для климата Красного моря, и всего прочего, что требовалось для нашего неофициального брака. Несколько дней в Париже сгладили возникшие между нами трения, мы сделались веселыми и беззаботными. Однако в море нам порой бывало трудно. Я остро переживал презрение, которое Дора вылила на меня за мою нелюбовь к России. Я даже как-то сказал ей, что напрасно мы отправились в эту поездку вместе и, пожалуй, лучше сразу броситься за борт. Но это настроение, видимо навеянное жарой, скоро прошло.

Вояж длился пять или шесть недель, так что у нас была возможность довольно близко познакомиться со своими спутниками. Французы были в основном из чиновного класса, а англичане — бизнесмены и каучуковые плантаторы. Англичане и французы постоянно ссорились, а мы улаживали конфликты. Однажды англичане попросили меня рассказать о советской России. Понимая, перед кем выступаю, я говорил о советском правлении только похвальные вещи, чем вызвал бурю негодования. Когда мы прибыли в Шанхай, наши соотечественники-англичане послали телеграмму в генеральное консульство в Пекине с требованием запретить нам высадку на берег. Мы утешались, вспоминая о том, что́ приключилось с главным нашим врагом в Сайгоне. В Сайгоне хозяин слона продавал зрителям бананы, которыми они его кормили. Мы дали животному по банану, и он нам вежливо поклонился, а наш враг пожадничал, и слон, подученный хозяином, облил его грязной водой, изрядно

попортив щегольской костюм. Может быть, наше тогдашнее веселье не прибавило нам расположения с его стороны.

В Шанхае нас никто не встретил. У меня еще дома возникло смутное подозрение, уж не разыгрывают ли нас, и чтобы удостовериться в том, что приглашение настоящее, попросил китайцев оплатить мой проезд. Вряд ли, думал я, найдется охотник заплатить за свою шутку 125 фунтов. Но когда никто не встретил нас на пристани, мои страхи ожили, и мы уже начали думать, как бесславно возвратимся домой. Оказалось, что наши друзья просто перепутали время прибытия парохода. Скоро встречающие поднялись на борт и отвезли нас в китайскую гостиницу, где мы провели три незабываемых дня. Первым делом возникли трудности из-за Доры. У наших хозяев создалось впечатление, будто она моя жена, и когда мы сказали, что это не так, они испугались, что рассердили меня своей бестактностью. Я сказал им, что желаю, чтобы к Доре относились как к моей жене, и они напечатали в газетах соответствующее заявление. С первого до последнего дня нашего пребывания в Китае все, с кем мы встречались, относились к ней с таким же уважением, как если бы она была моей официальной супругой, — несмотря на то, что мы оба настаивали, чтобы к ней обращались "мисс Блэк".

В Шанхае мы без конца встречались с множеством людей — европейцев, американцев, японцев, корейцев и, разумеется, китайцев. Многие из тех, кто приходили к нам, были не в ладах друг с другом; не ладили, например, японцы и корейцы-христиане, которых выслали из страны за терроризм. (В Корее тогда слово "христианин" было синонимом бомбометателя.) Таким образом, нам приходилось сажать гостей подальше друг от друга и беспрестанно дрейфовать от одного стола к другому. Мы посетили пышный банкет, на котором китайцы произносили речи в лучших английских традициях, с обычными шутками. Мы впервые имели дело с китайцами и были приятно удивлены их остроумием и легкостью в общении. В то время я еще не знал, что цивилизованный китаец — самый цивилизованный в мире человеческий экземпляр. Меня пригласил на обед Сунь Ятсен, но, к моему величайшему сожалению, назначил день после нашего отъезда, так что я вынужден был отказаться. Вскоре он отправился в Кантон, чтобы возглавить национальное движение, охватившее впоследствии всю страну, и поскольку в Кантон я поехать не смог, то так его и не увидел.

Китайские друзья возили нас на два дня в Ханчжоу, полюбоваться Западным озером. В первый день мы плавали в лодке, во второй проделали путь по берегу на носилках. Это была волшебная красота древней цивилизации, превосходящая даже красоты Италии. Оттуда мы поехали в Нанкин, а из Нанкина пароходом в Ханькоу. Дни, проведенные на реке Янцзы, были так же прекрасны, как ужасны дни на Волге. Из Ханькоу мы отправились в Чанша, где проходила конференция по вопросам образования. Хозяева хотели, чтобы мы остались на неделю и ежедневно выступали с лекциями, но мы так устали и так хотели отдохнуть, что спешили в Пекин, поэтому пробыли только сутки, несмотря на то, что сам губернатор Хунаня оказывал нам всяческие почести и предоставил специальный поезд для путешествия по Учану.

Чтобы отплатить за гостеприимство, я прочел четыре лекции, выступил с двумя докладами и речью на вечернем заседании — все это в течение тех самых суток. В Чанша не было современных отелей, и нас лю-

безно предложили приютить у себя миссионеры, но дали понять, что нам с Дорой придется ночевать порознь. Мы предпочли остановиться в китайской гостинице. Удовольствия это нам не доставило. Всю ночь нас атаковали полчища клопов.

Дуцзюнь (губернатор, командующий войсками провинции) устроил пышный банкет, на котором мы познакомились с супругами Дьюи, которые были чрезвычайно добры к нам, и потом, когда я заболел, Джон Дьюи очень помог нам обоим. Мне рассказывали, что, когда он пришел навестить меня в больнице, его тронули мои слова, произнесенные в горячке: "Мы должны выработать план достижения мира". На банкете присутствовало около сотни гостей. Мы собрались в огромном зале, а потом перешли в другой, где начался праздник, который невозможно описать словами. В разгар праздника губернатор извинился за скромное угощение и прибавил, что мы, вероятно, хотели бы увидеть повседневную жизнь, а не показную пышность. К великому сожалению, я не нашелся и не смог сказать в ответ ничего остроумного, но, надеюсь, переводчик исправил мою неловкость. Мы покидали Чанша во время лунного затмения и видели разложенные костры, слышали, как бьют в гонги, чтобы напугать Небесного Пса, – то есть насладились всем китайским традиционным ритуалом. Из Чанша мы отправились прямиком в Пекин, где впервые за десять дней смогли принять ванну.

Первые месяцы в Пекине были временем полного и абсолютного счастья. Все беды и неприятности забылись. Наши китайские друзья проявляли к нам исключительную любезность. Работа была интересна, а сам Пекин невероятно прекрасен.

В нашем распоряжении были слуга, повар и рикша. Слуга немного говорил по-английски, и с его помощью нас понимали окружающие. Процесс привыкания шел здесь легче, чем шел бы в Англии. Мы наняли повара заранее и велели приготовить обед к нашему вселению. Обед был готов вовремя. Слуга был в курсе всех дел. Однажды нам понадобилась мелочь, а у нас в старом столе лежала китайская монета, которую мы считали равной доллару. Мы описали ее местонахождение слуге и велели принести. Он мгновенно ответил: "Нет, мадам. Он плохой". Мы также пользовались услугами уборщицы. Мы наняли ее зимой, держали до лета, с удивлением замечая, что зимой она была довольно толстой и неуклюжей, а с наступлением теплых дней становилась все стройней и стройней, снимая с себя плотную одежду и одеваясь в элегантные летние платья. Нам пришлось самим обставить дом, и мы купили отличную мебель в магазине подержанных вещей. Китайские друзья не могли понять предпочтения, которое мы отдавали старинным китайским вещам перед современной мебелью из Бирмингема.

При нас состоял официальный переводчик, которому было поручено заботиться о нас. Он прекрасно владел языком и особенно гордился умением шутить по-английски. Звали его мистер Чжао, и когда я показал ему свою статью "Причины современного хаоса", он заметил: "Наверное, причины современного хаоса заключаются в том, что мы не распростились со вчерашним хаосом". Мы с ним крепко подружились. Он был помолвлен с китаянкой, и я даже помог ему устранить некоторые трудности, которые мешали их свадьбе. Мы до сих пор изредка переписываемся, а несколько раз он вместе с женой приезжал навестить меня в Англию.

Лекции отнимали много времени, вдобавок я вел семинар у аспирантов. Все слушатели, кроме одного, племянника императора, были большевиками. Один за другим они уехали в Россию. Это были прелестные молодые люди, в которых ум сочетался с естественностью, любознательные, стремившиеся сбросить оковы китайского традиционализма. Многие из них еще в детстве были обручены с воспитанными в традиционном духе девушками, и их мучили проблемы нравственного толка — найдется ли им оправдание, если они расторгнут помолвку и вступят в брак с современной девушкой? Пропасть между старым и новым Китаем была огромной, и особенно обременительными для современно мыслящей молодежи оставались семейные узы. Дора посещала учительский колледж для девушек. Они засыпали ее вопросами о браке, свободной любви, контрацепции и так далее, а она со всей откровенностью отвечала. Ничего подобного нельзя было вообразить себе в каком-либо европейском учебном заведении. Несмотря на свободомыслие, молодежь по-прежнему соблюдала традиционные условности. Мы иногда устраивали вечеринки для юношей из моего семинара и девушек из учительского колледжа. Придя к нам в дом первый раз, девушки спрятались в комнате, куда, как они предполагали, никто из мужчин не заглянет, и вытащить их оттуда и заставить общаться с мужчинами стоило большого труда. Но когда лед был сломан, нашего дальнейшего участия не потребовалось.

Национальный университет в Пекине, где я читал лекции, — замечательное учреждение. Его президент и вице-президент были горячими сторонниками модернизации. Таких законченных идеалистов, как вице-президент, я больше нигде не встречал. Фонды, из которых выплачивалось жалованье, были в руках Дуцзюня, так что преподавательская деятельность велась, в сущности, не за деньги, а из любви. Студенты стоили этой любви. Они жаждали знаний и готовы были на любые жертвы ради будущего своей страны. Атмосфера была наэлектризована предвкушением великого возрождения. После многовековой изоляции Китай ощутил себя частью современного мира, а реформаторы еще не заразились корыстолюбием и соглашательством. Англичане скептически посматривали на сторонников реформ и твердили, что Китай останется Китаем. Меня уверяли, что глупо слушать вздорные речи незрелых юнцов, но через несколько лет эти незрелые юнцы подчинили себе Китай и лишили англичан многих дорогих им привилегий.

Когда к власти в Китае пришли коммунисты, британская политика по отношению к нему стала более цивилизованной, чем политика Соединенных Штатов; но до этого времени все было ровно наоборот. В 1926 году британские войска трижды применяли оружие против демонстраций безоружных студентов. Многие были убиты или ранены. Я выразил в прессе резкий протест против этих акций; мое заявление напечатали сначала в Англии, а потом перепечатали во всех китайских газетах. Вскоре после этого случая в Англию прибыл работавший в Китае американский миссионер, с которым я переписывался. Он рассказал, что негодование китайцев достигло такого накала, что возникла реальная угроза для жизни англичан. Он даже сказал — хотя это звучало неправдоподобно, — что англичане в Китае уцелели благодаря мне, поскольку я внушил китайцам мысль, что не все представители моей нации негодяи. Как бы то ни было, враждебность я испытал и на себе, и не

только со стороны англичан в Китае, но и со стороны британского правительства.

Белые люди в Китае не подозревали о многих вещах, о которых были прекрасно осведомлены коренные жители. Как-то раз банк (американский) выдал мне банкноты французского банка, которые китайские торговцы отказались принимать. Мой банк выразил недоумение и выдал мне другие банкноты. А три месяца спустя, к удивлению всех "белых" банков в Китае, французский банк лопнул.

Англичанин на востоке, насколько я мог судить, — человек, совершенно оторванный от среды. Он играет в поло и ходит в свой клуб. Представление о культуре страны проживания складывается у него из книг миссионеров XVIII века, и он точно так же презирает восточную интеллигенцию, как интеллигенцию отечественную. В ущерб нашей политической мудрости, он упускает из виду тот факт, что на востоке образованных людей уважают, поэтому просвещенные радикалы возымели власть, немыслимую для Англии. Макдональд являлся в Виндзорский дворец на полусогнутых, а китайские реформаторы не оказывали такой чести своему императору, хотя наша монархия по сравнению с китайской находилась еще в пеленках.

Свои мысли о том, что следует сделать в Китае, я выразил на страницах книги "Проблема Китая" и не буду повторяться.

Несмотря на то, что Китай находился в брожении, нам он по сравнению с Европой показался страной философского спокойствия. Раз в неделю приходила почта из Англии, и газетные полосы, как и письма, обдавали нас жарким дыханием безумия. Поскольку нам приходилось работать по воскресеньям, мы завели привычку отдыхать по понедельникам и, как правило, проводили весь день в Храме Неба, самом прекрасном сооружении из всех, что мне довелось когда-либо видеть. Мы сидели на зимнем солнышке, почти не разговаривая, впитывая безмятежный покой, и уходили, набравшись сил, чтобы в очередной раз с надлежащим бесстрастием встретить безумные распри, терзающие наш бедный континент. Иногда мы гуляли по знаменитой Китайской стене. Как сейчас помню одну такую прогулку, которая началась на закате и продолжалась при полной луне.

Китайцы обладают (или обладали) очень близким мне чувством юмора. Может быть, коммунизм уничтожил его, но тогда они очень напоминали мне героев их старинных книг. Как-то жарким днем два толстых пожилых бизнесмена пригласили меня проехаться в автомобиле за город, к знаменитой полуразрушенной пагоде. Когда мы добрались до места, я поднялся по винтовой лестнице, ожидая, что они последуют за мной, но сверху увидел, что они и не думают этого делать. Я спросил почему, и они с достоинством ответили: "Мы собирались подняться и обсудили этот вопрос между собой. Прозвучало много веских аргументов за и против, но последний перевесил все прочие. Пагода может обрушиться каждую минуту, и на этот случай хорошо иметь свидетелей гибели известного философа".

Они подразумевали, что день стоял слишком жаркий, а они были слишком тучными.

У многих китайцев необыкновенно утонченное чувство юмора, они наслаждаются шуткой, которую другие не понимают. Когда я уезжал из Пекина, мой друг подарил мне гравюрку с классическим текстом, напи-

санным микроскопическими буковками. Я спросил, что там написано. Он ответил: "Когда приедете домой, спросите профессора Джайлза". В Англии я выяснил, что то были "Наставления мудреца" с рекомендацией всегда делать что хочется. Таким образом мой приятель подшутил надо мной, имея в виду мой отказ давать советы китайцам в актуальных политических делах.

Зимой в Пекине очень холодно. Почти всегда дует северный ветер, несущий ледяное дыхание горной Монголии. Я заболел бронхитом, но не обратил на это внимания. Мне показалось, что я почти выздоровел, и по приглашению китайских друзей мы поехали в некую местность, находившуюся в двух часах езды на автомобиле от Пекина, там били горячие ключи. В отеле подавали изумительный чай, но кто-то сказал, что не стоит пить его слишком много, чтобы не испортить аппетит перед обедом. Я возразил, что не стоит загадывать. И оказался прав, потому что в следующий раз мне довелось с удовольствием поесть только через три месяца. После чая меня стала трясти лихорадка, и через час или около того решено было возвращаться в Пекин. На обратном пути у нас прокололась шина, а когда ее починили, остыл двигатель. Я к тому времени уже едва сознавал происходящее, а Дора и слуги-китайцы втолкнули автомобиль на холм, и на спуске мотор заработал. Мы подъехали к городу поздно, и ворота оказались заперты, пришлось целый час звонить по разным телефонам, чтобы нам открыли. Когда мы наконец добрались до дома, я уже был без сознания. Меня поместили в немецкий госпиталь, и там Дора ухаживала за мною днем, а единственная на весь Пекин профессиональная английская сиделка — ночью. Две недели доктора ежевечерне предсказывали, что до утра я не доживу. Я ничего не помню из того времени, только некоторые сны. Придя в себя, я не мог уразуметь, где нахожусь, и не узнал сиделку. Дора объяснила, что я был опасно болен и чуть не умер, на что я ответил: "Как интересно", но был еще очень слаб и через пять минут все забыл, и ей пришлось объяснять снова. Я не помнил даже своего имени. Хотя целый месяц после того, как я пришел в сознание, мне продолжали твердить, что я могу умереть в любую минуту, я в это не верил. За мной ухаживала очень квалифицированная сиделка, она работала сестрой милосердия в сербском госпитале во время войны; госпиталь заняли немцы, и всех сестер выслали в Болгарию. Она без устали рассказывала мне, как сблизилась с королевой Болгарии. Сиделка была глубоко верующей и, когда мне полегчало, говорила, что всерьез задумывалась, не следовало ли ей позволить мне отойти в мир иной. К счастью, профессиональная выучка оказалась сильнее религиозно-нравственных соображений.

В период выздоровления, несмотря на слабость и физический дискомфорт, я чувствовал себя очень счастливым. Преданность Доры заставила меня забыть обо всех неприятностях. Как раз когда я пошел на поправку, Дора обнаружила, что беременна, и это стало причиной нашего обоюдного счастья. С тех самых пор, как я гулял по Ричмонд-Грин с Элис, все сильнее и сильнее становилось мое желание иметь детей, которое превратилось во всепоглощающую страсть. Когда выяснилось, что я не только выживу сам, но и буду иметь ребенка, мне стали совершенно безразличны все обстоятельства моей болезни, хотя она сопровождалась массой мелких недугов. Главным заболеванием была двусторонняя пневмония, а кроме того, у меня болело сердце, почки, я

заработал дизентерию и тромбофлебит. Однако ничто не мешало моему счастью, и вопреки всем мрачным прогнозам болезнь не оставила никаких последствий.

Лежать в постели и знать, что тебе ничего не грозит, было удивительно приятно. До той поры я считал себя неисправимым пессимистом и не очень-то ценил жизнь. Теперь я понял, что ошибался, и жизнь стала казаться мне бесконечно прекрасной. Дождь в Пекине идет редко, но во время моего выздоровления прошли обильные ливни, и из окон тянуло сладким запахом влажной земли. Я думал, как было бы ужасно никогда больше не ощутить этот запах. То же самое относится к солнечному свету и шуму ветра. Под моими окнами росли прелестные акации, и как раз когда я уже мог любоваться ими, они зацвели. Тогда я понял, до чего радостно жить на свете. Большинство людей, наверное, всегда живут с этим чувством, но мне оно было недоступно.

Мне сказали, что китайцы собирались похоронить меня у Западного озера и воздвигнуть усыпальницу. У меня даже возникло легкое сожаление, что этого не случилось, ибо я мог бы превратиться в божество — для атеиста это особая удача.

В Пекине располагалась советская дипломатическая миссия, где работали очень любезные люди. У них был запас шампанского, лучшего во всем городе, и они бесплатно снабжали меня этим единственным напитком, подходящим для больных воспалением легких. Советские дипломаты брали сперва Дору, а потом нас обоих в автомобильные поездки по окрестностям Пекина. Это доставляло нам массу удовольствия, но немало и волнений, потому что русские столь же отчаянно ведут себя за рулем, как и во время революции.

Я, наверно, обязан жизнью Рокфеллеровскому институту в Пекине, который снабдил меня серой, убивающей пневмококки. Моя благодарность тем более искренна, что и до и после этих событий я был их политическим противником и, видимо, внушал им не меньший ужас, чем моей сиделке.

Доре не давали покоя японские журналисты, желавшие взять у нее интервью, в то время как она всей душой рвалась ко мне. Не выдержав, она бросила им наконец что-то резкое, и они напечатали в газетах, будто я умер. Новость мгновенно разошлась по свету — из Японии в Америку, из Америки в Англию. В английской печати она появилась в тот же день, что и извещение о моем разводе. К счастью, Верховный суд не принял ее всерьез, иначе развод был бы отложен. Я не без удовольствия читал собственные некрологи, в которых было написано именно то, чего бы мне хотелось, никак не ожидая, что мне доведется прочесть все это собственными глазами. Помнится, в одной миссионерской газете было сказано буквально следующее: "Да простится миссионерам вздох облегчения, который они издали, узнав о кончине мистера Бертрана Рассела". Боюсь, они издали вздох совсем другого рода, обнаружив, что я жив. Моих друзей в Англии известие о моей смерти опечалило. А мы в Пекине ни о чем не подозревали, пока не получили телеграмму от моего брата с просьбой разъяснить, жив я все-таки или нет. В телеграмме говорилось, что умереть в Пекине — это на меня не похоже.

Мое выздоровление задержалось из-за тромбофлебита, который на полтора месяца приковал меня к постели. Все это время мне пришлось неподвижно лежать на спине. Нам не терпелось вернуться домой, и уже

начинало казаться, что этого никогда не будет. Трудно сохранять терпение, когда доктора только и твердят, что не остается ничего другого, кроме как ждать. И когда терпение подходило к концу, мы наконец смогли покинуть Пекин, хотя я был еще очень слаб и передвигался с помощью палочки. Это произошло 10 июля.

Вскоре после нашего возвращения из Китая британское правительство решило покончить с проблемами, связанными с последствиями боксерского восстания. После подавления восстания соответствующий договор предусматривал выплату китайским правительством ежегодной репарации всем европейским странам, которым был нанесен ущерб. Предусмотрительные американцы подготовились к этому вопросу с особым тщанием. Друзья Китая советовали и Британии сделать то же самое, но напрасно. Наконец было решено, что вместо репарационных выплат китайцы заплатят определенную взаимосогласованную сумму. Форму, в какой должна была осуществляться эта выплата, оставили на усмотрение комиссии, в которой участвовали два представителя китайской стороны. Когда премьер-министром был Макдональд, он пригласил в эту комиссию Лоуэса Дикинсона и меня и получил на то согласие В. К. Дина и Ху Ши, наших китайских партнеров. Однако вскоре кабинет Макдональда пал, а преемник — консервативное правительство — информировало нас с Дикинсоном, что комиссия в наших услугах не нуждается, так же как и в услугах В. К. Дина и Ху Ши, — на том основании, что мы якобы понятия не имеем о Китае. Китайское правительство ответило, что желает видеть в составе комиссии указанных китайцев, которых рекомендовал я, и никого иного. Это положило конец слабым попыткам сохранить дружественные отношения с Китаем. Единственное, что удалось обеспечить в период лейбористского правления, — запретить торговлю на территории Шаньдуна и не допустить превращения его в площадку для гольфа британских морских сил.

До болезни я дал согласие отправиться из Китая в лекционное турне по Японии, которое пришлось сократить до одного выступления и нескольких визитов. В Японии мы провели двенадцать лихорадочных дней — нельзя сказать, чтобы приятных, но несомненно интересных. В отличие от китайцев японцы не могли похвастать изяществом манер и проявили изрядную назойливость. Поскольку я был еще довольно плох, мы старались избегать лишнего напряжения, но не тут-то было. В первом же порту, в котором остановился наш пароход, залегли в засаде человек тридцать репортеров, хотя мы сделали все возможное, чтобы сохранить наш маршрут в тайне. Они выяснили подробности через полицию. Японские газеты не поместили опровержение по поводу сообщения о моей смерти, и Дора вручила каждому из них машинописную копию моего некролога, сказав, что коли я мертв, то и ни о каком интервью речи быть не может. Они присвистнули и отреагировали: “Оченна забавна!”

Первым делом мы отправились в Кобе к Роберту Янгу, редактору “Джапэн кроникл”. Причаливая к пристани, мы увидели процессию с флагами, и, как нам объяснили знающие японский язык, на флагах были начертаны приветственные слова, адресованные мне. Оказалось, что в доках идет масштабная забастовка, а полиция не разрешила никаких демонстраций, за исключением приветственных, в честь знатных иностранцев. Таким образом, забастовщики воспользовались мной как щитом

для своего выступления. Руководил ими христианский пацифист Кагава, который привел меня на митинг забастовщиков, где я выступил с речью. Роберт Янг — человек замечательный; он покинул Англию в 80-е годы и не был свидетелем разрушения своих идей. В его кабинете висел большой портрет Брэдлоу[1], чьим почитателем он был. Газета, где он работал редактором, кажется мне лучшей из всех, что я знаю, а начал он ее с десятью фунтами капитала, которые скопил из своего жалованья наборщика. Янг повез меня в Нару, изысканно прекрасное место, где можно еще увидеть старую Японию. Потом мы попали в руки редакторов современного журнала "Кайдзо", которые показали нам Киото и Токио, на каждом шагу предусмотрительно сообщая репортерам, куда мы двигаемся, так что те следовали за нами по пятам и фотографировали, даже когда мы спали. В обоих городах на встречу с нами они приглашали огромное количество профессоров. В обоих городах нас ни на минуту не выпускали из поля зрения шпионы, приставленные полицией. В гостиницах соседний номер всегда занимала полицейская бригада, оснащенная пишущей машинкой. Официанты относились к нам так, будто мы члены королевской семьи, и выходили из комнаты, пятясь задом. Едва мы произнесли нечто вроде "Черт бы побрал этого официанта", как за стенкой начинала стрекотать машинка. На профессорских вечеринках в нашу честь, едва я вступал с кем-нибудь в интересующий меня разговор, как незамедлительно просверкивала фотовспышка и беседа, естественно, замирала.

К женщинам японцы относятся самым первобытным образом. В Киото нам достались дырявые противомоскитные сетки над кроватями, так что мы полночи не спали. Наутро я пожаловался, и к вечеру мою сетку починили, а у Доры все осталось как было. Я снова пожаловался, на что мне ответили: "А мы не знали, что для леди это имеет значение". Однажды, когда мы ехали в пригородном поезде с историком Эйлин Пауэр, тоже путешествовавшей по Японии, в вагоне не оказалось свободных мест, и какой-то японец вскочил, уступая мне свое место. Я посадил Дору. Тогда другой японец предложил мне свое место. Я уступил его Эйлин Пауэр. Тут уж японцы так возмутились моим немужским поведением, что дело чуть не дошло до рукоприкладства.

Из японцев нам по-настоящему полюбился только один человек — некая мисс Ито. Эта молодая красивая женщина жила с известным анархистом, от которого у нее был сын. Дора сказала ей: "А вы не боитесь властей?" Та провела ладонью по горлу и ответила: "Я знаю, что рано или поздно они это сделают". Во время землетрясения полицейские пришли в дом, где она жила вместе с анархистом, и увели его, ее самое и ее племянника, которого приняли за сына, в участок. Там их поместили в разные камеры и задушили, похвастав шись, что легче всего было прикончить ребенка, с которым они подружились по дороге. Эти полицейские стали национальными героями, и школьников обязывали писать о них сочинения.

Из Киото до Иокогамы мы ехали десять часов в страшной духоте. Приехали уже в темноте, и нас встретили вспышки магния; Дора испугалась, и я боялся, не произойдет ли у нее выкидыш. Впервые после того случая, когда я чуть не задушил Фицджеральда, меня ослепила ярость. Я

1. Чарльз Брэдлоу (1833—1891) — английский социальный реформатор, защитник прав женщин и тред-юнионизма.

бросился на парней со вспышками, но, на счастье, из-за хромоты не смог догнать, иначе смертоубийство было бы неизбежно. Одному из фоторепортеров удалось снять меня с горящими ненавистью глазами. Я и вообразить не мог, что могу выглядеть таким безумцем. Эта фотография стала моей визитной карточкой в Токио. Подобные чувства, должно быть, испытывали англо-индийцы во время мятежа или белые, окруженные взбунтовавшимися туземцами. Я тогда понял, что стремление защитить свою семью от людей чужой расы, вероятно, самая могучая страсть, свойственная человеку. Последним моим впечатлением, вынесенным из Японии, стала публикация в одном патриотическом издании моего якобы прощального послания японскому народу, где я побуждал его к шовинизму. Ни этого, ни какого другого послания ни в одну газету я не направлял.

Мы отплыли из Иокогамы пароходом компании "Кэнэдиен пасифик". Нас провожали анархист Одзуки и мисс Ито. На "Азиатской императрице" мы сразу ощутили перемену отношения. Беременность Доры еще не была заметна простому наблюдателю, но корабельный доктор бросил на нее профессиональный взгляд и, как нам стало известно, поделился своими наблюдениями с пассажирами. В результате с нами почти никто не разговаривал, хотя все пытались нас сфотографировать. Лишь скрипач Миша Элман[1] и его аккомпаниатор готовы были с нами общаться. А поскольку все прочие желали сблизиться с ним, их страшно раздражало, что он постоянно находится в нашей компании. В конце августа мы благополучно прибыли в Ливерпуль. Шел сильный дождь, все жаловались на сквозняки, и мы поняли, что вернулись домой. На пристани стояла мать Доры, отчасти для того, чтобы нас встретить, отчасти чтобы дать дочери мудрый совет, однако постеснялась. 27 сентября мы поженились, но прежде мне пришлось присягнуть королевскому проктору, что Дора — та самая женщина, с которой у меня была незаконная связь. 16 ноября родился мой сын Джон, и с тех пор дети на много лет стали моим главным интересом в жизни. <...>

В*торой брак*

С возвращением из Китая в сентябре 1921 года моя жизнь вступила в менее драматичную фазу; сместился и ее эмоциональный центр. С юности и вплоть до окончания работы над "Principia Mathematica" я занимался главным образом интеллектуальным трудом. Я хотел понять и заставить понимать других; я хотел воздвигнуть монумент, благодаря которому меня будут помнить, благодаря которому я почувствую, что жизнь прожита не зря. С начала первой мировой войны и до возвращения из Китая эмоциональным центром моей жизни были общественные проблемы. Война и советская Россия в равной мере окрасили мое сознание в трагические тона, но у меня была надежда, что человечество можно научить жить менее мучительно. Я пытался раскрыть секрет мудрости и провозгласить ее достаточно убедительно, чтобы мир услышал и внял ей. Но постепенно мой пыл охладел, а надежда потухла; я не изме-

1. Миша Элман (1891—1967) — американский скрипач, выходец из России, широко гастролировавший в Европе.

нил своего мнения о том, как следует жить, но уже без прежнего жара выражал его и все меньше надеялся на успех своих идей.

С того летнего дня 1894 года, когда мы с Элис бродили по Ричмонд-Грин, после того как выслушали приговор врача, я пытался заглушить острое желание иметь детей. Тем не менее оно становилось все сильнее, покуда не сделалось невыносимым. Когда в ноябре 1921 года появился на свет мой первенец, я почувствовал огромное облегчение, и на целых десять лет главными моими заботами стали отцовские. Родительское чувство, насколько я могу судить по своему опыту, очень сложно. Его сердцевина — это животная любовь и наслаждение, которое доставляет очарование детства и юности. Еще это чувство всегдашней ответственности, которая придает труднообъяснимый смысл ежедневному труду. Еще здесь присутствует толика эгоизма: тут и упование на то, что дети преуспеют там, где ты недотянул, что они продолжат твое дело, когда смерть или старческая немощь положат конец твоим попыткам преуспеть, и, наконец, что благодаря им ты преодолеешь биологическую смерть и твоя жизнь вольется в общий поток, а не застоится затхлым одиноким озерцом где-то на отшибе. Все это я пережил, и в течение нескольких лет это наполняло мою жизнь счастьем и покоем.

Прежде всего необходимо было найти жилье. Я пытался снять квартиру, но из-за моей политической и моральной неблагонадежности хозяева мне отказывали. Наконец, я купил дом в Челси, на Сидни-стрит, 31, где родились двое моих старших детей. Но детям не полезно круглый год жить в Лондоне, и весной 1922-го мы приобрели дом в Корнуолле, в Порткурно, в четырех милях от Лэндс-Энда. До 1927 года мы примерно полгода проводили в Лондоне и полгода в Корнуолле, а потом мы уже насовсем уехали из Лондона, да и в Корнуолле бывали только наездами.

Красота побережья неразрывно слилась в моей памяти с восторгом, который охватывал меня, когда я смотрел на двух здоровых счастливых ребятишек, наслаждавшихся морем, скалами, солнцем и ветром. Я уделял им больше времени, чем обычно могут себе позволить отцы. Ту половину года, что мы проводили в Корнуолле, жизнь наша текла спокойно и размеренно. Утром, когда мы с женой работали, дети находились на попечении сначала няни, а потом гувернантки. После ланча мы шли на один из пляжей — все они находились неподалеку. Дети играли голышом, купались, лазили по скалам, строили замки из песка, а мы во всем этом участвовали. Домой приходили с волчьим аппетитом и пили чай. Потом детей укладывали спать, а взрослые возвращались к своим взрослым занятиям. В памяти — которая, конечно, меня обманывает — сохранились только солнечные и, начиная с апреля, теплые дни. Но на самом деле в апреле дули холодные ветры. Одним апрельским днем, когда Кейт было два года и три с половиной месяца, я услышал, как она приговаривает себе под нос, и записал для памяти:

> Северный ветер дует с Северного полюса.
> Маргаритки горят в траве.
> Ветер сгибает к земле колокольчики.
> Северный ветер дует навстречу южному ветру.

Она не подозревала, что ее слушают, и, конечно, понятия не имела о Северном полюсе.

В этих обстоятельствах я естественным образом заинтересовался проблемами воспитания. Я уже вкратце коснулся этого предмета в "Принципах социальной реконструкции", но теперь он всерьез завладел моими мыслями. Я написал книгу "О воспитании, особенно в раннем возрасте", которая была опубликована в 1926 году и разошлась с большим успехом. Теперь мне кажется, что я тогда слишком оптимистично оценивал детскую психологию, но общий подход к воспитанию и его приоритетам у меня не изменился, разве что предлагавшиеся для раннего возраста методы были, пожалуй, излишне суровыми. <...>

В 1927 году мы с Дорой пришли к ответственному решению открыть собственную школу, чтобы наши дети получили то образование, которое представлялось нам оптимальным. Мы были убеждены — возможно ошибочно, — что дети должны воспитываться в кругу сверстников, и не хотели больше лишать наших ребятишек общества других детей. Ни одна из известных школ нас не удовлетворяла. Мне и Доре требовалось необычное сочетание условий. С одной стороны, нам не нравились чопорность и религиозная направленность, множество ограничений, которые воспринимаются как должное в обычных школах. С другой — нам никак не импонировали современные "эксперименты" в области образования: полная свобода от всяческой дисциплины и отрицание методического обучения. Итак, мы решились набрать группу — человек двадцать — примерно одного возраста с Джоном и Кейт, чтобы обучать их на протяжении всех школьных лет.

Для школы мы арендовали дом моего брата в Саутдаунсе, между Чичестером и Петерсфилдом. Он назывался "Телеграфным домом". Во времена Георга III в этом здании находился семафор для передачи сообщений на расстоянии, один из тех, что установили между Портсмутом и Лондоном. Может быть, именно через него прошла весть о Трафальгарской битве.

Изначально это был очень небольшой домик, но брат постепенно перестроил его. Брат был страстным патриотом этого места и посвятил ему немало страниц в автобиографии, которую назвал "Моя жизнь и приключения". Дом был некрасив и несуразен, но великолепно расположен. Оттуда открывался вид на восток, юг и запад. С одной стороны можно было видеть через Суссекскую часть Уилда Лит-хилл, с другой — остров Уайт и корабли, направлявшиеся в Саутгемптон. В башне с четырьмя окнами, выходившими на все четыре стороны света, я устроил себе кабинет, и лучшего вида из окон было не придумать.

К дому прилегали двести тридцать акров необработанной земли, заросшей вереском и папоротниками, а по большей части — девственным лесом с массивными буковыми деревьями и древними, невероятных размеров тисами. Лес кишел всевозможной живностью, там водились даже олени. Ближайшими нашими соседями были фермеры, которые жили примерно в миле от нас. К востоку, миль на пятьдесят, простирались нехоженые земли.

Неудивительно, что мой брат так полюбил эти места. Но он неудачно играл на бирже и потерял все до последнего пенни. Я предложил ему арендную плату гораздо выше той, что он мог бы взять с кого-либо другого, и бедность вынудила его принять мои условия. Но необходимость

пустить в этот рай посторонних мучила его, и при каждом удобном случае он мне на это пенял.

Впрочем, этот дом связывался у него с некоторыми не совсем приятными воспоминаниями. Он приобрел его в качестве тайного убежища, где мог наслаждаться обществом некой мисс Моррис, на которой много лет собирался жениться, пытаясь получить развод у первой жены. Молли, его вторая жена, вытеснила из его сердца мисс Моррис, но из-за нее он попал в тюрьму по обвинению в двоеженстве. Ради Молли он развелся с первой женой. Это произошло в Рено, и там же он женился вторично. По возвращении в Англию выяснилось, что британское законодательство признает браки, заключенные в Рено, но не признает полученных там разводов; на этом основании его повторный брак был сочтен актом бигамии. Вторая жена, женщина очень толстая, носила зеленые вельветовые бриджи; ее вид сзади, когда она склонялась над цветочной клумбой у "Телеграфного дома", заставлял задуматься о том, что подвигло моего брата пройти ради нее через такие испытания.

Ее владычеству, как и владычеству мисс Моррис, пришел конец, когда он влюбился в Элизабет. Молли потребовала за развод четыреста фунтов в год пожизненно, после смерти брата платить пришлось мне. Она умерла, когда ей стукнуло лет девяносто.

Элизабет сама оставила его и написала о нем невыносимо жестокий роман под названием "Вера". В романе эта самая Вера уже мертва; она была женой героя, и ее смерть разбила ему сердце. Она погибла, выпав из окна башни "Телеграфного дома". Мало-помалу читатель догадывается, что это была не смерть от несчастного случая, а самоубийство, вызванное жестокостью моего брата. Ознакомившись с этим произведением, я завещал моим детям никогда не жениться на сочинителях романов.

Вот в этом-то доме, полном воспоминаний, и устроили школу. Управляя школой, мы столкнулись с массой трудностей, которые нам следовало предвидеть. Прежде всего, конечно, финансовых. Скоро стало очевидно, что заведение будет явно убыточным. Избежать этого можно было, лишь увеличив набор и ухудшив питание, то есть приблизив школу к общим стандартам, что шло наперекор нашим замыслам. К счастью, как раз в это время я стал довольно много зарабатывать книгами и получать деньги за лекции в Америке. Таких лекционных туров было всего четыре — я уже упоминал о первом, в 1924 году, потом я повторил их в 1927, 1929 и 1931-м. Лекции 1927 года пришлись на начальный семестр в нашей школе, так что я не принял в нем участия. Во время второго семестра на лекции в Америку уехала Дора. Таким образом, на протяжении двух первых семестров мы поочередно брали в свои руки бразды правления. Однако если я не уезжал в Америку, то писал книги ради заработка. Так что целиком отдаться делу образования у меня не получалось.

Вторая трудность заключалась в том, что преподавательский состав, как бы тщательно мы ни инструктировали его относительно наших задач, справлялся с ними только под нашим руководством.

Третьей заботой, и, наверное, самой серьезной, была непропорционально большая доля трудных детей. Эту опасность следовало, конечно, предвидеть, но мы на первых порах были рады любому ребенку. Родители, желавшие опробовать новые методы, как правило, уже порядком на-

хлебались со своими детками. Чаще всего винить в этом надо было самих родителей, в чем мы убеждались каждый раз, когда ученики возвращались с каникул. Так или иначе, многие дети были жестоки и склонны к разрушению. Предоставить их самим себе значило установить царство террора, где сильный будет держать слабого в страхе и трепете. Школа — модель мира; только ответственное правление может предотвратить разгул насилия. Так что я чувствовал себя обязанным все свободное от уроков время присматривать за учениками, чтобы не допустить проявлений жестокости. Мы разделили детей на три группы — больших, средних и маленьких. Один мальчик из средней группы постоянно третировал малышей, и я спросил почему. Ответ был таков: "Меня большие бьют, а я бью маленьких; все по справедливости". Он и впрямь так думал.

Иногда мы были свидетелями того, как выходили наружу самые дикие импульсы. Среди учеников у нас были брат и сестра, мать которых отличалась чрезвычайной чувствительностью. Она требовала от них невероятных проявлений нежности друг к другу. Как-то раз учительница, дежурившая в столовой, перед раздачей обнаружила в супе половинку шпильки. В результате расследования выяснилось, что бросила ее туда нежная сестричка. "Ты что же, не знаешь, что, если бы эта шпилька попала в твою тарелку, ты бы умерла?" — спросили ее. "Знаю, — ответила она. — Но я супа не ем". Оказалось, она надеялась, что жертвой будет ее братец. В другой раз, когда одному мальчику, не пользовавшемуся любовью товарищей, подарили пару кроликов, двое других попытались их зажарить живьем, развели огонь, который стал пожирать акр за акром и, если бы не переменился ветер, спалил бы дом дотла.

Для нас и наших детей со школой были связаны особые трудности. Школьники считали, что наш сын пользуется неоправданными привилегиями, хотя мы изо всех сил старались держать по отношению к нему и дочери дистанцию, делая исключение только на время каникул. Они, бедняжки, чувствовали себя меж двух огней: либо их будут считать ябедами, либо им придется обманывать родителей. Счастливая гармония, существовавшая в наших отношениях, пошла прахом, вместо нее появились неловкость и смущение. Наверное, нечто подобное всегда происходит в школах, где дети и родители оказываются вместе.

Оглядываясь назад, я понимаю, какие серьезные ошибки допустили мы в организации школы. Во-первых, дети в группе не могут нормально жить без строгого порядка и дисциплины. Бесконтрольный досуг быстро им наскучивает, легкие шалости перерастают в разрушительное буйство. Всегда рядом должен быть взрослый, готовый предложить интересную игру или занятие, то есть взять на себя инициативу, которой трудно ожидать от маленьких детей.

Во-вторых, у нас было гораздо меньше свободы, чем хотелось бы. Например, ее было очень мало в том, что касалось здоровья и гигиены. Детям полагалось умываться, чистить зубы и ложиться спать в определенное время. Нам, конечно, и в голову не приходило, что здесь допустимы поблажки, но недалекие люди, особенно журналисты, искавшие сенсации, обвиняли нас в том, что мы выступаем за отмену каких бы то ни было принуждений и ограничений. Старшие дети, когда им напоминали о чистке зубов, недовольно огрызались: "И это называется свободная школа!" Те, кто слышали, как родители дома рассуждают о царящей в нашей школе свободе, старались опытным путем определить ее грани-

цы, внутри которых можно безобразничать, не опасаясь наказания. Поскольку мы пресекали только очень серьезные нарушения порядка, то эти опыты доставляли нам много неприятностей.

В 1929 году я опубликовал книгу "Брак и мораль", которую диктовал, выздоравливая после коклюша. (Из-за возраста эту болезнь распознали только тогда, когда я успел заразить чуть ли не всю школу.) Именно эта книга спровоцировала атаку, которой я подвергся в 1940 году в Нью-Йорке. В ней я развивал мысль о том, что нынче нельзя ожидать абсолютной верности от большинства брачных союзов, но муж и жена должны уметь оставаться друзьями, несмотря на побочные романы. Я, однако, не утверждал, что брак следует сохранять, если жена родила ребенка или нескольких детей не от своего благоверного; на мой взгляд, в этом случае предпочтительней развод. Не могу сказать, что́ я теперь думаю о супружестве. На каждую обобщающую концепцию можно найти убийственный контраргумент. Возможно, легкость разводов приносит меньше несчастий, чем запрет на них, но я уже не держусь за свои взгляды в этой области.

В следующем, 1930 году я опубликовал "Завоевание счастья", книгу, в которой содержались здравые советы, как преодолевать личные временные несчастья, не ожидая улучшения общественной и экономической систем. Эта книга была по-разному встречена тремя различными слоями читателей. Читатели неискушенные, которым она и предназначалась, ее полюбили, так что книга очень хорошо продавалась. Высоколобые, напротив, сочли ее эскапистским трюком, клапаном для выпуска пара, вредным сочинением, отвлекающим от политики и убеждающим читателей в существовании каких-то полезных дел, далеких от нее. Книгу высоко оценил еще один слой читателей — профессиональные психиатры. Не мне судить, кто прав; я сделал свое дело — написал книгу тогда, когда мне особенно нужно было самообладание, когда многому научился на своем скорее горьком, чем счастливом опыте. <...>

В мае и июне 1931 года я диктовал моему тогдашнему секретарю Пег Адамс короткую автобиографию, которую довел до 1921 года; она и легла в основу настоящей книги. Я закончил ее эпилогом, где, как будет дальше видно, не признавал личного несчастья, а только политические и метафизические разочарования. Я помещаю его здесь не потому, что продолжаю думать так же, а потому, что он проливает свет на то, как трудно давалась мне адаптация к меняющемуся миру и трезвой философии.

Эпилог

С тех пор как я вернулся из Китая, моя жизнь была счастливой и спокойной, дети не обманули моих ожиданий и дали мне много радости, и я строил свою жизнь, ориентируясь прежде всего на них. Однако если внешне жизнь текла вполне удовлетворительно, то мое внутреннее мироощущение становилось все более мрачным и мне все труднее было сохранять веру в то, что надежды, которые я раньше питал, осуществятся в обозримом будущем. Я пытался уйти в собственный мир, ограниченный проблемами воспитания детей и зарабатывания денег для них. С ранних лет я верил в незыблемость двух вещей – доброты и ясности мышления. Поначалу и то и другое оставалось неизменным. В моменты

триумфа я больше уповал на ясность мышления; находясь в ином состоянии, верил в доброту. Постепенно они слились в моем сознании. Я обнаружил, что мутные идеи служат прикрытием жестокости, а жестокость порождается суевериями. Война продемонстрировала, что жестокость гнездится в самой природе человека, но я надеялся, что после войны в нем заговорит другое. Россия показала мне, что не следует ждать ничего хорошего от революций, разрушающих существующий порядок, в том числе для детей. Жестокость по отношению к детям, допускаемая в принятых методах образования и воспитания, чудовищна, и странно видеть ужас, который вызывает любая попытка сделать эту систему более гуманной.

Как патриота меня удручает падение Англии, пока – не полное, но не за горами и полное. История Англии последних четырех столетий в моей крови, и мне хотелось бы передать своему сыну традицию публичности, которую так ценили в прошлом. В мире, который я провижу, этой традиции места нет, и хорошо, если она вообще сохранится. Ощущение неминуемой угрозы придает всему, что делается в Англии, оттенок тщетности.

Если цивилизация уцелеет, в мире будет доминировать либо Америка, либо Россия, в любом случае возобладает система, при которой индивид будет жестко подчинен государству.

Что же философия? Лучшие годы моей жизни были отданы "Основаниям математики" в надежде обрести хоть частицу надежного знания. Результатом написания трех объемистых томов стало внутреннее сомнение и замешательство. Что же касается метафизики, то, освободившись под влиянием Джорджа Мура от веры в немецкий идеализм, я поначалу с радостью уверовал в реальность ощущений. Понемногу, главным образом под влиянием физики, мой восторг увял и я занял позицию, близкую берклианской, только без его Бога и его англиканского благодушия.

Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, как она бесполезна из-за приверженности к недостижимым идеалам. В послевоенном мире я не нашел ни одного реального идеала, который мог бы заменить те, от которых пришлось отказаться. Думая обо всем, что было мне дорого, я вижу, что мир вступает в полосу мрака. Когда пала Римская империя, Блаженный Августин, тогдашний большевик, утешался новой надеждой, но я скорее разделяю взгляды несчастных философов-язычников эпохи Юстиниана, которые, согласно Гиббону, искали убежища в Персии, но, ужаснувшись тому, что там увидели, вернулись в Афины, хотя фанатики-христиане запрещали их учение. *Даже они были счастливчиками по сравнению со мной – по крайней мере, их философия им не изменила. Они не усомнились в величии Платона. Со своей стороны, я вижу в современной философии разрушение великих систем самого недавнего прошлого и не верю в то, что конструктивные усилия современных философов и ученых-естественников хоть в какой-то мере сравнимы с масштабом их разрушительного ниспровергательства.*

В силу привычки я продолжаю работать и в обществе коллег забываю отчаяние, которое пронизывает мои повседневные дела и отравляет мелкие удовольствия. Но когда я один и ничем не занят, я не могу скрыть от самого себя бесцельность своей жизни и отсутствие новой цели, которой мог бы посвятить оставшиеся годы. Я погрузился в беспросветный туман одиночества и не вижу исхода ни для чувств, ни для мысли.

11 июня 1931 г.

<...>

Последние годы в "Телеграфном доме"

Когда я покинул Дору, она продолжала вести нашу школу до самого конца второй мировой войны, хотя после 1934 года школа размещалась уже не в "Телеграфном доме". Джона и Кейт отправили в дарлингтонскую школу, где им очень нравилось.

Одно лето я провел в Хендее, а следующее — частично в доме Джеральда Бренана недалеко от Малаги. Раньше я не встречался с Бренанами и рад был познакомиться с такими интересными и приятными людьми. Гэмел Бренан оказалась ученой дамой с огромной эрудицией и широкими интересами, в чьей голове умещались обрывки знаний из самых неожиданных областей, она воспевала непознанное и сочиняла умные стихи. Наша дружба сохранилась, и она иногда приезжает нас навестить — милая осенняя гостья.

Лето 1932 года я провел в Карн-Веле, в доме, который потом отдал Доре. Там я написал "Воспитание и общественный порядок" и, освободившись от обременительной заботы содержать школу, покончил с бестселлерами. Потерпев фиаско в роли родителя, я почувствовал, как во мне оживают серьезные писательские амбиции.

В 1931 году, во время лекционного турне по Америке, я заключил договор с издателем У. У. Нортоном на книгу, которая вышла в свет в 1934-м под названием "Свобода и организация". Я работал над ней вместе с Патрицией Спенс, известной как Питер Спенс, сначала в квартире у Императорских ворот (Кейт и Джон расстроились, не увидев там ни императора, ни ворот), а потом в замке Дейдрет (в Северном Уэльсе), который был частью отеля "Портмейрион". Работал я с удовольствием, и жизнь в отеле была очень удобной. Владельцами отеля были мои друзья — архитектор Клауф Уильямс-Эллис и его жена Амабел, писательница, чье общество доставляло мне большое удовольствие.

Когда работа над книгой закончилась, я решил вернуться в "Телеграфный дом" и сказать Доре, что ей следует куда-нибудь переселиться. Причина была в деньгах. Я должен был ежегодно платить 400 фунтов арендной платы за дом и алименты бывшей жене покойного брата. Кроме того, надо было платить алименты Доре и покрывать расходы Кейт и Джона. Между тем мои доходы катастрофически уменьшались, отчасти из-за депрессии, во время которой книги раскупались значительно хуже, отчасти из-за того, что я перестал писать популярные книги, отчасти также из-за того, что в 1931 году я отказался гостить в замке Херста в Калифорнии. Ежедневные статьи в херстовских газетах приносили мне тысячу долларов в год, но после моего демарша гонорары сократились вдвое, а вскоре мне сообщили, что от моих услуг отказываются. "Телеграфный дом" был огромен, и подъехать к нему можно было только двумя частными дорогами, каждая примерно с милю длиной. Мне хотелось его продать, но я не мог выставить его на продажу, пока там располагалась школа. Оставалось одно — жить в нем и постараться сделать привлекательным для возможных покупателей.

Обосновавшись снова в "Телеграфном доме" (уже без школы), я отправился на отдых на Канарские острова. Вернувшись, я обнаружил, что, несмотря на ясность ума и доброе здравие, начисто лишился творческого импульса и не знаю, за что взяться. Месяца два — исключитель-

но чтобы не сидеть сложа руки — я посвятил проблеме двадцати семи прямых на поверхности куба. Кончились эти занятия ничем, проку от них не было никакого, и я продолжал проживать капитал, оставшийся от периода удач, который завершился в 1932 году. Я решил написать книгу об угрозе войны, которая с каждым днем ощущалась все яснее. Книгу я озаглавил "Какая дорога ведет к миру?" и выразил в ней пацифистские взгляды, которые сложились у меня во время первой мировой. Правда, за одним исключением: я утверждал, что, если когда-либо будет созван всемирный парламент, его следует охранять от поползновений мятежников. Что же касается войны, угрожавшей нам в недалеком будущем, я по-прежнему отстаивал свободу совести.

Впрочем, то была уже не вполне искренняя позиция. Хоть и неохотно, я допускал возможность владычества кайзеровской Германии; мне казалось, что это, конечно, зло, но все же меньшее, чем мировая война и ее последствия, тогда как гитлеровская Германия — совсем другое дело. Нацисты были мне отвратительны и с моральной, и с рациональной точки зрения — жестокие, фанатичные и тупые. Хотя я и придерживался пацифистских убеждений, но это давалось мне все с большим трудом. Когда в 1940 году Англии угрожала опасность оккупации, я понял, что на протяжении всей первой мировой ни разу всерьез не допускал мысли о поражении. Мысль о нем была невыносима, и после серьезных размышлений я решил, что должен выступать в поддержку всего, что делается ради победы, как бы тяжело ни далась эта победа и каковы бы ни были ее последствия.

Таков был последний этап в долгом процессе отказа от тех убеждений, которые созрели у меня в 1901 году. Я никогда не был абсолютным приверженцем доктрины непротивления. Я всегда признавал необходимость существования полиции и закона и даже во время первой мировой публично заявлял о том, что некоторые войны оправданны. Но слишком сосредоточился на методах непротивления, точнее, ненасильственного непротивления, в большей мере, чем позволяли реальные условия. Можно привести удачные примеры непротивления, например триумф Ганди в Индии, возглавившего национальное движение против британского господства. Но оно всегда предполагает наличие определенного благородства тех, против кого используются эти методы борьбы. Когда индусы ложились на рельсы, британцы не могли допустить, чтобы они погибали под колесами. Но нацисты в подобной ситуации не колеблясь повели бы себя совсем по-другому. Учение Толстого о непротивлении злу насилием, обладавшее в свое время огромной убедительной силой, никак не применимо было к Германии после 1933 года. Ясное дело, Толстой был прав в отношении властей предержащих, не переступавших определенного порога жестокости, но нацисты этот порог переступили.

На перемену моих убеждений повлияло не только положение в мире, но и мой личный опыт. Работа в школе показала, что для того, чтобы защитить слабых от угнетения, нужна крепкая и твердая рука. Случаи вроде истории со шпилькой в супе нельзя оставлять безнаказанными, уповая на постепенное облагораживающее воздействие среды; тут нужно принимать немедленные и действенные меры. Во втором браке я, в соответствии со своими взглядами, пытался сохранить уважение к свободе жены. Однако понял, что моя способность прощать и то, что назы-

вается христианской любовью, не встречают ожидаемого ответа, и бессмысленное упорство в следовании этим принципам не принесет добра другим, а мне принесет одни лишь беды. Все это можно было предсказать заранее, но я был ослеплен теорией.

Не хочу преувеличивать. Перемена взглядов, происходившая с 1932 по 1940 год, не была революционной. То было количественное накопление и смещение акцентов. Никогда не разделяя полностью учения о непротивлении, я и не отвергал его. Но различие между оппозицией первой мировой войне и поддержкой второй было слишком велико, и смена концепций была неизбежна.

С тем, что осознал мой разум, чувства соглашались неохотно. Все мое естество противилось войне, а мое второе "я" говорило в ее пользу. Начиная с 1940 года я уже никогда не мог восстановить равновесие разума и чувства, которое было мне свойственно с 1914 по 1918 год. Полагаю, что единство ума и чувства достигалось больше за счет веры, нежели научной обоснованности моей тогдашней позиции. Следовать научному знанию, куда бы оно меня ни завело, всегда было моим главным моральным императивом, и я не изменил ему даже тогда, когда утратил дар, который принимал за духовное прозрение.

Полтора года мы с Патрицией Спенс, в которую я был тогда влюблен, работали над книгой "Записки Эмберли" – мемуарами о моих родителях, так мало проживших на свете. Для меня это была своего рода башня из слоновой кости. Мои родители не успели столкнуться с современными проблемами и до конца жизни верили, что мир идет в направлении добра. Отвергаемые ими дворянские привилегии тем не менее сохранялись, и родители, пусть неохотно, ими пользовались. Они жили в уютном, просторном мире, преисполненном надежд. Погрузиться в него было спасением для меня, а создание им памятника тешило мои сыновние чувства. Тем не менее я был бы неискренен, если бы сказал, что считал это действительно важным делом. Период творческого бесплодия закончился, пора было заняться чем-то не столь далеким от моих обычных интересов.

Следующий мой труд – "Власть. Новый социальный анализ". В этой книге я писал, что даже в социалистическом государстве должна существовать область свободы, но эту область следует заново определить, и отнюдь не в либеральных терминах. Этой доктрины я придерживаюсь до сих пор. Этот тезис казался мне очень существенным, и я надеялся, что он привлечет больше внимания, чем это случилось. Книга задумывалась как опровержение и Маркса, и классической политэкономии, причем именно их фундаментальной основы. Я утверждал, что базовой категорией социальной теории должен стать не капитал, но власть, а социальная справедливость должна состоять в максимальном приспособлении власти к практической деятельности. Отсюда следовало, что государственная собственность на землю и капитал не будут двигать прогресс, пока государство не станет демократическим, причем при обязательном условии, что власть чиновников будет эффективно регулироваться. Мой тезис отчасти был использован и развит Бурнемом в его "Революции управления", но в целом книга не вызвала заметного резонанса. Мне же и теперь кажется, что в ней содержатся очень важные вещи, которые помогли бы избежать зла тоталитаризма, особенно при социалистических режимах.

В 1936 году я женился на Патриции Спенс, а в 1937-м родился мой младший сын Конрад. Это было огромное счастье. Через несколько месяцев после его рождения мне удалось продать "Телеграфный дом". Я уже несколько лет не получал никаких предложений, и вдруг поступило сразу два — от польского князя и английского бизнесмена. В течение суток, пользуясь конкуренцией, я поднял предлагавшуюся мне сумму до тысячи долларов. Победил бизнесмен, и я избавился от демона, терзавшего меня близостью краха с тех пор, как значительная часть моих денег растаяла.

Хотя из финансовых соображений я радовался продаже "Телеграфного дома", мне было жаль с ним расставаться. Я любил его леса и долины и мою комнату в башне с видом на все четыре стороны. Я бывал здесь лет сорок или даже больше, видел, как расцветала усадьба благодаря усилиям моего брата. Она олицетворяла собой преемственность истории, которую — если не считать работы — я более всего ценю в жизни. Продав дом, я мог бы сказать, как известный аптекарь: "Не воля соглашается, а бедность"[1]. С тех пор я долго не мог найти постоянного прибежища и частенько даже подумывал, что уже и не найду. О чем глубоко сожалел.

Закончив "Власть...", я обратился к философии. В 1918 году во время тюремного заключения я заинтересовался проблемой значения, которую дотоле совершенно игнорировал. Я писал о ней в "Анализе сознания" и разных статьях тех лет, но я еще далеко не исчерпал тему. Логические позитивисты, с которыми я в большей мере совпадал во взглядах, как мне казалось, кое в чем ошибались, и эти ошибки могли привести к новой схоластике вместо эмпиризма. Они полагали область языка самодостаточной, не соотносящейся с внелингвистической реальностью. Когда меня пригласили прочитать курс лекций в Оксфорде, я выбрал предметом "Слова и факты". Лекции легли в основу книги, опубликованной в 1940 году под названием "Исследование значения и истина".

Мы купили дом в Кидлингтоне, недалеко от Оксфорда, и прожили там около года, но только одна оксфордская дама навестила нас. Мы были персонами non grata. Нечто подобное мы потом пережили в Кембридже. В этом смысле старинные храмы знания представляются мне уникальными. <...>

Америка. 1938–1944

В августе 1938 года мы продали дом в Кидлингтоне. Покупатели поставили условие, чтобы мы немедленно его освободили; таким образом, в нашем распоряжении оказалось полмесяца, которые надо было чем-то заполнить. Мы арендовали автофургон и провели каникулы на побережье в Пембрукшире — Патриция, я, Джон, Кейт, Конрад и большая собака Шерри. Все это время дождь лил как из ведра, и мы торчали в доме. Более неприятного отдыха я не припомню. Патриции пришлось готовить еду, а она этого терпеть не может. Наконец Джон и Кейт вернулись в Дарлингтон, а Патриция, Конрад и я поплыли в Америку.

1. Цитата из «Ромео и Джульетты» У. Шекспира в перев. Т. Щепкиной-Куперник, д. V, сц. 1.

Я вел в Чикаго большой семинар, на котором читал лекции на ту же тему, что и в Оксфорде, — "Слова и факты". Мне сказали, что американцы не проявят к моим лекциям должного уважения, если я буду пользоваться короткими словами, поэтому я переименовал свой семинар, и теперь он назывался примерно так: "Корреляция оральных и соматических моторных навыков". Под таким названием семинар был одобрен и доставил мне много удовольствия. В нем принимали участие Карнап и Чарльз Моррис и три студента с выдающимися способностями — Долки, Каплан и Копиловиш. Мы обговаривали предмет со всех сторон и достигали общего согласия, что редко случается на философских диспутах. Помимо семинара, ничто не радовало. Город ужасный, погода мерзкая. Президент университета Хатчинс, занимавшийся программой "Сто лучших книг" и пытавшийся внедрить на факультете неотомизм, естественно, меня невзлюбил и, когда через год срок моего договора подошел к концу, с радостью отпустил.

Я получил место профессора в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. После блеклой невыразительности Чикаго, где еще длилась зима, оказаться в калифорнийском лете было счастьем. Мы приехали в Калифорнию в конце марта, а занятия у меня начинались в сентябре. Я использовал свободное время для чтения лекций. Мне отчетливо запомнились две связанные с этим вещи. Первая: профессора Луизианского университета, где я выступал, все как один очень высоко оценивали Хьюи Лонга, потому что он поднял им жалованье. Вторая, очень приятная: меня отвезли на плотину Миссисипи. Я устал от лекций, переездов и жары. И вот лег на траву, смотрел на величавую реку, загипнотизированный водой и небом. Минут десять я наслаждался покоем, что крайне редко со мной бывает, и, пожалуй, только рядом с текучей водой.

Летом 1939 года Джон и Кейт приехали к нам в гости на каникулы. Через несколько дней после их приезда разразилась война, и отправить их в Англию стало невозможно. Пришлось немедленно решать вопрос об их образовании. Джону было семнадцать, и я устроил его в Калифорнийский университет, а Кейт только пятнадцать, слишком мало для университета. Я порасспросил друзей насчет школ Лос-Анджелеса, чтобы выбрать ту, где обучение соответствует самым высоким стандартам. Все называли мне одну и ту же, оказалось, что из преподававшихся там предметов Кейт не изучала только один. Таковы гримасы капиталистической системы. Таким образом, мне пришлось, несмотря на юный возраст Кейт, послать ее в университет. Весь учебный 1939/40 год Кейт и Джон жили с нами.

Летом 1939 года мы арендовали дом в замечательном месте Санта-Барбара. К сожалению, я повредил спину и вынужден был целый месяц неподвижно лежать в постели, мучаясь невыносимыми невралгическими болями. В результате я не мог заранее подготовиться к лекциям и весь последующий академический год работал с большой перегрузкой, но все-таки чувствовал, что мои лекции далеки от совершенства.

Атмосфера в тамошнем академическом кругу была гораздо менее приятной, чем в Чикаго; штат был хуже подобран, а президент вызывал у меня, думаю, вполне оправданное отвращение. Если лектор высказывался в либеральном духе, его автоматически считали не соответствующим должности и увольняли. На факультетские собрания президент яв-

лялся в армейских ботинках и пресекал любые попытки сказать что-либо наперекор. Все дрожали, едва он хмурил брови, и эти собрания напоминали мне заседания рейхстага при Гитлере.

К концу академического года меня пригласили профессором в Нью-Йоркский городской колледж. Дело вроде было улажено, и я подал президенту Калифорнийского университета прошение об отставке. Через полчаса после того, как он его получил, я узнал, что мое назначение в Нью-Йорке зависло, и попросил президента отложить мое увольнение, но он сказал, что поздно. Честные христиане-налогоплательщики протестовали против того, чтобы их деньгами оплачивались услуги неверующего, и президент рад был избавиться от меня.

Городской колледж Нью-Йорка финансировался местными властями. Практически все студенты были католиками или иудеями; к негодованию первых, почти все стипендии шли последним. Городские власти находились под влиянием Ватикана, но профессора изо всех сил стремились сохранять хотя бы видимость академических свобод. Несомненно, потому они и рекомендовали меня. Против моей кандидатуры выступил англиканский епископ, а приходские священники убеждали местных полицейских, почти сплошь ирландских католиков, в моей причастности к росту преступности. Одна дама, чья дочь посещала колледж и которую я знать не знал, подала судебный иск, утверждая, что мое присутствие в этом учебном заведении опасно для добродетели ее дочери. Это был иск не против меня, а против нью-йоркского муниципалитета. Я попытался выступить ответчиком, но мне заявили, что это дело меня не касается. Муниципалитет, номинально выступавший ответчиком, был не менее заинтересован в том, чтобы проиграть процесс, чем истица выиграть его. Обвинитель назвал мои работы "распутными, похотливыми, сладострастными, эротоманскими, вредными, узколобыми, ложными и наносящими урон общественной нравственности". Судья-ирландец решил дело в пользу истицы и разразился филиппикой в мой адрес. Я хотел подать апелляцию, но муниципалитет отказался. Обо мне говорили фантастические вещи. Например, что я — порочный тип, который утверждает, что очень маленьких детей нельзя наказывать за мастурбацию.

Против меня организовали настоящую американскую охоту на ведьм, и я стал персоной non grata по всей стране. Предполагалось, что я прочитаю несколько циклов лекций, но вышло так, что до развязывания этой кампании я успел заключить только один договор. Раввин, с которым я его заключил, расторг контракт, и я его не виню. Хозяева аудиторий, в которых я должен был выступать, отказывались предоставлять их, а если бы я рискнул появиться перед публикой, меня, наверно, линчевала бы толпа католиков при полном попустительстве полиции. Ни одна газета, ни один журнал не печатали моих статей, и я неожиданно оказался без средств к существованию. Получалось, что я не мог законным путем зарабатывать на жизнь за пределами Англии, что ставило меня, имевшего троих детей, в трудное положение. Многие либерально настроенные профессора выразили свой протест, но и они были уверены в том, что раз я граф, то наверняка имею наследственные владения и вполне состоятелен. Только один человек предпринял конкретные шаги — доктор Барнс, изобретатель аргироля[1] и основатель Фонда Барн-

1. Аргироль — медицинский препарат.

са, находившегося неподалеку от Филадельфии. Он предоставил мне возможность пять лет читать лекции по философии в его Фонде. У меня камень с души свалился. Пока я не получил этого предложения, я не видел никакого выхода. В Англию возвращаться было нельзя — я не хотел везти детей прямо в военное пекло, да и денег на дорогу у меня не было: вне Англии заработать не представлялось возможным. Оставалось только забрать детей из университета и жить на подаяния друзей. От этой мрачной перспективы и спас меня доктор Барнс.

Лето 1940 года запомнилось контрастом между ужасами общественной жизни и удовольствиями частной. Лето мы провели в горах Сьерры, на озере Упавшего Листа возле озера Тахо, в одном из самых дивных мест, которые мне довелось повидать. Озеро располагается на высоте шести тысяч футов над уровнем моря, и бóльшую часть года здесь лежит снег, поэтому места эти необитаемы. А три месяца в году сияет солнце, тепло, но не слишком жарко, на горных лугах расцветают экзотические цветы, и воздух напоен ароматом сосен. Мы жили в бревенчатом доме в сосновой роще, рядом с озером. Конрад с няней спали в доме, а мы на веранде. Мы совершали долгие прогулки к водопадам, горным вершинам, озерам, откуда можно было нырять в воду, которая была достаточно теплой. У меня был маленький кабинетик, размером с сарайчик, где я закончил работу над книгой "Исследование значения и истины". Иногда было так жарко, что я писал совсем раздетый. Вообще я от жары не страдаю, во всяком случае мне никогда не бывает слишком жарко, чтобы работать.

Среди всех этих удовольствий мы каждый день ждали новостей: не началось ли вторжение в Англию, стоит ли еще Лондон? Почтальон, веселый парень с юмором слегка садистского свойства, явившись однажды утром, громко возвестил: "Слыхали новости? Лондон разрушен, ни одного дома не осталось!" Мы не знали, верить ли ему. Долгие прогулки и купанье в озерах отвлекали от тягостного ожидания, а в сентябре стало ясно, что Англия не будет оккупирована.

Жители Сьерры представляли собой единственное известное мне бесклассовое общество; почти все дома занимали университетские профессора, а подсобные работы выполняли студенты университетов. Например, продукты нам доставлял молодой человек, которому я зимой читал лекции. Многие студенты приезжали на каникулы — в таком девственном месте это обходилось им очень дешево. Американцы куда больше европейцев преуспели в туристическом бизнесе. Многие дома стояли близко к берегу озера, но с воды их не было видно — они прятались в соснах. И сами дома, очень крепкие, были сложены из сосновых бревен. Настоящая живая сосна вросла в угол нашего дома, и я все думал: что с ним будет, когда дерево вырастет?

Осенью 1940 года я читал в Гарварде лекции об Уильяме Джеймсе. Курс был запланирован до нью-йоркских неприятностей. Возможно, Гарвард пожалел о нашей договоренности, но если и так, мне об этом из вежливости не сообщили.

Мое сотрудничество с доктором Барнсом началось в Нью-Йорке в 1941 году. Мы арендовали ферму милях в тридцати от Филадельфии, очаровательный домик, которому было лет двести, в холмистой местности, напоминающей ландшафт Дорсетшира. При доме был сад, старый сарай и три персиковых дерева, которые приносили огромный урожай

вкуснейших плодов. Там были поля, река и живописные рощи. В десяти милях от нас находилась конечная станция филадельфийской пригородной железной дороги, называлась она (в честь корсиканского патриота) Паоли. Оттуда я ездил поездом в Фонд Барнса, где читал лекции по философии в его галерее современной французской живописи, по большей части изображавшей обнаженную натуру, что не вполне соответствовало предмету изложения.

Доктор Барнс был человеком странным. У него жила собака, которую он обожал, и жена, которая обожала его. Ему нравилось покровительствовать цветным, он относился к ним как к равным, при том что был абсолютно уверен, что это не так. Изобретение аргироля принесло ему несметное богатство. Когда интерес к аргиролю достиг пика, он продал патент и все деньги вложил в ценные бумаги. Потом сделался знатоком искусства. Собрал замечательную коллекцию французских картин и преподавал эстетику. Любил лесть и вечно со всеми ссорился. Меня предупредили, что люди ему быстро надоедают, поэтому я отвоевал у него пятилетний контракт. 28 декабря 1942 года я получил от него письмо, что с 1 января контракт расторгается. Таким образом, я опять оказался на пороге нищеты. Правда, у меня имелся договор, и адвокат, с которым я консультировался, уверил меня, что я несомненно смогу получить по суду неустойку. Но для этого требовалось время, особенно в Америке, а пока надо было на что-то жить. Подобную же историю поведал о Барнсе в своей книге Корбюзье. Корбюзье приехал читать лекции и захотел посмотреть галерею Барнса. Он обратился к нему письменно за разрешением, на что получил очень недружелюбный ответ. Доктор Барнс сообщал, что визит может состояться в девять утра в определенное воскресенье и ни в какое другое время. Корбюзье написал еще раз, отметив, что расписание лекций не позволяет ему прибыть в указанное время. Доктор Барнс отозвался крайне резким письмом: либо в это время, либо никогда. Тогда Корбюзье отправил длинное письмо, опубликованное в упомянутой книге, где писал, что он не прочь иной раз поссориться, но предпочитает ссориться с теми, кто придерживается противоположных воззрений на искусство, но поскольку с доктором Барнсом их объединяют общие взгляды на современное искусство, будет жаль, если они не сумеют договориться. Доктор Барнс не стал читать это послание и возвратил его с пометкой крупными буквами на конверте: “Merde”[1].

Когда мой иск дошел до суда, доктор Барнс заявил, что я неудовлетворительно выполнял свою работу и мои лекции оказались слишком поверхностными. Они составили первые две трети моей “Истории западной философии”, и я вручил рукопись судье, хотя не надеялся, что он ее прочтет. Доктор Барнс пожаловался на мое отношение к людям, которых сам называл “питекантропами” и “пустоголовыми”, о чем я уведомил судью и выиграл процесс. Доктор Барнс, конечно, по своему обыкновению, оспорил решение суда, так что деньги я получил, только вернувшись в Англию. Тем временем он послал перечень моих грехов всему преподавательскому составу Тринити-колледжа, чтобы упредить мое возвращение на прежнее место. Я этого документа не читал, но не сомневаюсь, что это было достойное сочинение.

1. «Дерьмо» (*франц.*).

В первые месяцы 1943 года я испытывал нужду в средствах, но не в такой степени, как опасался. Мы сдали нашу ферму вподнаем и переселились в хижину, предназначавшуюся для цветных работников. Там было три комнаты и три печи, каждую из которых надо было растапливать чуть ли не каждый час. Одна служила для обогрева, вторая — для приготовления еды и третья — чтобы греть воду. Конрад мог слышать каждое слово из наших разговоров с Патрицией, а у нас было немало тем для обсуждения, которыми мы не хотели бы его волновать. Но к тому времени скандал в Нью-Йоркском колледже затих, и я стал получать разовые предложения на чтение лекций в Нью-Йорке и других городах. Мораторий нарушило приглашение от профессора Уайсса из колледжа Брин-Мор. Это потребовало от него немалого мужества. Как-то раз я так обеднел, что у меня хватило денег лишь на билет до Нью-Йорка, а за обратный пришлось заплатить из гонорара за лекцию. "История западной философии" была почти закончена, и я обратился к своему американскому издателю Нортону с просьбой об авансе. Он ответил, что из любви к Кейт и Джону и ради нашей дружбы он выплатит мне пятьсот долларов. Я решил, что, может быть, удастся достать побольше в другом месте, и обратился к Саймону и Шустеру, с которыми не был лично знаком. Они сразу согласились заплатить две тысячи и еще тысячу через полгода. В это время Кейт была в колледже Рэдклифф, а Джон в Гарварде. Я боялся, что из-за недостатка средств им придется прервать учебу, но благодаря Саймону и Шустеру этого не случилось. Мне помогли и деньги, одолженные друзьями, которые, к счастью, я отдал довольно скоро.

"История западной философии", которую я начал писать случайно, многие годы служила основным источником моих доходов. Принимаясь за нее, я не подозревал, что она станет самой удачной книгой из всего, что я написал, и на некоторое время даже возглавит в Америке список бестселлеров. А пока я погружался в стародавние времена, Барнс объявил, что более во мне не нуждается. Несмотря на это, моя работа казалась мне интересной, особенно в той ее части, в которой я прежде был не силен, — раннее Средневековье и иудейская философия до Рождества Христова. Я благодарен колледжу Брин-Мор за возможность пользоваться их великолепной библиотекой, тем более что я нашел там бесценный труд преподобного Чарльза, который опубликовал переводы древнееврейских авторов, живших незадолго до нашей эры.

Я с удовольствием писал эту книгу, потому что всегда считал — исторические сочинения должны быть пространными. К примеру, то, о чем писал Гиббон, не могло быть адекватно изложено на меньшем количестве страниц. Начало "Истории западной философии" я рассматриваю как историю культуры, а последующие части, где существенное место занимает наука, мне уже трудно было вместить в эти рамки. Я старался как мог, но не уверен, что преуспел. Рецензенты упрекали меня в том, что я написал не истинную историю, а представил тенденциозный свод искусственно выбранных событий. Но на мой взгляд, не имея тенденции — если такое вообще возможно, — нельзя написать интересную историю. Попытка сохранять объективность — всего лишь трюк. Книгу, как и любое другое произведение, делает таковой именно тенденция. Вот почему сборник статей различных авторов всегда менее интересен, чем целостный текст одного человека. Поскольку я не верю в существование

автора вне тенденции, то считаю, что залогом успеха в создании исторической книги является откровенное признание им своей тенденциозности, а недовольным предоставляется право поискать выразителей иной тенденции. Чья тенденция окажется ближе к истине, рассудит будущее. В свете вышесказанного мне больше импонирует "История западной философии", чем "Мудрость Запада"[1], которая была переложением первой, но приглаженным и упрощенным. Хотя мне нравятся иллюстрации в "Мудрости Запада".

Последний период нашего пребывания в Америке прошел в Принстоне, в маленьком домике на берегу озера. В Принстоне я довольно близко познакомился с Эйнштейном; раз в неделю я приходил к нему, и мы вели дискуссии с Геделем[2] и Паули[3]. Эти дискуссии оставили неприятный осадок, потому что, хотя все трое были евреями-иммигрантами, космополитами по духу, в метафизике они склонялись к немецкому типу мышления, и нам, несмотря на все старания, не удалось найти общий фундамент, на котором можно было бы дискутировать. Гедель оказался правоверным платоником и, очевидно, верил в то, что вечный нус[4] ожидает добродетельных логиков на небесах.

Принстонское общество в целом было гораздо приятнее, чем любое другое научное сообщество в Америке. К этому времени Джон вернулся в Англию и поступил в морской флот, но собирался изучать впоследствии японский язык. Кейт успешно училась в Рэдклиффе и немножко зарабатывала преподаванием. Меня больше ничто не удерживало в Америке, разве что трудности в получении разрешения на въезд в Англию. И эти трудности долгое время были непреодолимыми. Я поехал в Вашингтон и заявил, что должен исполнять свои обязанности в палате лордов, пытаясь убедить соответствующие органы в искренности моего стремления. Наконец я нашел аргумент, который удовлетворил британское посольство. Я сказал им: "Вы признаете, что война ведется против фашизма?" — "Да", — сказали они. "Тогда вы должны признать, — продолжил я, — что сущность фашизма заключается в попрании закона властью". — "Да", — сказали они, но уже с меньшей уверенностью. "Так вот, — сказал я, — вы — власть, а я представитель закона, и если вы хоть еще один день будете препятствовать мне в отправлении моих обязанностей, вы фашисты". Под общий смех мне немедленно выдали разрешение на отплытие. Однако оставалось еще одно смехотворное препятствие. Мы с женой попали в привилегированную категорию А, а наш сын Конрад, не будучи представителем закона, — в категорию Б. Естественно, нам хотелось, чтобы семилетний Конрад ехал вместе с матерью. Но это означало, что ей придется согласиться на категорию Б. До сей поры никто еще не изъявлял желания добровольно перейти в низшую категорию, и чиновникам потребовалось несколько месяцев, чтобы переварить этот казус. Наконец были установлены даты отъезда, сначала для Патриции и Конрада, а через полмесяца и для меня. Мы отплыли в мае 1944 года. <...>

1. Сочинение Бертрана Рассела.
2. Курт Гедель (1906—1978) — логик, математик; род. в Австро-Венгрии, с 1940 г. — в США.
3. Вольфганг Паули (1900—1958) — швейцарский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики.
4. Нус (греч. nus — мысль, разум) — дух, интеллект, мировая душа в философии Анаксагора; «мыслящая душа», а также демиурга в философии Платона.

Часть третья. Последние годы. 1944–1969

Возвращение в Англию

Плавание по Атлантическому океану в первой половине 1944 года было делом непростым. Патриция и Конрад путешествовали на "Куин Мэри" с большой скоростью, но с крайними неудобствами. Судно было заполнено матерями с детьми; мамаши сетовали на чужую ребятню, но детвора – и своя, и чужая – доставляла беспокойство всем, и нужен был глаз да глаз – чтобы кто-нибудь не свалился за борт. Обо всем этом я узнал, только добравшись до Англии. Меня отправили с большим конвоем, который величественно двигался со скоростью велосипеда в сопровождении сторожевых судов и аэропланов. У меня была при себе рукопись "Истории западной философии", и несчастным цензорам пришлось прочесть ее от корки до корки на предмет обнаружения информации, полезной для врага. В конце концов они удостоверились в бесполезности философского знания для немцев и очень вежливо убеждали меня, будто чтение моей книги доставило им удовольствие, во что, признаюсь, мне трудно было поверить. Все было окутано секретностью. Мне не разрешили сообщить друзьям, когда я отплываю и из какого порта. Наконец меня посадили на корабль компании "Либерти", отправлявшийся в свое первое плавание. Капитан, веселый парень, подбадривал меня, говоря, что не более одного судна из четырех, принадлежащих этой компании, трещат по швам по выходе из порта. Стоит ли уточнять, что корабль был американский, а капитан – британец. К моему удивлению, один из офицеров, старший механик, прочитал "Азбуку теории относительности", не зная, кто ее автор. Однажды, когда мы с ним прогуливались по палубе, он начал распространяться о достоинствах этой книги, и когда я сказал, что это я ее написал, его радости не было предела. Другого пассажира, бизнесмена, офицеры невзлюбили; они считали, что по возрасту ему полагалось бы воевать. Но мне его общество было приятно, и целых три недели мы вместе наслаждались бездельем. Пока мы не приблизились к берегам Ирландии, риска напороться на подводную лодку не было, зато потом нам велено было ложиться спать не раздеваясь. Впрочем, опасность нас миновала. За несколько дней до окончания нашего путешествия мы узнали по радио о высадке союзников в Нормандии. Выслушать эту новость собралась почти вся команда. Я узнал, как будет по-английски "Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrive"[1].

В воскресенье мы с трудом пристали в маленьком городке на северном побережье Шотландии – то было мое первое впечатление от Британии военного времени. В городе, похоже, не было никого, кроме польских солдат, которые вели себя очень галантно по отношению к женскому полу, и шотландских девушек, не помнивших себя от счастья. Я сел в ночной поезд на Лондон, приехал туда ранним утром и долго не мог найти Патрицию и Конрада. Наконец, после бесконечных телефонных звонков и телеграмм, обнаружилось, что они в Сидмуте и у Конра-

1. «Вперед, отечества сыны...» – начальные слова Марсельезы.

да воспаление легких. Я немедленно бросился туда; к великому моему облегчению, Конрад уже шел на поправку. Мы сидели на берегу, прислушиваясь к залпам корабельных орудий, доносившимся со стороны Шербура.

Тринити-колледж пригласил меня читать лекции на пятилетний срок, и я принял приглашение. Соответственно я получал звание и жилье на территории университета. Я поехал в Кембридж; квартира оказалась прелестной, окна выходили на зеленую лужайку, поросшую цветами. Приятно было увидеть, что красоты Кембриджа нисколько не пострадали; мирный вид Грейт-Корт был до неправдоподобия благостным. Но мне следовало устроить куда-нибудь Патрицию и Конрада. Кембридж был невероятно перенаселен, и самое лучшее, что мне удалось найти для семьи, — убогие меблированные комнаты. Я жил в роскоши в колледже, а мои близкие ютились в жалкой лачуге. Как только выяснилось, что вскоре я получу деньги по иску против Барнса, я купил в Кембридже дом.

Именно в этом доме мы встретили день победы и последовавшие за тем всеобщие выборы. Там же я написал книгу "Человеческое познание. Его сфера и границы". В Кембридже я был счастлив, но тамошние дамы смотрели на нас косо. Вскоре я купил небольшой домик с прелестным видом в Фесттиньоге, в Северном Уэльсе. Потом мы сняли квартиру в Лондоне. В те годы я много ездил с лекциями по континенту, но не сделал ничего существенного. В 1949 году моя жена решила, что я ей больше не нужен, и наш брак распался.

В 40-е и в начале 50-х годов меня очень волновали проблемы, связанные с ядерным оружием. Мне было очевидно, что ядерная война положит конец цивилизации. Ясно было и то, что, если в политике как Востока, так и Запада не произойдут перемены, рано или поздно ядерная война будет развязана. Эти страхи сидели у меня в голове с начала 20-х. Но тогда, несмотря на то, что некоторые физики чувствовали приближающуюся угрозу, большинство людей, причем не только простых людей с улицы, но и ученых, не хотели о ней думать, успокаивая себя тем, что, мол, до такой глупости человечество не дойдет. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году впервые привлекли внимание ученых, а также некоторых политиков к проблеме атомной войны. Спустя несколько месяцев после бомбардировки этих японских городов я выступил с речью в палате лордов, указав на реальную угрозу ядерной войны и ее последствий для всего мира. Я предсказал производство более мощных ядерных боеголовок, чем те, что были использованы при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Пока еще не началась гонка вооружений, которой я так опасался, можно было установить контроль над этим монстром и использовать его в мирных целях. Мне аплодировали, никто из членов палаты не назвал мои страхи преувеличенными, но все они единодушно признали, что это проблема, которую придется решать их внукам. Сотни тысяч погибших в Японии не убедили их в том, что Британия избежала подобной участи лишь по счастливой случайности и что в следующей войне ей вряд ли так повезет. Никто не видел в этом всеобщей угрозы, которую можно было бы предотвратить за счет договоренности великих держав. <...> Тогда я верил, что планировать действия и действовать, чтобы остановить приближающуюся опасность, необходимо сразу, едва она замаячит на горизонте, и еще больше я верю в это теперь. <...>

Когда решался берлинский вопрос, правительство направило меня в Берлин, чтобы убедить жителей города оказать сопротивление русским, пытавшимся вытеснить оттуда союзников. Это был первый и последний случай в моей жизни, когда я изображал из себя военного. Меня включили в состав вооруженных сил и выдали мне военный билет, что меня весьма позабавило.

Я много выступал в разных службах Би-би-си; в частности, меня попросили выступить по случаю смерти Сталина. Я с радостью отозвался на это предложение, потому что считал Сталина страшнейшим злодеем, главным виновником нищеты и инициатором террора в России, которая теперь всем этим угрожала миру. Я заклеймил тирана в своей речи и поздравил всех с его уходом со сцены. Я говорил, забыв обо всякой осмотрительности, о всех приличиях. Эта передача так и не вышла в эфир.

После Германии правительство направило меня в Норвегию — убеждать норвежцев присоединиться к союзу против России. Место моего назначения называлось Тронхейм. Погода была холодная, штормовая. Из Осло в Тронхейм надо было лететь на гидроплане. Когда гидроплан сел на воду, мы почувствовали неладное. Он стал медленно погружаться в пучину. Нам велели прыгать в море и плыть к лодке, все пассажиры моего отсека так и сделали. Потом мы узнали, что девятнадцать пассажиров из салона для некурящих погибли. Едва коснувшись воды, гидроплан получил пробоину, куда хлынула вода. Я попросил приятеля, который провожал меня в Осло, подсказать, где можно курить в самолете, и шутливо заметил: "Если нельзя будет курить, я помру". Шутка оказалась вещей. Пассажиры салона для курящих выбрались через аварийный выход, возле которого находилось мое место. Мы доплыли до лодок, державшихся в отдалении, иначе их могло затянуть в воронку от тонувшего гидроплана. Нас доставили на берег в нескольких милях от Тронхейма и отвезли на машине в отель.

Меня встретили очень сердечно и уложили в постель, пока сохла одежда. Студенты даже сушили мои спички поштучно. На вопрос, чего бы мне хотелось, я ответил: "Хорошую порцию бренди и большую чашку кофе". Появившийся вскоре доктор подтвердил правильность ответа. Было воскресенье, в этот день в Норвегии запрещается подавать в отелях спиртное, о чем я тогда не знал, но поскольку выпивка требовалась по медицинским показаниям, возражений не последовало. Забавную нотку внес в ситуацию священник, снабдивший меня на время сушки одежды церковным облачением. Меня засыпали вопросами. Один вопрос прозвучал по телефону из Копенгагена: "Находясь в воде, размышляли ли вы о мистицизме и логике?" — "Нет", — ответил я. "А о чем же вы размышляли?" — настаивал звонивший. "О том, что вода холодновата", — ответил я и повесил трубку.

Лекцию мою отменили, поскольку руководитель агитационной кампании утонул.

Я был поражен суетой, которая поднялась вокруг меня в связи с этим происшествием. Мою роль сильно преувеличивали. Я проплыл примерно сотню ярдов, но все были убеждены, что несколько миль. Правда, я плыл в пальто, потерял шляпу и портфель. В тот же день мне его возвратили — я пользуюсь им по сей день, — причем его содержимое было высушено. Когда я вернулся в Лондон, чиновники с улыбкой смот-

рели на мой паспорт, носивший на себе следы пребывания в морской воде. Он лежал в портфеле.

Прибыв в 1944 году в Англию, я обнаружил, что отношение ко мне переменилось. Я снова наслаждался свободой дискуссий, невозможной в Америке. Там, если нас останавливал полицейский, мой сын ударялся в слезы; примерно так же реагировали университетские профессора, когда полицейские их обвиняли в превышении скорости. Англичане, которые никогда и ни в чем не бывают фанатичны, излечили и меня от фанатизма; я наслаждался, чувствуя себя дома. Это чувство еще более окрепло в конце 40-х, когда меня пригласили на Би-би-си прочесть курс лекций — раньше ко мне относились как к вредителю, которого нельзя подпускать к молодежи. Атмосфера свободной дискуссии повлияла на выбор темы курса, которую я обозначил так: "Власть и личность". Под этим названием мои лекции был опубликованы в 1949 году; речь шла главным образом о сужении зоны индивидуальной свободы в условиях индустриализации. Несмотря на признание подобной опасности, и тогда, и позже очень мало было сделано, чтобы нейтрализовать зло.

За несколько лет до того, как я прочел этот курс, мой старый друг профессор Уайтхед получил орден "За заслуги". В начале 50-х я приобрел столь великий вес в глазах общественности, что меня тоже представили к такой награде. Я был счастлив. Несмотря на то, что многие мои соотечественники, несомненно, чрезвычайно удивятся, услышав это, признаюсь, я страстный патриот и высоко ценю честь, оказанную мне главой моей страны. Для вручения награды надо было прибыть в Букингемский дворец. Король был очень любезен, но явно испытывал неловкость от того, что должен был оказывать милости такой сомнительной личности с тюремным прошлым. Он заметил: "Вы не всегда вели себя как принято". Я рад, что сдержался и не выпалил то, что просилось на язык: "Как и ваш брат". Но поскольку он имел в виду свободу совести, я не мог оставить его реплику без ответа. Я сказал: "Человек должен вести себя сообразно своей профессии. Почтальону, например, приходится стучать во все двери подряд, но если бы стучать во все двери принялся кто-нибудь другой, его сочли бы возмутителем общественного спокойствия". Чтобы избежать неприятного ответа, король резко сменил тему и спросил, знаю ли я единственного человека, являющегося кавалером ордена Подвязки и одновременно ордена "За заслуги". Я не знал, и он милостиво сообщил, что это лорд Портал. Я не стал говорить, что это мой кузен. <...>

Когда в конце 1950 года меня пригласили в Стокгольм для вручения Нобелевской премии — к моему удивлению, по литературе, за книгу "Брак и нравственность", — я поехал туда с опаской, потому что, сколько мне помнилось, как раз триста лет назад Декарт по приглашению королевы Христины приехал в Скандинавию тоже зимой и умер от простуды. Мы, однако, жили в тепле и уюте, а вместо снега шел дождь, и это даже слегка разочаровывало. Церемония была хотя и пышная, но приятная, и мне она понравилась. За обедом моей соседкой оказалась мадам Жолио-Кюри, и мы очень интересно побеседовали. Вечером во время банкета, который устраивал король, мне сообщили, что он желает поговорить со мной. Он сказал, что хочет, чтобы Швеция объединилась с Норвегией и Данией против России. Я ответил, что в случае войны России с Западом

русские могли бы войти в норвежские порты только через шведскую территорию. Король согласился с моим мнением. <...>

1950 год, начавшийся с вручения мне ордена "За заслуги" и закончившийся Нобелевской премией, ознаменовал апогей моей респектабельности. У меня даже возникло легкое опасение, как бы не попасть в правоверные. Я всегда придерживался мнения, что уважаемые персоны порочны по определению, но мое моральное чувство настолько притупилось, что я не мог понять, чем же я согрешил. Почет и увеличившийся благодаря продажам "Истории западной философии" доход вселили в меня ощущение свободы и уверенности, что, в свою очередь, помогло мне направить энергию в желаемое русло. Я стал подозревать, что преувеличивал мрачность перспектив, ожидающих человечество, и решил, что пора написать книгу, где бы спорные вопросы получили более оптимистичное решение. Я назвал эту книгу "Новые надежды в меняющемся мире", и там я рассмотрел наиболее благоприятные из возможных перспектив. Я не взял на себя смелость предсказывать, какой вариант развития событий наиболее вероятен, лишь подчеркнул, что невозможно знать заранее, худом или добром обернется дело. <...>

Тем не менее мое беспокойство росло. Мне не удавалось заставить соплеменников увидеть грозящие человечеству опасности, и это тяжким грузом ложилось на мою душу. Может быть, боль обостряла радости, выпадающие мне на долю, но сама боль не уходила. Я чувствовал, что "Новые надежды в меняющемся мире" требуют тщательного пересмотра, — это я и сделал в книге "Человеческое общество в свете этики и политики".

Я обратился к этике, потому что меня часто упрекали в том, что, критически обозрев другие области знания, я не коснулся этических вопросов, если не считать раннего очерка, где я толковал книгу Мура "Principia Ethica". Я отвечал, что этика не является наукой. <...>

Главной моей мыслью была та, что этика есть производное от страстей, а путь от страсти к поступку нельзя определить как истинный или ложный. Критики обвиняют меня в излишней рациональности, но это не совсем так. Реальное различие между страстями оценивается с точки зрения их эффективности. Некоторые страсти ведут к успеху в достижении желаемого, другие — к поражению. Если в вас преобладают первые, вы будете счастливы; если вторые — несчастны. Таково, по крайней мере, общее правило. Это может показаться слишком слабым результатом исследования таких возвышенных понятий, как "долг", "самоотверженность" и прочее, но я убежден, что это единственный значимый итог за исключением того, что для каждого из нас человек, который ценою самоограничения приносит счастье многим людям, — более достойная личность, чем тот, кто приносит несчастье другим, а счастье лишь себе самому. У меня нет никакого рационального обоснования этой точки зрения, как и того, что желание большинства предпочтительней желания меньшинства. Это истинно этические проблемы, и я не знаю иных способов их решения, кроме политики и войны. Все, что я могу сказать по этому поводу, заключается в том, что этические соображения могут подкрепляться только этической аксиомой, но если аксиомы не существует, прийти к разумному выводу нельзя. <...>

Несмотря на то, что эта книга получила отзывы, о которых можно было только мечтать, никто не отнесся всерьез к тому, что в ней было

наиболее существенным — к невозможности примирить нравственные чувства с этическими доктринами. Мысль об этом постоянно бродила в глубинах моего сознания. Я пытался разбавить свои соображения легкими материями, историями с элементами фантазии. Многим мои истории показались забавными, кое-кому — изысканными, но почти никто не увидел в них пророчества. <...>

Когда в 1944 году я вернулся из Америки, мне показалось, что британская философия пребывает в очень странном состоянии и занимается исключительно тривиальными вещами. Все только и делали, что разглагольствовали об "обыденном употреблении языка". Мне такая философия пришлась не по вкусу. У каждой отрасли знания свой словарь, и я не понимаю, почему философии должно быть в этом отказано. Я написал скетч, в котором издевался над культом "обыденного употребления". Когда скетч вышел в свет, я получил письмо от одного из заядлых сторонников этого направления, в котором тот писал, что всецело разделяет мой пафос, только не понимает, против кого он направлен, ибо ничего не знает о существовании такого культа. Как бы то ни было, я заметил, что с тех пор об "обыденном употреблении" стали говорить гораздо меньше.

Перелистывая свои книги сегодня, я замечаю, как часто для усиления воздействия прибегал в них к иносказаниям. Недавно, например, я наткнулся на такой пассаж во "Влиянии науки на общество":

"Мне кажется важным указать на то, что столь распространившееся ныне сомнамбулическое отчаяние носит иррациональный характер. Люди пребывают в положении человека, карабкающегося на труднодоступную вершину, на которой расстилаются благодатные альпийские луга. С каждым шагом перспектива возможного падения становится все более мрачной; с каждым шагом нарастает усталость, и каждый шаг дается все труднее. И вот наконец до цели остается всего один шаг, но человек не знает об этом, потому что нависающие сверху камни мешают ему видеть. Утомление столь велико, что ему уже не хочется ничего, только отдохнуть. Ему кажется, что следующий шаг будет шагом к вечному покою. Надежда зовет: 'Еще одно усилие – может быть, оно окажется последним!' Сомнение парирует: 'Глупец! Сколько раз ты слушался голоса надежды – и вот куда она тебя завела!' Оптимизм говорит: 'Покуда есть жизнь, есть и надежда'. Пессимизм бурчит: 'Покуда есть жизнь, есть и боль'. Сделает ли человек последнее усилие или безвольно полетит в пропасть? Через несколько лет те из нас, кто будут живы, узнают ответ' ". <...>

Дома и за границей

Справиться с мрачными предчувствиями и опасениями последних двух десятилетий мне больше всего помогло то, что я полюбил Эдит Финч, а она — меня. Эдит дружила с Люси Доннели, которую я знал в начале века и с которой встречался, приезжая в Америку, в 30-е и 40-е годы с Эдит. Люси была профессором колледжа Брин-Мор, где преподавала и Эдит. У меня завязались дружеские связи с этим колледжем еще с тех пор, как я женился первым браком на кузине его президента. После смерти Люси Эдит переехала в Нью-Йорк, где мы и встретились, когда в 1950 году я читал лекции в Колумбийском университете.

Наша дружба очень быстро упрочилась, и вскоре мы уже не могли вынести разлуки. Эдит перебралась в Лондон, а я жил в Ричмонде, и мы часто встречались. Нам было на редкость хорошо вместе. Ричмонд-парк навевал множество воспоминаний, в том числе и детских. Они словно обновляли кровь, и мне казалось, что я заново переживаю свою жизнь. Радость помогала мне забыть о ядерной угрозе. Гуляя по Пембрук-лодж, Ричмонд-парку и Кью-гарденс, я вспоминал разные случаи из жизни. Фонтан возле Пембрук-лодж напомнил мне, как лакей, которому поручили излечить меня от страха перед водой, окунул меня головой в воду, держа за пятки. Вопреки современным взглядам на воспитание, этот метод оказался весьма эффективным: после первого же погружения я навсегда перестал бояться воды.

Нам с Эдит было что порассказать друг другу. Наша семейная история началась с моего праотца, который был доверенным лицом Генриха VIII и наблюдал в окно, когда подадут сигнал о смерти Анны Болейн в Тауэре. Следующей вехой была речь моего деда накануне битвы при Ватерлоо, содержавшая требование не оказывать сопротивления Наполеону. Затем последовал его визит на Эльбу, где плененный Наполеон ущипнул его за ухо. <...>

Семейная сага Эдит показалась мне куда более романтичной. Примерно в 1640 году кого-то из ее предков то ли повесили, то ли похитили краснокожие. Ее отец мальчиком пережил массу приключений среди индейцев, когда вместе с семьей жил жизнью пионеров в Колорадо; во время гражданской войны одни члены семьи оказались в стане южан, другие — северян. Среди них были два брата-генерала, один из которых принимал капитуляцию другого. <...>

Вскоре коллекция семейных преданий стала пополняться нашими собственными историями. Как-то утром во время прогулки по Кью-гарденс к нам бросился незнакомый мужчина, упал передо мной на колени и облобызал мне руку. Я онемел от изумления; Эдит, однако, раньше меня сумела прийти в себя и выяснила, что это был немец, живший в Англии, который таким образом за что-то меня благодарил. За что именно, мы так и не узнали. <...>

Эдит, хотя и не была специалисткой по философии и математике, знала нечто такое, в чем я был полным профаном. К тому же мы полностью сходились в отношении к людям и миру. Многое из того, что я сделал в дальнейшем, было сделано с ее помощью. <...>

Счастливые дни в Ричмонде омрачались порою неприятностями. На Рождество 1953 года мне пришлось лечь в больницу на серьезную операцию. В больнице я пробыл недолго, к маю почувствовал себя совсем здоровым и выступил в ПЕН-клубе с лекцией "История как искусство". После лекции секретарь клуба пригласил нас на ужин, и я всласть наговорился о своих литературных симпатиях и антипатиях. Я, например, терпеть не могу Вордсворта. Конечно, я признаю, что некоторые его произведения поистине замечательны, но большинство из них скучны, напыщенны и неумны. К сожалению, у меня дар легко запоминать плохие стихи, поэтому я могу поставить в тупик любого почитателя Вордсворта. <...>

Оглядываясь из сегодняшнего дня на то время, я удивляюсь, как много успевал сделать, даже если учесть, что работал почти сутками. Поездки

в Рим, Париж и Шотландию, семейные дела, переезд на лето в Северный Уэльс, масса писем, дискуссии, посетители, речи... Я написал бесчетное количество статей, дал множество интервью, вел переписку с американцем Р. К. Маршем, который издавал мои ранние статьи (книга вышла под названием "Логика и наука"). К тому же я готовил к публикации в 1956 году свою книгу "Портреты по памяти". В январе 1955-го я прочел лекцию о Джоне Стюарте Милле в Британской академии. Составить ее было непросто. Я уже не раз высказывался о Милле. Но в этой лекции была одна очень дорогая для меня фраза: сказав, что предложение имеет субъект и предикат, я заметил, что этот факт повлек за собой "ошибку длиной в три тысячи лет". Лекция была воспринята с большим энтузиазмом. Мне аплодировали стоя. <...>

Трафальгарская площадь

Первая конференция ученых — участников движения за мир и разоружение, при поддержке Сайруса Итона[1] состоялась в начале июля 1957 года в Пагуоше (Канада). Я не смог присутствовать на ней из-за возраста и по слабости здоровья. В 1957 году мне пришлось пройти подробное медицинское обследование, чтобы выяснить, что именно не в порядке у меня с горлом. В феврале меня ненадолго положили в больницу, чтобы определить, нет ли у меня рака. Оказалось, что нет, но меня продолжали обследовать, и я жил на манной каше и прочей детской пище.

С тех пор я не раз ездил за границу, но ни разу не бывал в Пагуоше. Однако в 1958 году я посетил Пагуошскую конференцию в Австрии. После ее окончания мы с женой совершили путешествие на автомашине вдоль Дуная до Дурнштайна, который я мечтал увидеть с детства, когда бредил Ричардом Львиное Сердце. Потом мы вернулись назад в Вену. Это было похоже на путешествие в книжный мир моей юности; волшебная природа, доброта, простота и веселость людей меня обворожили. Возле одной деревни мы видели огромную липу, под которой жители деревни собирались поболтать вечерами и по воскресным дням. То было поистине волшебное дерево на волшебном лугу, буквально источавшее покой. <...>

Но вернусь к Пагуошской конференции. Пока работала первая конференция, я поддерживал с ней самую тесную связь, и вести, которые получал, меня радовали. Мы решили, что участвовать в ней будут не только физики, но также биологи и специалисты по общественным наукам. Всего участников было двадцать два — из Соединенных Штатов, Советского Союза, Китая, Польши, Австралии, Австрии, Канады, Франции, Великобритании и Японии. Заседания велись на английском и русском языках. Меня особенно радовало, что конференция продемонстрировала, как может быть достигнуто реальное сотрудничество — на которое мы и надеялись — ученых полярно противоположных "идеологий" и научных (не говоря о прочих) взглядов.

Конференция была названа Пагуошской, и ради обеспечения преемственности движение тоже стало называться Пагуошским. Был избран

1. Сайрус Итон (1883–1979) — американский промышленник; один из инициаторов Пагуошского движения ученых за мир, названного так в память о первой конференции, которая прошла в Пагуоше (Канада), месте рождения Итона.

постоянно работающий комитет из пяти человек для организации следующих конференций. Меня выбрали председателем. <...>

Самым заметным достижением Пагуошского движения было участие в подготовке Договора о частичном запрещении испытаний ядерного оружия. Сам я не вполне удовлетворен этим Договором, запрещающим только наземные испытания в мирное время. Мне кажется, что он скорее препятствует, чем способствует полному запрещению испытаний. Тем не менее он показал, что Запад и Восток могут сотрудничать ради достижения общих целей и Пагуошское движение может быть эффективным. Оно дало толчок всем последовавшим затем конференциям по разоружению, за работой которых мы теперь наблюдаем с изрядной долей скепсиса. <...>

В сентябре 1962 года состоялась очень представительная Пагуошская конференция в Лондоне. Я должен был рассказать об основании движения и предупредил друзей, что меня обязательно ошикают. Против ожиданий, аудитория встретила меня овацией. Это было мое последнее выступление на Пагуошской конференции. <...>

Чтобы отметить мой восемьдесят седьмой день рождения, мы проехали через Бат, Уэллс и Гластонбери в Дорсет. Мы посетили лебединый заповедник и сады в Эбботсбери, где нам посчастливилось увидеть павлиньи брачные танцы, — то был один из самых прекрасных и чарующих балетных спектаклей, которые я видел в своей жизни. Мы совершили сентиментальное паломничество в Рассел-хаус в Кингстоне, особняк XVIII века, где я никогда раньше не бывал. Жаль, что мне не пришлось там жить. Мне практически не свойственна зависть подобного рода, но прелесть Рассел-хауса тронула меня до глубины души. <...>

Движение гражданского неповиновения приобретало тем временем все более широкий масштаб. Группа молодых энтузиастов учредила Комитет ста. В феврале 1961 года он устроил сидячую демонстрацию перед министерством обороны, в которой приняли участие две тысячи человек. Предполагалось, что такие демонстрации будут устраиваться вновь и вновь, пока не приобретут действительно массовый характер. <...>

6 августа, в День Хиросимы, Комитет ста организовал два митинга — траурную церемонию с возложением венка возле Уайтхолла и митинг в Гайд-парке. На последнем полиция запретила нам пользоваться микрофонами. Но мы настроились обязательно использовать их — не только для того, чтобы нас было слышно, но и для манифестации гражданского неповиновения. Итак, я начал говорить в микрофон. Полисмен потребовал отключить его. Я игнорировал эту просьбу. Тогда он отобрал у меня микрофон. В ответ мы прервали митинг и объявили, что продолжим его на Трафальгарской площади. Что и было сделано. <...>

Месяц спустя, когда мы с женой возвращались из поездки в Северный Уэльс, у ворот дома нам преградил дорогу симпатичный и явно смущенный сержант полиции на мотоцикле. Он вручил нам обоим повестки, согласно которым нам надлежало явиться на Боу-стрит 12 сентября в связи с обвинением в подстрекательстве к массовому гражданскому неповиновению.

Мы поехали в Лондон, чтобы проконсультироваться с нашим адвокатом и поговорить с коллегами. У меня не было ни малейшего желания представлять себя мучеником, но я чувствовал, что этим случаем надо воспользоваться, чтобы обнародовать наши воззрения. Мы понимали,

что наш арест наделает много шума. Мы надеялись, что он вызовет симпатию к нам и к нашим действиям. Мы заручились медицинскими справками о недавно перенесенных серьезных заболеваниях: как считали наши доктора, длительное тюремное заключение было бы для нас убийственным. Наш адвокат был уверен, что поможет нам с женой избежать его. Но нам хотелось извлечь пользу из создавшейся ситуации, и поэтому мы проинструктировали его таким образом, чтобы он попытался добиться для нас заключения не дольше чем на месяц-другой. В результате нам дали по два месяца, а по ходатайству врачей срок был сокращен до одной недели.

Когда около 10.30 утра мы с нашими коллегами пробирались сквозь толпу зевак к зданию суда, Боу-стрит походила на арену цирка. Люди выглядывали из всех окон, многие из которых были уставлены горшками с цветами. По контрасту с этой декорацией сцена в зале суда напоминала гравюру Домье. Когда был оглашен приговор, раздались крики "Позор! Позор! Осудить восьмидесятивосьмилетнего старика!" Это меня рассердило. Я знал, что результат был предрешен, что я умышленно навлек на себя наказание, и уж во всяком случае не видел никакой связи между обвинением и моим возрастом. Если на то пошло, возраст лишь усугублял мою вину. Я был достаточно умудрен жизненным опытом, чтобы понимать, каковы будут последствия моих действий. Вообще суд и полиция отнеслись к нам в высшей степени почтительно. Перед началом разбирательства полисмен обшарил все здание в поисках подушечки для меня, чтобы не так жестко было сидеть на скамье подсудимых. К счастью, ничего такого не нашлось, но я благодарен ему за доброе намерение.

К полудню были выслушаны обе стороны. Мы с женой возвращались в Челси. Мы опять нырнули из здания суда прямо в толпу, из которой ко мне кинулась неизвестная дама и заключила в объятья.

На следующий день огласили приговор. По мере того как его зачитывали, осужденных в алфавитном порядке отправляли в камеры, где мы вели себя как расшалившиеся школьники — пели, рассказывали байки. Напряжение спало, и мы уже ничего не могли предпринять, только ждать, пока "черные марии" доставят нас к месту заключения.

Мне пришлось впервые путешествовать в "черной марии", потому что после последнего ареста меня везли в Брикстон на такси, но усталость не позволила мне насладиться новизной. Меня поместили в больничное крыло тюрьмы, и почти всю неделю я провел на больничной койке. Ежедневно меня навещал врач, который следил, чтобы я получал необходимую мне жидкую пищу. Никто не может привыкнуть к заключению, если только оно не спасает вас от чего-то еще худшего. Это опыт страшный. Самое меньшее зло — дурное обхождение и физические неудобства. Худшее — общая атмосфера, ощущение, что ты каждую минуту находишься под наблюдением, пронизывающий холод и мрак, специфический тюремный смрад — и устремленные на тебя глаза сокамерников. Мы всё это испытывали в течение только одной недели. И при этом знали, что нашим друзьям придется жить в этих условиях много дней и ночей, хотя нам самим удалось этого избежать только в силу определенных обстоятельств, а не потому, что наша вина, если уместно вообще говорить о какой-либо вине, меньше, чем их.

Тем временем Комитет ста выпустил листовку с моим посланием из Брикстона. На обороте был напечатан призыв собраться всем сочувствующим в 5 часов в воскресенье 17 сентября на Трафальгарской площади, чтобы участвовать в марше на площадь Парламента, где назначалась сидячая демонстрация. К нашему с женой сожалению, мы не смогли принять участие в этой акции, потому что нас освободили днем позже. <...>

Из событий частной жизни самым важным было мое девяностолетие.

Должен признаться, что день рождения 18 мая я ожидал с трепетом душевным. Только потом я узнал о том, сколько сил приложили мои друзья, чтобы устроить в мою честь грандиозный концерт. Я сам удивился, как приятно было мне оказаться в центре такого теплого дружеского внимания.

Сам день рождения мы отмечали за чаем в семейном кругу, с двумя внуками. На столе красовался торт, украшенный одной свечой. Вечером был обед, организованный Альфредом Айером и Рупертом Кроуши-Уильямсом в кафе "Руайяль". Друзья говорили речи. Айер и Джулиан Хаксли[1] произнесли очень теплые слова, Э. М. Форстер припомнил былые дни в Кембридже.

На следующий вечер был назначен банкет в Фестивальном зале. Мне сказали, что там будет музыка, но я не ожидал, что это будет так славно; оркестром дирижировал Колин Дэвис, солировала Лили Краус.

Формальное празднование состоялось на следующей неделе в палате общин. Я нервничал, не надеясь, что члены палаты захотят оказать мне честь. Но обед прошел в очень теплой и дружеской обстановке.

Фонд

<...> Когда-то мне казалось, что открыть людям глаза на опасность — задача не из сложных. Я разделял общий предрассудок, что инстинкт самосохранения может пересилить любой другой довод.

Выяснилось, что я ошибался. Оказывается, люди заботятся не столько о собственном выживании — тем более о выживании человечества в целом, — сколько об уничтожении своих врагов. Мы живем в мире, над которым постоянно висит угроза всеобщей гибели. Я опять-таки думал и, впрочем, не разуверился в этом и по сию пору, что, если показать, сколь велик риск тотального уничтожения, можно добиться желаемого результата. Но как продемонстрировать эту очевидность? Я перепробовал множество способов, с разной степенью эффективности. Прежде всего я испробовал довод разума, сравнив атомную угрозу с угрозой чумы. Мне сказали: "Как это верно!", но никаких действий не последовало. Я пытался воздействовать на отдельные группы, но это не получило достаточного резонанса. Я обратился к массам с призывом устроить серию маршей, но мне заявили, что это скучно. Я, наконец, прибегнул к гражданскому неповиновению, но и эти акции не возымели должного эффекта. Теперь я предпринял новую попытку — обратиться с воззванием одновременно к правительствам и народам. Покуда я жив, я не пере-

1. Джулиан Сорелл Хаксли (1887–1975) — английский биолог, философ.

стану искать новые возможности для выполнения своей задачи и завещаю продолжить эту работу моим единомышленникам. Только вот откликнется ли должным образом на эти усилия человечество — сомнительно.

В течение многих лет я пытался помочь преследуемым меньшинствам и невинно осужденным. Не могу, однако, утверждать, что мой щит освободителя узников остался незапятнанным. Много лет назад ко мне обратился молодой немецкий еврей-беженец. Министерство внутренних дел было намерено выслать его из страны, а дома его ждала тюрьма. Он казался туповатым, но безвредным парнем. Я пошел вместе с ним в министерство. Там согласились не высылать его, но сказали, что ему требуется новый паспорт. Для этого он должен был ответить на ряд вопросов. "Кем был ваш отец? — Не знаю. — Кем была ваша мать? — Не знаю. — Где и когда вы родились? — Не знаю". Чиновники не знали, что делать. О себе он мог сказать одно — что он еврей. Уступая моему упрямству, чиновники все же выдали ему новый паспорт. Последнее, что я услышал об этом парне — он нашел верный способ добывать деньги: для этого надо обрюхатить английскую девушку, после чего просить государственное пособие.

В другой раз ко мне обратился молодой поляк с просьбой защитить его от судебного преследования по обвинению в написании непристойных стихов. "Поэт в тюрьме! Не бывать этому!" — подумал я и опять пошел в министерство внутренних дел. Потом я прочел кое-что из этих стихов, нашел их отвратительными, и симпатии мои были на стороне тех, кто пытался приструнить автора. Но к тому времени он уже получил разрешение остаться в Англии.

Хотя мне неприятно вспоминать эти эпизоды, я не жалею о том, что сделал. Мне представляется абсурдным прятать людей за решетку за глупость, которая не несет в себе угрозы обществу. Если довести этот принцип до логического предела, мало кто останется на свободе. А борьба с непристойностью с помощью закона и угрозой тюремного заключения таит в себе больше вреда, чем пользы. Она просто окутывает зло и глупость флером запретного соблазна. По тем же причинам я категорически против заключения в тюрьму по политическим обвинениям. Посадить человека в тюрьму за политические взгляды — значит способствовать их распространению. Что, в свою очередь, увеличит человеческие бедствия и подстегнет насилие, вот и все. <...>

Постскриптум

Вся моя сознательная жизнь была посвящена двум разным предметам, долгое время остававшимся автономными и только в последнее время соединившимся в единое целое. С одной стороны, мне хотелось выяснить, можем ли мы достоверно познавать окружающий мир; с другой — сделать все, что в моих силах, для улучшения этого мира. До 28 лет я почти всю свою энергию направил на выполнение первой из этих задач. Обуреваемый скептицизмом, я невольно пришел к выводу, что то, что считается достоверным знанием, на самом деле сомнительно. Я жаждал достоверности, как другие жаждали религиозной веры. Мне казалось, что наиболее достоверно математическое знание. Однако обна-

ружилось, что многое в этой области, полагавшееся неоспоримым, страдает недостоверностью и что для достижения достоверности необходима новая математика, основывающаяся на более твердых принципах, нежели те, что до сих пор считались достаточными. По мере продвижения по этому пути я все чаще вспоминал басню о слоне и черепахе. Изваяв "слона", на котором мог покоиться математический мир, я понял, что "слон" мой зашатался, и тогда я начал конструировать "черепаху", которая удержала бы "слона" от падения. "Черепаха" оказалась не более надежной, чем "слон", и после двадцати лет усердных трудов я пришел к выводу, что я не в силах сделать математику достоверной. Потом началась первая мировая война, и мои мысли сосредоточились на человеческом безумии и человеческих несчастьях. Ни то, ни другое не представлялось мне неизбежной судьбой человека. Я уверен: разум, терпение и красноречивая доказательность рано или поздно выведут человечество из мучительного тупика, в который оно себя загнало, при условии, что человечество не уничтожит себя по дороге.

Вера придавала мне известную долю оптимизма, хотя с годами этот оптимизм приобретал оттенок скептицизма, а благодатная цель отодвигалась все дальше. Тем не менее я никак не мог согласиться с теми, кто считал фатальной обреченность людей на страдания. Причины несчастий в прошлом и настоящем очевидны. Бедность, эпидемии, голод как следствия неумения человека совладать с природой. Сюда надо добавить войны, завоевания, гнет, насилие как результат враждебности человека к себе подобным. Несчастья, порождаемые темными желаниями, неутолимость которых ведет к жажде недостижимого процветания. Однако от всего этого есть средства избавления. В современном мире несчастья проистекают от невежества, дурных привычек, предрассудков, страстей, которые человеку дороже, чем счастье и даже сама жизнь. В наш мрачный век я знаю немало людей, возлюбивших свою нищету и смерть — их злит надежда, которую им пытаются предложить. Они считают надежду неразумной и, пребывая в бездеятельном отчаянии, ограничиваются созерцанием собственных бед. Я не могу следовать их примеру. Чтобы сохранить в нашем мире надежду, надо уповать на разум и энергию. Отчаявшимся чаще всего не хватает именно энергии.

Вторая половина моей жизни пришлась на одну из тех больных эпох человеческой истории, когда мир становится хуже и победы, казавшиеся бесспорными, оказываются недолговечными. В годы моей молодости викторианский оптимизм разумелся сам собой. Тогда думали, что свобода и благоденствие постепенно и естественно распространятся по всей земле, а жестокость, тирания и несправедливость будут занимать все меньше места. Вряд ли кого-нибудь преследовал тогда страх перед большими войнами. Вряд ли кто-либо полагал, что XIX век станет всего лишь краткой интерлюдией между прошлым и будущим варварством. Для тех, кто вырос в той атмосфере, приспособиться к миру настоящего было нелегко. И не только эмоционально, но и интеллектуально. Идеи, казавшиеся истинными, обнаружили свою ложность. Не удалось сохранить некоторые дорого доставшиеся свободы. Другие же свободы, в частности в отношениях между нациями, сделались источником катаклизмов. Потребны новые идеи, новые надежды, новые свободы и новые ограничения свобод, чтобы вызволить мир из его опасного состояния.

Не могу утверждать, что сделанное мною в социальной и политической сферах имеет большую значимость. Сравнительно легко добиться видимых результатов с помощью догматических и ясных писаний типа коммунистического. Но я, со своей стороны, считаю, что человечество не нуждается в чем-либо догматическом и ясном. Точно так же я совершенно не верю в частичные доктрины, которые касаются отдельных аспектов человеческого существования. Одни считают, что все зависит от государственных институтов и что хорошие институты неизбежно принесут в мир вечное благоденствие. Другие убеждены в том, что нужно изменить сердца, а институты власти — дело десятое. Я не могу разделить взгляды ни тех, ни других. Институты формируют характеры, а характеры изменяют институты. Реформы в обеих сферах должны идти рука об руку. И если отдельные индивиды сохранят ту меру инициативности и гибкости, которой они должны обладать, им не грозит быть остриженными под одну гребенку или, другими словами, стать винтиками одной машины. Разнообразие необходимо, несмотря на то, что препятствует всеобщему согласию. Призывать к согласию вообще трудно, особенно в тяжелые времена. Возможно, это станет эффективным только после того, как из трагического опыта будут извлечены горькие уроки.

Мои труды близятся к концу, и пришло время, когда я могу обозреть их как целое. Насколько я преуспел в них и в какой мере потерпел неудачу? Я с детства считал, что призван к решению великих и трудных задач. Почти три четверти века назад, в одиночестве гуляя по Тиргартену под холодным мартовским солнцем, я решил написать две книги: одну абстрактную, которая становилась бы все более конкретной, а вторую — конкретную, которая делалась бы все более абстрактной. Обе должны были увенчаться синтезом, где чистая теория сочеталась бы с практической социальной философией. Если не считать финального синтеза, который все еще ускользает от меня, эти книги я написал. Они были высоко оценены и признаны, они оказали влияние на ход мыслей многих мужчин и женщин. В этом плане я преуспел.

Но в противовес этому достижению я должен поставить два поражения, одно внутреннего свойства, другое — внешнего.

Начну с последнего. Тиргартен превратился в пустыню; Бранденбургские ворота, через которые я ступил в него в тот мартовский день, оказались пограничным столбом, разделившим две враждебные империи, готовящие гибель человечеству. Коммунисты, фашисты и нацисты поочередно бросали вызов всему, что я почитал за благо, и в борьбе с ними сгинуло многое из того, что их оппоненты стремились уберечь. Свобода стала считаться слабостью, а терпимость вынуждена была носить рубище предательства. Старые идеалы признаны бесполезными, и ни одно учение, не характеризующееся жестокостью, не заслуживает признания.

Внутренняя неудача превратила мою душевную жизнь в вечную борьбу. Я начинал свою сознательную жизнь с почти религиозной верой в вечный платоновский мир, где математика сияет совершенной красотой, как последняя песнь Дантова "Рая". Я пришел к выводу, что вечный мир — пошл, а математика — всего лишь искусство облекать одно и то же в разные слова. Я начинал с убеждением, что любовь, свободная и отважная, может победить без борьбы. Кончилось тем, что я поддержал ужасную войну. Так что и тут и там я потерпел поражение.

И все же под грузом этих поражений я ощущаю нечто, что кажется мне свободой. Может быть, я ошибался в понимании теоретической истины, но я не ошибался, веря в ее существование и в то, что мы должны идти к ней. Я ошибался, намечая путь человечества к свободе и счастью, но не ошибался, веря в возможность свободного и счастливого мира и в то, что стоит потратить жизнь на его приближение. Я жил в стремлении к идеалам — личному и общественному. Личный — ценить благородство, ценить красоту, ценить нежность; окрылять трезвые мысли мудростью инстинктивного прозрения. Общественный — видеть перед собой образ общества, которое надлежит построить, где люди развиваются свободно и где ненависть, алчность и зависть умрут, потому что им нечем будет питаться. Вот во что я верю, и мир со всеми его ужасами не поколебал мою веру.

Сергей Юрский

Человек без галстука

Памяти Миядзавы-сан

ОН должен был приехать тридцать первого мая. Каждый раз меня поражала и слегка смешила эта фантастическая распланированность жизни у японцев. Он позвонил мне сразу после Нового года и сказал, что прилетит утром тридцать первого мая, — надо будет обсудить осенний концерт.

Помню, что при первом знакомстве я тоже был огорошен странным для меня отношением к будущему, которое проявил худощавый, очень хорошо, но очень медленно говоривший по-русски японец. Беззвучно пожевав губами и не глядя мне в глаза, он произнес: "Согласны ли вы (пауза) поставить с артисткой Комаки Курихара и (пауза) другими японскими артистами (пауза) пьесу Алешина (пауза) "Тема с вариациями" в Токио (пауза). Премьера состоится в театре "Хаюдза" десятого февраля (пауза) тысяча девятьсот (пауза) восемьдесят шестого года".

Разговор происходил в Москве осенью восемьдесят ТРЕТЬЕГО года. Я тогда был невыездным, о чем и сообщил господину Миядзаве. Он ответил, что знает об этом и отчасти именно поэтому делает мне предложение.

Я согласился. Я абсолютно не верил в реальность затеи, но устное согласие меня ни к чему не обязывало. Кроме того — через три года! Да что там будет еще через три года!

А через три года десятого февраля в Токио в театре "Хаюдза" состоялась премьера спектакля "Тема с вариациями" с участием Комаки Курихара и других японских актеров. Мы отмечали праздник в маленьком ресторанчике в районе Роппонги вместе с драматургом Алешиным и переводчиком пьесы Шуничи Миядзавой.

Все-таки мы очень разные. Имя произнести — и то проблема. Шуничи — или, скорее, Суничи, нет, Сунити... или даже — Шунитши. Я никогда не звал его по имени. Звал, как звали его все в Москве и в Японии — Миядзава-сан.

Миядзава-сан любил Россию. Русский язык был не только его профессией, но его страстью. Вот слово, которое, кажется, никак не соответствует этой странной натуре. Неподвижность, застылость его худого тела — основная позиция. Лицо без мимики, внезапно

© С. Юрский, 2000

резко меняющееся, — как будто другую маску надели, — искривленное и смягченное улыбкой, беззвучным смехом. Повторяю — у этого человека была страсть. И предметом этой страсти была Россия. Когда-то он работал в Москве, в издательстве "Прогресс". Потом в Токио в компании с друзьями создал издательство "Гундзося". Издавал и редактировал журнал "Советская литература". Много переводил сам. Инициировал постановку в Японии пьес Александра Гельмана. Летал в Иркутск — два иркутянина стали его долгим увлечением: Александр Вампилов и Валентин Распутин. Переводил, издавал. Влюбился в искусство Анатолия Эфроса и проникся сочувствием к сложностям его жизни. Преодолел все официальные препоны и организовал его постановку с Комаки в главной роли в Токио. Вот некоторые анкетные факты, все то, что я знаю. Но эти знания не создают живую картинку перед моим внутренним зрением. Вижу я совсем другое.

Он был спрятан. Мы были знакомы более пятнадцати лет. Смею надеяться и потому смею сказать — мы были дружны. Но странной была эта дружба. Он был инициатором и администратором всех моих поездок в Японию. Он был моим антрепренером и переводчиком. Известное устоявшееся парное сочетание — "творец" и "продюсер". Ну, всем же известно, что "творец" переменчив в настроениях, живет по воле внутреннего ритма, не склонен к дисциплине, потому что зависит от "вдохновения", капризен и тому подобное. "Продюсер" же обладает железной волей, подает пример точности, в отличие от "творца", погруженного в процесс созидания, более всего заинтересован в результате и так далее. С Миядзавой получалось наоборот.

То он исчезал внезапно, и иногда надолго. Его нельзя было найти нигде. Потом вдруг звонил по телефону и сообщал, что плохо себя чувствовал и потому много дней ничего не ел, а только пил водку. Он мог, приехав в Москву, сказать: "Меня нашла такая-то (общая наша знакомая) и просила передать вам письмо... (пауза)... но я его потерял.. (пауза)... это не имеет значения, потому что она и на словах передала мне это сообщение... (пауза)... для вас... (пауза)... но я забыл, про что она говорила".

При этом — я повторяю — все его, фантастические подчас, затеи осуществлялись. Ведь поставил же я, русский режиссер, с японскими актерами ИБСЕНА! Ведь состоялся же в довольно большом токийском зале "ABC" мой пушкинский концерт.

Он мог через знакомых передать, что приедет проводить меня в аэропорт. Я знал, что у него в это время были тяжелейшие домашние обстоятельства и сам он был серьезно болен. Я не мог его разыскать и опять же через знакомых уговаривал его не приезжать, проститься по телефону. Поездка из Токио в аэропорт Нарита — это тяжелое путешествие. Туда и обратно полдня — не меньше. На машине еще дольше — трафик. Ехать надо поездом. Все договорено — нас с Наташей проводят до вокзала и мы доедем сами. А ему до нашего отеля от его дома добираться еще около двух часов. "Умоляю, — говорил я знакомым, — уговорите Миядзаву-сан, провожать нас не надо. Такая жара, и такие ливни... а он болен". Знакомые пожимали плечами — уговорить Миядзаву-сан нельзя. Захочет — приедет.

Он приехал. В поезде мы почти все время молчали. Он был в своих мыслях и в своих бедах. Я сфотографировал его на фоне окна и проносящегося за окном пейзажа. Простились у пограничного контроля, и это в последний раз я видел его. Он опять исчез. Приезжал в Москву. Назначал свидания, но не приходил. Звонил из Токио.

Последний раз звонил в январе. Сказал, что прилетит трид-

цать первого мая. Утром. Но больше я его не видел.

Миядзава не носил галстука. Никогда. И весь круг его товарищей, коллег, сотрудников не носил галстуков. Я тоже галстук не ношу. Но по торжественным случаям в жизни и на сцене надеваю "бабочку". Все официальные люди в Японии обязательно носят галстук. Если попадешь под конец рабочего дня в район Синдзюку возле гигантского вокзала городской надземки, кажется, что движутся миллионы галстуков. Зонты и галстуки делают людей похожими друг на друга. И еще динамика походки. Все активно движутся в разных направлениях, но к одной цели — от работы к "неработе". Миядзава по ритму, по цвету костюма (скорее, по отсутствию цвета), по отсутствию галстука и зонтика выламывался из несметной толпы. Толпа куда-то рвала и чего-то хотела. Человек без галстука никуда не рвался и, казалось, прислушивался к чему-то внутри себя. Казалось, он еще не решил, куда двигаться. Он оставлял за собой СВОБОДУ избрать любое направление.

Давно (теперь уже давно) — в середине восьмидесятых — он познакомил меня со старым русистом профессором Нодзаки. Мы ужинали в ресторане на вершине одного из токийских небоскребов. Я был абсолютным новичком в мире капитализма. Я восхищался зданием, отделкой интерьера, обслуживанием, петербургским произношением профессора Нодзаки, видом из окна, тем, что виски в заказанной бутылке можно не допить, на ней напишут твою фамилию и сохранят остаток до следующего визита. Мы спустились в скоростном лифте с пятьдесят какого-то этажа, простились с профессором и пошли пешком, вдыхая ароматы близкого парка и близкой весны. Я продолжал восхищаться. Миядзава сказал: "Я ненавижу Японию", — и замолчал надолго.

Гораздо позже, побывав в Японии еще и еще раз, я понял смысл тогдашнего поразившего меня разговора. Я узнал ближе его друга — режиссера Хаякаву, руководителя театра и актера Ямаду. Дважды я работал с выдающимся актером Мидзуо Судзуки — тоже из людей его круга. И я начал понимать — они социалисты. Они живут в строгой стране, где есть, однако, гарантированные законом свободы. Но они — Миядзава и люди его круга — ищут земную троицу, раз и навсегда сформулированную Великой французской революцией: Свобода, Равенство и Братство. Во имя Равенства и Братства за гроши, а порой и бесплатно работают они в своих театрах и издательствах. Равенство и Братство мерещились им в глубинных пластах устройства советской жизни. Отсюда любовь к нашей драматургии, к нашей прозе, к нашим песням.

Миядзава любил Японию. Любил сильно и трагично. Он любил бедный послевоенный Токио. Любил молодые надежды своего поколения. Путь еще не был выбран. Японское чудо технического взлета еще не началось. Еще не было этой безумной динамики жизни, этих бесконечных галстуков, этажей, электроники, подражания, рекламы, скоростей, очень больших зарплат и запредельной дороговизны жизни. В театре "Дора" ("Гонг") мы вместе смотрели спектакль "Икэбукуро-Монпарнас" — о том послевоенном времени, когда совершался выбор, чему расти: духу или технике. Выиграла техника.

Еще Миядзава любил свою жену. Ее звали Мичико. Она стала моей переводчицей при первой постановке в Токио. Мы работали так, как работают в Японии, то есть много. Ежедневно и по многу часов. В перерывах ходили в закусочные, в дешевые ресторанчики, разговаривали. Изредка совершали прогулки. Пару раз был в театре. Миядзава обещал присоединиться к нам, вместе смотреть и

объяснять мне театр "Но". Однако... исчезал, не являлся. Мичико говорила, что заменить его не сможет, что Миядзава рассказал бы все лучше. Она была скромной и, как и он, очень закрытой. За ней стояла тайна. Детей у них не было.

Когда она умерла, Миядзава надолго выпал из жизни и из всякого общения. Он всегда был очень худым, но от этой худобы горе отняло еще половину. Он стал почти бестелесен. Тонкие-тонкие смуглые руки. Морщин много прибавилось. Я так и не смог угадать его возраст. Примерно мой ровесник. Или постарше. Или сильно младше? Иногда (редко) он молодел прямо на глазах. Иногда выглядел глубоким стариком. Нет, все-таки постарше — после войны он был уже взрослым.

У Миядзавы живы родители. Оба — отец и мать. Обоим под сто. Живут отдельно от него. Но видятся часто. Весной девяносто восьмого, во время цветения сакуры, он ездил к ним каждое утро на рассвете. Часов в пять. Сажал в машину и вез на открытое место на холме. Вместе встречали солнце. Каждый день. К вечеру его клонило в сон, и он почти не появлялся в театре и в компаниях. Мы виделись мало, хотя я почти два месяца работал в Токио. Однажды он заехал за мной и повез на собрание русского кружка.

Собрание узкое — на квартире одной из переводчиц. Я почти всех знал. Миядзава, как всегда, занимал не председательскую, а "угловую" позицию. Однако его первенство и авторитет были очевидны. Он рассказал среди прочего, что создал "Платоновское японское общество". Они решили перевести и издать полного Андрея Платонова — пять томов! По-русски такого издания еще нет. Я спросил, надеются ли они на большой читательский интерес. Он сказал: "Не надеемся". "А на малый?" — спросил я. "Ни на какой", — сказал он. "А зачем же тогда..." — начал я, но продолжать не стал. Любой, кто знал Миядзаву, поймет меня. Для него понятия ИСТИНА и ВЫГОДА не совпадали ни в одной точке.

В год пушкинского юбилея Миядзава и его коллеги пригласили меня дать концерт в Токио. Был июнь 99-го. Миядзава приехал в аэропорт на своей новой машине. Удивил он меня. Машина была какая-то невиданная. По форме, по цвету и по внутреннему оборудованию. Салон был напичкан электроникой, как головы играющих в "Что? Где? Когда" ненужными знаниями. Я был поражен. Но, кажется, поражен был и сам Миядзава. Он не привык еще к новому своему детищу. Пальцы медленно блуждали между кнопками и клапанами. "Куда мы едем?" — спросил я. Миядзава, как всегда, говорил загадками. На дороге были страшные пробки. Только через пару часов выбрались на боковое шоссе и тронулись в сторону от города. "Куда едем?" — снова спросил я. Мы с Наташей были в дороге уже пятнадцать часов и пересекли пять часовых поясов. Миядзава достал маленькую кассету и сунул ее в минителеаппарат. На экранчике появилась крупномасштабная карта, и женский голос произнес по-японски короткую фразу. "Я сам не знаю, куда мы едем, она сейчас скажет", — произнес Миядзава. Он вступил в диалог с машиной. Что-то спрашивал и нажимал на кнопку. Машина отвечала приятным девичьим голосом. Миядзава спрашивал одно и то же, а невидимая девушка отвечала одно и то же. Во всяком случае, мне показалось, что они повторяют одни и те же слова. "Что происходит, Мори-сан?" — спросил я сидевшего рядом коллегу Миядзавы. "Это такая программа — говорит, куда ехать. Миядзава-сан хочет отвезти вас в отель, в горы. В другую префектуру". — "А почему они повторяют одно и то же?" Мори-сан смущенно похихикал и шепнул: "Миядзава-сан спрашивает, где туалет". — "А она и это должна

знать?" — "Она не знает. Она говорит — у вас сейчас левый поворот". — "А про туалет?" — "Она говорит — сформулируйте точнее вопрос", — хихикнул Мори-сан.

Мне уже случалось видеть автомобиль с телегидом на экранчике. Но чтобы всеведущая кассета говорила человеческим голосом и вступала в пререкания?! Ну, на то и Япония. Миядзава и девица стали раздражаться и заговорили в повышенных тонах (в японском, разумеется, варианте — то есть оба стали говорить чуть тише и медленнее!). Сошлись на придорожном супермаркете, где должен быть туалет. Мори-сан оставил нас и умчался на такси по своим делам, а мы на чудо-машине тронулись дальше, в горы дальней префектуры.

Периодически припускал дождь. Дворники с трудом справлялись с жирной пленкой воды. Машина блуждала по узким дорожкам какой-то деревни. Девичий голос требовал от нас то "направо", то "налево".

"А-а-а! Ничего она не знает!" — сказал Миядзава и выключил телевизор.

Под потоками ливня прямо перед нами вдруг возник человек. В левой руке он держал зонтик, а правой делал ласковые заманивающие движения. Миядзава-сан вздохнул с облегчением. Лицо его скривилось в улыбке, выражающей тайную радость. Чудо-машина втиснулась в узкую щель, которая, казалось, была на полметра уже машины.

Где мы? Зачем мы здесь? Почему? Как всегда с Миядзавой, тайна окружала его намерения и действия. Мы оказались в странном одноэтажном доме с высокой антресолью. Мы сняли обувь и поднялись на возвышение с лакированным деревянным полом. На полу несколько татами. Низкая японская мебель. Все очень аскетично. Много пустого пространства. Похоже на декорацию. В самой середине просторного помещения — очаг. Пара бамбуковых этажерок с книгами. Вглядываюсь с изумлением — "Новый мир" за 76 год... Юрий Трифонов...

Друг Миядзавы построил этот дом недавно, по собственному проекту. Они с женой покинули Токио и поселились тут окончательно год назад. В давние годы он был корреспондентом газеты "Асахи" в Советском Союзе. Долго жил в Москве, мы даже были немного знакомы. Теперь они сельские жители. "А почему уехали из Токио?" — "Там дорого". — "Но такой дом построить тоже немало денег надо?.." — "Да-а, тоже дорого". — "Здесь в деревне все дома такие?" — "Нет, но некоторые похожи. Я люблю старые японские ремесла, а здесь хорошие мастера. Все, что в этом доме — ручная работа". — "Не скучаете?" — "Не-ет, некогда. Много книг надо прочитать, и хозяйство..." — "С "Асахи" связь сохранилась? Пишете для них?" — "Редко. Иногда. Пишу книгу, тоже про ремесла. Но медленно". — "А с кем общаетесь здесь?" — "О, знакомых много. Сюда уехали художники, учителя, переводчики... они и здесь, и в соседних деревнях". — "На дачах или постоянно живут?" — "Постоянно, постоянно. Похоже на ваше Переделкино. Только здесь нет Дома творчества. И все занимаются ремеслами". — "А вы сами?.." — "Я приручил двух диких козлят, сейчас пойдем посмотрим на них. А жена делает валенки". — "???" — "Покажи Наташе-сан и Юрский-сан валенки".

Валенки были великолепны. Разных, очень нежных цветов, низенькие — чуть выше щиколотки. Необыкновенные валенки. И козлята необыкновенные.

Дождь все лил. "Спасибо, — сказал хозяин дома, прощаясь с нами у машины. — Мы очень рады, что вы приехали. Мы очень благодарны, что Миядзава-сан придумал эту поездку. Мы любим, когда он приезжает к нам. Мы еще повидаемся. Увидите кое-кого из наших людей".

Миядзава почти все время молчал. Теперь он вдруг произнес задумчиво:

— Сергей Юрьевич, вы не привезли водки из Москвы?

Я почувствовал резкий укол в области солнечного сплетения. Собирались в дорогу торопливо. Покупали какие-то ненужные приблизительные сувениры. Водку на этот раз я не взял сознательно. После смерти Мичико Миядзава был в многомесячном тяжелом запое. Это была болезнь, из которой только теперь он медленно выходил. Я знал об этом и счел бестактным звенеть традиционными бутылками. И вот теперь этот прямой вопрос.

— Где у вас продают спиртное? — спросил я хозяина дома.

— Это не здесь... в соседней деревне есть магазин...

— Нет, я не хочу виски, — сказал Миядзава. — Я хотел московской водки.

— Я тебе говорила, — сказала Наташа. И правда, она говорила. А я не слушал.

— Будет московская водка, — твердо сказал я.

В Токио я не раз покупал в маленьких магазинчиках и "Московскую", и "Столичную", и вполне кондиционного качества.

Хозяин дома сел в свою машину и поехал впереди нас. Дождь не утихал. Мы долго петляли по узким дорожкам среди холмов и редких домиков. Магазин был похож на сарай. Электричество почему-то не горело. Тусклый свет из окна освещал сотни полторы разных бутылок на полках. Проклиная себя, я искал и не находил того, что мне было нужно.

— Есть! — сказал я, подходя к машине.

— Московская? — спросил Миядзава.

— Вы давно в Москве не были, в Москве теперь пьют только смирновскую, — сказал я и протянул ему 0,75 "Смирнофф".

Миядзава пожевал губами и молча положил бутылку в бардачок.

Полчаса спустя мы подъехали к роскошному отелю "Diamond". Массивные абстрактные композиции из камня в вестибюле. Много стекла, много света. Бесшумные служащие в униформе.

Мы с Наташей получили просторный номер с балконом, глядящим на лес. Сутки назад в Москве мы вышли из дома и только теперь могли перевести дыхание.

Миядзава исчез. Вместе с бутылкой. И обнаружился только к концу вторых суток. Мы с ним занялись делами будущего концерта. Я окончательно определил программу. Мы решили, что Миядзава будет выходить на сцену в паузах между связками номеров и не переводить меня, а давать самостоятельный комментарий. Внутренний сюжет концерта — вся русская литература за два века, включая самые яркие индивидуальности и самые модернистские изломы, принадлежит эпохе, которую должно назвать Пушкинской.

Наутро третьего дня мы уезжали в Токио. Снова лил дождь. И снова на дороге нам помахал рукой человек с зонтиком. Мы завернули в сельский ресторан.

Небольшой зал весь заполнен. Но стол для нас был заказан заранее. Кухня европейская — французская. Хозяин ресторана — бывший директор школы и учитель французского. Уйдя на пенсию, переселился в эти края и лет пять назад занялся ресторанным делом. Теперь его знают в округе. Приручатель козлят и мастерица валенок рассказывают о посетителях. Знают всех, и их все знают. Они оживлены, веселы. Самое удивительное, что почти весел Миядзава. Пожалуй, никогда не видел я его таким открытым, раскрепощенным. Вся мебель в ресторанном зале изготовлена бывшим историком искусств. Теперь он столяр и краснодеревщик. Вон он у окна — обедает с компанией. На стенах большие современные гобелены. Их автор — переселив-

шийся сюда художник, целиком отдавшийся искусству гобелена. В соседнем городе у него сейчас выставка. Вот он, кстати, входит... можем познакомиться.

Миядзава среди своих. Он молчалив, как всегда в обществе, но я вижу — и тело и душа его обретают здесь силы.

Лил дождь. Мы вырулили на основную магистраль и помчались в плотном потоке машин к столице. Знаете ощущение, когда, сидя в машине, проходишь в механической мойке туннель из вертящихся щеток и обвала пенной воды? Ласковая буря, которая, не касаясь тебя, обволакивает. Такое ощущение испытывали мы час за часом на пути из горной префектуры в Токио.

"Хорошие люди, — сказал Миядзава после долгого молчания. И повторил: — Очень хорошие люди".

Концерт, кажется, получился. Полуторачасовое представление, в котором семьдесят процентов было на русском языке, японцы выдержали. Взявшись за руки, мы кланялись вместе с Миядзавой. За кулисами появились почти все участники поставленного мной год назад ибсеновского спектакля. Потащили в ресторан. Я искал Миядзаву, но его не было.

Тяжело заболела его старая мать. Оказывается, сегодня днем он положил ее в больницу и теперь, ночью, поехал проведать.

Миядзава исчез. Я искал его по телефону и через знакомых. Потом он передал, что приедет провожать нас. Остальное я уже рассказал. Потом он позвонил в январе.

Я ждал встречи с ним тридцать первого мая.

Умер он в конце февраля. Позвонили из Токио.

Я написал псалом и послал его факсом в Японию.

Мне сообщили, что текст перевели на японский язык и прочли над его гробом.

Вот этот текст.

Друзья!

Когда вы будете прощаться с МИЯДЗАВОЙ-сан, хочу, чтобы вы знали: здесь, в России, много людей переживают его кончину как личное горе.

Этот человек никогда не носивший галстука

Этот человек живший преодолевая бесконечную усталость

Но успевший сделать так много что кажется – не под силу это одному человеку

Этот человек смеявшийся над тем над чем не смели смеяться другие

И делавший всерьез то что другим казалось смешным

Этот человек задумывающий невероятное и умевший невероятное сделать реальностью

Этот человек до собственной смерти сохранивший своих родителей

Каждое утро вывозивший их в парк встречать рассвет нового дня

Этот романтик с иронической улыбкой

Страдавший и от одиночества и от обилия знакомств

Этот оригинальный ум

Это отзывчивое сердце –

МИЯДЗАВА

Я шлю ему мою благодарность за нашу дружбу

За неожиданности жизни которые подарил он мне

За мою любовь к Японии которая пришла через него.

В этот траурный день я думаю о нем

Я кланяюсь его светлой памяти пробежавшей по холмам и оврагам моей жизни

Чтобы остаться недосягаемой и незабвенной.

Менделеево,
24—25 августа 2000 года

Драматург в кресле президента, или Искусство невозможного

Вацлав Гавел. *Гостиница в горах.* Перевод с чешского И. Безруковой. Составление С. Скорвида. М., МИК, 2000

Это вовсе не роман и не детективная история, а сборник статей и речей, в который включены и три не известные у нас пьесы чешского президента, как бы сопровождающие, дополняющие и поясняющие его публицистику (одна из них и дала имя сборнику). Уверен, однако: книга способна не только многое порассказать нам, жителям новой России, о том, что в течение десяти лет после "бархатной революции" происходило в некогда "братской" стране, но и объяснить кое-какие события происходившие и происходящие вокруг нас самих и с нами самими. Объяснить, если так позволительно выразиться, от противного.

Эрнст Неизвестный в популярной телевизионной программе заметил не так давно, что президентам незачем читать Кафку и, к примеру, первого президента России просто невозможно представить себе над книгой удивительного пражанина, хотя это, само по себе, ни о чем и не говорит. Само по себе, и правда, не говорит.

Но вот в апреле 1990 года глава Чехословацкого государства, драматург и правозащитник Вацлав Гавел целиком посвятил одно свое выступление теме, которую сам охарактеризовал так: "Франц Кафка и мое президентство". Он полушутливо признался тогда: "Если бы Кафки не было, а я умел писать лучше, чем пишу, все его произведения написал бы я". И объяснил это тем, что свои взаимоотношения с миром расценивает как кафкианские, поскольку постоянно испытывает "некое глубокое фундаментальное и потому весьма неясное чувство собственной вины". Более того, по его словам, он и президентом-то решился стать только потому, что "глубоко сокровенной подоплекой" его усилий "служат постоянные сомнения в самом себе и в своем праве занимать этот пост". И в его словах не было ни капли кокетства, наигрыша, позерства.

Чехия и Словакия — страны, по нашим меркам, очень маленькие: в первой живет людей примерно столько же, сколько в Москве, во второй — сколько в Московской области. Но, наверное, все же не поэтому и само крушение социализма в Чехословакии обошлось без крови, и развод проживших восемьдесят лет вместе Чехии и Словакии прошел мирно, и возвращение Чехии на круги своя, несмотря на все трудности и проблемы, не знает трагических потрясений. Причин тому множество, в том числе и так называемых объективных, но нет никакого сомнения, что среди решающих — личность Вацлава Гавела, который в своих публичных выступлениях неизменно возвращается к размышлениям об особых требованиях, предъявляемых политикой к совести и ответственности.

Возможно, именно поэтому ни одна из "официальных" его речей никак не похожа на "речь президента", даже самого красноречивого и держащего прекрасных

стилистов в помощниках. В каждой Гавел предстает перед слушателями и проповедником, и моралистом, и эссеистом. Поразительно его умение всюду и везде сохранять едва ли не доверительно задушевный тон своих высказываний. Так разговаривают с собственной совестью, так пишут в дневниках. Но при этом — его речи и выступления все же непременно остаются официальными речами и выступлениями главы государства, о чем сам Гавел не забывает никогда и, похоже, намеренно не позволяет забывать своим слушателям. Это — качество человека, не играющего роль интеллигента, а интеллигентом себя ощущающего ежеминутно, в самых разнообразных, в том числе порой и несообразных обстоятельствах.

А обстоятельства Гавелу редко когда благоприятствовали. Он родился до войны, в "буржуазной" Чехословакии, в состоятельной семье, и потому в Чехословакии "народно-демократической" ему не разрешили получить высшее образование. Гавел окончил химический техникум, отслужил в армии, где однажды даже принял участие в самодеятельном спектакле, сыграв отрицательную роль в пьесе молодого драматурга, Павла Когоута, с которым они впоследствии стали друзьями, товарищами по правозащитному движению, главными инициаторами и соавторами знаменитой "Хартии-77".

Гавел дебютировал в 60-х, на закате советской оттепели, на пороге оттепели чехословацкой. В первых же пьесах он обрушился на ложь, которую коммунисты возвели в ранг государственной политики. Литературная критика того времени, стараясь "выгородить" Гавела, подтянуть его к так называемой социалистической культуре, пыталась противопоставить его Ионеско и Беккету, якобы далеким от реальных интересов общества. Но начинающий чехословацкий драматург, как и они, прекрасно понимал: абсурд в жизни — дело рук человеческих. Понимал и пытался "лечить" реальный абсурд абсурдом театральным.

В социалистической Чехословакии — в отличие от реальностей, с которыми на Западе имели дело Беккет и Ионеско, — это было равносильно объявлению войны государству. Так кафкианские взаимоотношения с миром привели Гавела в правозащитное движение и в конце концов — в политику.

В эпоху "нормализации", которую под защитой советских танков стали проводить чехословацкие власти, десятки тысяч партийных и беспартийных сторонников реформ были выкинуты на обочину жизни, причем в самом буквальном смысле слова: профессора, музыканты, актеры, литераторы, журналисты, партийные чиновники превратились в истопников, сторожей, грузчиков. Пан Вацлав стал разнорабочим на пивоваренном заводе в Трутнове. Работал добросовестно, пражская комиссия даже похвалила интеллигентного пролетария, он оказался на Доске почета. Но его коллеги однажды обнаружили в раздевалке подслушивающее устройство. Гавел написал об этом пьесу, которую назвал "Аудиенция" (1975). Так, по словам Павла Когоута, после вынужденной паузы начался новый акт в истории чешской драматургии. Но, пожалуй, не только драматургии — в истории чехословацкого правозащитного движения тоже.

В 1975-м, спустя два года после солженицынского письма советским вождям, Гавел пишет письмо Густаву Гусаку, тогдашнему партийному вождю Чехословакии, — по тону и содержанию очень сходное. Но делает упор не на политику, а обвиняет власти в "экзистенциальном давлении" на всех и каждого, в насаждении страха "в этическом смысле", то есть страха абсолютного, кото-

рый порождает и поддерживает в обществе коллективное чувство "постоянной и всепроникающей угрозы". И упрекает Гусака прежде всего в том, что тот избрал самый удобный для себя, но самый опасный для всех "путь защиты своей власти ценой углубления духовного и нравственного кризиса общества и систематического унижения человеческого достоинства".

За десять лет, которые (с небольшим перерывом) живет и работает в Градчанах, пражском Кремле, чешский драматург, Чехия не стала страной молочных рек и кисельных берегов. Но она смогла убедиться, что Вацлав Гавел пришел не во власть, он пришел в политику. Пришел таким, каким был всегда, каким еще в конце 80-х описывал его Павел Когоут: человеком блестящего ума и стойкого духом, доверчивого и не чуждого "первородной наивности", умеющего быть снисходительным и готового простить обманывающих и предающих его, "дворянином эпохи Возрождения", товарищем по оружию, на которого всегда можно положиться, мужчиной, "к которому подходило такое неподходящее слово, как "очаровательный".

В первом же своем новогоднем обращении к согражданам избранный президентом ЧССР в рождественские дни 1989 года Гавел напомнил: "Все мы привыкли к тоталитарному режиму и приняли его как неизменную данность, тем самым по сути его поддерживая", и нет смысла искать врагов на стороне, в других, ибо "главный наш враг сегодня — это наши собственные пороки". Он призвал рассматривать "печальное наследие последних сорока лет" как "нечто такое, что мы совершили по отношению к самим себе". А стало быть, ни одну из проблем страны нельзя решить иначе, "как через преодоление нравственного кризиса, то есть преодоление той дьявольской идеологии эгоистической заботы о самом себе и человеческого и гражданского безразличия, которой так долго насквозь было пронизано наше общество". Гавел дал тогда только одно обещание, правда, сделал это в довольно-таки парадоксальной форме: "Полагаю, — сказал он, — вы избрали меня на этот пост не затем, чтобы я тоже вам лгал".

Еще в самиздатовских статьях Гавел предостерегал своих сторонников от иллюзий и переоценки собственных возможностей, поскольку правозащитное движение — собрание совершенно разных людей, которых свела вместе "лишь узколобость властей". Суть правозащитного движения, у которого нет "прямых, явных и осязаемых политических устоев", он видел в нравственной плоскости и считал, что его конфликт с "социалистическим государством" носит даже не идеологический характер, это — столкновение бездуховной, "обездвиживающей ("энтропической") власти с жизнью, с человечеством, с бытием и его тайной". Соперником режима выступает не альтернативная политическая идея, а "самобытная и свободная человеческая сущность и вместе с тем неизбежно также искусство — именно искусство как одно из важнейших выражений этой самобытной сущности". А потому тут всякий, даже "самый хороший", диктат или стандарт губительны. И Гавел настойчиво напоминал своим сторонникам: нельзя претендовать на руководящую роль только на том основании, что они — единственные праведники, говорившие правду, которую теперь говорят все.

Ядро программы президента Гавела не экономика, не государственное строительство, не отвлеченное "благо народа", а стремление внести в политику начала христианской, вообще религиозной нравственности, тысячелетиями вырабатывавшиеся всеми народами. Он любит повторять: ответственность бывает

только одна, и нельзя допускать, чтобы она разделилась надвое — на человеческую и политическую. В одном публичном выступлении Гавел это свое убеждение выразил очень просто, даже несколько старомодно: "разум, абстрагирующийся от неповторимой человеческой души, если он становится главным фактором политической деятельности, в конце концов приводит лишь к насилию". Чешский президент всерьез мечтал и продолжает мечтать о республике, как он выразился однажды, "человеческой, которая служит человеку в надежде, что и человек послужит ей". В этом смысле он твердый последователь основателя Чехословакии, первого ее президента, великого европейского демократа Т. Масарика, кстати, тоже гуманитария, литератора, философа, публициста.

Восемь лет назад, когда Вацлава Гавела избрали членом французской Академии гуманитарных и политических наук, он выступил с речью, которую посвятил, однако, отнюдь не злободневным проблемам мировой политики, разоружения или экологии, даже не правам и свободам человека, нет, он предложил своим слушателям поразмышлять о феномене ожидания. И как драматург, поклонник Кафки и приверженец театра абсурда, разумеется, оттолкнулся от Беккета, от его знаменитой пьесы "В ожидании Годо". Это, пожалуй, одно из самых блестящих его публичных выступлений, емкое и яркое философское эссе, прозрачно и точно толкующее разницу между тоталитаризмом и свободой.

В коммунистическом мире, говорил тогда, в частности, Гавел, задавленное властями общество ожидает Годо, то есть спасения извне ("вырастет лилия, которую мы не сажали"), — это трагически бессмысленное, бесплодное ("тоскливое", как еще полтораста лет назад называл его наш историк С. Соловьев) ожидание перемен. Демократическая позиция предполагает совсем иное, активное ожидание, хотя бы уже по тому одному, что повторение правды имеет значение само по себе, поскольку укрепляет людей в мысли: не только можно, но и нужно жить не по лжи. Да, признает Гавел, это горькая жизнь, но это — жизнь в правде, и потому человек ждет терпеливо, "не теряет, а насыщает свое время". Это ожидание, по его словам, нечто большее, чем ожидание, это и есть жизнь, "жизнь как радостная сопричастность чуду бытия".

Собственно говоря, в этих словах выражается то, что вернее всего назвать чувством истории, без которого не может состояться настоящий политик. Гавел обладает им в полной мере. И поэтому, вопреки очень распространенному (в интеллигентской среде особенно) мнению, он убежден, что политика "может быть также искусством невозможного, то есть искусством, как сделать лучше себя и мир". Один из самых действенных "инструментов" такого искусства, по Гавелу, — способность видеть смешные и абсурдные стороны явления, смеяться над другими и над самими собой, иронизировать и пародировать, умение видеть вещи сверху или со стороны. В одной из последних своих публичных речей (в июне 1999 года) он сформулировал это так: "Кто не утратил способности осознавать, сколь он смешон или ничтожен, в том нет гордыни и тот не враг открытого общества. А враг ему — человек с сурово серьезным лицом и пылающим взором".

Есть книги, о которых очень трудно писать — и не потому, что они чересчур замысловато выстроены или толкуют о каких-то заумных вещах, но, напротив, потому, что они прозрачно ясны и вызывающе искренни, а стало быть, не поддаются ни добросовестному пересказу, ни традиционному критическому разбору. Их лучше читать, над ними лучше размышлять, сопоставляя заклю-

ченный в них опыт иной жизни, иных людей, иных конфликтов, поражений и побед со своим собственным: это захватывающее, полезное и поучительное чтение. К подобного рода книгам, безусловно, относится и эта. Выход такой книги у нас, думается, может стать заметным событием в культурной и политической жизни России. По крайней мере, должен был бы стать...

А. Ермонский

Современная поэзия, как она есть

The Paris Review, 2000, № 154

"The Paris Review" выходит в Нью-Йорке на английском с 1954 года и к Парижу имеет отношение весьма и весьма косвенное. Это типичный "лабораторный журнал", из тех, которых на Западе один-два на страну. Как правило, за каждым таким изданием стоят солидные спонсоры — чаще всего в их роли выступают национальные книжные ассоциации, или несколько крупных издателей, или богатые филантропы. Цель подобных проектов — создать независимый от книжного рынка "оазис", где нашла бы приют только очень качественная, действительно интеллектуальная литература, которая, не пользуясь массовым спросом, на самом деле задает рамки и границы литературы завтрашней. "Лабораторные журналы" изначально ориентированы не столько на "среднего" читателя, сколько на писателей. Практически это профессиональные издания для специалистов — что-то вроде журнала "Ланцет", издаваемого какой-нибудь национальной ассоциацией хирургов. Не принося "прямых" доходов, эти издания с лихвой оправдывают себя в глазах "инвесторов", ибо позволяют им прогнозировать литературную ситуацию и соответственно строить издательскую политику.

Однако данный выпуск "The Paris Review" имеет и еще одну особенность: он целиком посвящен поэзии. В небольшой редакционной статье, открывающей номер, говорится, что побудительных причин тому было несколько. Во-первых, в портфеле журнала (а за год в адрес этого издания поступает около 20 тысяч (!) рукописей) накопилось слишком много достойных поэтических текстов — если их печатать понемногу, обильно перемежая прозой, как это принято в "The Paris Review", раздел поэзии оказался бы "закрыт" материалами на год вперед, и от новых стихов пришлось бы просто отказываться. Во-вторых, в США уже несколько лет в апреле устраивается Национальный месячник поэзии. Это часть государственной культурной политики, вполне серьезной, продуманной и достаточно эффективной. И вот редакция журнала решила целиком посвятить номер (а это — более 400 страниц) поэзии, приурочив его к "поэтическому месячнику". Результат оказался необычайно интересен.

Камертоном, задающим тему и уровень поисков, сквозных для всего издания, звучат несколько стихотворений, помещенных в самом начале номера.

Журнал открывается стихотворением Джона Эшбери "Караваджо и его последователи". Эшбери имеет репутацию "живого классика". Достаточно сказать, что ближе к середине номера, в традиционной для "The Paris Review" рубрике "Вопрос из зала", печатается дискуссия о современном состоянии американской поэзии, в которой принимают участие известные поэты и критики: Фрэнк Кермод, Ричард Лэмб, Харольд Блум. И последний замечает: "Эшбери жив — а значит, с поэзией все не так уж плохо". С именем Эшбери связывают целую поэтическую школу — так называемых "поэтов-ньюйоркцев". Их поэзия — горькая, пронизанная

чувством одиночества и отчаянья... и скепсисом, — подчеркнуто объективированная, не позволяющая никакого форсирования голоса, надрыва. Если искать какие-то русскоязычные аналоги, примерно в этом направлении развивалась поэтика позднего Бродского, при том что его опыт совершенно уникален. "Ньюйоркцы" возникли тогда же, когда и "битники", и осознанно противопоставляли свою сдержанность "накалу эмоций" Гинзберга и Керуака...

"Караваджо и его последователи" — своего рода ответ Эшбери на "В музее изящных искусств" Одена, с явно присутствующими фолкнеровскими интонациями: в конце концов, "Шум и ярость" — ближе к поэзии, чем к прозе... Тема стихотворения — созерцание картин старых мастеров как толчок к размышлению о хрупкости существования и невозможности что бы то ни было удержать. Навеки застывшая итальянская нега, мгновения праздности, схваченные во всей роскоши световых оттенков, и осознание, что жизнь подходит к концу: в прошлом — лишь цепочка потерь, впереди — лишь «великое "может быть"»:

> *Здесь и сейчас* — это жизнь.
> Но как одна попрыгунья сказала
> молчунье-товарке:
> над нами
> что-то нависло и ждет,
> чтоб обрушиться и раздавить, —
> только медлит, —
> следит, приготовясь ударить, —
> и нам не понять: когда, почему...[1]

Финал стихотворения: беседа двух смотрителей музея, возвращающихся домой после закрытия и обсуждающих странного посетителя, часами простаивающего у одной и той же картины, вызывает в памяти еще одну заданную автором реминисценцию — конец рассказа Хемингуэя "Там где чисто, светло", с его мотивом: "Ничто — и оно ему так знакомо. Все — ничто, да и сам человек — ничто. Вот в чем дело, и ничего, кроме света, не надо, да еще чистоты и порядка. Некоторые живут и никогда этого не чувствуют, а он-то знает, что все это nada y pues nada y pues nada y pues nada. Отче ничто, да святится ничто твое, да приидет ничто твое, да будет ничто твое, яко в ничто и в ничто"[1]. Эшбери осознанно "включает" этот ряд ассоциаций: сдержанность — и скепсис — не позволяют ему говорить о Боге и "последних вопросах" напрямую, но в равной степени он не хочет от них уклониться — и проговаривает, не выговаривая.

Почти следом за Эшбери идут три перевода из Збигнева Херберта. Три "Молитвы". Херберт — польский поэт, глубоко связанный с католической традицией. И если стихотворение Эшбери — немой крик агностика, вопрошающего о Боге, то тексты Херберта — запись муки верующего человека, подошедшего слишком близко к порогу, где на все вопросы ответы уже даны:

> Господи, благодарю Тебя за иглы
> шприцов, тонкие, будто волос,
> за бинты и повязки, за бандажи, за
> робость компрессов, за
> инъекции в вену, за соляные
> растворы, за трубки катетеров, —
> но превыше всего — за пилюли
> снотворного, чьи имена —
> как у нимф италийских, —
> за благо даримое ими: ибо зовут,
> и манят, и уводят в забвение смерти —
> забвение, ставшее смерти заменой.

Эшбери и Хеберта разделяют несколько стихотворений других авторов. Одно из них — "Газелла для Майкла Палмера" Ага Шахида Али — едва ли не самое сильное впечатление от всей книжки "The Paris Review". Англоязычная поэзия индомусульманской диаспоры у нас почти не известна. Эти поэты существуют в неком куль-

1. Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, — перевод автора рецензии. (*Прим. ред.*)

1. Перевод с английского Е. Романовой.

турном отчуждении: для соплеменников они в первую очередь ренегаты, изменившие родному языку, для англоязычной аудитории — экзотичные чужаки. И все же достаточно одного текста Ага Шахида Али, чтобы почувствовать ожог фантастической подлинности. Автор — эмигрант из мусульманской части Кашмира, преподающий в провинциальном американском университете штата Юта курс "creative writing". В Америке вышло три поэтических сборника Ага Шахида Али: "Гималаи высотой с мизинец", "Карта Америки, составленная Одержимым ностальгией" и "Поселение, где нет почты" — с дюжину стихов из этих книг легко найти в Интернете, по ним можно составить представление о поэте.

Современная англоязычная поэзия на 99,9 % представлена верлибром. Рифмованные стихи с правильным метром и классической строфой стали ассоциироваться с эстрадными песенками или детской литературой. Но верлибр, став знаком "хорошего тона" в поэзии, породил тоску по строгой форме. Оден когда-то обронил: "Писать стихи без рифмы — все равно что играть в теннис без сетки". Ага Шахид Али использует классические восточные формы с обязательной строгой рифмой — но формы эти непривычны английской поэзии, за счет чего возникает эффект сильного воздействия и новизны. Излюбленная Ага Шахидом Али форма — газелла. Объясняя своим студентам, что это такое, он пишет: "Газелла — стихотворение, насчитывающее от пяти до пятнадцати строф. Каждая ее строфа может мыслиться как отдельное стихотворение, где первая строка схожа по своей роли с октавой в сонете Петрарки, а вторая — с сестетом. И еще — вторая строка должна быть "обращением" первой... Читатель должен воспринимать ее как усиление первой, "разработку" ее, рождающую неожиданный и удивительный результат... Каждая строфа должна быть подобна драгоценному камню в ожерелье — и вынутый из оправы, он будет сиять и переливаться, но истинный свой блеск явит лишь тогда, когда займет место рядом с другими... В газелле используются одна сквозная рифма и один сквозной рефрен. Рифма всегда стоит непосредственно перед рефреном. Если рифма спрятана в середине строки, в этом есть своя магия, но тогда она не ведет к наслаждению немедленным узнаванием созвучия, а в этом — главное для газеллы... Рифма и рефрен повторяются в обеих строках первой строфы, а затем звучат лишь в последних строках каждого двустишия... Для газеллы характерна сжатость эпиграммы, соединенная с беспредельным лиризмом, со скорбью, сокрушенностью сердца и мудростью. Газелла есть длящееся неутоленное желание".

Адресат посвящения "Газеллы" — американский поэт, один из лидеров "новой поэзии", связанной с так называемой "Школой языка". Известность ему принесла поэма "Солнце" (недавно вышедшая в России в переводе А. Парщикова). Текст Ага Шахида Али — своего рода отклик на последние бомбардировки Ирака:

Что мы утратили — суть вещей или
имя, чтоб звать тебя?
Солнце в роли своего дублера
хочет поздравлять тебя.

Черное солнце или черная тень,
отброшенная землей...
Отраженья сковали пышный оклад:
он готов украшать тебя.
<...>
Я помню вкус твоего вина весною
моих скорбей.
Ныне мир разлетелся вдребезги.
Смог ли он устоять для тебя?
<...>
Место рождения письменности
бомбами стерто в прах.
Точно в цель, дорогая Америка, —
это и есть "играть" для тебя?

День за днем дождь будет идти, он
будет и будет лить...
Голос произнесет: "О Боже, долго ль
мне от стыда сгорать за Тебя?"

Видно — поднимается дымный столб,
гарью тянет издалека...
Чей дом нашло это пламя,
что явилось пожрать тебя?

Бог опрокинул весы. Чьи крылья,
Майкл, укроют меня?
Не выноси приговор: Шахид
успел с ним совладать для тебя[1].

Этот текст с его восточной страстностью и исламской метафизикой, с переходом от "ты" к "Ты", за которым живое ощущение присутствия Господа, далекое от осторожных "может быть" того же Эшбери, — яркий контраст с "университетской поэзией", с ее обязательным вкусом и "хорошо темперированным" нонконформизмом в пределах дозволенного — а именно к "университетской поэзии" принадлежит большинство стихов, представленных в "The Paris Review".

Последняя — "не холодна, не горяча":

Вниз по склону,
мимо больницы,
В которой лежать мне пришлось —
еще до того, как жизнь моя
изменилась, чтобы стать тем,
чем стала теперь:
ни хороша, ни плоха, —
просто нечто, —
факт среди массы других...

Эти строки из стихотворения Джона Коета "Теории молитвы" — автор преподает философию в Мадисоновском университете, штат Висконсин, — весьма точно схватывают общее настроение, разлитое в "университетских стихах". Не то чтобы они плохи или неудачны. Они все — добротны, но... У графомана можно найти редчайшую по яркости строчку — но он убьет ее следующей. У "университетского" поэта — никогда. "Ничего слишком" — девиз, вошедший у такого поэта в плоть и кровь. Его отличает эрудиция, знание традиции и прочее — но за всем этим сквозит странная пустота.

Характерно, что центр номера отдан своеобразному эксперименту, напоминающему средневековые поэтические турниры. Было выбрано несколько названий или заглавных строчек довольно известных стихов, вроде "Вопля" Алена Гинзберга, и "на эти заглавия" ряду поэтов было предложено написать новые тексты. Среди тех, кто откликнулся — и весьма известные авторы, вплоть до Шеймаса Хини, и авторы, только-только начинающие печататься. Почти все получившиеся тексты — тотально ироничны.

Собственно, номер "The Paris Review" выстроен как попытка понять, что же творится на пространстве между почти религиозной поэзией, претендующей на выяснение отношений с Господом Богом в духе "Книги Иова", как у Збигнева Херберта или Ага Шахида Али — и поэзией "объективизированной", бегущей всякой метафизики и эмоций. В начале журнала задан камертонный "высокий" звук, а к концу номера явно преобладают тексты, "отражающие жизнь в формах самой жизни". Получается такой своеобразный "спуск с горы", с остановками на пути, представленными интервью, в которых маститые поэты (Роберт Блай, Джефри Хилл, Дерек Магон и другие) рассуждают о судьбах современной поэзии. Самое интересное, что почти каждый второй из интервьюируемых так или иначе затрагивает творчество У. Х. Одена или Эзры Паунда — современная американская поэзия все еще существует в тени этих двух поэтов, и любой нынешний автор осознает, что он всего лишь "тиражирует" их открытия.

А. Нестеров

1. Перевод с английского И. Ковалевой.

Лица необщим выраженьем...

"Новая Польша". Общественно-политический и литературный ежемесячник

Обширное собрание журналов на русском языке пополнилось недавно еще одним ежемесячником — "Новая Польша". Выпускает его Национальная библиотека в Варшаве под патронатом польского министерства культуры.

Некоторые наши читатели среднего и старшего поколения наверняка помнят еще журнал "Польша", выходивший на русском языке по инициативе польской стороны в 50—70 годы. Журнал имел успех, расходился по всей территории Советского Союза, и его можно было приобрести в любом газетном киоске как в столице, так и на периферии. Тираж "Польши" достигал в самые "урожайные" годы впечатляющей цифры: триста пятьдесят тысяч экземпляров!

Но тогда была иная эпоха. Журнал появился в годы хрущевской оттепели. В Польше процесс пробуждения общества протекал более активно и бурно, чем у нас. Естественно, что при нашем повышенном спросе на все польское журнал "Польша", содержавший разнообразную информацию об этой стране, широко расходился и читался. Хотя "Польше", понятное дело, с самого начала были обозначены четкие идеологические рамки, переступать которые не полагалось, люди, делавшие журнал, пытались как-то обходить эти жесткие требования советской стороны, даже в пределах дозволенного стремясь выпускать его живым и ярким.

Но как раз это и не устраивало наших партийных идеологов. Журнал пытались всячески урезонить, поставить на место. Но одном из таких публичных "обсуждений" журнала в середине 50 годов мне даже как-то случайно удалось присутствовать. Происходило это все по иронии судьбы в Доме дружбы с народами зарубежных стран.

Мероприятие организовано было в лучших традициях той поры. Главным объектом критики журнала оказалось его художественное оформление — яркие, броские обложки, цветные вклейки с репродукциями выполненных в основном в абстрактной манере картин современных польских живописцев. С критики этой "мазни" все и началось. А дальше пошло-поехало.

Позже "Польшу" еще не раз критиковали в нашей печати уже за то, что она на своих страницах "пропагандировала" таких писателей, как М. Хласко, К. Брандыс, Ю. Хен, которых тогда наша "Литгазета" обличала как завзятых ревизионистов. В начале 80-х журнал и вовсе как-то незаметно исчез с витрин и прилавков наших газетных киосков...

Появление "Новой Польши" в нынешней России многие сочли событием явно не ко времени. В самом деле, казалось бы, россиянам, многие из которых едва сводят концы с концами, не до нового журнала, тем более что посвящен он в первую очередь польским проблемам.

Неудивительно, что как в польской, так и в российской прессе отклики на выход "Новой Польши" были довольно сдержанными. Некоторым казалось, что все ограничится выходом двух-трех номеров, а потом журнал сам собою тихо угаснет из-за отсутствия спроса на него.

Однако жизнь опровергла такого рода прогнозы скептиков. Вышло уже десять номеров, и думается, это позволяет с определенной долей уверенности говорить о том, что затея себя оправдала. Тем более, что в отличие от своей предшественницы, "Новая Польша", несмотря на ряд

привходящих негативных обстоятельств, о которых выше упоминалось, имеет и кое-какие преимущества. И, пожалуй, главное из них то, что новый журнал, к счастью, избавлен от той мелочной опеки советских идеологов, которые в прежние времена так докучали редакции старой "Польши".

Создатели нынешнего журнала, как это можно заметить по уже вышедшим номерам, вовсе не собираются ограничить свой диалог с читателями разговорами о необходимости дальнейшего развития российско-польской дружбы.

Для начала все-таки важнее попытаться лучше понять и узнать друг друга, поговорить о тех вещах, которые в прошлом мешали нам достичь взаимопонимания. Ведь существовал целый реестр тем-табу, которые публично затрагивать не полагалось, а значит, не предпринимались и попытки найти какой-то выход из возникавших на протяжении десятилетий тупиковых ситуаций.

Какие завалы лжи были наворочены, к примеру, советской стороной вокруг Катынской трагедии. И все это делалось ради сокрытия того обстоятельства, что расстрел двадцати двух тысяч польских офицеров — дело рук НКВД, а не гитлеровцев. Не сказана до сих пор и вся правда о Варшавском восстании 1944 года. Замалчивается факт, что Советская армия не пришла на помощь повстанцам не столько потому, что не в состоянии была выполнить подобную задачу, но по той причине, что этого не пожелал Верховный главнокомандующий. Ведь победа варшавских повстанцев укрепила бы позиции польского эмигрантского правительства в Лондоне, а Сталин жаждал, чтобы в послевоенной Польше правили коммунисты.

Новый журнал обращается к такого рода острым темам как отдаленной, так и недавней истории наших государств, чтобы российский читатель узнал всю правду об этих событиях, ту правду, которую от него тщательно и долго скрывали или преподносили в искаженном виде. Это тем более необходимо, что произвольные манипуляции с историей в угоду всякого рода сиюминутным политическим интересам продолжаются и поныне.

Вот недавний пример. В канун печальной для поляков даты 17 сентября 1999 года в нашей прессе появилось "Сообщение МИД РФ". В нем утверждалось, что все заявления польских официальных лиц, будто в сентябре 1939 года была "совершена агрессия бывшего СССР против Польши, не имеют подтверждения в международно-правовых документах и потому не могут быть приняты".

Это "сообщение" польская пресса опубликовала как раз 17 сентября, в тот день, когда нас — группу переводчиков-полонистов пригласили в Варшаву на презентацию первого номера журнала "Новая Польша", происходившую в конференц-зале Национальной библиотеки. Естественно, что некоторые из выступавших на этом собрании поляков, говорили о подобном заявлении Российского МИДа с возмущением и обидой. Они не понимали, кому и зачем опять понадобилось прибегать к лжи, когда сам факт советской агрессии против Польши в 1939 году был уже признан на официальном уровне.

Огорчен был всем этим и главный редактор "Новой Польши" Ежи Помяновский. Он понимал, что такое событие в культурной жизни обеих стран, как выход в свет журнала, призванного укреплять взаимные контакты Польши и России, невольно всем этим смазано. И редактору можно было только посочувствовать.

Ведь Е. Помяновский — известный польский писатель старшего поколения, публицист, переводчик произведений Чехова, Солженицына, Бабеля, Мандельштама, за плечами которого насы-

щенная многими событиями жизнь. Издавать этот журнал он начал, что называется, по зову сердца. Годы юности, пришедшейся на период второй мировой войны, Помяновский провел в Советском Союзе, где сначала работал на шахте, потом окончил Московский мединститут. Уже тогда, изучив русский язык, он стал преданным почитателем стихов А. Ахматовой и Б. Пастернака, с которыми лично был знаком. Это увлечение русской поэзией переросло у него в глубокую привязанность к русской литературе. Он стал переводить поэзию и прозу, а по возвращении в Польшу, забросив занятие медициной, целиком посвятил себя литературе...

Одна из главных задач, которую ставит перед собой журнал — это знакомство русского читателя с современной польской литературой, культурой, искусством, театром, кинематографом, наукой. И журнал с подобной задачей в целом справляется.

Лидирует, надо признать, поэзия. К несомненным удачам следует отнести, на мой взгляд, "Поэтический трактат" Чеслава Милоша в превосходном переводе Натальи Горбаневской. Это выдающееся событие.

Богатство своих творческих возможностей продемонстрировала переводчик Н. Астафьева, представившая в журнале собственную мини-антологию произведений десяти современных польских поэтесс. Для каждой Астафьева сумела найти свои краски, свою интонацию и ритмику.

Меньше повезло в журнале польским прозаикам. Понятно, что в таком скромном по объему издании, как "Новая Польша", представить какого-либо писателя значительно труднее, нежели стихотворца. И все-таки это следует делать, искать малые жанры и формы. С этой задачей, кстати, неплохо справлялась старая "Польша", успевшая познакомить своих читателей с целым рядом польских новеллистов.

Просматривая уже вышедшие номера "Новой Польши", невольно замечаешь, как журнал постепенно все расширяет круг тем. При этом к участию привлекаются известные современные авторы — публицисты, экономисты, историки, социологи. Тем самым русский читатель исподволь как бы приобщается ко многим из тех проблем, что волнуют сегодня польское общество.

...Возвращаясь к тому, с чего я начал эти заметки, хотел бы добавить, что журнал не затерялся среди других периодических изданий. Более того, на таком достаточно пестром фоне он несомненно выделяется своим "лица необщим выраженьем".

С. Ларин

Австрия

Пища и для ума, и для тела

Похоже, австрийского читателя уже трудно заинтересовать удачными новыми книгами известных писателей. Вероятно, именно поэтому сборник из трех одноактных пьес "Это неважно. Трилогия смерти" маститой Эльфриды Елинек и роман "Английские годы" Норберта Гштрайна, которого считают восходящей звездой австрийской литературы, при всем успехе, выпавшем на их долю, не пользовались такой огромной популярностью, как новинки не художественной литературы, подписанные новыми именами. Одна из них — "Обжора" — посвящена современному классику Томасу Бернхарду, однако ее авторы — Хильда Хайдер-Преглер и Биргит Петер — предлагают своеобразное, кулинарное прочтение его пьес. Известно, что и сам драматург сравнивал книгу с таверной: "Попадая в нее, иной раз платишь бешеные деньги за предлагаемую пищу, а та оказывается отвратительной, так что бежишь от этого смрада без оглядки". Этих и других кулинарных метафор и сравнений у Бернхарда довольно много, ведь среди его персонажей часто встречаются официанты, трактирщики и мясники, и нередки всяческие застолья, которые, увы, зачастую кончаются плачевно. Основу этого исследования составляет стилистический анализ, а в виде приложения к нему даны рецепты приготовления блюд, упомянутых литературным гурманом: здесь и моллюски в белом вине, и гуляш по-венски, и яблочный штрудель, и салат из картофеля и огурцов.

Интерес к другому бестселлеру понятен уже из самого названия — "Мужчина-2000". Он посвящен такой насущной теме, как физическое и психическое здоровье мужчин. Конечно, современный мужчина живет дольше своих предшественников, но четверть из тех, кому за 65, страдает от разных недугов, а главное — от неумения бороться с ними. Исходя из новейших открытий в области мужской гормональной системы, авторы Зигрид Мерин и Маркус Метка (медики по профессии) дают практические советы, как преодолеть дряхление, депрессию и прочие неприятности мужского климакса.

Поскольку эти знания нужны и интересны не только австрийцам, книга, выгодно отличающаяся от десятков себе подобных изяществом и юмором в изложении достаточно серьезных проблем, переведена на ряд других языков.

Великобритания

Покорившая Запад покорением Востока

"Поэтом странствий" окрестили современники родившуюся в 1893 году Фрею Старк за талант писательницы-путешественницы. Впрочем, способности этой удивительной женщины разнообразны, и в двух словах их не описать.

Страстная кочевница Фрея Старк в арабском облачении. (газета "Глоб энд мейл оф Кэнада")

Дальние страны, особенно экзотический Восток, манили Фрею еще в детстве. С годами эта мечта становилась все сильнее. Решив наконец реализовать ее, Фрея Старк взялась за изучение арабского языка (к тому времени она уже владела четырьмя европейскими), а практиковалась в нем уже в Дамаске, куда приехала в 1927 году. Сирия стала "боевым крещением" англичанки: преодолев кордоны французских войск, она ступила на территорию мусульманской секты друзов. Там она узнала историю террористического культа ассасинов, и в 1930 году в одиночку отправилась на поиск развалин ассасинских замков в Иране. Старк стала первой европейкой, совершившей рискованное путешествие в эти места. Свою экспедицию она описала в книге "Долина ассасинов", выдержавшей три

издания всего за полгода и переиздающейся до сих пор.

Таланты Фреи оценили не только критики и читатели. Ей стали давать ответственные поручения по сбору разведданных и картографической информации (для уточнения официальных карт). Во время второй мировой войны она была послана на Восток с заданием создать тайную организацию сторонников антигитлеровской коалиции. Фрея не раз была на краю гибели, но дожила до ста лет — вековой юбилей она отпраздновала в 1993 году, увенчанная всевозможными лаврами. Фрея Старк стала признанным экспертом по странам арабского мира; ее книги (их около 30) высоко оценили специалисты; она была вхожа в высшие сферы общества и общалась с самыми известными и важными людьми страны; она получила признание Королевского географического общества, которое ранее считало женщин непригодными для экспедиций. Наконец, в 1975 году английская королева присвоила ей титул Кавалерственной дамы.

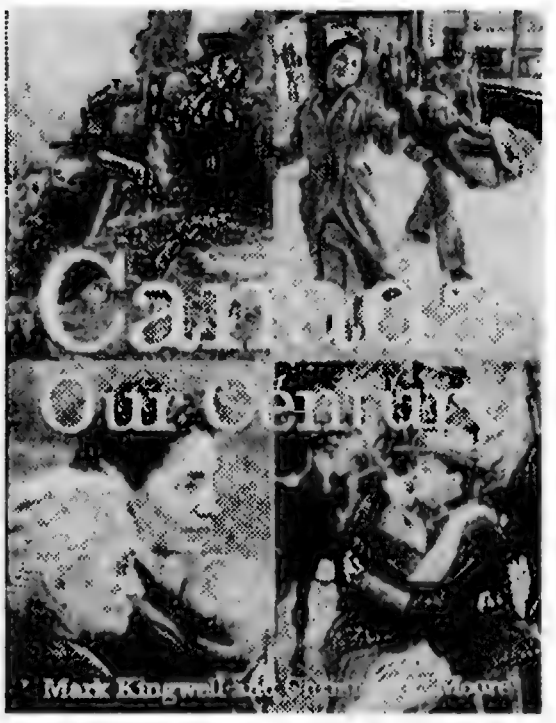
Но откуда у Фреи взялись феноменальные мужество и страсть совершать рискованные путешествия в глухие места, причем в одиночку? Об этом размышляет биограф Джейн Флетчер Дженисс в книге "Страстная кочевница. Жизнь Фреи Старк" (издательство "Рэндом хаус"). Понять характер своей героини писательнице помогли друзья и коллеги Ф. Старк, а также ее письма, более похожие на дневники, — прообразы будущих книг. При всем уважении к Фрее Старк автор не скрывает ее недостатки: ее героиня — не монумент, а живая, непредсказуемая, сложная женщина, нередко сомневающаяся в себе и тоскующая по романтическому чувству. Но главное в ней — это жажда познания, дух бродяжничества и решимость жить полной жизнью.

Канада

Сто лет в жизни страны

В конце столетия вполне закономерно появление такой книги, как "Канада: наш век" (издательство "Даблдей Кэнада"). Она представляет собой своеобразный симбиоз 500 редких фотографий (их подобрала и снабдила подписями Сара Боринс), красноречивых цитат (их отыскал в архивах и предоставил историк Кристофер Мур) и сжатого, четкого эссе (его написал философ и журналист Марк Кингвелл).

Среди фотоснимков и комментариев к ним, скомпонованных по десятилетиям (1900—1910, 1910—1920 и т. д.), практически нет ни одного, который так или иначе не отозвался бы в памяти читателя.



Обложка книги "Канада: наш век" (газета "Глоб энд мейл оф Кэнада")

Любая фотография, связанная с историей, пробуждает воспоминания, порой ностальгические, порой критические: мы и они, тогда и сейчас, что задумывалось и что получилось. Показателен в этом смысле снимок, помещенный в свое время всеми канадскими газетами: 1976 год, премьер-министр страны Пьер Эллиотт Трюдо с супругой Маргарет, улыбаясь, раскачивают на руках своего двухлетнего сына Сашу в аэропорту Ванкувера, откуда они вылетали на конференцию в Японию. Пройдет совсем немного времени, и они разведутся — Пьер Трюдо станет первым в истории Канады премьером, в одиночку воспитывающим троих детей. А 22 года спустя бывшие супруги встретятся на похоронах другого сына, Мишеля. Кого из знающих историю бывшей первой семьи страны не охватит печаль при взгляде на снимок, сделанный в дни безмятежного счастья?

На всем протяжении книги в ней сталкиваются прошлое и настоящее, светлое и темное, трагедии и безмятежность. Репортажи о новинках моды и фотографии звезд спорта соседствуют с документальными свидетельствами изгнания индейцев с их земель и забастовок рабочих. Канадцы воюют и строят города, любят и убивают друг друга. Некоторые снимки поистине уникальны, например, фотография последней публичной казни в Канаде: согласно традиции, лицо палача Джона Роберта Рэдклайва на снимке размыто. Канадцам эта книга дает возможность еще раз вспомнить минувший век в жизни страны, а неканадцам —

вплотную познакомиться с этой жизнью.

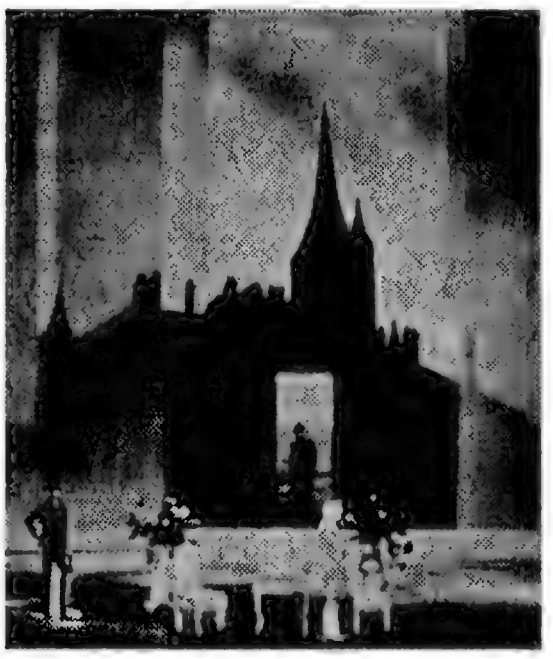
США

Опера по великому роману и его первый вариант

К шестидесяти годам Джон Харбисон достиг многого: Пулицеровская премия, композиторская работа, гранты, записи... Но венцом его творчества стала премьера новой оперы "Великий Гэтсби" в знаменитой "Метрополитен-опера". Еще 18 лет назад Харбисон задумал написать оперу на основе литературного шедевра Ф. С. Фицджеральда, но долгое время не мог получить права на использование текста и написал в конце концов фокстрот для оркестра под названием "Вспоминая Гэтсби". Серьезная работа началась лишь в 1992 году по заказу "Метрополитен" — на сочинение либретто и музыки ушло шесть лет.

Дж. Харбисон знаком с романом уже давно — он впервые прочел его, будучи учеником старших классов, однако столь долгое знакомство не сразу помогло ему в решении самой трудной задачи: дать голос главному герою. Действительно, в романе Джей Гэтсби мало говорит и мало действует, и мы узнаем о нем в основном от других персонажей. Над образом этого постоянно ускользающего персонажа композитору пришлось долго трудиться, изучая попутно музыку 1920 годов ("эпохи джаза") и особенности игры на банджо.

Интерес к новой опере — последней постановке XX века и всего лишь третьей за последнее десятилетие в "Метрополитен-опера" —



Сценические декорации для оперы "Великий Гэтсби" (журнал "Ньюсуик")

усиливается и благодаря публикации первого варианта романа, о которой объявил профессор Пенсильванского университета Джеймс Уэст. "Великий Гэтсби", увидевший свет в 1925 году, по праву считается одним из самых красивых романтических произведений американской литературы XX века, а продаваемые ежегодно 300 000 экземпляров говорят о его неослабевающей популярности у читателей. Оказывается, у романа существует интересная литературная предыстория.

Известно, что Фицджеральд написал книгу между 1922 и 1924 годами и затем в течение девяти месяцев несколько раз переделывал ее, следуя советам своего редактора Максвелла Перкинса и друзей, а также собственным желаниям. Известно также, автор долго не мог выбрать название романа (окончательное нравилось ему меньше всего), причем среди вариантов были такие, как "Под красным, белым и синим" (имеются в виду цвета американского флага) и "Тримальхион в Западной сфере" (аллюзия на великолепный персонаж "Сатирикона" Петрония). Именно под названием "Тримальхион" первоначальный вариант этой яркой сатиры на эгоистичную и пошлую буржуазию и публикуется теперь в США.

Электронные издательства — примета будущего

Сделать свое произведение достоянием общественности не так уж сложно: достаточно открыть свою страничку в Интернете. Но как начинающему писателю получить вознаграждение за работу, которая существует лишь в электронном виде? Эту проблему решил проект под названием "иМэттер", разработанный фирмой "Фэтбрейн.ком". Автор заполняет несколько бланков, загружает документ, выбирает цену (от 2 долларов до бесконечности) и ждет результатов. За 1 доллар в месяц "Фэтбрейн" предоставляет будущему шедевру страничку в сети, а заинтересовавшиеся читатели, расплатившись кредитной картой, перекачивают текст на свой компьютер, распечатывают его или же читают прямо с экрана — никакого специального программного обеспечения не требуется. Дабы предотвратить электронное копирование, текст зашифровывают. Доходы фирма делит с автором пополам.

Главный принцип состоит в том, что за некоторыми незначительными и вполне понятными исключениями (пропаганда ненависти, непристойные тексты) фирма публикует в сети практически все. Уже в самом начале действия проекта 2 800 начинающих авторов предлагают около 20 000 текстов — от рецептов печенья до медицинских документов по методике коррекции зрения. Как и в

любом начинании, связанном с Интернетом, успех никто не гарантирует. Крис Макэскилл, ведущий менеджер фирмы "Фэтбрейн" полагает, что создано идеальное средство для торговли текстами, которые по размеру превышают статью, но не дотягивают до книги. Некоторые журналы (в частности, "Индастри стандард" и "Салон") намерены предложить через сеть свои прошлые номера. К. Макэскилл надеется в скором времени публиковать таким образом миллионы документов, что вызывает у некоторых специалистов опасения относительно качества публикуемых текстов, немалая часть которых может оказаться никому не нужной чепухой.

Независимо от того, будет эта система пользоваться успехом или нет, уже сейчас ясно, что электронные новшества приближают конец традиционных издательских принципов. Публикация произведений в Интернете становится вполне обыденным делом; интернетовское подразделение знаменитой фирмы "Барнс энд Нобл" продает уже более 1 700 профессионально сделанных электронных книг. По выражению одного из предпринимателей, сегодня "надо быть неандертальцем, чтобы не понять, что электронные издательства — это примета будущего".

Франция

Почетный список Гонкуровских академиков

На рубеже веков (и даже тысячелетий) стало особенно модно подводить итоги и составлять списки "самых-самых" писателей, произведений и т. д. Не избежала этого и знаменитая Гонкуровская академия: по просьбе журнала "Франс луазир" она представила список книг, "безусловно являющихся основополагающими для французской литературы". В самое ближайшее время эти книги будут изданы специальной серией с прекрасными иллюстрациями.

Среди одиннадцати отобранных шедевров, разумеется, преобладает классика: это "Опасные связи" Шодерло де Лакло, "Воспитание чувств" Гюстава Флобера, "Пармская обитель" Стендаля, "Отверженные" Виктора Гюго, "Тристан и Изольда" Жозефа Бедье, "Дамское счастье" Эмиля Золя. Но есть в этом почетном списке и более современные произведения, например, "В поисках утраченного времени" Марселя Пруста, "Смерть в кредит" Луи Фердинанда Селина, "Король без развлечений" Жана Жионо, "Святая неделя" Луи Арагона. Единственной дамой в этой солидной компании оказалась Габриель Сидони Колетт с романом "Шери". Возможно, кто-то хотел бы поспорить по отдельным пунктам с авторитетными Гонкуровскими академиками, но бесспорно то, что каждая из этих книг занимает особое место в истории французской литературы.

По материалам газет "Глоб энд мейл оф Кэнада" (Канада), "Паис" (Испания), журнала "Ньюсуик" США).

Авторы номера

Том Стоппард
Tom Stoppard
[р. 1937]. Английский драматург.

Автор пьес *После Магритта* [*After Magritte*, 1971; рус. перев. 2000], *Ночь и день* [*Night and Day*, 1978], *Хэпгуд* [*Hapgood*, 1988] и др., телесценариев, радиопьес. В *ИЛ* были напечатаны пьесы *Розенкранц и Гильденстерн мертвы* [1990, № 4], *Аркадия* [1996, № 2]. Сборник пьес Т. Стоппарда *Розенкранц и Гильденстерн мертвы и другие пьесы* вышел в издательстве Азбука [СПб., 2000].
Пьеса *Травести* была поставлена в Англии в 1974 г., издана в 1975 г. [*Travesties*. London, Faber & Faber].

Мел Гассоу
Mel Gassow
Американский литературный и театральный критик, лауреат премии Дж. Дж. Натана в области театральной критики.

Автор книг *Занук. Не соглашайтесь, пока я не кончил говорить. Биография* [*Zanuck. Don't Say Yes Until I Finish Talking. (A Biography)*. 1971], *Беседы с Пинтером* [*Conversations with Pinter*, 1994].
Книга *Беседы со Стоппардом* [*Conversations with Stoppard*] вышла в Англии в 1995 г. [London, Nike Hern Books].

Биргитта Тротциг
Birgitta Trotzig [р. 1929]. Шведская писательница, дважды лауреат Премии содействия литературе, лауреат премии Девяти, премии Сельмы Лагерлёф и ряда других литературных премий. Член Королевской шведской академии, член Нобелевского комитета.

Автор романов *Обреченные* [*De utsatta*, 1957], *Предательство* [*Sveket*, 1966, рус. перев. 1998], *Болезнь* [*Sjukdomen*, 1972], *Дочь болотного царя* [*Dykungens dotter*, 1985] и др., сборников рассказов и повестей *Из жизни влюбленных* [*Ur de älskandes liv*, 1951], *Живые и мертвые* [*Levande och döda*, 1964] и др.
Публикуемый рассказ взят из сборника *Двойственность* [*Dubbelheten*], вышедшего в 1998 г. в Швеции [Uddevalla, Risbergs Tryckeri AB].

Бертран Рассел
Bertrand Russell
[1872–1970] Английский математик, логик, философ, социолог, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе [1950].

Автор многочисленных научных трудов и других сочинений. Наиболее известны *Principia Mathematica* [совместно с А. Н. Уайтхедом, 1910-1913], *История западной философии* [*History of Western Philosophy*, 1945; рус. перев. М., 1959]. На русском языке также выходили: сборник статей антирелигиозного содержания *Почему я не христианин* [1957], книги *Искусство мыслить* [1999], *Исследования значения и истины* [1999], *Человеческое познание. Его сферы и границы* [1957].
Публикуемые фрагменты взяты из книги *Автобиография Бертрана Рассела* [*The Autobiography of Bertrand Russell*, N. Y., Simon and Schuster, 1969].

Сергей Юрьевич Юрский
[р. 1935]. Актер, режиссер, писатель. Народный артист России.

Автор книг *Кто держит паузу* [1979, 1989], *Безвременье* [1985], *Узнавание* [1993], *Сюр* [1996], *Жест* [1997], *Содержимое ящика* [1999]. Его произведения неоднократно публиковались в журналах Октябрь и Знамя.

Переводчики

Илья Валерьевич Кормильцев
[р. 1959]. Поэт, переводчик с английского и итальянского языков.

В его переводе издавались "малая проза" Дж. Р. Р. Толкиена, рассказы Р. Дала, Ф. Макдональда, Дж. Балларда и др. Статьи и переводы И. Кормильцева неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Александр Евгеньевич Вялых [Белов]
[р. 1964]. Переводчик с японского.

Автор книги стихов *На разрыве аорты* [Владивосток, 1997]. В *ИЛ* [1997, № 4] напечатаны его переводы *Из древней японской поэзии*.

Елена Самуэльсон
Переводчик с французского и шведского языков, писательница.

В ее переводах выходили произведения Д. Фернандеса, Э. Бруннера, С Ларссона, Э. Адольфссон и др. Переводила на шведский язык дневники М. Цветаевой, статьи и каталоги по искусству. Ее новеллы печатались в журналах Нева и Звезда, в шведском альманахе Xalifax, журнале Res Publica.

Тамара Яковлевна Казавчинская
Переводчик с английского, польского языков.

В ее переводе выходили: эссе Д. Дефо, У. М. Теккерея, Ш. Бронте, Э. Гаскелл, Д. Б. Пристли, Г. Грина, рассказы и повести У. Коллинза, Э. Бульвера-Литтона, Р. Киплинга, С. Моэма, Г. Лавкрафта, М. Спарк и др.
В *ИЛ* в ее переводе напечатаны эссе У. М. Теккерея [1986, № 12], главы книги *Западный канон Х. Блума* [1998, № 12], фрагменты книги Г. Стайн *Париж Франция* [1999, № 7].

Нина Александровна Цыркун
Переводчик с английского, киновед, кандидат философских наук.

В ее переводах публиковались произведения П. Г. Вудхауса, Ч. Буковски.

Содержание журнала *Иностранная литература* за 2000 год [1—12]

Романы, повести, рассказы, пьесы

Андрич Станко — См. *Рассказы хорватских писателей* [5]

Бахман Ингеборг — *Смерть придет.* Неоконченный рассказ. Перевод с немецкого С. Шлапоберской [7]

Бейнбридж Берил. — *Мастер Джорджи.* Роман. Перевод с английского Е. Суриц [7]

Белов Сергей — См. Теру Пол [3]

Бост Пьер — *Господин Адмирал скоро умрет.* Повесть. Перевод с французского А. Брагинского [5]

Ван Ковелер Дидье — *Запредельная жизнь.* Роман. Перевод с французского Натальи Мавлевич [2]

Вивег Михал — *Летописцы отцовской любви.* Роман. Перевод с чешского Нины Шульгиной [6]

Гассоу Мел — См. Стоппард Том [12]

Герман Юдит — *Рассказы* Перевод с немецкого Е. Соколовой и А. Кацуры. Вступление Е. Соколовой [11]

Грасс Гюнтер — *Мое столетие.* Фрагменты книги. Перевод с немецкого С. Фридлянд. Послесловие Евгении Кацевой [1]

Ергович Миленко — См. *Рассказы хорватских писателей* [5]

Каванна — *Сердце не камень.* Роман. Перевод с французского Алсу Губайдуллиной [6, 7]

Каннингем Майкл — *Часы.* Перевод с английского Дмитрия Веденяпина [9]

Карваш Петер — *Два апокрифа.* Перевод со словацкого и вступление В. Каменской и О. Малевича [10]

Мишо Анри — *В стране магии.* Перевод с французского Алины Поповой. *Путешествия реальные и воображаемые.* Из беседы Мишеля Бютора с Пьер-Марком де Бьязи. Перевод с французского Ирины Кузнецовой [8]

Мойаш Давор — См. *Рассказы хорватских писателей* [5]

Мрожек Славомир — *Прекрасный вид. Представление в двух действиях.* Перевод с польского Л. Бухова [1]

Нове Альдо — *13 рассказов из книги "Супервубинда".* Перевод с итальянского и вступление Геннадия Киселева [8]

Петрович Горан — *Рассказы.* Перевод с сербского Жанны Гилёвой [9]

Путешествия реальные и воображаемые. См. Мишо Анри [8]

Рассказы хорватских писателей. Давор Мойаш. *Чай из мяты.* Миленко Ергович. *Могила.* Анте Томич. *Пока смерть не разлучит нас.* Станко Андрич. *Энциклопедия ничтожного.* Перевод с хорватского и вступление Л. Савельевой [5]

Ремарк Эрих Мария — *Земля обетованная.* Роман. Перевод с немецкого и вступление М. Рудницкого [3]

Роб-Грийе Ален — *Анжелика, или Чары.* Фрагмент книги. Перевод с французского Ю. Розенберг. Вступление И. Кузнецовой [1]

Сонтаг Сьюзен — *Вот так мы теперь живем.* Рассказ. Перевод с английского М. Гальпериной [2]

Стоппард Том — *Травести, или Комедия с переодеваниями в двух действиях.* Мел Гассоу. *Из книги "Беседы со Стоппардом".* Перевод с английского И. Кормильцева [12]

Теру Пол — *Моя другая жизнь.* Фрагменты книги. Перевод с английского Ольги Варшавер, Сергея Белова. Белов Сергей. *Большой литературный базар, или Старый экспресс фантазии.* Творческий путь Пола Теру [3]

Томич Анте — См. *Рассказы хорватских писателей* [5]

Тревор Уильям — *Рассказы.* Перевод с английского Инны Стам [2]

Тротциг Биргитта — *Кузнец.* Рассказ. Перевод с шведского Елены Самуэльсон [12]

Уэльбек Мишель — *Элементарные частицы.* Роман. Перевод с французского И. Васюченко и Г. Зингера. Вступление И. Кузнецовой [10]

Форд Ричард — *Рассказы.* Перевод с английского Л. Беспаловой [6]

Хласко Марек — *Письма из Америки.* Перевод с польского И. Подчищаевой [2]

Хюлле Павел — *Вайзер Давидек.* Роман. Перевод с польского Вадима Климовского [5]

Энквист Пер Улов — *Пятая зима магнетизера.* Роман. Перевод с шведского Ю. Яхниной [11]

Стихи

Буковски Чарльз — *Стихи.* Перевод с английского Г. Агафонова, К. Медведева. Вступление К. Медведева [5]

Вежиньский Казимеж — *Из стихотворений эмигрантских лет.* Перевод с польского и вступление Натальи Астафьевой [9]

Вилья Морено Хосе — *Стихи разных лет.* Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен [10]

Греннан Имон — *Стихи.* Перевод с английского и вступление Вл. Гандельсмана [2]

Каняди Шандор — *Стихи из книги "По деревьям кто-то бредет неспешно".* Перевод с венгерского Натэллы Горской. Вступление Е. Малыхиной [11]

"Капли дождя". Испанская песенная поэзия. Перевод с испанского и вступление А. Гелескула [7]

Классические хайку. Перевод с японского Александра Вялых [12]

Кович Каетан — *Стихи.* Перевод со словенского Н. Горской. Вступление Жанны Гилёвой [1]

Милош Чеслав — *Город без имени.* Фрагменты поэмы. Перевод с польского С. Морейно [6]

Поповский Анте — *Стихи.* Перевод с македонского Жанны Гилёвой [2]

Стихи афганских поэтов. Перевод Татьяны Бек. Вступление Дмитрия Рюрикова [1]

Рихтер Милан — *Стихи.* Перевод со словацкого и вступление О. Малевича [3]

Хьюз Тед — *Стихи из книги "Письма ко дню рождения".* Перевод с английского и вступление Глеба Шульпякова [6]

Вглубь стихотворения

Бодлер Шарль — *Падаль.* Переводы с французского [9]

Из классики XX века

Маккалерс Карсон — *Кто увидел ветер.* Рассказ. Перевод с английского М. Кан. Послесловие А. Зверева [1]

Литературный гид

Джозеф Конрад: Между мирами [7]
Лоренс Даррелл, или путь эксцентрика [11]
Польское созвездие [8]
От редакции [8]

Гэрко Лео — *"Один из нас".* Перевод с английского Д. Иванова [7]

Даррелл Джеральд — *Мой брат Ларри.* Перевод М. Мушинской [11]

Даррелл Лоренс — *Горькие лимоны.* Фрагменты книги. Перевод Вадима Михайлина [11]

Даррелл Лоренс — *Письма к Генри Миллеру.* Перевод Вадима Михайлина [11]

Даррелл Лоренс — *Рассказы из сборника "Sauve qui peut".* Перевод А. Ливерганта [11]

Даррелл Лоренс — *Стихи.* Перевод Кирилла Медведева [11]

Два интервью Лоренса Даррелла. Перевод Н. Кулиш и М. Мушинской [11]

Джозеф Конрад: краткая летопись жизни и творчества [7]

Жеромский Стефан — *Джозеф Конрад.* Перевод с польского Г. Языковой [7]

Капущинский Рышард — *Черное дерево.* Фрагменты книги. Перевод с польского С. Ларина [8]

Кеслёвский Кшиштоф — *Случай.* Киноновелла. Перевод с польского С. Тонконоговой [8]

Конрад Джозеф — *Зверюга.* Перевод с английского И. Бернштейн [7]

Конрад Джозеф — *Карлик: воспоминание.* Перевод с английского Л. Мотылева [7]

Конрад Джозеф — *Письма.* Перевод с английского М. Красновского [7]

Конрад Джозеф — *Традиционное предисловие.* Перевод с английского А. Ливерганта [7]

Кунцевич Мария — *Открытие Патюзана.* Перевод с польского Г. Языковой [7]

Лем Станислав — *Что остается?* Перевод с польского Ю. Чайникова [8]

Лоренс Даррелл: краткая летопись жизни и творчества [11]

Милош Чеслав — *Придорожная собачонка.* Фрагменты книги. Перевод с польского В. Кулагиной-Ярцевой [8]

Михайлин Вадим — *Портрет на фоне изменяющегося пейзажа* [11]

Мрожек Славомир — *Моя автобиография.* Перевод с польского С. Макарцева [8]

Пильх Ежи — *Безвозвратно утраченная леворукость.* Фрагменты книги. Перевод с польского К. Старосельской [8]

Рассел Бертран — *Джозеф Конрад.* Перевод с английского М. Красновского [7]

Ружевич Тадеуш — Из книги "*Мать уходит*". Перевод с польского Асара Эппеля [8]

Токарчук Ольга — *Номера.* Рассказ. Перевод с польского К. Старосельской [8]

Форд Форд М — *Конрад и море.* Перевод с английского Л. Сумм [7]

Херлинг-Грудзинский Густав — *Белая ночь любви.* Театральная повесть. Перевод с польского Алексея Михеева [8]

Хьюитт Карен — *Джозеф Конрад: проблема двойственности.* Перевод с английского Д. Иванова [7]

Шимборская Вислава — *Два стихотворения.* Перевод с польского Асара Эппеля [8]

Автор как персонаж: биографический жанр во французской литературе

Адлер Лор — См. Дюрас Маргерит [4]

Биографии и контрбиографии. С Жаком Нефом беседует Сергей Зенкин [4]

Дюрас Маргерит — *Боль. Автобиографические тексты.* Жан-Франсуа Жосслен. *Правда о Дюрас.* Лор Адлер. *О чем не рассказала Маргерит Дюрас.* Переводы с французского М. Злобиной [4]

Жосслен Жан-Франсуа — См. Дюрас Маргерит [4]

Зенкин Сергей — *Жития великих еретиков* [4]

Зиглер Жан — См. Пишуа Клод [4]

Ламблен Бьянка — *Мемуары девушки, сбитой с толку.* Фрагменты книги. Перевод с французского И. Радченко [4]

Лежён Филипп — *В защиту автобиографии.* Эссе разных лет. Перевод с французского и вступление Бориса Дубина [4]

Нерваль Жерар де — *Жак Казот.* Перевод с французского Ирины Волевич [4]

Пишуа Клод, Зиглер Жан — *Шарль Бодлер.* Перевод с французского В. Мильчиной [4]

Соллерс Филипп — *Казанова Великолепный.* Фрагменты книги. Перевод с французского Ю. Яхниной [4]
Сюриа Мишель — *Жорж Батай, или Работа смерти.* Глава из книги. Перевод с французского Е. Гальцовой [4]
Тодд Оливье — *Альбер Камю, жизнь.* Фрагменты книги. Перевод с французского М. Аннинской [4]
Французские писатели отвечают на "Анкету Пруста". Перевод с французского и вступление И. Кузнецовой [4]

Документальная проза

Бенн Готфрид — *Двойная жизнь.* Главы из книги. Перевод с немецкого и вступление Игоря Болычева [2]
Варгас Льоса Марио — *Рыба в воде.* Главы из книги. Перевод с испанского Н. Малыхиной [1]
Леклезио Жан-Мари — *Диего и Фрида.* Перевод с французского Н. Кулиш [9]
Рассел Бертран — *Автобиография.* Перевод с английского Т. Казавчинской, Н. Цыркун [12]
Рив Франклин — *Роберт Фрост в России.* Перевод с английского Людмилы Мотылевой [5]
Штернбург Вильгельм фон — *"Как будто все в последний раз".* Отрывки из книги о жизни и творчестве Эриха Марии Ремарка. Перевод с немецкого А. Егоршева [10]

Портрет в зеркалах

Сэмюэл Беккет

Беккет Сэмюэл — *Мир и пара брюк* [1]
Бланшо Морис — *Где на этот раз? Кто на этот раз?* [1]
Дубин Борис — *От составителя* [1]
Жанвье Людовик — *Ключевые слова* [1]
Чоран Эмиль Мишель — *Беккет* [1]

Статьи, эссе

Бродский Иосиф — *По ком звонит осыпающаяся колокольня.* Перевод с английского Е. Касаткиной [5]
Вайнштейн Ольга — *Поэтика дендизма: литература и мода* [3]
Готье Теофиль — *Мода как искусство.* Перевод с французского В. Мильчиной [3]
Грасс Гюнтер — *Продолжение следует...* Речь по случаю присуждения Нобелевской премии. Перевод с немецкого Наталии Тишковой [5]
Долинин К. — См. Яснов Михаил [6]
Коукер Кристофер — *Сумерки Запада.* Главы из книги. Перевод с английского А. Арзуманова [5]
Памяти Е. Г. Эткинда (1918–1999) [6]
Стайнер Джордж — *Великая 'Ennui'.* Перевод с английского А. Ливерганта [8]
Хемингуэй Эрнест — *Кредо человека.* Перевод с английского В. Стоянова [2]
Чапек Карел — *Столбцы.* Перевод с чешского В. Каменской и О. Малевича [9]

Что может литература? Беседа Хуана Гойтисоло и Гюнтера Грасса.
Перевод с французского В. Иорданского [5]

Эткинд Е. См. Яснов Михаил [6]

Юрский Сергей *Человек без галстука* [12]

Яснов Михаил *"Парижские письма" Ефима Эткинда.* Эткинд Е. *Три эссе.* Долинин К. *Впервые на французском языке* [6]

Трибуна переводчика

Аккадское сказание о Гильгамеше, о всё постигшем.
См. Иванов Вяч. Вс. [10]

Иванов Вяч. Вс. *Еще одно рождение Гильгамеша. Аккадское сказание о Гильгамеше, о всё постигшем.* Фрагменты.
Перевод Семена Липкина [10]

Скаммелл Майкл *Переводя Набокова, или Сотрудничество по переписке.*
Перевод с английского Сергея Ильина [7]

Анкета "ИЛ"

Мировая литература: круг мнений.
На вопросы анкеты отвечают
Петр Вайль и Виктор Шендерович [2]

Среди книг

Адельгейм Ирина *"...мне хотелось, чтобы когда-нибудь меня назвали разумным человеком..."* [5]

Борисенко Александра *Страхи Джона Ирвинга* [8]

Дубин Борис *Из истории вымыслов – тайной и явной* [8]

Ермонский А. *Драматург в кресле президента, или Искусство невозможного* [12]

Зенкин С. *Частицы бытия* [5]

Кормильцев Илья *Орфей спускается в рок* [5]

Кузнецов Сергей *Между диагнозом и легендой* [9]

Ларин С. *Лица необщим выражением...* [12

Нестеров А. *Земли памяти, воды забвенья* [8]

Нестеров А. *Современная поэзия, как она есть* [12]

Ромашко С. *"Против смерти"* [9]

Тугушева М. *Памятник, сотворенный себе* [9]

Курьер "ИЛ" [1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12]

Концерт № 2 для сводного хора читателей

Обзор ответов на анкету, опубликованную в
№ 12, 1999 [5]

Авторы этого номера [1—12]

ДВА ГОДА СОВМЕСТНОМУ ПРОЕКТУ МОСКОВСКОГО ЛИТФОНДА И АЛЬФА-БАНКА

Московский Литфонд совместно с Альфа-банком продолжают уникальную для культурной жизни России акцию — материальную поддержку писателей, работающих над новыми произведениями. Второй год 15 писателей, победивших на очередном конкурсе заявок, организованном Московским Литфондом, получают в течение года ежемесячные стипендии Альфа-банка. Победителей определяет независимая экспертная комиссия, состоящая из главных редакторов ведущих литературно-художественных российских журналов.

Стипендиатами Альфа-банка и Московского Литфонда в 2000 году стали:

прозаики

Вадим Евгеньевич Ковский — художественная биография Исаака Бабеля;
Владимир Борисович Микушевич — роман "Пригород";
Владислав Олегович Отрошенко — книга эссе-новелл "Тайная история творений";
Людмила Ивановна Сараскина — биографическое повествование о А. И. Солженицыне;
Инна Анатольевна Симонова — историческая публицистика о Ф. В. Чижове;
Виктор Васильевич Смирнов — книга рассказов и повестей;
Капитолина Антоновна Смолина (Кокшенёва) — роман "Свое чужое время";
Игорь Александрович Эбаноидзе — (авто)биографический роман в письмах Фридриха Ницше;
Асар Исаевич Эппель — сборник рассказов;

поэты

Надежда Елизаровна Пупко (Мальцева) — книга стихов в фольклорно-музыкальной традиции;
Виталий Владимирович Пуханов — книга стихов в эпистолярном жанре;
Юрий Георгиевич Разумовский — книга детских стихов;
Владимир Иванович Салимон — книга стихотворений;

переводчики

Михаил Львович Рудницкий — перевод с немецкого "Писем к Фелице" Франца Кафки;
Нина Алексеевна Световидова — перевод с французского романа Симоны де Бовуар "Мандарины".

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использована картина Макса Эрнста [1891–1976]
Пьета (Revolution by night) [1923].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7,
"Англия" —
Хлебный пер., д. 2/3,
"Графоман" —
ул. Бахрушина, д. 28,
"Летний сад" —
ул. Большая Никитская, д. 46,
"Мир печати" —
ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 54.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 28. 11. 2000.
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 3234.
Тираж 13 425 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

линия-арт

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ ▫ ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ ▫ АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ ▫ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ▫ ИГОРЬ КИСЛИЦЫН ▫ АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ ▫ ОЛЬГА БУЛГАКОВА ▫ СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ ▫ ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО ▫ ОЛЕГ СЛЕПОВ ▫ КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Тел./факс 953-3624, 201-2603 **Галерея открыта для посетителей по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.**

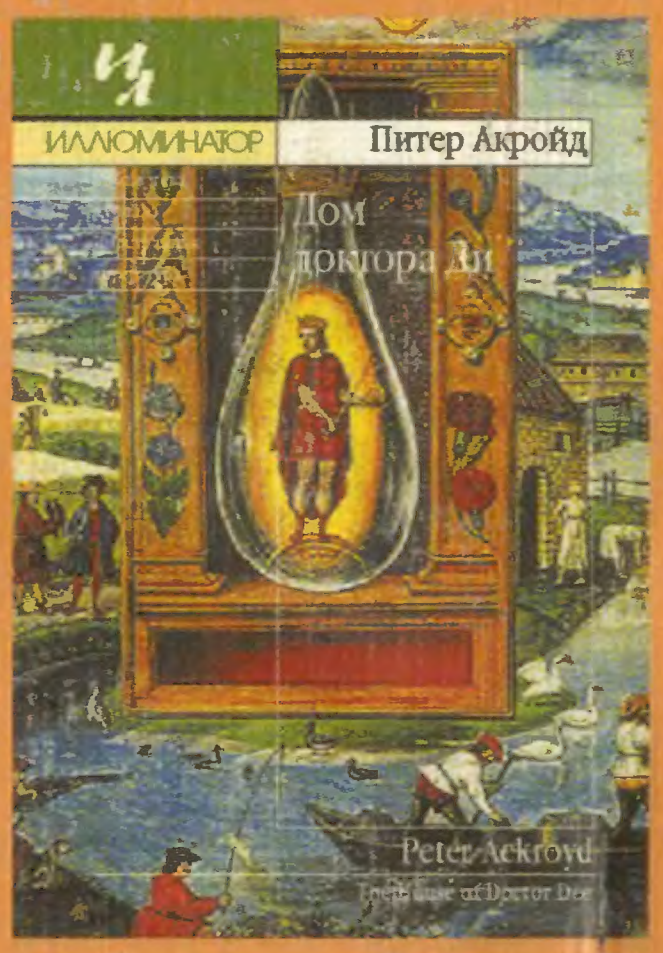
Г 1 Г 2001

РОМАН ДЖ. М. КУТЗЕЕ “БЕСЧЕСТЬЕ” / РАССКАЗ ДЖИ АЛЛЕНА / ПОВЕСТЬ ГЕНРИХА БЁЛЛЯ “ЗАВЕТ” / СТИХИ РОБЕРТА ЛЬЮИСА СТИВЕНСОНА / ФРАГМЕНТЫ КНИГИ Э.-М. ЧОРАНА “РАЗЛАД”

ИНДЕКС 70394

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

ИЛЛЮМИНАТОР



015. Тибор Фишер "Коллекционная вещь". **016.** Майкл Каннингем "Дом на краю света"
017. Эдгар Л.Доктороу "Билли Батгейт" **018.** Питер Акройд "Дом доктора Ди" **019.** Ник Кейв
"И узре ослица Ангела Божия" **020.** Х.Л.Борхес/А.Бьой Касарес "Шесть загадок для дона Исидро Пароди"

В нашей новой книжной серии **"Иллюминатор"** читайте
лучшие произведения мировой литературы в лучших переводах

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала "Иностранная литература"
Факс: (095) 953 5061, e-mail: inolit@rinet.ru

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2000, №12, 1-288